



ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1932 ГОДА

№ 1

1990 ГОД

Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

В номере:

ПРОЗА

- АБДУЛЛА КАХХАР. Землетрясение. Р а с с к а з . Перевод с узбекского Х. Исмаилова. 27
 АЛЬБИНА ПЕТРОВА. Тяжкий и сладкий груз долгов. П о в е с т ь 42
 ЛЮБОВЬ ЮСУПОВА. Цветочница. Э с с е 103

ПОЭЗИЯ

- ИСМАТ САНАЕВ. Беспокойный мир. На производственную тему. Сон. «К наживе страсть...». Мгновение. Голуби. Перевод с узбекского Д. Кучеренко. «Подлец от добрых дел бежит...». «Чин получив, не мни...». «Ты властью в важных наделен делах!...». «Удачливым друзья несут дары...». «Что будет завтра...». «Любовь и земным дарам присуща всем...». «Мудрец в борьбе стал счастлив и могуч...». «Говорят, что перекошен мир...». Перевод с узбекского Г. Резниковского 3
 ВЕНЕРА АБДУЛЛАЕВА. «Каким он должен быть, поэт?...». Судьба. «Конец пути...». «Рояль, величие мира славящий...». «Спрашивают: сколько тебе лет?...». «Опять зима, опять, опять утраты...». «Живи, куда куда жив...». «Без слабости ничтожна сила...». «Надеемся на завтрашнее счастье...». «Чья дорога светла и проста...». «Винovat ли кто?...». «Мы порой — для грубости мишень...». На селе 23
 ЮРИЙ КОГТЕВ. Август. Встреча. «Память — не капризной моде дань...». «То ли парус в море...». Чингизу Айтматову 39
 АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ. Струна скомороха. П о э м а 99

ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА

- С. ТАТУР. Наше время 7

ПУБЛИЦИСТИКА

- Н. ТУРИН. Самостоятельна ли автономия? 120

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- А. ВУЛИС. На подступах к политическому роману 130

КОРАН

М. УСМАНОВ. Древний памятник литературы	142
Сура 1. Открывающая книгу. Сура 2. Корова	145
Комментарии	159

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

ДОНАЛД УЭСТЛЕЙК. Горячий камушек. Р о м а н. Перевод с английского А. Зильберглейта	164
---	-----

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

С. РАХИМОВ. Красота и вечность рядом	140
О наших авторах	208

Главный редактор **С. П. ТАТУР**,
Редакционная коллегия: **В. А. АЛЕКСАНДРОВ**, **И. М. АЛЯБЬЕВА** (отв. секретарь), **А. Ф. БАУЭР**,
А. Р. БЕНДЕР (зам. главного редактора), **Е. Е. БЕРЕЗИКОВ**, **С. А. БРЫНСКИХ**, **Г. П. ВЛАДИМИРОВ**,
Н. К. ГАЦУНАЕВ, **М. М. МИРЗАМУХАМЕДОВ**, **Ю. А. МОРИЦ**, **И. Ф. РОГОВ**, **Р. А. САФАРОВ**,
Н. В. СТРИЖКОВ, **А. А. УДАЛОВ**, **Ш. ХАЛМИРЗАЕВ**, **Н. ХУДАЙБЕРГАНОВ**.

© Звезда Востока, 1990 г.

Потом домой
«Хозяин» уезжает —
Он будет отдыхать
до четырех.
А мы — гулять.
Кто нам теперь мешает?
На улице идет
великий треп.
Потом в конторе
рядим мы
и судим —
Вопросов разных
Накопилась тьма:
Как, например,
Заказчику подсунуть
Без крыш,
без окон,

без дверей дома.
Там все — расчет.
Есть новое задание.
С трибуны речь опять
О чести СУ.
А в зале говорок
насчет компаний,
Поскольку выходные
на носу.
Я прикоснулся только
к этой теме,
Хотел копнуть поглубже —
вот беда —
Не успеваю:
Между пальцев время
Бесцельно утекает,
как вода.

Сон

Сон — это
неразгаданное чудо,
и это чудо, знаю,
видал ты.
Немые чувства
лезут из-под спуда
и обретают
зримые черты.

Восторг и страх
они перемешали...
И как же я
бываю удручен,
когда внезапно,
как воздушный шарик,
взлетевший в небо,
лопается сон.

* * *

К наживе страсть —
опаснейший порок.
Печален у рабов ее итог —
Они в плену у жадности
безмерной,
Ей совесть отдают
без выкупа в залог.

Мгновение

Хотя мгновенья и неуловимы,
Но из мгновений
сложены века.
И каждое из них —
неповторимо,
И ценность их —
безмерно велика.
Мы принимаем иногда решенья
Без размышлений,
внутренней борьбы,

Тогда ложится
легкое мгновенье
Свинцом на чашу
жизни и судьбы.
И может в жизни
чудо приключиться,
Но это только смелому дано,
Мгновенья раздвигаются
границы,
И вечностью
становится оно.

Голуби

Давно когда-то пара голубей
Свила гнездо
 в листве каштана свежей.
Уж много лет прошло,
 без счета дней,
Гляжу на них я,
 а они — все те же.
То на траву
 опустятся легко
И ходят там, воркуя нежно, рядом.
То вдруг взметнутся
 в небо высоко.
Я их, любуясь,
 провожаю взглядом.
А как пугливы иногда они!
В ладоши хлопнешь —
 и взлетят мгновенно.
Неужто пара голубей хранит
глухое эхо
 в памяти нетленной?
Неужто помнят
 выстрела огонь,
Когда рвались
 гремучие снаряды,
Когда гнездо,

 величиной с ладонь,
И то война спалила без пощады.
Они с ладони
 крошки у меня
Клюют тихонько.
 Надо им немного.
Порою озорная ребягня
Их из-под ног
 шугает на дорогу.
Но что им шум,
 и гам, и суета?
Гуляют птицы
 под зеленой сенью.
Светлы их перья
 и душа чиста.
Они как будто
 жизни воскресенье.
Очередной годов
 замкнется круг.
И будет так,
 наверно, я не грежу,
Когда-нибудь
 мой поседевший внук
На них посмотрит,
 а они — все те же...

Перевод с узбекского
Дмитрий Кучеренко

* * *

Подлец от добрых дел бежит — не странно.
Подлец тайн друга не хранит — не странно.
Язык медовый был змеей ужален,
Сегодня сам он ядовит — не странно.

* * *

Чин получив, не мни: «Я — Сулейман!»
Став ручейком, не мни: «Я — океан!»
А должность потеряв, эй, друг сердечный,
Не плачь остаток жизни: «Жизнь — обман!»

* * *

Ты властью в важных наделен делах?
Не чванься: «Я решил, и будет — так!»
Сейчас ладонью, как мечом, ты рубишь —
Потом бессильный не сжимай кулак.

* * *
Удачливым друзья несут дары.
Но горе тем, кто выбыл из игры.
Сбегут приятели, пустую чашу видя,
Приятен собутыльник — до поры.

* * *
Что будет завтра, не узнал никто.
Нить жизни порванную не связал никто.
Не воротить утраченного шанса.
Под старость молодым не стал никто.

* * *
Любовь к земным дарам присуща всем.
А время? Эх, да ну его совсем!
А золотой песок земного срока
Меж пальцев утекает между тем.

* * *
Мудрец в борьбе стал счастлив и могуч,
Он знает: время — это к счастью ключ.
Глупцы концом начало почитают,
Тюфяк незнания мягок, трон — колюч.

* * *
Говорят, что перекошен мир.
Мало в нем добра, а зло — обильно.
Те, что порывались мир прямить,
Сделались, скорбя, дорожной пылью.
Нет!
Поднимут люди мир из тьмы,
Для того они на свет родились.
Для того и перекошен мир,
Чтобы люди плечи распрямили.

Перевод с узбекского
Григория Резниковского.



С. Татур

НАШЕ ВРЕМЯ

I

Неуютно, беспокойно стало жить на белом свете. И горечь травит душу, и совесть почему-то мучает. Место в душе, отведенное надеждам, постепенно пустеет. Страна, если ее сравнить с кораблем, поворачивает на новые пути долго и тяжело. «Куда рулить?» — вопрошает рулевой. «Куда плывем-то?» — интересуется команда. В адмиральской рубке нет ясности, но есть намерение быстрее покинуть застойные, ядовитые воды. Море штормит, мрак промозглый скрыл ориентиры, спрятал звезды небесные. Но корабль поворачивает, капитану самому невольно плыть прежним курсом, к холодным скалам разрухи и деградации. Ибо и дальше умалывать человека и возвышать государство-монстр нет никакого терпения. Государство-монстр должно исчезнуть. Человек, именуемый в обиходе советским, то есть униженный и оскорбленный казенной властью сверх всякой меры, должен занять подобающее человеку место в обновленном обществе. Это общая, идущая снизу, от масс, от человека труда, установка. Если она не начнет осуществляться, производитель материальных благ перестанет работать, великая держава рухнет. А как ее, эту установку, претворить в жизнь с наименьшими потерями и наибольшими приобретениями? Кто знает?

И вот тут пренеприятный открываем мы для себя парадокс. Семьдесят дооктябрьских лет дали миру трех основоположников марксистско-ленинской теории. Три выдающихся сына человечества положили все свои устремления на то, чтобы освободить и возвысить человека труда, сделать его хозяином жизни. А семьдесят послеоктябрьских лет не прибавили к трем основоположникам ни одного. В чем дело? Не в том, конечно, что земля наша оскудела талантами. Напротив, двадцатый век взрастил их неизмеримо больше, чем предыдущие века и тысячелетия. Ибо неизмеримо расширились сами возможности человека развивать и применять свои таланты. А в том дело, что догмы учения стали вступать в противоречие с реальностями новой жизни, и получалось далеко не то, а часто и совсем другое, совсем не то, что пророчили и что намеревались осуществить основоположники. Повторяю, это были чистые и отважные люди, лучшие, смелые умы, великие подвижники семьи человеческой. И не их вина в том, что преемники, все как один ниже ростом, вознесенные на недостижимую высоту реальной властью и этой властью опьяненные, отгородились от живого человека, поставили между собой и им громкий лозунг: «Все во имя человека, все для его блага». Государство стараниями преемников росло и крепло, но не отмирало, как предсказывали основоположники. А человек чах и деградировал. Как долго это могло продолжаться? Страшно долго — для нашего быстротекущего времени, редко ошибающегося в оценках. Этому способствовало полное отсутствие контроля низов над верхами, отсутствие всем и каждому понятного, всеми и каждым приводимого в действие механизма, регламентирующего приход первого лица страны на его высокий пост, пребывание на нем и уход — досрочный, при выявлении несоответствия этому посту, или после истечения определенного срока. Нам нужны выборы, но не назначения,

несостоятельность которых доказана вполне. Номенклатура лежит в фундаменте командно-бюрократической системы управления страной, которая стала ненавистна народу. Выборы высвобождают энергию народа, назначения держат ее в строгих рамках государственного регулирования.

То, что сегодня происходит в стране, это сложнейший по психологическому давлению на человека переход от положения «партия для вождя» к положению «вождь для партии», от положения «народ для партии» к нормальному в социалистическом обществе положению «партия для народа». Советская, социалистическая, непревзойденная и, конечно же, лучшая в мире демократия, надежно оберегавшая тоталитаризм, заменяется (или вытесняется?) просто демократией, и мы, наконец-то, начинаем постигать, какое великое благо пришло к нам. Выкорчевывание корней сталинизма идет болезненно и медленно. Миллионы людей увидели, что обмануты, а жизнь-то прошла или проходит; и как признаться, как согласиться, что лучшие годы и самые искренние порывы употреблены на достижение целей, враждебных человеку? Не возвышающих, а принижаящих его?

Вопрос, быть или не быть социализму на нашей земле, шестьдесят лет назад Сталин решил в пользу казармы, в пользу самого жестокого в истории принуждения. Вождь взрастил послушную управленческую машину, казенную и безликую. Область чувств, эмоции, культура, гуманность были неведомы ей. А ведь за Сталиным, околдованные его силой, его четкими формулировками, шли миллионы. Каково этим людям сегодня? Страшный пресс разочарования пригибает их к земле. И крик «Нет!» вырывается из их уст инстинктивно. Нет, они не согласны с тем, что их жизнь прошла впустую. Да, не впустую; страна расстраивалась, государство накапливало мощь. Но ведь другие страны, чьи лидеры не лезли в учителя и наставники к человечеству, пошли дальше нас и добились большего. Реформы, в многолетнем плане, оказались не менее эффективными, чем горнило революции. И еще одну разницу мы отмечаем. Она всего-навсего в наличии и отсутствии демократии. При демократии Сталин давно уже был бы развенчан и до геноцида собственного народа, может, дело бы не дошло. Крестьяне бы имели землю, Советы — власть, трудовые коллективы — право собственности на предприятия и право распоряжаться произведенным. При обратном отсчете времени убеждаешься: можно ведь было так повести дело, чтобы притягательная сила социализма не тускнела, не блекла с годами, а росла и множилась, завоевывая сердца людей.

Трудной и сверхтрудной оказалась дорога, не давшая за семьдесят послеоктябрьских лет ни одного выдающегося теоретика реального социализма. Другой вопрос, нуждались ли в них люди, сосредоточившие в своих руках необъятную власть? Сталин — определенно нет. Он руководствовался собственными теориями, из которых важнейшее значение имели предназначенные не для общего, а для личного пользования, — они-то не публиковались никогда. Теории для общего пользования он прикрывал красной обложкой продолжателя дела Ленина. Хрущев и Брежнев в этом плане также предпочитали иметь свободные руки. Куда удобнее ссылаться на ушедших корифеев, повышая и повышая их пьедестал. Они-то не возразят, не заспорят, не ткнут носом в левацкие новации, которые на 180 градусов расходятся с их выводами. Так теория была низведена до роли служанки практики с ее каждодневным и почтительным «Чего изволите-с?». Сейчас ревнивые поклонники догм все изъяды общества стараются списать на дурное исполнение. Дурное исполнение было, есть и будет; не одна праведная идея была таким образом тихо загублена. Но одно ли дурное исполнение виновато в том, что задуманного не получилось? А злой умысел? Ведь в контроле народа над властью имущими Ленин видел единственное средство от дурного исполнения, но его-то мы пока не имеем. Но так ли уж непорочен и праведен был сам замысел? Уничтожение одного класса, которому приписали все грехи и пороки, не принесло счастья двум другим, пролетариату и крестьянству. О чем это говорит? И о том тоже, что теоретически вычислить и обосновать социализм оказалось все же легче, нежели реализовать намеренное. Может быть, и не надо, чтобы являлись новые основоположники? Христианство, ислам, буддизм, три великие религии обошлись одним пророком каждая. Но сколько можно тыкаться носом в неведомое и ошибаться?

В то же время наши северные соседи, да и не только они, никого не экспроприруя, не раскулачивая, не ставя к стенке и не упрятывая за колючую проволоку как контру и врага народа, особенно не крича и не суетясь, создали общество, в котором не стало бедных и в котором достаток и социальная защищенность человека так велики, что не идут в сравнение с нашими. Наши северные соседи не отделяли свои преобразования от демократии, только и всего. Они видели, на нашем примере, что от обобществленной собственности, от собственности, которая ничья и бесхозна, никому нет пользы. Такая собственность расхищается направо и налево или тихо загнивает без присмотра, но почти не способствует ускоренному накоплению национального богатства. Простое содержание в порядке и сохранности ничьей собственности, то есть государственной, обходится обществу во много раз дороже, чем содержание собственности личной или кооперативной.

Считается, что наша страна навсегда ушла от такой формы экономических отношений, как эксплуатация человека человеком. Согласен, если не иметь в виду теневую экономику, тщательно оберегаемую от стороннего глаза. А эксплуатация человека государством, нашим, «родным», советским? Аппетиты и амбиции государства непомерны, поведение великодержавное, замашки и апломб тоже великодержавные, и стоит все это, включая содержание самой большой в мире армии (вдвое больше американской), чрезвычайно дорого. Недавно нам объявили, что оборона обходится стране в 77 миллиардов рублей в год. Мы привыкли к тому, что в разных сферах рубль имеет у нас разное измерение. В сфере оборонной рубль, наверное, самый полноценный, он потянет и на три, на четыре доллара, не как в «Березке» или на черном рынке, где за него отваливают всего 10 центов. Поистине, дождем золотых червонцев оплачивает народ военную мощь своего государства, мощь, которая, несмотря на начавшееся сокращение, все еще пугает остальной мир. Эксплуататоров-капиталистов, эксплуататоров-помещиков и купцов мы прогнали, это факт. Но их место очень быстро заняло государство. Тоталитарный режим правления способствовал этому, сосредоточив, после ликвидации нэпа, в руках государства почти всю собственность. Ведь в условиях отсутствия свободы в принятии решений кооперативная собственность мало чем отличалась от государственной, или, как у нас говорят, потрафляя простым людям, общенародной. Ликвидация нэпа с его многообразием форм собственности означала переход с ленинских путей развития на сталинские. Сталин же создал невиданную в истории машину принуждения, государственную, конечно.

С детства мы помним маршаковские строчки о мистере Твистере, бывшем министре, владельце заводов, домов, пароходов. Десять тысяч мистеров Твистеров, слившихся воедино (а каждый из них позволял себе все), — таким я вижу наше государство. Оно владеет у нас всем, землей и финансовыми ресурсами, недрами и водами, заводами и путями сообщения, больницами, школами, магазинами, кинотеатрами, музеями. Оно владеет решительно всем, кроме разве что личного имущества граждан. Оно содержит армию, милицию и комитет, который печется об его безопасности, хотя рухнуть оно может только от собственной непомерной тяжести, как в свое время рухнула Вавилонская башня. Ибо армия и комитет успешно защитят его от врага внутреннего и врага внешнего, но не от его собственных пороков, у которых симптомы самых тяжелых недугов. Оно содержит многие миллионы чиновников, требуя от них постоянного рвения в распространении своей власти и расширения своего влияния. Приоритет нужд и интересов государства над нуждами и интересами гражданина внушался каждому с рождения. Школа воспитывала исполнителей, но не хозяев страны. Являясь работодателем и гарантом социальных благ, государство регламентирует оплату труда (но не его производительность и качество), размер пенсий и пособий, дарует гражданам бесплатное образование и медицинскую помощь и почти бесплатные жилища. Ведя, как поводырь, гражданина по дороге жизни от рождения и до смерти, ставя себе в заслугу блага бесплатные (как будто они не созданы этим самым гражданином), оно ревниво и строго следит за тем, чтобы в потреблении материальных благ гражданин не перешагнул за рамки весьма скромного достатка, не обуржуазился и, упаси боже, не добился материальной независимости от государства-работодателя. Однако в своем стремлении свести фонд потребления к минимуму оно переусердствовало, побив все мировые рекорды. Корни, отдающие все живительные соки наверх и лишённые полноценного питания и простора для роста, стали атрофироваться, чахнуть, сокращать подачу соков наверх. Другие деревья стали обгонять наше в росте. В стволе тоже обнаружился признаки трухлявости.

Итак, непомерное сосредоточение собственности и власти в руках государства и отстранение от собственности и власти граждан, плюс минимальное вознаграждение за труд, плюс уравниловка в вознаграждении сделали граждан пассивными и апатичными. Хорошо работать стало не обязательно, потому что хорошая работа не оплачивалась по более высоким ставкам. Оплата по труду стала фикцией. Лозунг социализма: «От каждого по способностям, каждому по его труду» — лишился своего надежного фундамента — оплаты по труду. Уравниловка, это величайшее порождение казарменного социализма, торжествовала. С детских лет внушалось, что богатство грязно и антигуманно, как всякий плод нечистых помыслов, нечистых рук, нечистой жизни. Спартанская же скромность потребностей возводилась в добродетель с единой целью: чтобы государство быстрее тучнело. И, оказавшись за границей, советские люди ошалело тарасили глаза на богатых рабочих, на состоятельных фермеров, которые, естественно, никого не эксплуатировали, а создавали свой, несопоставимый с нашим, уровень жизни исключительно собственным трудом. А ведь еще и господам капиталистам что-то перепало, и государство не упускало своей кесаревой доли, всегда немалой. У нас же продолжалось тихое закручивание гаек. А лозунги без всякого стеснения несли людям то, что совершенно не отвечало действительности: «Все во имя человека, все для его блага!»

Экономисты, политики, социологи исследуют и подсчитают, во что обошелся

советскому обществу незыблемый приоритет интересов государства над интересами труженика и как низко в результате этого пал авторитет реального социализма. Само по себе сосредоточение гигантских средств в руках государства еще не есть преступление, а только особенность данного общественного устройства. Преступно было оставить за чертой бедности миллионы и миллионы людей, работавших на государство. Преступным было бесконтрольное, строго секретное употребление этих средств на удовлетворение нужд великодержавности, в ущерб народу. Впрочем, тоталитарные режимы никогда не отчитывались в своих действиях, и народу позволялось предьявлять счет только почившим диктаторам, но не живым и властвующим. До недавних пор, до перестройки протест маленького человека против всеислия государства был инстинктивно-стихийным, но очень массовым. И выражался он в падении престижа честной работы и в нежелании рожать детей. Недобросовестность, необязательность стала самым характерным следствием наших окостеневших, негуманных производственных отношений. И столь же характерной чертой российского бытия стала малодетность. Первым обезлюдело российское Нечерноземье. Это была нормальная, то есть единственно возможная реакция крестьян на принудительную коллективизацию и принудительный, почти бесплатный труд на обобщественном поле. Но и города наши, за исключением немногих, которым выпали особо благоприятные условия, что-то не демонстрируют бурного роста. Их ростовая сила невелика, ибо она не подкреплена осознанной, мощной тягой к новейшим технологиям.

То, что наше государство после ликвидации нэпа и повторной, но уже не у помещиков, а у крестьян, экспроприации земли взяло на себя все до единой функции эксплуататорского класса, у меня сомнений не вызывает. Самое неопровержимое тому свидетельство наш жизненный уровень. Зарботок работающего сегодня таков, что на него в состоянии прокормиться лишь один человек, сам работник. Ну, при большой экономии, при наискромнейшем образе жизни, один иждивенец. Где уж тут быть многодетности! Тридцать лет назад я начинал самостоятельную жизнь со сторулевой зарплатой. Немного для инженера, но, впрочем, хватало. Все тогда было впереди, будущее нам всегда рисовали в светлых тонах, и мы соглашались: «Да, нам это подходит». Нехватки военных лет еще были свежи в памяти. Бег времени неудержим. Наши спутники открыли зеленую улицу ракетостроению. Старые деньги были заменены на новые, десять старых рублей на один новый. За карибским кризисом последовало ракетное перевооружение армии. Америка утратила былую неуязвимость, военный паритет сверхдержав стал реальностью, и надо ли говорить, как все это сказалось на уровне жизни? Моя зарплата росла, но не менее быстро росли и цены. Интуитивно я чувствовал, что, как ни стараюсь, а лучше не живу. Сегодня я, главный редактор журнала, получаю 250 рублей в месяц. Но это, с учетом инфляции, ровно столько же, сколько я получал тридцать лет назад, зеленый специалист, которому нельзя было поручить ничего серьезного. Да, 100 рублей образца 1960 года сегодня официально приравнены к 250 рублям образца 1990 года. Чего же я добился, в материальном плане? Экватор жизни пересечен давно, близки холодные широты, а благополучие — все тот же журавль в небе, желанный и далекий.

Вспоминаю рассказ отца, который в конце двадцатых годов — то были благословенные годы нэпа! — работал в Бахчисарае десятником на строительстве небольшой плотины. Ему, старшему рабочему, не инженеру и не технику, платили 90 рублей в месяц. За комнату с полным пансионом он платил 15 рублей, или одну самую часть зарплаты. Согласно данным статистики, с тех пор национальный доход страны вырос раз в пятьдесят, и во много раз выросли доходы на душу населения. Но, сопоставляя свою сегодняшнюю зарплату с заработками отца в конце двадцатых годов, я не могу сказать, что получаю больше. Напротив, я сознаю полное убожество своего заработка. А ведь журнал «Звезда Востока» приносит государству более одного миллиона рублей чистой прибыли. Но ни один из этих рублей не поступает в распоряжение редакционного коллектива, только заработная плата согласно штатному расписанию. Государство забирает себе все подчистую и, конечно, в своих расходах предпочитает не отчитываться. Не одно поколение советских людей вела по жизни вера в светлое будущее. Жизнь проходила в трудах и надеждах, но светлое будущее почему-то не приближалось, манило-посверкивало в приличном отдалении. Энтузиастов сменили прагматики. Нынешнее поколение не только не верит в лозунги, но откровенно высмеивает их. Оно требует от властей развязанных рук и твердого минимума жизненных благ. Гореть на работе молодежь не стремится. Отцы горели на работе, а чего достигли? Капиталисты и помещики были плохи, это факт. Но работать на государство оказалось еще более проигрышно, чем гнуть спину на капиталиста и помещика. Капиталист отстаивал свое право на место под солнцем в споре с огромной надстройкой, именуемой социалистическим государством. Он показал себя и изворотливее, и щедрее, и обходительнее — он показал себя умнее. Он четко реагировал на стремительно меняющиеся условия бытия, а не делал вид, что жизнь стационарна. Сколько я помню себя, мне внушали, что капитализм загнивает и вот-вот сойдет с исторической арены, покрытый

позором. Четверть века назад наша первая антарктическая экспедиция вернулась на Родину. Экспедиционное судно по пути домой останавливалось в Австралии. Я спросил у знакомого гляциолога из этой экспедиции что-то про язвы капитализма. «Знаешь, их-то я и не приметил», — сказал он с мягким юмором. Сейчас за границей перестала быть чем-то абстрактным и закрытым. Миллионы советских граждан пересекают государственную границу. У многих из них в огромных супермаркетах вдруг сдавливает грудь, навертываются слезы. Такова острота пронзившего их чувства обездоленности. Дай бог нам так развиваться, как они загнивают!

Тут меня должны схватить за руку и сказать, что я забываюсь, что гордость потерял и вообще перестал соответствовать. Укорять начнут и просвещать, хотя кто сейчас учит лучше жизни? За что, воскликнут, искренне негодуя, агитируешь? «За жизнь нашу завтрашнюю, другую», — скажу я оппонентам и попрошу их проследовать со мной дальше.

Не умея соразмерить расходы с доходами, не умея насытить рынок продуктами и товарами, извратив само понятие рынка и так и не научившись за семьдесят советских лет торговать, наше государство нещадно эксплуатирует печатный станок. Зато нескончаемый поток материалов, который легко мог бы стать рыночным товаром, распределяется по фондам, плодя и кормя миллионы чиновников. Через розничную торговую сеть реализуется всего пять процентов производимых в стране лесоматериалов, остальные уходят за рубеж или поставляются по фондам. Такое же положение с цементом, кирпичом, другими строительными материалами. Семье не из чего построить себе дом. Она хочет купить материалы, но более реально — украсть или обратиться к посредничеству тех, кто крадет. Вот вам первый выход на теневую экономику. Сейчас хоть начали продавать гражданам государственные квартиры, но как-то робко, стеснительно, словно грех большой иметь гражданину квартиру в личной собственности. Словно весь мир поступает по-другому. А весь мир всюду продает жилье, стимулируя высокую активность граждан, одни мы казенно его распределяем, насыщая при этом тьму райисполкомовских и профсоюзных пивовок. Что-то я не припомню ни одного человека, который бы от души благодарил свое «родное» государство за предоставленную ему бесплатную квартиру. Мучений она стоит таких и унижений, что порой кажется: самому построить и то легче. Мы выплавляем более 160 миллионов тонн стали в год, чуть ли не вдвое больше Соединенных Штатов Америки. А легковых автомобилей, за которые покупатель готов платить бешеные деньги, делаем в шесть раз меньше. Построили при Брежневе завод в Тольятти и остановились на этом, с частичка проклятого и этого хватит. Зато наводнили страну громоздкими и ломкими сельскохозяйственными машинами, которые через 3—4 года возвращаем в мартены. Цикл замыкается. Таково свойство экономики, которую государство приспособило для удовлетворения своих необъятных нужд, и только. Повернуть экономику лицом к советскому человеку пока не удастся. Нет ни гибкой реакции на рыночную конъюнктуру, ни сколько-нибудь заметного рвения в удовлетворении скромных запросов граждан.

Шестьдесят лет нас уверяют, что колхозы вот-вот накормят страну. Но исправить однажды совершенную нелепость и вернуть землю крестьянам не хватает духа. Ибо крестьянин — это тот самый частник, который навеки проклят со сталинских времен. «С частником социализма не построишь, в светлое будущее не войдешь», — повторяли настойчиво и рьяно. И доповторялись до того, что идти в социализм дальше почему-то все меньше желающих. Ни одна из стран, которые вслед за нами пошли по нашему пути, не встала впереди мирового сообщества по уровню и качеству жизни. Капитализм, на сегодняшний день, гибче, проницательнее, а в чем-то и гуманнее казенного социализма. Тут опять мне погрозят пальцем и напомнят о гордости. Но уезжают от нас к ним, а не от них к нам. Как-то я наблюдал за молодым немцем, который оформлял выездную визу. Уезжали он, жена, трое детей. У него были крепкие руки и глаза много передумавшего человека. Уезжал работник. Уезжал туда, где ему будет лучше. Был уверен, что там полнее раскроется его человеческий потенциал. И горько мне стало за страну, которая дошла до такой жизни, что ее без сожаления покидают.

Мы свыклись с тем, что наше государство бездушно и казенно. У государства масса форм давления на личность, вплоть до ее полного подавления, полного подчинения своим интересам. Давление государства на личность таково, что человек, вступающий в самостоятельную жизнь, очень скоро начинает воспринимать его как насилие и грубую эксплуатацию.

Принцип социализма: «От каждого по способностям, каждому по его труду» — надо подчеркнуть, краеугольный принцип, не только не осуществлен, но в повседневной жизни предан забвению. Производственные отношения, в интересах государства, искусно обошли его стороной. Оплата по труду заменена минимумом, необходимым для поддержания жизни работника. На иждивенцев этого минимума обычно уже не хватает. Половина работающих в стране сидит на должностных окладах. Эти оклады ни в коей мере не зависят от количества и качества труда, никак не привязаны к конечному результату. Система должностных окладов бросила страну в объятия уравниловки

и бюрократизма. Хозяйственный расчет и новые отношения собственности, призванные похоронить антигуманную, губительную для инициативы систему должностных окладов, — это все еще мечта и иллюзия, все еще журавль в небе, не дающийся в руки. Должностной оклад делает ненужными старание, поиск, творчество. Зачем выдумывать и пробовать, если это не поощряется? Поговорите с любым изобретателем: его деятельность по-настоящему не поощряется, она упирается в стену. Погоня за новшествами, внедрение новшеств, то единственное, что движет вперед экономику мира, пока еще противоречит канонам нашей практики. И вот наши открытия и изобретения, даже очень неплохие, чаще всего не материализуются, не становятся живительным горючим для двигателя прогресса. И порой кажется, что наезженная колея в обрамлении замшелых лозунгов и догм — единственное, что нам не надоедает.

Мизерная зарплата едва ли не наиглавнейшая форма подавления личности. Принятая государством в годы «великого почина», она с тех пор не претерпела существенных изменений. Начав с распределения не по труду, испытывав и грубые, и самые изощренные методы разверсток и заготовок (их суть, изъятие без соответствующей оплаты, не менялась с годами), пожав апатию и равнодушие, государство и сегодня, когда это стало наиважнейшей потребностью общества, так и не пришло к оплате по труду, так и не решило эту непростую задачу. Между тем, мир за пределами наших границ, исключая немногие страны, платит по труду, и платит за инициативу, за идеи. И, главное, не делает секрета из того, как все это делается.

Я представляю себе муки человека, скованного жесточайшими цепями маленькой зарплаты. Как мало ему доступно, как много остается за пределами возможного. Темной ночью ленинградка, обняв двоих детей, зажмурилась и шагнула за балкон. С девятого этажа. Так она ушла от нищеты. Ее крик отчаяния услышали миллионы. Маленькая зарплата рождает безысходность. Прибавим сюда низкое качество товаров долговременного пользования, которые ломаются и портятся через год-другой, вместо того чтобы служить 10—20 лет, как служат, например, японские магнитофоны. Наш человек очень скоро начинает ненавидеть лютой ненавистью маленькую свою зарплату, нищету, из которой не видит выхода. Сегодняшняя гласность помогает ему быстро разобраться, что к чему, и ненависть, питаемую нищенским его существованием, он обращает на государство, главного виновника всех своих бед. Ведь оно и только оно, «владелец заводов, домов, пароходов», облагодетельствовало его минимально возможным вознаграждением за труд. Едва ли в какой-нибудь другой стране мира есть большая разобщенность, отъединенность гражданина и государства. Ситуация поистине революционная. Но родила она не могучий разовый взрыв негодования, а перестройку. В первые годы перестройке, правда, сопутствовал эпитет «революционная», но он как-то поблек, полинял от отсутствия быстрых перемен к лучшему. Поворот на новые, не исследованные заранее и никем не опробованные пути мучительно тяжел, и не все желают этого поворота. А тем, кто хочет, все еще очень мешает психология маленького человека, которого все предыдущее течение жизни убеждало, что от него ничего не зависит, что высовываться и что-то предлагать — глупо и себе дороже. Команда повернуть дана, но инерция сверхтяжелого судна необыкновенна. Народ уже не безмолвствует, но он и не ринулся к штурвалу с намерением помочь рулевому, с намерением выкинуть из рубки всех тех, кто в слепой тоске по наезженной колее заслоняет обзор, пророчит крах, мешает рулевому.

II

Команда к повороту, команда покинуть привычную колею, которая становилась все более непроезжей, прозвучала с капитанского мостика, и подал ее капитан, ударив в колокола громкого боя. Гонг застал команду врасплох. Колокола громкого боя молчали так давно, что об их существовании команда забыла. К тому же, она была поражена бациллами неверия, разброда и шатания. Обещания разбрасывались десятками и сотнями, исполнялись же единицы. Партия, устами своего генсека позвавшая народ к перестройке, к коренному обновлению общества, сама остро нуждалась в коренной перестройке своей стратегии и тактики, всей окостеневшей системы внутрипартийных отношений. Догматизм сковал склерозом ее кровеносные сосуды; органы чувств утратили чувствительность. Уставной демократический централизм на практике вылился в безудержный рост и укрепление централизма и в такое же безудержное принижение демократических начал. Слово «гражданин» стало чуть ли не неприличным, позорным. Слово «товарищ» — казенным. Руководящая и направляющая сила советского народа — Коммунистическая партия Советского Союза — сама нуждалась в скорейшем обновлении для того, чтобы и дальше оставаться руководящей и направляющей силой страны.

Тысячи и тысячи коммунистов пошли в неформальные организации. Случайность

ли это? Едва ли. Они поступили так потому, что в первичных партийных организациях, так называемой основе партии, отсутствовали и по сегодняшний день отсутствуют условия для самовыражения. Они не могли делать в своих парторганизациях то, что для них важно и интересно. В первичных партийных организациях вообще с некоторых пор угасла всякая интересная, полноценная жизнь, всякая самодеятельность. Ибо их обрекли на безоговорочное (неуклонное, безусловное) исполнение директив вышестоящих органов. И только. Добавим сюда хлынувшую в партию толпу карьеристов, которой первичные парторганизации безразличны, ибо не они расчищают путь наверх. Все помыслы карьеристов нацелены на то, чтобы на них обратили внимание вышестоящие партийные инстанции, имеющие свою номенклатуру. Войти в номенклатуру, сесть в руководящее кресло — вот тайная мечта и истинная цель значительной части тех, кто вливался в партийные ряды. Сама жизнь толкала на это, беспартийным путь наверх был закрыт. При сложившейся командно-административной системе иначе и быть не могло. Партийные функционеры взяли в свои руки основную часть партийной работы, но исполняли ее «от и до», ибо по своей природе были дисциплинированными исполнителями, но не генераторами идей. Лишенные самостоятельности и инициативы, жестко регламентируемые в каждом своем поступке, низовые звенья партии (вот оно, сталинское наследие, прекрасно просуществовавшее десятилетия и без Сталина) перестали что-то решать и серьезно влиять на политику партии. Ибо их назначение было в одобрении и неуклонном исполнении решений, поступающих из центра.

Партийная бюрократия с чувством глубокого удовлетворения замкнула систему на самое себя, считая, что теперь-то ее власть незыблема. Связи с массами прервались, хотя сверху их усиленно обозначали: удивительно правильные слова умели вложить в уста первых лиц лукавые помощники. Дела, однако, со словами не вязались, противоречия в стране резко обострились. Ибо те, кто производил материальные блага, не хотели, чтобы их лишали слова при распределении, и не хотели, чтобы каждый их шаг направлялся извне. Контроль за функционерами со стороны рядовых членов партии отсутствовал, как и контроль за партией в целом со стороны народа. Хотя на вопрос, вовсе не провокационный, а жизненно важный, должен ли народ контролировать свою правящую партию, каждый здравомыслящий человек ответил: «Да, должен». Формы и методы такого контроля еще предстоит разработать и внедрить в практику общественной жизни. Кое-что уже проглядывает: свободная пресса, депутаты, избранные народом, а не назначенные партийными комитетами. Но это «кое-что» — еще не система и даже не ее четкие контуры. Ибо без того, чтобы первое лицо страны избиралось на свой высокий пост всем народом, подлинного контроля не будет.

Итак, без возрождения полнокровной, не подавляемой постоянными указаниями сверху жизни в основе основ партии — первичных партийных организациях — возрождение КПСС едва ли возможно. Для сегодняшней ситуации, которая кратко характеризуется формулой «вождь для партии», не переменным должно стать положение «аппарат для партии». А не партия для аппарата. Уходит в прошлое пора администрирования, пора непрерываемых указаний, когда и что сеять, когда и как жать. Командно-административный стиль руководства изжил себя в народном хозяйстве, продемонстрировав всему миру и даже нашему Политбюро свою полнейшую несостоятельность. Изжил он себя и в партии. Но это осознается чрезвычайно медленно, болезненно, чуть ли не со скрежетом зубовым: вот черт, опять не получается! Как это не командовать? Что тогда останется от централизма, этого стенового хребта партии? Аппарат бешено сопротивляется изъятию из его рук реальной власти, усилению влияния низовых звеньев партии, ее рядовых членов. И так же яростно он сопротивляется посягательствам на его привилегии, на закрытые распределители и четвертое главное управление Минздрава СССР с его спецполиклиниками, спецстационарами и спецсанаториями, на жилье улучшенной планировки. «На всех этих благ все равно не хватит, а мы... мы их отработываем!» Если бы...

И если сегодня трудовые коллективы с огромной пользой для себя обретают самостоятельность, отвоевывают ее у сплоченной армии управленцев и аппаратчиков, представляющих партийные комитеты, министерства и ведомства, то такой же очистительный процесс должен идти и в партии. Без этого ей не возродиться, не вернуть доверия народа. Получив долгожданную самостоятельность, то есть возможность строить работу на удовлетворении своих забот и нужд, а не на одном выполнении спускаемых сверху решений, первичные парторганизации начнут по-настоящему задавать тон в своих коллективах, смогут все более ощутимо влиять на их нравственный облик.

И надо бы широко распахнуть двери в партию перед людьми совестливыми, которые без приглашения в партию не пойдут, это не карьеристы, и которых в партийных рядах сегодня явно недостаточно. Без притока этой свежей, исцеляющей струи, без возвращения в партийные отношения на всех уровнях нравственной чистоты, порядочности, принципиальности обновление и перестройка не смогут состояться. И не сможет состояться отход от насажденного Сталиным метода жесткого силового давления сверху вниз, от присущих бесконтрольной власти коррупции, протекционизма,

нас,
всех.

показухи. Понятно, что люди совестливые, нравственно здоровые, к тому же неравнодушные к делам общества, не могут составить в партии подавляющее большинство по причине своей малочисленности, ведь наша действительность настойчиво и упорно изживала из советского человека совестливость, прививая послушание и покорность. Но и при своей относительной малочисленности они вполне в состоянии такое положение изменить, очеловечить и в конечном счете очистить отношения внутри партии от бюрократизма и казенщины.

Обновленное общество — это в первую очередь новое качество партии, такие приемы и методы ее работы, которые будут не отвергаться, а приниматься обществом, дышащим живительным воздухом демократии. Если первичные партийные организации действительно составляют основу партии, а против этого уставного положения никто не возражает, то и политика партии должна вырабатываться в ее низовых звеньях, брать свои истоки от нужд и запросов человека труда, а затем уже суммироваться и выкристаллизовываться в строгий цельный курс в вышестоящих партийных органах. Снизу вверх! Только тогда пирамида, с которой, предельно упрощая дело, можно сравнить партию, будет покоиться на матушке-земле массивным и прочным своим основанием.

Жизнь же являла нам пока иную расстановку партийных сил, иное состояние внутрипартийных отношений. Первичные парторганизации до последних лет мало чего вырабатывали и предлагали своего, идущего от естественных народных нужд, от поля и станка, доморощенного. Зато они в неперевариваемом количестве принимали к исполнению решения, принятые наверху людьми, которые привыкли решать и думать за народ, но которых народ не выдвигал, не избирал и не ставил на их высокие посты. Инициатива, как и критика снизу, почти увяла за ненадобностью, не только не стимулируется, но и принижается сверху. Она мешала вышестоящим партийным комитетам говорить свое слово и петь свою песню. Командно-административный стиль руководства, строгая зарегламентированность всех сторон партийной жизни больше всего ударили по низовым звеньям партии, лишив их генерирующих свойств, оставив одни исполнительские функции. Это состояние можно назвать застоем, если иметь в виду недавние годы. Наиболее присущие ему черты — ущемление и выхолащивание основных положений внутрипартийной демократии.

Работая над романом «Периферия», главный герой которого сначала — инструктор, затем секретарь партийного комитета, я ознакомился с жизнью десятков первичных партийных организаций. И ни в одной из них не нашел ни образцовой, ни просто приемлемой постановки дела. Мне могут возразить: «Ну, так это же у вас в Узбекистане!» Мол, про то, что там у вас, нам и так все понятно и известно. А разве Узбекистан не часть страны? И разве в Москве не видели, что из шести миллионов тонн узбекистанского хлопка при обратном сложении, когда суммируются волокно, масло, жмых и другие составляющие, получается только пять миллионов тонн? И не мне одному интересно, кому это в Москве чехмоданы денег так притупляли зрение? Согласен, условия, при которых многое можно не видеть, в упор не замечать, были одни для всей страны. Как одни и те же для всей страны условия пришли им на смену. Они-то и гарантируют невозвращение дня вчерашнего. Не кто-то, а мы повесили слишком много золотых звезд и других ярких цацок на грудь одного человека. Не кто-то, а мы бурно аплодировали очередным «выдающимся» достижениям, с трудом подавляя рвущееся наружу раздражение от неумения соединить «развитой» социализм с убогими магазинными полками и усеченными правами человека. Кстати, человеческие контакты, как ничто другое, убеждают, что страна у нас одна. Людей из Ленинграда, Горького, Минска я спрашивал: «А как у вас?» Увы, у них все оказывалось примерно так же. Своими проблемами Термез не сильно отличается от Бреста, Ташкент — от Баку.

Вождь народов вполне сознательно ослаблял и принимал первичные парторганизации. Не пожелали покинуть наезженную колею и творцы застоя. Если вождь народов держал в своих необыкновенно цепких руках всю полноту власти, ни с кем ею не делился и не передавая кому бы то ни было даже малую толику ее, то творцы застоя невольной мирились с тем, что власть из их дряхлеющих, анемичных рук перетекала к аппарату, делая его могучим, почти всеисильным. Аппарат никогда не останавливался в своем росте, даже тогда, когда принял гипертрофированные формы. Он научился командовать и распоряжаться, ни за что не отвечая. Если обещанное народу не исполнялось (Продовольственная программа, например), обещание повторялось еще и еще раз, и только. Под давлением аппарата низовые звенья партии перестали реагировать как положено на недостатки. Тогда пышно расцвели казнокрадство и протекционизм, и в нашем краю Рашидов, а в других краях другие его двойники и единоутробные братья получили полную свободу рук в окружении себя себе подобными и в срывании плодов с дерева власти. Ведь стрелка на шкале контроля низов над верхами, народа над правящей партией замерла у нуля.

Не везде и не безвозвратно ушло в прошлое время, когда большинство секретарей первичных партийных организаций было озабочено не самой постановкой дела,

не тем, как преодолеть апатию и восстановить авторитет партийцев, а лишь тем, чтобы достойно выглядеть в глазах вышестоящего партийного комитета. Суть этого прочно прилипшего к нашему обществу явления определяет емкое слово «показуха». Еще недавно секретарями становились не лучшие организаторы, не самые активные и уважаемые партийцы, а люди, наиболее удобные и удобные администрации, райкому, горкому. Везде ли это преодолено и навсегда ли преодолено?

Ненормальному положению, когда живое дело подменяется видимостью дела, в огромной степени способствовала сложившаяся практика, при которой выборы секретарей и всего низового партийного актива (да только ли низового?) были фактически вытеснены назначениями, когда выборами, словно фиговым листком, прикрывались назначения. Члены партии мирились с тем, что с ними не советовались относительно членов партийных комитетов, и равнодушно голосовали «за». Отчетно-выборные собрания лишь формально утверждали руководящие органы, сформированные вышестоящими инстанциями до них и за них. Важнейшим своим правом, правом избирать, коммунисты перестали пользоваться. Эти права присвоили себе вышестоящие партийные комитеты. Назначения стали испытанным и надежным инструментом, закрепляющим, увековечивающим диктат верхов. При такой практике пассивность и утрата боевитости — явления естественные. Ущерб, ею причиненный, неисчислим.

Поведение должностного лица, получившего свою должность из рук вышестоящего начальника, будет разительно отличаться от поведения должностного лица, победившего на выборах. Второй куда более уверен в себе, демократичен, принципиален. Протекционизму он явно предпочтет опору на деловые и нравственные качества товарищей. Он знает, что протекционизм компрометирует, лишает авторитета. Он много советуется, зато упорен и смел в отстаивании выводов, к которым пришел коллектив. Назначенное же должностное лицо постоянно ориентируется на человека, который сыграл главную роль в его назначении. Коллектив при этом отодвигается на второй план, ведь это не более чем вотчина, где надо добиваться неуклонного исполнения и подавлять самостоятельность. Назначения — благодатная среда для командно-бюрократического стиля руководства. Руководитель избранный будет стремиться к расцвету возглавляемой им организации. Для руководителя назначенного это, как показывает жизнь, вопрос второстепенный.

Итак, секретарь, действительно избранный собранием, настойчив и принципиален в отстаивании нужд своей парторганизации и при этом предпочитает стоять не на местнических, а на общепартийных позициях. Если бы мы покончили с назначениями и сделали выборы нормой и практикой партийной жизни, — а стремление к этому большое, — то обстановка в стране уже была бы другая.

Рухнула бы номенклатура, так любимая и лелеемая партийными чиновниками. Административным методам руководства был бы нанесен решающий удар. Смотришь, и критика снизу возродилась бы, ведь страха перед мезостоящими органами уже не было бы. Сами вышестоящие органы, избираемые в низах, уже были бы другими. Расцвела бы инициатива мест, никем не подавляемая. Диктат верхов, напротив бы, остался во дне вчерашнем. При этом, уверен, принципы демократического централизма не пострадали бы, а только больше ценились и уважались партийцами. Ибо жизнь быстро нашла бы точное соотношение между централизмом и демократией. Воля центра находила бы сознательную поддержку мест, как сумма их нужд и запросов; воля мест, являясь одновременно и их ростовой силой, не подавлялась, а поощрялась бы центром.

Если мы не отменим назначения, то скоро вновь утонем в бурных аплодисментах, угодничестве и чинопочитании, и привилегированное сословие начальников воздвигнет между собой и народом стену кастовой замкнутости, приобретет все черты третьего класса. Полной мерой получит она и то, чего заслуживает более всего, — народную ненависть. Это уже было, но к взрыву не привело: пришел М. С. Горбачев, объявил перестройку и стравил пар. Однако отсутствие заметных сдвигов к лучшему вновь ведет к перегреву заскорузлого механизма власти. С каждым новым разом стравливать пар будет сложнее.

Мы ощутили, как страшна по своим последствиям пассивность рядовых коммунистов, равно как и пассивность беспартийных. И это наследие застойных лет одно из самых труднопреодолимых. От рядовых коммунистов должно зависеть гораздо больше. От них должно зависеть все. В своей партийной организации, а не у неформалов, коммунисту нужны условия для самовыражения. В триединстве предлагать, решать, осуществлять ему нужно просторное поле деятельности в каждой составляющей. Тогда часть тех, кто сегодня тих и пассивен, воспрянет духом и скажет свое слово. Тем же, кто и дальше предпочтет отмалчиваться и оставаться в тени, кому не по душе бороться за торжество новых, высококонкретных человеческих отношений, лучше из партии уйти. Это лучше для партии. Уж слишком много балласта в ее некогда «монолитных» рядах. Оттого так велика инертность партийных низов, привыкших, что все решается за них и без них.

С некоторых пор в партию приходит мало людей, которые презирают соображения карьеры, совестливы и честны, обладают развитым чувством собственного достоинства. А ведь как раз эти люди имеют свой взгляд на пути выхода страны из кризиса. Они в состоянии вступить за обездоленного. Они не упрекнули оппонента в инакомыслии, ибо видят в сопоставлении разных, часто противоположных точек зрения важнейший стимул движения вперед. Они, по понятным причинам, ждут приглашения в партию, но все еще не получают его. По догматической традиции прежних лет не принято приглашать в партию. Тем более, что райкомы, регулируя прием, выстроили очереди на много лет вперед. По мнению устроителей этой очереди, она тоже должна была подчеркивать престижность членства в правящей партии. Практически она мало чем отличалась от очереди за благами. Я знаю прекрасных людей, которые не в партии только по той причине, что их не пригласили.

Еще недавно партию буквально штурмовали хваткие молодые люди с явно выраженными карьеристскими наклонностями. Пребывание в партии они рассматривают как трамплин для завтрашнего взлета. В Устав и Программу они заглядывали лишь один раз, перед собеседованием. Сейчас предпринята попытка уйти от этого крайне невыгодного, крайне проигрышного для партии положения. Наконец-то перестали игнорировать беспартийных при подборе кандидатур на руководящие должности. И сразу поубавилось число желающих стать коммунистами. Действительно, разве нормально положение, когда только членство в партии открывает путь наверх? Да, в партию шли не столько для того, чтобы осуществлять ее программу, сколько за должностями, и это способствовало коррупции и падению авторитета партийцев. Я, например, не вижу сколько-нибудь существенной разницы между коммунистами и беспартийными. Последние часто более добросовестны в работе и более последовательны и тверды в соблюдении норм морали. Убежденные сторонники перестройки и чистых, неоказаненных и необюрократических человеческих отношений, они идут в неформальные объединения и там раскрывают свои способности. А мы удивляемся активности, напористости и самоотверженности неформалов, забывая о том, что туда идут люди, которые слишком долго ждали своего часа.

Партия засорена сыновьями и дочерьми функционеров всех рангов, на убеждениях и жизненной позиции которых в полной мере сказалась безыдейность и беспринципность родителей. Не потому ли в партийных комитетах столько инструкторов, не знакомых с низовой работой и не умеющих инструктировать? Они в состоянии выполнять только функции передаточного звена. Вростая в партийные аппараты без опыта и знания жизни, они невольно становятся пособниками бумажного, казенного стиля руководства. Самостоятельность их пугает, они не дорастают до нее и в зрелом возрасте. Роль исполнителей устраивает их на всех уровнях общественной иерархии.

И вот мы имеем ситуацию, когда в партии много функционеров и мало подвижников. Энтузиасты и бесребреники первых послереволюционных лет, в кого превратились ваши внуки? Молчат герои, умершие своей смертью и умертвленные выстрелом в затылок в казематах НКВД. История не вдохновляет на новые дерзания. А как без них!

Привыкшая командовать, номенклатура не любит подсказок снизу. А критики и нравоучений снизу не переносит. Наставления могут поступать только сверху, согласно незыблемым и почитаемым законам централизма. Не случайно предпочтение при приеме на партийную работу отдается добросовестным исполнителям. Люди же с аналитическим складом мышления и самостоятельностью суждений, умеющие обоснованно возразить, предложить что-то свое, часто неординарное, отвергаются как трудные для взаимопонимания. Их непокладистость выпирает, иметь с ними дело непросто. Отсутствие же таких людей в партийных аппаратах очень сказывается на уровне и качестве всей работы. Декларируя свою приверженность новшествам и демонстрируя перестроечную активность, можно годами ничего не менять, годами не покидать наезженной колеи. Консерватизм на местах стал притчей во языцех. Ну и что? Новые люди и должны стать той будоражащей, исцеляющей силой, не задействовав которую, сопротивления противников перестройки не преодолеть. Все ограничится разговорами о крутом переломе (их и так слишком много), а затем — созданием видимости крутого перелома, торжеством той самой показухи, которую нам подсовывали вместо реальных перемен к лучшему и выдающихся мастеров которой недавние годы нам подарили в изобилии. И они, эти мастера и дизайнеры показухи, ой как тоскуют по большой работе.

Партийному работнику по-прежнему внушают, что он за все в ответе. Ибо за все в ответе партия. А человек, отвечающий за все, в жизни, чаще всего, безответен. Такая постановка вопроса на уровне ответственности и обязанностей каждого конкретного работника заставляет хвататься за все, подменять других. Ни к чему путному это не ведет, что жизнь, кстати, блестяще доказала. И не за все должен отвечать партийный работник, это ему не под силу. Для начала пусть он по-настоящему ответит за постановку дела в первичных партийных организациях, которые он курирует, за подбор и выдвижение кадров, им произведенный. За работу Советов пусть отвечают народные

депутаты, ведь народ направил их в Советы не представлять. За результаты хозяйственной деятельности пусть отвечают директора предприятий, отраслевые министерства, правительство, но не ЦК КПСС и не Политбюро. Партийные комитеты разучились влиять на производство через первичные парторганизации. Отдать распоряжение директору привычно. Но экономика воспринимает такие распоряжения как удар палкой, ее ростовая сила глохнет и чахнет.

Не командовать — простите, а что это такое? Кто умеет, кто научит? Если одним с самой высокой трибуны многократно было сказано: «Не командуйте!», то почему другим не сказали: «Не исполняйте дурных команд!» Дать такую команду — это какой сук подрубить! И в состоянии ли руководитель назначенный не исполнить указание лица, благословившего его на должность? Перестать командовать, это, одновременно, и перестать назначать. Многие ли представители нашего командного сословия пойдут на это по своей воле?

Тут, наверное, нужны разъяснения, что же такое конкретно принципы политического руководства. Что это такое применительно к секретарю партийного комитета, к работнику его аппарата? Как это — отвечать за все, но не командовать? Как это добиваться более высоких результатов без ежедневных указаний?

После ухода Брежнева из жизни страна стала получать некоторую информацию о деятельности Политбюро. Но краткие сообщения ни в коей мере не удовлетворяют интереса к работе этого высшего органа партии. Каждый член Политбюро — человек, личность, и мы хотели бы знать их и в этом качестве. Пока же мы знаем в этом качестве только Генерального секретаря и в меньшей степени Председателя Совета Министров страны. Интерес к дебатам в Политбюро идет не от праздного любопытства. Гражданам чрезвычайно интересно знать, как каждый из членов Политбюро проявляет себя на ниве перестройки. Гласность в этом деле неотделима от нарождающегося контроля народа над правящей партией. Газета «Правда» могла бы посвящать еженедельным заседаниям Политбюро полосу, а то и две, концентрируя внимание читателей не на пересказе принятых постановлений, а на том, какие сталкиваются мнения, как преобладают разногласия. Кстати, Политбюро по-прежнему принимает массу постановлений по хозяйственным вопросам. Реализация же принципа «не командовать экономикой», выдвинутого Горбачевым, могла бы начаться с того, что все чисто хозяйственные вопросы рассматривались и решались в Верховном Совете, Совете Министров СССР.

Вновь в прессе и на площадях звучат лозунги, казалось бы, навсегда решенные великим Октябрем. Власть — Советам! Земля — крестьянам! Многие вспоминают и третий ленинский лозунг «Мир — народам!», имея в виду возросшую напряженность в межнациональных отношениях и возникшее в связи с этим чувство дискомфорта, чувство неуверенности в завтрашнем дне у миллионов граждан. Нет нужды напоминать о незагашенных кострах межнациональной розни, их жар опалает всех, и невольно спрашиваешь себя, почему в человеке вдруг просыпается зверь и почему человека, который говорит на другом языке и живет по другим обычаям, надо ненавидеть, а не уважать, как брата своего?

Как нам быть с землей, как нам быть с ничейной, то есть общенародной собственностью, вроде бы ясно. Решение этого вопроса обретает все более четкие контуры, сторонники многообразия форм собственности доводами своими и аргументами кладут оппонентов на лопатки. В то же время до процесса, обратного коллективизации, мы все еще не доросли, не дожили, и Е. К. Лигачев тверд и упорен в своей убежденности, что колхозы себя еще покажут. Наверное, голод и мор надо пережить (недоумение и насмешки мирового сообщества — этап пройденный), чтобы решиться на декollektivизацию. Хотя, по нынешним временам, достаточно было бы и того, чтобы мы умом хорошенько на этот счет пораскинули. Робко, ощупью и как бы в потемках возвращаемся мы к ценностям, которые однажды отрунули: как сознаться, что ничего лучшего взамен не получили? Надеяться изумить мир щедростью коллективного дастархана, и вдруг сами поразились его скудости. Как бы там ни было, законы о земле, о новых отношениях собственности не за горами, и Верховный Совет постарается, чтобы соцбюрократия не сделала их половинчатыми.

Чем не удовлетворяет народ власть нынешняя? Не тем, конечно, что она в руках правящей партии, вернее, ее комитетов, а самым своим казенным характером, тоталитаризмом, ее пронизывающим, оторванностью и отдаленностью народа от власти, приматом государственных, так называемых высших интересов над интересами простого человека. Власть Советов, а в Советы народ посылает своих представителей, и в его силах проследить, чтобы за него этого больше не делали, — власть Советов сегодня народу ближе и понятнее. У нее меньше таинств, меньше непредсказуемости, и она все же более направляется теми, кому должна и обязана служить. Процесс, который, по идее, должен вернуть Советам полномочия, только разворачивается. Он не стремителен, как все наши реальные перемены; никто из власти имущих не торопится от нее отказаться. Столкновение интересов неизбежно. Предложение, чтобы секретари партийных комитетов возглавили соответствующие Советы, в какой-то

мере снизило остроту противостояния. Но еще неизвестно, захотят ли такого совмещения избиратели. Выборы в Совет народных депутатов СССР показали, что партийным лидерам на местах далеко не всегда отдавалось предпочтение. И то, как реально будет убавляться власть партийных комитетов и приращиваться власть Советов, от Верховного до поселкового и сельского, какие для этого будут приняты постановления и законы, наверное, самое интересное в нашей действительности. Именно тут разыграется (уже началось!) главное кипение страстей и столкновение интересов. Оно может завершиться неожиданным рывком в сторону от демократии. У людей старшего поколения сильна тоска по непререкаемой власти, они смущены вторжением в нашу жизнь демократии, не знают, как ею пользоваться, сомневаются, что она будет полезна советскому обществу.

В новом Уставе КПСС должны быть очерчены права и обязанности ЦК, Политбюро, их воздействие на жизнь в правовом государстве. Пока это воздействие всеобъемлющее, и недавний наш Верховный Совет по существу играл роль секретариата Политбюро, трансформируя его указания в законы. Должно ли это всеобъемлющее воздействие Политбюро на нашу жизнь и завтра оставаться таким же? Большинство отвечает: «Нет». Нет хотя бы потому, что рядовые коммунисты никакого влияния на формирование этого на сегодня высшего в стране органа власти не оказывают, их просто ставят перед свершившимся фактом. В правовом государстве жизнь должна определяться Конституцией, а не Уставом правящей партии. Как реально поделат власть Политбюро и Верховный Совет, так реально будет поделена власть и на местах.

Власть партии осуществляется не посредством выполнения коммунистами постановлений, принятых партийными комитетами, а, в основном, посредством выдвижения и расстановки кадров руководящих работников всех рангов. Еще недавно каждый кандидат в депутаты отбирался в партийном комитете, а машина голосования не давала сбоя. 99,9 процента голосов, поданных за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных, отражали уже не повсеместное единодушие, а повсеместную апатию. Мы получали послушные, инертные, мало на что способные органы государственной власти. Новое положение о выборах в корне меняет дело. Теперь, выдвигая своих кандидатов, партия должна опробовать их популярность в народе. Своих, и без нажима извне, кандидатов выдвигают трудовые коллективы, общественные организации, неформалы. В этом процессе, в важнейшем процессе демократизации нашей жизни — формировании Советов — власть партии заметно поубавилась, перетекла к народу. Переходный период здесь являет нам состояние некоторой растерянности: ни партия, ни народ к такому положению еще не привыкли. Конечно, партия, как единый организм, оправится быстрее, то есть тоже пойдет по пути быстрой демократизации внутрипартийной жизни. Ведь ей крайне важно через устранение противоречий восстановить свое единение с народом.

Ну а кадры руководителей другого ранга? Всегда ли будут номенклатурой партийных комитетов директоры заводов и председатели колхозов, профсоюзные и комсомольские лидеры, руководители творческих союзов, редакторы непартийных изданий? Или те, кем эти номенклатурные товарищи руководят, воспользуются правом сказать свое слово, поддержать своего кандидата? Десятки людей, и не коммунисты вовсе, с пеной у рта заявляли мне, что выборы директора — чушь собачья, что директоров необходимо назначать, и на Западе так и поступают. Тогда вопрос: почему это должен делать партийный комитет, а, например, не трест, не консорциум какой-нибудь, не отраслевое министерство? Не люди, более компетентные в данной сфере человеческой деятельности? Тут проблемы остаются, и Советы пока даже в подборе кадров для сферы обслуживания, здравоохранения и народного образования не вполне самостоятельны.

Многие считают, что дело вовсе не в том, кому будет принадлежать власть, партии или Советам, и в какой пропорции она будет разделена между ними, а в том, будут ли развязаны людям руки и как будут соблюдаться их права. Все фокусируется на человеке, на том, будет ли он свободен в принятии решений. Работник давно хочет быть хозяином на своем рабочем месте, не по минимуму получать за свой труд, не встречать препятствий при самовыражении. Не в том ли неуспехе обобществления средств производства — и наших, и в других странах, что обобществлению не поддается величайший генератор идей — мозг человеческий? Ведь нет производительной силы выше этой.

Таковы насущные нужды работника, и власть обязана удовлетворить их. По традиции она называется народной. Чтобы стать ею по самой своей сути, она должна пройти длительный процесс гуманизации, вобрать в себя такие извечно важные для человека нравственные начала, как внимание, справедливость, милосердие. Казенный характер отношений роняет авторитет власти. Она очень нуждается в притоке свежих сил, в опоре на людей, разбуженных перестройкой. Она очень нуждается в том, чтобы демократические принципы и начала пропитали каждую ее пору. Демократия не должна висеть от государства, это всегда кончалось плачевно. Демократия должна стать не-

отъемлемой частью власти, причем важнейшей ее частью. Нам мало быть великой державой. Мы хотим быть еще и страной счастливых людей.

III

Как-то, еще несколько лет назад, до нынешнего обострения в межнациональных отношениях, до Алма-Аты, Сумгаита, Ферганы, я попытался подвести итоги, чего мы достигли в национальном вопросе. Время было самое тихое (его потом назвали застойным), армяне не требовали еще выхода Нагорного Карабаха из Азербайджана и его вхождения в Армению, а азербайджанцы не блокировали доставку грузов в Армению. И тем не менее то, что я видел вокруг, то, как фактически складывались у нас межнациональные отношения, заслуживало оценки «мирное сосуществование». Хотя официально эти отношения именовались только братскими. У нас и человек, согласно официальному лозунгу, был тогда другом, товарищем и братом всем и каждому, хотя преждевременность этого лозунга все более проявлялась. Ну, не видел я братства в межнациональных отношениях, убавлялось и уважение. А тихое, повторяю, было время. Теплых и тесных уз дружбы, братства я не чувствовал, но и до нынешнего дискомфорта было далеко. Были, разумеется, и узы, но они уже утратили прочность стержня, так как носили, скорее, какой-то исключительный характер.

Терпимость и внутреннее побуждение, внутреннее принуждение к терпимости — вот как, чаще всего, называлось то, что я видел у нас на Востоке. Два русла жизни, национальное и европейское, существовали на параллельных курсах. Соприкосновение в тысячах и миллионах точек всегда ограничивалось минимальным переливом из одного русла в другое; потоки несли несмешивающуюся жидкость.

Невольно вспоминалась мысль Киплинга о том, что Западу и Востоку не суждено сойтись в силу несовместимости их нравственных и философских начал. Действительно, Восток разительно не похож на Запад всем тем, что составляет внутренний мир человека, его духовные ценности. Хотя несомненно и то, что есть общее, идущее от забот о хлебе насущном и крыше над головой, о завтрашнем дне для детей и внуков. Если Запад у нас ассоциируется с крепкой деловой хваткой, с практичностью, которая опирается на теснейшее содружество с наукой, с изобретательством, с изначальным уважением к правам человека и иному мнению, то Восток — с созерцательностью, которая легко уживается с фанатизмом, с традициями, строго регламентирующими поведение мусульманина, с иерархией, указывающей человеку его место в обществе, круг его обязанностей, прав и ответственности. Покорность судьбе, алогично соединенная с полным неприятием чужой воли, чужого образа жизни — вот вам современный Афганистан. Хотя кровь, пролитая в Афганистане, вопиет о том, что в конце XX века нельзя делить кровь человеческую на нашу и не нашу.

Отдаленность от демократических начал продолжает оставаться весьма характерной для Узбекистана, особенно для его глубинных районов. Коррупция и казнокрадство, недавние ежегодные приписки по миллиону тонн хлопка-сырца с взиманием у государства оплаты как за реально произведенный хлопок были восприняты в республике без взрыва народного гнева. Их осуждение было гораздо более показательным, чем идущим из глубин человеческого естества. Зато каждое новое послабление в борьбе с коррупцией встречается громким вздохом облегчения. По традиции имущество соседа неприкосновенно, имущество государства — нет. Сосед может вообще не запирает двери, а государственное достояние не сохраняют и самые хитроумные запоры. Ключи-то находятся у должностных лиц, которые не заинтересованы в сохранении доверенного им добра. Ведь по другой, пришедшей к нам от древних времен, традиции должность должна кормить, а на нынешнюю зарплату большую семью как содержать? В Бухарском эмирате чиновникам не платили, но ни один из них не влачил жалкого существования. Должностное лицо любого ранга ревностно претворяет в жизнь принцип единоначалия, подчиняясь командам сверху и уважая начальника, их отдающего, оно стремится иметь в отношениях с подчиненными развязанные руки. Демократия, встречая в такие отношения, только все путает и усложняет. Иными словами, она мешает чиновнику творить свое чиновничье дело. Не случайно процесс демократизации советского общества вызвал в среднеазиатских республиках острейшую тягу к национальной обособленности. Большим деньгам, осевшим в карманах заправил хлопкового и иного бизнеса, тесно не с русскими. Им тесно в рамках наших правовых и производственных отношений.

Ждут еще кропотливого объяснения кровавые события в Фергане. Взрыв ненависти к маленькому народу турков-месхетинцев, который по злой сталинской воле оказался в Узбекистане, потряс Союз силой своего фанатизма. Многие в республике придерживаются мнения, что турки спровоцировали этот акт, что они виноваты сами. За этими утверждениями, однако, никогда не следовали разъяснения, в чем их вина

и почему им нельзя жить в Фергане дальше. Словно это традиционно запретная тема. Вероятно, на бытовом уровне постоянно происходили какие-то недоразумения, стычки, взращивавшие неприязнь. Люди, по долгу службы прошедшие с колоннами погромщиков весь путь бесчинств от начала и до конца, утверждают, что события спровоцированы и подготовлены местной мафией, не поделившей мирным, компромиссным путем с турками-месхетинцами доходные места в торговле, общепите, автосервисе и т.д. Судя по тому, что квалифицированно направлялись события, по накалу их жесточечности, эта версия довольно близка к действительности. Но на скамье подсудимых мы видели пока лишь рядовых участников грабежей и убийств, а не представителей мафии. И чего, в таком случае, стоят наши правоохранительные органы, под «недремлющим» оком которых мафия разжирила настолько, что способна разворачивать масштабные боевые действия?

Реакция властей на события была явно пассивной, они растерялись и перестали контролировать ситуацию. Кстати, такие острейшие кризисы всегда обнаруживают отрыв власти аппаратной, чиновничьей, казенной от народа. Вмешались спецвойска. Время идет, а имена тех, кто направлял бесчинствующие толпы молодежи, народу пока неизвестны. Между тем, значительная часть интеллигенции Ташкента разделилась на тех, кто осуждает Ферганские события, и тех, кто осуждает, как эти события освещались в центральной прессе и на телевидении. Симптоматичное расслоение. Столбовая дорога человечества — единение. Нет сомнения, что к двухтысячному году оно придет более сплоченным, преодолев и погасив массу разногласий. Параноики и шизофреники, конечно, могут пророчить свое, но человек разумный внимать их призывам не станет. Кстати, ни одна из мировых религий не пошла по пути человеконенавистничества, преследования людей по признаку национальности, веры.

Ферганские события заставили русскоязычное население республики задуматься о своем завтрашнем дне. Есть ли здесь перспектива у детей, или лучше уехать в Россию? Кое-кто уезжает. В Фергане заявки на железнодорожные контейнеры сделаны на много месяцев вперед. Не власти должны на этот вопрос ответить, цена их заверениям известна, а сама жизнь. А как раз она ответа конкретного и определенного пока не дает. Напряженность существует. Я сам был свидетелем, как толпа молодежи на Комсомольской площади в Ташкенте, кружась в африканском¹ хороводе, скандировала антирусские лозунги. Юношам разяснили, что они ведут себя нехорошо, что русские не виноваты в низком уровне жизни, безработице, других бедах республики. Но ведь не из кишлаков своих студенческая молодежь привозит в столицу Узбекистана антирусские настроения. Они умело подогреваются отдельными представителями столичной интеллигенции. Не от сохи, не от станка идут эти настроения, и об этом необходимо помнить. На уровне сохи и станка межнациональных противоречий, розни нет, а есть представление о том, что населяющие республику народы не могут быть счастливы порознь, не могут прийти к достатку и благополучию каждый своим путем а только вместе. Однако есть на этом уровне и вызывающая досаду социальная инфантильность, пассивность: пусть власти сами разбираются с наболевшим.

Власти несколько лет приходили в себя от рашидовского шока, от неприятно близкого знакомства с правоохранительными органами, и были мало на что способны. В последнее время положение, похоже, резко меняется. Новый первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана человек дела, и чувствуется, что у него твердая рука. Главное же, чувствуется, что у него есть свой, часто неординарный взгляд на то, какими путями идти дальше. Принято решение о наделении семей сельских тружеников и всех тех, кто живет на селе, землей. В размере до четверти гектара. Это решение огромной принципиальной важности. Ведь в староорошаемых оазисах, в той же Ферганской долине, десятилетиями не нарезались новые приусадебные участки, и дети вынуждены были ставить свои дома рядом с домами отцов и дедов на участке площадью 0,12 гектара. Для огорода, сада и виноградника не оставалось ничего. Землю получит примерно миллион семей. Социальная напряженность на селе сразу пойдет на убыль. Известно, что земля в личном секторе используется минимум втрое продуктивнее, чем в общественном. И, раз это давно известно, остается все же сожалеть, что в руки дехкан передается только четверть миллиона гектаров. Начало, однако, положено, и поблагодарим людей, которые не побоялись кардинальных мер. Ведь предыдущее руководство только лавировало и заверяло. И было бы совсем хорошо, если бы в процессе наделения крестьян землей удалось их оградить от посягательств руководителей хозяйств, руководителей районного звена на получение мзды за землю. Ведь принято решение о наделении сельского труженика землей, а не о ее выкупе.

Второй большой вопрос — создание новых рабочих мест для молодежи. Их требуется много, не менее двухсот тысяч ежегодно. И по этой части заверений от своих руководителей республика получала более чем достаточно. Делалось же ой как мало. Для ежегодных 3—4 процентов прироста промышленного производства, а более

¹ Вид коллективной демонстрации.

быстрыми темпами республика вперед пока не шла, новых рабочих мест на заводах и фабриках вообще не нужно. Нужен рывок, а есть топтание на месте. Рывок сегодня можно сделать, только опираясь на фундамент новых и новейших технологий. А это — капиталовложения, поиск путей сотрудничества с зарубежными странами, экспортирующими, за хорошую плату, конечно, свои знания. Это создание зон свободного предпринимательства, претендентов на которые в стране немало, и выиграть такую конкуренцию непросто. Аксакалы, помнящие еще годы нэпа, предлагают свой вариант ускоренного развития, но только не взамен первого, а в дополнение к нему. В годы нэпа в крае, при отсутствии крупной фабрично-заводской промышленности, процветали кустари и ремесленники. Ткани, одежда, обувь, мебель, строительные материалы — вот что они делали. Законы об индивидуалах и кооператорах позволяют сравнительно быстро и без расходов со стороны государства возродить промыслы, создать в кратчайшие сроки десятки тысяч семейных предприятий. Япония не бедная страна и не последняя в ряду индустриально развитых — семейные предприятия там процветают. Но без оптового рынка на средства производства, без рынка вообще семейные предприятия невозможны. На одном местном сырье, на отходах, в вечных просителях далеко не уедешь. Кстати, в условиях открытого рынка семейным предприятиям легче ориентироваться на новые технологии, чем крупным государственным, которые за 70 советских лет так и не смогли повернуться лицом к человеку.

Обращение к социальным нуждам, реальная, тщательная продуманная программа их удовлетворения способны сплотить людей разной национальности, погасить вспыхивающее там и тут пламя межнациональной розни. Хотя очаги эти, их открытое пламя чаще всего не следствие самовозгорания. Командно-административная система, разжиревшая на коррупции, ой как тоскует по твердой руке. И если страна будет свергнута в хаос межнациональных распрей, если народные фронты потянут республику из Союза, попутно оттесняя от власти партию и Советы, гибель нарождающейся демократии и возвращение твердой руки почти неизбежны. Платформа КПСС по национальному вопросу нацеливает на соединение усилий по возрождению страны: общие интересы много сильнее центробежных сил. Впрочем, вся земля стремится сейчас к единству, границы все более становятся анахронизмом.

Да, преодолевать, на пути к лучшей жизни, нам приходится одни и те же завалы. Чего хочется больше всего человеку, вдохнувшему свежего воздуха свободы, гласности, демократии? Развязанных рук ему хочется, избавления от пресса догм, которые до недавнего времени определяли образ его мыслей и сами поступки. Жалко ему себя, конечно, от осознания того, что винтиком он был безголосым, что от него ничего не зависело, но жалость к себе преодолима, если действительность открывает поле для самовыражения. А такое поле открыто сегодня для сева. Человек уже осознал и полюбил свободу внутреннюю. И тут же увидел, как тяжела инерция, мешающая прийти к свободе поступков, мешающая перестроить, на основе праведности, человеческие отношения и само человеческое бытие.

Революция совершалась с великой надеждой, что жить люди будут лучше. Мы знаем, что удалось нам, что — нет, и на чем замешаны наши большие и маленькие беды. Смысл нашего Союза в единении надежд на лучшую жизнь с усилиями по их осуществлению. Негоже забывать, что пришло к нам в советские годы. И мне довелось покрутить скрипучую ручку колодезного ворота, готовить уроки при керосиновой лампе, и у меня жадно загорались глаза при виде горбушки хлеба. Где теперь все это? В безвозвратном прошлом. Взвешивая сегодняшний достаток, однако, видишь, что другие страны успели добиться большего. И надо внимательно присмотреться, как и почему это произошло. Как сельскохозяйственные в недалеком прошлом Южная Корея, Таиланд, Малайзия, близкая к нам Турция, не имевшие сильного и многоопытного рабочего класса, в течение жизни одного поколения превратились в промышленно развитые, богатые страны. Видя это, особенно остро ощущаешь, что нам нужны иные, не похожие на вчерашние пути развития. Сегодня способность учиться, способность перенимать лучшее, брать его всюду, где оно есть, гарантирует быстрое продвижение вперед. Правда, теперь нам заявляют, что переходный период будет длиться чрезвычайно долго, чуть ли не четверть века. Это неприемлемо. У страны достаточный производственный потенциал и достаточный потенциал интеллектуальный, чтобы не через двадцать пять, а через пять лет кардинальным образом улучшить условия жизни советского человека. Эх, если бы не косность великая наша!

В это непростое время меня особенно привлекают искания молодежи. У молодого поколения есть многое для того, чтобы гармонично вписаться в современную жизнь. Я мечтаю о таком положении, чтобы юноше, который родился в Узбекистане, были в равной мере открыты и доступны все четыре стороны света, весь тот голубой простор, который до преклонных лет будоражит воображение.

Возражая, мне могут сказать, что я вырос в других традициях, надо мной довлеют иные духовные ценности. Есть отчий дом, есть притяжение родного порога, которое не слабее земного. И, отдавая должное традициям и обычаям, в центре которых отчий

дом, отдавая должное нравственным ценностям, которые на этом фундаменте покоятся, я считаю, что открытость и доступность всех четырех сторон света, готовность считать все четыре стороны света своими только помогут юноше-узбеку вступить в самостоятельную жизнь, вступить на равных с такими же юношами, которые выросли в Москве, Нью-Йорке или Берлине. Однако открытость и доступность четырех сторон света не приходит сама собой. Образование, воспитание, психологический настрой, высокие патриотические цели, поставленные перед молодым человеком отцом, матерью, страной, — вот составляющие открытости и доступности всех сторон света. Да, первопроходство — удел сильных. Но кто хочет, чтобы его дети выросли слабыми, сторонились иноплеменников? Они должны знать, уметь и хотеть в том же объеме, насколько не меньше, в каком знает, умеет и хочет молодежь мира.

Чем богаче страна, чем выше ее интеллектуальный уровень, тем меньше ей нужны границы или барьеры, их заменяющие, — административные, экономические, языковые и другие. Не устану повторять, что единение — столбовая дорога человечества. Доказательств и подтверждений тому масса. Но ведь сам процесс единения возможен лишь на определенном, весьма высоком нравственном и культурном уровне и потому, что русский при этом продолжает оставаться русским, узбек — узбеком, японец — японцем. Едва ли возможно какое-либо продвижение вперед на столбовой дороге человечества без того, чтобы, к примеру, русский, оставаясь русским, не уважал узбекское в узбеке или японское в японце. Уважение к языку, традициям и обычаям других народов сегодня непрерывный элемент духовного облика молодого человека, которого общество подготовило к вступлению в самостоятельную жизнь.

Наше время — время стремительного взлета таких ценностей, как национальное самосознание, культура, история. И это при том, что культура межнационального общения в нашей стране складывалась веками. Взаимный учет, взаимное уважение нужд и интересов людей разных национальностей наполняют межнациональные отношения конкретным содержанием, направляют их в русло сотрудничества. Русский в Узбекистане не может быть счастлив без того, чтобы не был счастлив узбек. Это аксиома. И первое, и самое важное, что нам предстоит сделать совместно, — это уйти от бедности, от низкого уровня жизни, очистить от ядов и грязи среду обитания. И так ли уж важно, кто из нас при этом на каком языке будет говорить?

Опыт совместного проживания людей разных национальностей учит, что ничто их так не сближает, как совместная работа по достижению такого качества жизни, которое бы удовлетворяло всех. Этот путь позволит раскрыть способности каждого, на каком бы языке он ни говорил и из каких бы ценностей ни состоял его внутренний мир. Это факторы созидательные. Рядом с ними присутствуют и факторы разрушительные: коррупция, национализм. Борьба того, что идет от реформ Горбачева, от насущных потребностей честного человека, с тем, что буйно расцвело в застойные годы, и определяет сегодня реальную атмосферу межнациональных отношений. У народа есть средства и способы оздоровить эту атмосферу, насытить ее кислородом доброжелательства. Мне кажется, что исследования в области межнациональной политики должны прежде всего планировать такое удовлетворение запросов людей разных национальностей, в результате которого никто, за исключением разве что экстремистов (им никогда не угодишь), не почувствовал бы себя ущемленным.

Сегодня укреплять и оздоравливать страну означает, прежде всего, укреплять и оздоравливать все то, что нас соединяет. А простор-то какой впереди! Рухнули догмы, и открылись дали действительно светлые. Впервые мы начинаем жить с развязанными руками. И нам ли, имеющим за плечами такой опыт и такие уроки, пачкать наши души рознью и неприязнью?

* * *

«И этот не обошелся без очернительства!» — могут бросить мне со злостью. И бросят, не сомневаюсь. Это не так. Стыд, великий стыд движет моим пером. Стыд за прошлое, за наших руководителей, так нелепо тративших богатейший созидательный потенциал народа, и за себя, вынужденного выполнять столько показушной, безрадостной, никчемной работы.

Но есть еще надежда.



Венера Абдуллаева

* * *
Каким он должен быть, поэт?
Титаном? Ангелом? Героем?
Блистательный его сонет
Не схож порой с его судьбою!

И как на черновом листе,
В его делах — то грязь, то прочерк,
И в повседневной маете
Коряв и неразборчив почерк.

Он — сгусток человеческих бед,
Ты правды от него не скроешь...
Каким он должен быть, поэт?
Не полубогом. Не героем.

Судьба

Кого винить, что так случилось?
С судьбой мы были не в ладах.
Да, на тебя я вечно злилась,
Была глупа, была горда.

Теперь мы стали оба старше,
Стреножь меня, не упusti.
Продли моих стремлений ярость,
А что корила — так прости.

* * *
Конец пути. И нет тревог.
И сон бесчувственно глубок.
Размотан бытия клубок.
Прощай. Переступи порог.

Там нет ни стирки, ни тепла,
Не будет ни добра, ни зла.
Уродства нет и красоты
В крошечном царстве пустоты.

Да, это так — для всех и всем.
Был говорлив, пребудешь нем.
Ты в жизни истину ищи.
Смерть лучше жизни без души.

* * *

Рояль, величье мира славящий,
Мирков ничтожных шум и гам.
О сколько их еще на клавишах —
Минорных гамм, мажорных гамм.

И струнами или канатами
Сплетаюсь с музыкой земной,
С ее совсем не райской святостью,
Совсем не адскою виной.

Звучит в неслыханном и слышанном
То «может быть», то «если бы»...
Гармония мечты возвышенной
И дисгармония судьбы.

* * *

Спрашивают: сколько тебе лет?
Смотрят так, как будто не отвечаю.
Мне года скрывать причины нет,
Ни одного я ложью не отмечу.

Да, все года — мои, и я горда,
В них радости и грусти теплый свет.
Они мое богатство навсегда...
И вновь вопрос: а сколько тебе лет?

И смотрят так, как будто не отвечаю.

* * *

Опять зима, опять, опять утраты.
Кого? Чего? Я помнить не хочу.
Как капли крови, зернышки граната,
По лунному скользящие лучу.

Давно уж снег белеет у порога,
На нем лишь верный пес оставил след.
И будто я состарилась до срока,
Сижу, грущу, укутав ноги в плед.

Личинкою, закутанною в кокон,
Себя я ощущаю... Снег и снег.
Мне холодно, мне страшно одиноко,
Где мой родной, мне близкий человек?

Не жаль, что я обидела кого-то.
Кого жалеть, себя и то не жаль.
Во мне зимы дисгармоничной нота...
Пройдет зима, развеется печаль.

* * *
Живи, покуда жив.
Покуда жизни хватит.
Без спешки, толкотни и суеты —
Живи!
К чему в пустой степи дорожный указатель?
На всех путях зимой —
Пучки сухой травы.

Следы чужой стопы,
Чужой лыжни пологость,
Чужие алтари, скитанья и мольба.
Но ты иди своей единственной дорогой,
Единственной своей,
Где обретешь себя.

И как бы в темноте ни злобились метели,
И как бы ни был путь изломан и нелеп,
Ты топчешь грудь земли,
Идешь к заветной цели,
Чтобы своим теплом согреть
Сухую степь.

* * *
Без слабости ничтожна сила.
Ее судьба — скольжение вспять.
Звезда паденье осветила,
Устав в ночной дали сиять.

Звезда растаяла бесследно,
Забыт ее извечный свет.
Она ушла во тьму рассветно —
Был жизнью миг ее согрет.

* * *
Надеемся на завтрашнее счастье,
Сегодняшнее ценим не сполна.
Разменивая жизнь довольно часто,
Хотя и знаем, что она одна.

Как воду, упускаем меж ладоней
Прекраснейшие миги бытия,
И что за жажда нас по жизни гонит?
Простите, позабытые друзья.

Непостижимо множатся утраты,
Все больше отлучений и обид.
Бесценностью растроченного клада
Нас дразнит память и судьба хранит.

* * *
Чья дорога светла и проста,
В том земная сильна доброта.

Только спесь говорит: простота
Хуже будто бы воровства.

Знаю: это не так — простота
То же самое, что высота,
Это помыслов, чувств чистота.
Спесь в ответ: это только слова.

* * *

Виноват ли кто? Не знаю.
Может, быстрые часы?
Будто я у жизни с краю,
А с другого края ты.

Может, ты отстал немного,
Поспешила я слегка?
Между нами много, много
Весен кануло в века.

* * *

Мы порой — для грубости мишень,
Оскорбить — нетрудно и недолго.
Тяжело растоптанной душе
Отвести укус занозы колкой.

Почему и в наши дни, как встарь,
Прет вперед, пижонист и нахрапист,
Тот татуированный дикарь
В галстук, в перчатках и при шляпе.

На селе

Придвинусь к печке, в теплый угол,
Нельзя привыкнуть к холодам.
Одно всегда — дрова и уголь.
Зачем мне дом? Весной продам.

Зимой о городе мечтаю,
Газ помяну, теплоцентраль...
Весной в цветущий сад войду я,
Скажу: «Холодный был февраль!»



Абдулла Каххар

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

РАССКАЗ

1.

Ученый секретарь института доцент Сабир Салимов был приговорен к расстрелу и вот уже двадцать пять часов кряду сидел в камере смертников, ожидая своей участи.

И хотя город был уже давно неспокоен и повсюду множились слухи о диверсиях и вредительстве, сам Салимов думал, что в тюрьму его забрали по недомыслию и что правда непременно восторжествует и его скоро отпустят, попросив предварительно прощения. А раз так, то при аресте он не счел необходимым не только запастись постелью, но и позвать жену, сидевшую на свадьбе у соседей.

Тюрьма до революции была складом одного купца, и этот склад теперь разделили надвое: одна половина пошла на шесть одиночек, а из другой получился коридор. Салимова, недолго расспрашивая, заперли в одну из высоких и узких камер. Был поздний час, и потому «торжество правды», оставленное на завтрашний день, не особо расстроило Сабир. «Ведь и они — люди, и у них — семьи, дети...»

Утром его вывели умыться и заперли опять. Через отверстие в двери подали завтрак, затем окошечко одиночки не открывалось до самого обеда. Спустя три дня Сабир получил из дому постель, полотенце и мыло.

Прошло три, пять, десять дней... На одиннадцатые сутки в камеру вошел следователь и зачитал узнику обвинительное заключение. В нем говорилось, что Сабир Салимов является членом контрреволюционной организации, «задачей которой было распространение в народе пораженческих настроений на случай войны, а также внушение сомнений в мощи Советского государства».

Салимов был предан Советской власти и если чувствовал хоть тень сомнения в том или ином политическом вопросе, то старался докопаться до его сути, по ходу убеждая себя и других в правильности своих рассуждений. И даже по существу обвинения он решил: «Все это, разумеется, чепуха и домыслы, но сейчас, когда страна очищается от своих тайных врагов, видимо, есть необходимость и в таком решении!» Следователь как бы согласился с ним и, улыбаясь, протянул авторучку для подписи на обвинительном заключении. Сабир улынулся в ответ, давая понять, что он разбирается в тонкостях этой политики, но подписывать не решился: ему показалось, что обвинение составлено фальшиво и в то же время подло. Он возвратил бумаги следователю, сказав при этом с улыбкой: «Не годится. Стоящее обвинение я напишу сам». Следователь молча ушел, но назавтра вызвал его в свой кабинет. Дал ему стопку бумаги, ручку и вышел из кабинета.

Сабир и впрямь был грешен перед Советской властью, и этот грех долгие годы не давал ему покоя. Теперь он вознамерился признаться в вине, о которой никто не знал, с одной стороны, чтобы очистить совесть, а с другой — чтобы настоящее

преступление послужило действительным основанием для содержания в тюрьме, а по истечении срока наказания стало бы основанием и для его освобождения.

Отец Сабира — точильщик усто Салим — в поисках хлеба насущного каждую зиму ходил по кишлакам и каждое лето — по полям. Однажды, когда был разграблен Суфикишлак и племянника усто расстреляли басмачи, он привязал остро заточенный серп к шесту, затаился на крыше и скосил голову скакавшему мимо бандиту. После этого он бежал с семьей в город, устроил Сабира в интернат, а сам записался в отряд знаменитого командира Эрмата Кичкины. Отряд Эрмата выполнял в то время задачи боевой разведки в борьбе с басмачами.

...Каждый четверг детей отпускали из интерната домой, и, проведя пятницу в семье, они возвращались обратно. В один из четвергов Сабир не застал отца. В предыдущую пятницу тот выехал с отрядом в кишлак и с тех пор не возвращался. В комнате на стене висели два ружья, на полке лежали четыре пистолета с патронами. Сабир тогда вдоволь наигрался с оружием, а наутро следующего дня тайком от матери забрал с собой один из пистолетов с шестью патронами к нему. С друзьями из интерната они пошли тогда за город, в тугай, чтобы пострелять. Сабир решил все же вернуть пистолет на место, а потому всю неделю хранил его то под подушкой, то в печке, но в следующий четверг детей не отпустили по домам, а вечером в субботу в интернат с воплями ворвалась мать Сабира. Оказывается, усто Салим погиб в бою с басмачами. Хоронил его весь город.

А пистолет вместе с патронами так и остался у Сабира. Целых одиннадцать лет хранил он его безо всякого разрешения и документов. За это время он поступил на факультет востоковедения университета, познакомился со своей сокурсницей Гульдандом, будущей супругой.

...Той осенью студенты были вывезены, как обычно, на сбор хлопка. Сабир, к сожалению, попал в одно из отделений совхоза, Гульдандом — в другое. Но почти каждый вечер после работы юноша навещал девушку. И из удачливости брал с собой пистолет. Вот и в тот вечер он шел с заряженным пистолетом в кармане. Подходя к отделению, решил поиграть им и нечаянно нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, к счастью, не причинивший никому вреда, но всполошивший округу. Сабир не на шутку перепугался. И прежде чем на выстрел сбежались студенты и преподаватели, он успел выбросить пистолет в поле, а сам как ни в чем не бывало зашагал прочь.

В тот раз он так и не увиделся с Гульдандом, чтобы не выдать своего волнения. Довольный тем, что все обошлось, Сабир все дальше уходил от злополучного места. Но вдруг ему стало не по себе: «Пистолет как-никак достался мне от отца, хранит следы его рук... Мало ли кому он достанется теперь. А вдруг какому преступнику?.. Столько лет я хранил его незаконно, что, между прочим, уже преступление, не хватало еще вооружить бандита!» Однако возвращаться Сабир не стал, и мысль о двух преступлениях надолго осталась в его сердце.

Вот об этом-то подробно и написал теперь Сабир Салимов, вместо того клеветнического и ложного обвинения. Действительно, это могло служить основанием к его аресту. А стало быть, учитывая давность, считаться и основанием для его оправдания.

Следователь внимательно ознакомился с новым материалом, коснулся некоторых мест карандашом, кое-где вскинул бровь, кое-где призадумался, приставив палец к виску и прищуривая глаз. И хоть на душе у Сабира было беспокойно, он гордился исполненным и ожидал похвал. Следователь положил материал в ящик стола, встал и прошелся по кабинету. Затем внезапно спросил: знает ли Салимов людей по имени Джон Рид и Миён Бузрук? Сабир пожал плечами. Следователь вернулся на место, вынул два листа бумаги и швырнул их на стол, раздраженно пробурчав:

— Мы можем помочь вам вспомнить забытое, можем и рассказать о том, чего якобы вы не знаете, но не ждите этого. Это не в ваших интересах!

Сабир просмотрел оба листа. То была характеристика, полученная из института. Сабиру приписывалась в ней куча обвинений: и что настоящее его имя — Джон Рид, и что он помогал школьникам ставить пьесы врага народа Саяха-Скитальца, и что в день мусульманского праздника хайит открыл дверь мечети, запертую активистами махалли, и что хотел установить забор вокруг кладбища — гнездовья служителей культа, где, кстати, похоронен Миён Бузрук, правда, при этом получил сокрушительный отпор от жителей махалли, наконец, что его дядя в свое время был цирюльником и пил кровь трудящихся... Сабир невольно рассмеялся.

— Джон Рид! Так это же американский писатель!.. «Десять дней, которые потрясли мир»! Книга, которую рекомендовал сам Ленин! Отец-то был у меня неграмотным, и ему наверняка ее кто-то читал. Вот он и называл меня ласково «Джонридом». То есть именем человека, чью книгу рекомендовал сам Ленин!..

Следователь недовольно буркнул:

— Вы считаете, что товарищ Ленин рекомендовал книги только зарубежных писателей?

— Почему же? Ленин говорил много хорошего и о Льве Толстом,— заметил Сабир,— и если бы отец читал Толстого, то, как знать, может быть и меня называл бы ласково «Толстым». Что тут такого?

Следователь молча встал. Прошел за спину Сабира, взял его левую руку, положил на стол и, переплетя ему указательный палец со средним, резко ударил по ним рукояткой пистолета. Сабиру стало тошно от боли, лоб прошибло холодным потом. Следователь же как ни в чем не бывало сел на место и достал из выдвижного ящика вчерашнее обвинительное заключение. Сабир, изживая из себя мучительную боль, поднес пальцы к губам и дрожащим голосом выдавил:

— Сволочь! — Затем застал, не столько от боли, сколько от обиды. — Если таким, как ты, доверяет Советская власть...

Следователь не отреагировал на оскорбление, но стал засыпать его вопросами по существу обвинения. Из них явствовало, что оно не было ложным, а основывалось на доносах, и составлявший его в меру своего ума, логики и целей пытался представить все в определенном свете.

Вблизи института не было столовых, и несколько преподавателей, а с ними некоторые служащие соседних учреждений «скидывались» иногда на плов в чайхане у берега сая. Уже ощущалась опасность войны, а потому, естественно, разговор заходил о ее возможности и соотношении сил. В одной из бесед Сабира, оказывающегося, сказал: «Если немцы станут с нами воевать, то проиграют наверняка, поскольку их промышленность сконцентрирована, а наша разбросана». Человек, который донес это «куда следует», выудил из фразы Сабира лишь часть о «нашей промышленности» и прокомментировал ее собственным нехитрым выводом: «Как известно, разбросанное — это значит отсталое, бессильное». Сабир стал догадываться, что если признается в сказанном, то будут арестованы все, кто в тот день ел с ним плов. И, поглаживая ноющие пальцы, он произнес:

— Вы не следователь, вы — клоун!

С каким гневом были произнесены эти слова, с таким же хладнокровием ответил и следователь:

— Хорошо, мы с вами еще поговорим!

Сабира отвели не в свою одиночку, а в самую последнюю по коридору. Дверь этой камеры была двойной и без отверстий. Стало темно и тихо. Сабир закрыл глаза: темнота чуть прояснилась, и ему немного полегчало, но мгновение спустя сердце опять гулко забилось. Он открыл глаза, потом опять закрыл. Ощущил, что перебой в сердце не из-за темноты, скорее из-за тишины. Казалось, только теперь он начал понимать, как важны в человеческой жизни простые звуки: лай собак, крик петуха, людской голос, шум воды, гул ветра, просто шорохи... Оказывается, можно найти успокоение, закрыв глаза в темноте, но нет успокоения от настороженных в тишине ушей, сердце при этом начинает заходиться, как будто чувствует тревогу. Хотя бы звук какой, хоть бы ящерица прошелестела...

Прошло немало времени, прежде чем глаза Сабира обвыклись с темнотой, выглядев в ней нары, парашу, углы одиночки, но к тишине он так и не смог привыкнуть. Чтобы хоть как-то одолеть ужас этого безмолвия, он попеременно стал то петь, то тереть себе виски, то свистать, то выть, как волк, перепробовал еще бог знает какие звуки. Наиболее приемлемым оказалось считать вслух от единицы до миллиона и от миллиона до единицы. Он считал и считал, пока не охрип, пока слюна не превратилась в клей и язык не прилип к небу. Тогда, перестав считать, он стал играть сам с собой, как щенок, потом, схватившись обеими руками за ступни, стал кататься по одиночке кубарем и, наконец, выбился из сил и уснул. Проснувшись, он опять стал петь, стал опять считать... Так шли его предположительные дни и ночи. Да и как узнаешь, сколько дней прошло, если кормят и заставляют выносить парашу только по ночам.

Наконец его опять вызвали на допрос. Был, оказывается, полдень, и лишь открылась дверь, как резкая боль ослепила глаза Сабира, и он схватился за лицо руками. Его, как слепого, повели под руки. Следователь начал допрос.

Оказывается, Сабир просидел в одиночке семьдесят дней.

Допрос продолжался три часа. Из вопросов следователя, задаваемых то вежливо, то с угрозами и криками, следовало, что Салимов является активным участником контрреволюционной организации, и это не случайно: отец его, Салим Самандар, служил вместе с Эрматом Кичкиной, который тоже разоблачен как враг народа. Его отряд под видом разведки поставлял басмачам оружие, боеприпасы и даже лошадей. Сабир Салим до последнего времени держал при себе для террористических целей пистолет, доставшийся ему от отца, и, боясь разоблачения, выбросил его в поле.

Оглушенный от несусветной клеветы, Сабир не расслышал очередного вопроса

следователя, и тот тут же навис над ним. Сабир, все еще держащий одну руку у глаз, судорожно прикрыл другой голову.

— Не бейте меня, не бейте, это бесполезно... Вы не верите мне сейчас, так думаете, что я стану говорить правду, если станете бить? Опомнитесь, вы ведь тоже человек!.. Я не знал, что в наших тюрьмах избивают людей, да и сейчас это не умещается в моем сознании. Какой-то кошмарный сон...

Следователь ударил кулаком по столу и закричал:

— Какой дурак жалеет врага?!

— Правильно,— сказал Сабир.— Врага жалеть не надо, но сначала докажите, что я вам враг!

Следователь еще раз грохнул по столу.

— Как доказать, если вы сами не признаетесь?!

Но, вдруг ощутив нелогичность своих слов, продолжил более мирно:

— Ну хорошо, что вы скажете, если при очной ставке свидетель подтвердит все ваши слова?

— Тогда я готов поставить не одну, а две подписи на каждой странице вашего обвинения.

Сабир не мог представить себе человека, который лгал бы лицом к лицу, но когда на следующий день он вошел в кабинет следователя, то увидел преподавателя кафедры права Мирвахиду. За два года работы с ним Сабир почти не обращал на него внимания. И вот Мирвахид сидит перед ним, толстый и рыхлый, с висячими щеками, с затылком, сросшимся с шеей, с полуприкрытым ртом, сквозь который слышится сопение. Он и не шелохнулся при виде Сабира и только многозначительно обменялся взглядом со следователем. Опустившись на стул, Сабир внимательно посмотрел на Мирвахиду. Тот, казалось, не узнал его и продолжал сопеть, хлопая ресницами и уставившись перед собой. И только после знака, поданного следователем, вдруг затараторил:

— Я знал и ваши положительные стороны, Сабирджан-ака, и даже не скрывал в свое время уважения к вам. Считаю, что это может подтвердить всякий, кого ни спросите. Поэтому и речи не может быть, чтобы подозревать меня в какой-нибудь корысти. Здесь речь идет о нашем социалистическом государстве, о нашей власти, о нашей отчизне, о высоких коммунистических идеалах. А раз так... разбросаны или не разбросаны наши силы, но идеи наши крепки, как монолит! Я так считаю. Если вы думаете, что слабы,— это ваше личное дело... Кроме того, вы хвалили врага народа... Вы хорошо знаете, о ком я говорю, о заклятом враге народа — Эрмате Кичкине!

— Хватит! — оборвал Сабир и посмотрел на Мирвахиду.— Все ясно. Я хочу сказать лишь об одном: я думал, что только легавая рада прислуживать охотнику, но видать...

Мирвахид мгновенно бросил взгляд на следователя, как бы ожидая защиты. Следователь попытался прервать окриком Сабира, но тот продолжал:

— Теперь что касается Эрмата Кичкины. Я не знал, что он арестован, да и знал бы, все равно хвалил бы его как защитника Советской власти. Я готов славить его и сейчас. Такие, как он, утверждали Советскую власть в Узбекистане, выносили ее на руках, вырастили и поставили на ноги. Вычеркивать их из истории двадцатых годов — это значит оставлять там только басмачей! — Сабир махнул рукой.— Все равно вам этого не понять!.. Они были чернью, зато чувствовали дыхание Ленина. Будь у каждого из них свой Фурманов, каждый из них стал бы Чапаевым.

Следователь расхохотался.

— Так и отец ваш, говорите,— Чапаев!..

Эти слова пронзили сердце Сабира насквозь, и он застонал от обиды.

— Мой отец был простым солдатом, когда он погиб, его хоронил весь город,— произнес он с гордостью.

Следователь пропустил его слова мимо ушей. Поблагодарив Мирвахиду, он разрешил тому идти.

Ничего больше у Сабира следователь спрашивать не стал. Его опять отвели в темную одиночку. Опять он принялся считать дни. Теперь этот счет был необходим, чтобы преодолеть ужас не только тишины, но и образа этого толстомордого Мирвахиду, что стоял у него перед глазами.

В конце концов Сабир свыкся и с темнотой, и с безмолвием, и даже с физиономией Мирвахиду. Теперь он перестал и считать. Когда, по его разумению, прошло около двух или двух с половиной месяцев, следователь вызвал его на новый вопрос. Но опять все те же слова, те же угрозы, те же оскорбления...

Судя по допросу, были арестованы еще несколько человек из института. После этого вызовы участились: поначалу они шли через день, а потом и ежедневно. В один из таких дней Сабир, поднимаясь по ступенькам, увидел идущего навстречу знакомого, приглядевшись, он признал в нем провизора ближней аптеки. Сабир

попытался остановиться, но по лицу провизора было видно, что ему это не по нутру, и даже больше того, сравнившись с ним, провизор неожиданно плюнул в сторону Сабира и молча пошел вниз. Сабир, ошарашенный, обернулся назад, хотел что-то сказать, но солдат не разрешил останавливаться. Сабир больше не видел провизора — спустя несколько дней тот выбросился из окна и разбился насмерть.

Вскоре допросы стали длиться сутками. Следователи работали посменно. Но каждый из них предъявлял одно и то же обвинение, каждый из них кричал, угрожал, обещал верную смерть... Сабиру надоели эти физические, а более всего душевные муки, и он решил покончить с собой, как провизор. Поднимаясь по ступенькам, он собрался было броситься в пролет вниз головой, но дойдя до самого верха, раздумал: неужели никогда в эту крошечную ночь не пробьется луч света, не наступит день! Неужели он никогда не увидит свободу, живых людей! Лишь эта вера и эта надежда удержали его от верной смерти, дали силы противостоять физическим и духовным надругательствам.

Однажды в течение двух часов его допрашивали три следователя. Допрос шел необычно спокойно и даже мирно. Подобное течение допроса, а также то обстоятельство, что его отвели в другую, светлую одиночку, наполнило Сабира ощущением победы. Этот день чудился ему праздником. Но с наступлением темноты пришел незнакомый человек в окружении трех солдат и зачитал Сабиру приговор «тройки». Уверенный в своем оправдании, Сабир прослушал начало приговора. Он стоял, ожидая того места, где прозвучит фраза: «Сабир Салимов полностью оправдан!» Но тройка приговорила его к расстрелу и дала 72 часа на обжалование. Сабир понял это мгновение спустя. Холодное оцепенение охватило его существо. Он, как мальчик, потерявший рассудок, невольно спросил: «Но почему, ведь сегодня меня поместили в светлую камеру?»

Одиночка закрылась на замок. Первая мысль, пришедшая в голову Сабира, звучала так: «Надо писать жалобу Сталину!» Но и эта мысль, как давешняя, была далека от рассудительности: как, через кого, каким образом он передаст эту жалобу?

Спустя некоторое время Сабир попытался утешить себя мыслью: «А не уловка ли это, чтобы запугать меня?» Но в то же мгновение отказался от такого предположения: «Когда бы им хотелось запугать, они кричали бы «Пристрелю!», а то и стреляли бы поверх головы. Нет, это приговор, приговор!» И все же Сабир не мог расстаться с надеждой на жизнь.

Прислонившись к стенке, он затих. Ему казалось, что человек, который будет его расстреливать, отвлекся на другие дела, и если Сабир шелохнется, то прибежит сию же секунду. Так и стоял Сабир, не двигаясь. В голове роились тысячи мыслей, но ни одна из них не несла утешения. Среди них то и дело мелькала и такая: «А, может быть, приговор все же отменят?»

Завод «Красный Октябрь», как обычно, дал гудок в час тридцать. Через некоторое время с лязгом открылась дверь в тюремном коридоре. Было слышно, как вошли двое. Сабира опять окатил холодный ужас. Нет, на этот раз сначала открылась, а потом закрылась дверь соседней одиночки и немного спустя донесся звук долгого зевка женщины. Женщина зевнула еще и еще раз, за какие-то пять минут она зевала раз десять.

Сабир постучал кулаком в стенку. Спросил:

— Кто вы?

Заключенная, услышав его голос, простионала:

— Я Омонова... Была приговорена к расстрелу, подала жалобу, жалоба, как видно, отклонена, меня перевезли из большой тюрьмы сюда... привести в испол...

Заключенная еще раз зевнула. Сабир припомнил: Омонова была председателем сельпо и, чтобы скрыть преступление отца, убила старушку-соседку и свою невестку. Рассказывали, что в свое время ее отец закопал у себя в сарае два пулемета, восемь винтовок, двенадцать ящиков патронов и много золота. Убитая старуха то ли видела это в молодости сама, то ли слышала, во всяком случае, впоследствии поведала об этом Омоновой, а при разговоре присутствовала и невестка. До того, как Сабир был арестован, слухи о преступлении занимали весь город, и все знали, что в скором времени над Омоновой с ее сообщниками должен состояться суд.

Заключенная опять зевнула и опять застонала. Сабиру казалось, что где-то шелестит крыльями смерть. И вот открылась дверь коридора, потом камеры, раздался голос: «Собирайся!» — и заключенную увели...

Сабир ждал своей очереди. Нет, за ним не пришли. Наступило утро. Сабир немного утешился, как-никак, миновала ночь, а такие дела вряд ли совершаются при свете дня...

Утром его не вывели опорожнять парашу, но завтрак дали. И завтрак заметно его оживил. Правда, потом он опять пришел в уныние: дескать, что я им, баран какой, что откармливают перед смертью?

Дали обед. Сабир почуял тоненькую, с волосок, связь с жизнью. Обед! Днем! Нет, такие дела делаются ночью...

Садилось солнце, и наступал вечер. В камере стало темнеть. Бледно зажглась лампа на высоком потолке... Когда же, наконец, они придут? В час тридцать, на рассвете? Смерть, пощелкивая костявыми пальцами, казалась, нависала над Сабиром. Он вдруг отчетливо увидел, как идет к ней, как его расстреливают, как он, измазанный кровью, валяется в яме и над его трупом свисает морда толстомордого, с полуоткрытым ртом Мирвахиды...

2.

Гульандом вернулась со свадьбы в пятом часу утра. Почуввав ее, залаял их пес Каплан, залаял, чуть не срываясь с цепи, завыл, опять залаял... Гульандом удивилась: пес был привязан в другом месте. Она вошла в дом и опять удивилась тому, что свет в кабинете мужа до сих пор горит, и, уже проходя в спальню, заглянула в кабинет. Сабира не было. В кабинете все было перевернуто вверх тормашками. Сердце Гульандом тревожно заныло, она стала звать мужа. Никто не отвечал. Тогда она вышла во двор. Каплан все еще выл, как будто стонал. Гульандом вернулась в дом, разбудила сына. Он ничего, разумеется, не знал. И вдруг Гульандом поняла, что произошло, вбежала в комнату, стала осматривать одеяла. Нет, Сабир ни одного из них не взял...

Так уже повелось — пропавшего ждали три дня, если он не возвращался, то обращались в органы. Раньше трех дней идти нельзя, поскольку, если он не арестован, то там могут зародиться подозрения, и разыскиваемого арестуют уже непременно.

Через три дня Гульандом узнала о муже все и отнесла ему постель. Она по возможности пыталась скрыть арест своего мужа, предупредив об этом и сына, ибо в те дни на близких арестованного смотрели, как на прокаженных, брезговали ими, точно ждали их скорой смерти.

На четвертый день Гульандом, под предлогом забрать корзину, которую она приносила на свадьбу, вышла проведать соседку. Женщина в халате, растапливающая тандыр, увидев ее, тут же ушла под навес. Гульандом остановилась посередине двора. Ее никто не вышел встречать. Спустя некоторое время корзину вынес четырехлетний карапуз и, дотавив ее до ног Гульандом, бросил, чтобы бегом припуститься обратно. Она взяла корзину и вернулась домой.

За какой-то месяц беда высосала, искромсала Гульандом. Согнулся ее нежный, стройный стан, погасли неподвластные ей искорки в черных глазах, побледнели алые губы, почернели и стали некрасивы некогда так украшавшие ее волосики над верхней губой. Потом увяли щеки и пропали на них смешливые ямочки.

Сын ее Исмат страдал не меньше: двенадцатилетний мальчишка превратился, казалось, в старичка.

Кроме того, стало тяжело вести хозяйство. Правда, через неделю после ареста Сабира кто-то оставил в щели калитки триста рублей, но на что их хватит? «И жернова не выдерживают бездействия» — так говорят в народе.

Гульандом после окончания института поступила было работать в редакцию, но из-за ревности Сабира ушла и с тех пор сидела дома, помогала мужу в работе, сыну — в учебе.

Теперь же ей самой надо устраиваться на работу. Но куда? Кто ее примет? В один из дней, когда Гульандом несла с базара сумку и была занята своими тяжелыми мыслями, с другой стороны улицы ее кто-то окликнул: «Гульандомхон!» Странно. Кто этот безумец или смельчак, рискнувший в такое время звать ее по имени и даже добавить уважительное «хон»? По ту сторону улицы стоял Мирвахид. Гульандом растерялась: переходить ей на другую сторону или не надо. «Не достаточно ли того, что он назвал меня по имени, причем так уважительно? Так стоит ли бросать тень подозрения и на этого человека?» — подумала она. Но с другой стороны — сотрудник мужа, кроме того, родственник Акрама Акбаровича, могущего помочь по части работы. Пока она додумывала эту мысль, Мирвахид подошел к ней и указал молча на полуоткрытые ворота. Для Гульандом в этом не было ничего зазорного, и потому она последовала за ним. Мирвахид протянул ей руку.

— Ну как, вы не в обиде... Не надо обижаться. Раз муж, не пожалев вас, пошел по кривой дороге, не жалейте его и вы! В институте все разгневаны! Шутка сказать, опозорил весь коллектив! Я знаю ваши положительные стороны, искренне уважаю вас... Вы этого так не оставляйте, вы еще молоды, у вас сын... вашего сына могут исключить из школы... Вам нужно отречься от врага народа! Вот вам мой искренний совет! Но пусть этот разговор останется между нами.

Дыхание Гульандом прервалось, и она проглотила тяжелый ком.

— Мирвахид-ака, я не знаю вины за моим мужем.

— Очень хорошо, очень хорошо! — засуетился Мирвахид, кольхая животом. — Я сам думал именно так. Если бы вы знали вину вашего мужа, то наверняка были бы там же!

— Нет, я не думаю, что он виноват.

Мирвахид вскинул бровь и покачал головой.

— Наверняка за ним числится вина, — сказал он трагическим голосом. — Я думаю, что соответствующие органы лучше нас знают об этом. Вы сказали это мне, но не вздумайте говорить кому другому!

Мирвахид подал руку на прощание. Гульандом попрощалась с выражением благодарности. На улицу первой вышла она, а за ней уже Мирвахид. Обходя ее, он нагнулся к ней, прошептал:

— А насчет моих слов подумайте.

Всю ночь Гульандом думала и согласилась с Мирвахидом: во-первых, она оградит себя от клеветы и сплетен, вроде «жены врага народа», во-вторых, подымет голову ее сын, а кроме того, не будет отравлена вся его жизнь, в-третьих, она обретет возможность устроиться на работу, вести хозяйство и воспитывать сына; наконец, если вернется Сабир, то неужели же он не поймет?!

Наутро Гульандом позвонила в институт и объявила Мирвахиду о своем решении. Мирвахид обрадовался, точно разрешилась его собственная судьба, стал не к месту благодарить ее и дал понять, что если удастся, то вечером он забежит к ней на минутку. Гульандом позвонить-то позвонила, но все же почувствовала неловкость: ведь если она решила развестись с мужем, то чего не идти напрямик в ЗАГС, при чем тут Мирвахид, зачем беспокоить и его?!

Смушенная этим, Гульандом принялась вместе с сыном подметать двор, пришедший в запустение с тех пор, как арестовали мужа, приготовила под навесом, закрытым с двух сторон вьющимися зарослями роз, место для гостя.

Мирвахид пришел, когда стемнело, но, видимо, постеснялся соседей и долго засиживаться не стал, тем более, что, несмотря на окрики Гульандом, беспрестанно даял пес. Спешно сказав о разумности, политической зрелости Гульандом, он написал ей заявление в ЗАГС и ушел.

На следующий день Гульандом пошла в ЗАГС. Через день ей молча вручили свидетельство о разводе.

Через три дня на последней странице городской газеты появилось маленькое сообщение. В нем говорилось, что истинная советская женщина Гульандом расторгла брак с врагом народа Сабиром Салимовым.

В этот день вернулся рано из школы Исмат. Гульандом бросила на него удивленный взгляд, но, заметив его бледность, ничего спрашивать не стала. Исмат хотел что-то сказать, тряс газетой, но рот его беззвучно скривился, он весь задрожал и вдруг грохнулся наземь. Мальчишка бился о землю головой, тело его судорожно извивалось, а рот издавал мучительный хрип. Гульандом, вне себя, завопила. Сбежались соседи. Кто-то поднял Исмата. Но он молчал, все сильнее закусывая губу, и только мотал головой. Его пытались гладить, целовать, успокоить и отвлечь. Немного спустя всем все стало ясно. Сосед-старик поднял валяющуюся на крыльце газету и, тряхнув ею пару раз, показал заметку.

Люди молча расходились. Исмат лежал на диване, стонал, Гульандом же, рыдая, сидела в двух шагах и не смела коснуться сына.

Назавтра Исмат не пошел в школу.

Со следующего дня стали приходить письма. И каждое из них дышало тем гневом и презрением, которые кипели в душе Исмата, каждое из них впечатывалось, как раскаленное железо, в душу Гульандом. Она рвала на себе волосы, беззвучно рыдала, и вместе с тем в уголке ее души мелькала мысль: «Так, стало быть, есть люди, не потерявшие ума от страшных слов «враг народа».

Гульандом заболела и слегла. Прежде, когда она пыталась объяснить, Исмат вставал и уходил. Но на этот раз он остался, пожалел больную мать. Но вдруг помимо его воли из груди вырвалось: «Не арест отца, а ваш поступок опозорил меня перед друзьями. Никто из жен, детей «врагов народа»... — Исмат, рыдая, вскочил с места...

Однажды в рассветной полутьме залаял их пес. Кто-то стучал в ворота. Гульандом почему-то решила, что вернулся муж, и, спускаясь с крыльца, чуть было не окликнула: «Сабирджан-ака!» Нет, это был Мирвахид...

— Простите, Гульандомхон, умерла теща Акрама-ака...

Гульандом всплеснула руками:

— Вай, когда?

— Вчера вечером. Вот пришел, думая, что поможете...

Гульяндом, повременив, ответила:

— Конечно же... но как это будет выглядеть, если я появлюсь у товарища Акбарова дома. Все же секретарь райкома... Что скажет он сам?

— Вы будете в ичкари¹, — поспешил успокоить ее Мирвахид. — А кроме того, Акрам-ака вас знает. Я ему говорил...

Гульяндом наспех приготовила завтрак Исмату и пошла к секретарю райкома. У входа в пятиэтажный дом стояли несколько важных персон и человек двадцать милиционеров. Гульяндом остановилась поодаль, решив, что среди этих людей, наверное, были и те, кто писал ей письма, и, смутившись от этой мысли, накрылась платком, чтобы, опустив лицо, быстро проследовать мимо.

Мирвахид стоял на лестничной площадке второго этажа, видимо, поджидая ее, он сразу повел ее в комнату и показал на дверь, куда надо войти. Ступив два шага по комнате, Гульяндом остановилась. Какой-то тощий и лысый человек в полувоенной форме и высоких сапогах нависал над молодой плачущей женщиной и шипел:

— А ну замолчи! Кому сказал, замолчи!

Он услышал стук шагов, обернулся, быстро заложил руки за спину и, подойдя к Гульяндом, кивнул, но руки не подал, и голосом, значительно более зычным, чем прежде, сказал:

— Проходите, товарищ Сабирсалимова! — полагая, видимо, что это ее фамилия. — Наша мать подчинилась законам природы! Помогите организовать эти дела! — И с этими словами вышел. Было видно, что он весьма недоволен смертью своей тещи.

Молодая женщина посмотрела на Гульяндом и пожаловалась:

— Видите, даже плакать не разрешает... Что же это такое, если из дома покойника не разносится плач... Бедная покойница: я сама чужая в городе, столько лет ни с кем не знались... Даже с соседями не разрешал общаться...

Гульяндом принялась ее утешать.

Оказывается, до сих пор не наварили людей ни к мойнице труп, ни к могильщику, и даже не приготовили савана. Гульяндом поручила все это Мирвахиду и вошла в комнату, где находилась покойница. Старушка лежала, как и умерла, даже глаза ей не закрыли...

Часам к двум Акбаров позвонил из райкома и справился о готовности труп, сказав, что в «три-ноль-ноль» подъедут машины.

Гульяндом засуетилась, на всякий случай отправила человека к могильщику и принялась сама обмывать труп, зашивая его в саван.

Ровно в три улица загудела. Подъехало и выстроилось несколько легковых и еще больше грузовых автомашин. Поднялся Акбаров с подчиненными, они вынесли гроб и установили его в машине, украшенной красными полотнищами и черными лентами. Пришедшие на похороны чиновники расселись по своим легковым машинам. Человек двадцать милиционеров не знали, чем заняться и куда пристроиться. Начальник милиции расставил часть из них впереди, часть — позади машины с гробом, остальных выстроил по сторонам процессии. И она двинулась по узеньким улочкам. Встречные люди, завидев колонну машин и милиционеров, застыли по сторонам, и только дети вертелись впереди процессии.

Мои́ла была готова, и гроб прямо с машины опустили в нее. Один из могильщиков начал было забрасывать его землей, но второй со словами: «Погоди, будут читать отходную», — остановил его. Однако, видя, что никто отходную читать не собирается, оба разом приступили к делу. Акбаров держал левую руку на боку, четыре пальца правой были всунуты между двумя пуговицами кителя. Голова его немного скосилась набок, казалось, он был занят мыслью о том, как выглядит в эту торжественную минуту и что думают о нем люди.

С кладбища все разъехались по своим делам.

Гульяндом, ожидая тех, кто зайдет на поминки, приготовила дастархан, но, кроме Мирвахиды, не пришел никто, включая самого Акрама Акбаровича. По комнатам слонялась молодая женщина, не зная, куда себя деть, и Гульяндом допоздна просидела одна возле накрытого стола. И лишь когда вернулся Акбаров, она незаметно вышла.

В конце недели вечером в дверь Гульяндом опять постучался Мирвахид. Чтобы не привлекать внимания людей в столь поздний час, Гульяндом заперла Каплана в конуру и отворила дверь. Полупьяный Мирвахид, лишь войдя, сообщил, что идет со свадьбы и осмелился зайти, несмотря на то, что подвыпил, потому что принес новость, и тут же зыркнул на нее, как голодная собака на кость. Это заметил Исмаи́л и, хмуро глянув сначала на мать, потом на Мирвахиды, ушел к себе. Гульяндом, не

¹ Женская половина дома.

зная, что делать дальше, протянула Мирвахиду пиалу холодного чая. Мирвахид отхлебнул его и вдруг захохотал:

— А я подумал, что коньяк! — Потом вдруг стал серьезным. — Новость вот какая... Говорить? Или не говорить? Ладно, скажу: мы вас хотим... пригласить на работу в институт!

— Спасибо! — сказала Гульдандом, не очень-то доверяя словам подвыпившего человека.

— Хотите сказать: а теперь ступай? — жеманно произнес Мирвахид, очевидно, ожидая приглашения остаться.

Гульдандом не знала, что ответить. В это время из комнаты вышел Исмат и стал как вкопанный между ними. Мирвахид хоть и был под хмелем, но почувствовал неловкость и, осторожно опускаясь с крыльца, решил показать, что приходил с бескорыстными намерениями:

— Так завтра приходите к директору!

Гульдандом приняли на работу в институт буфетчицей. В ее положении и это было большим достижением. Но не прошло и месяца, как она вся извелась: с ней никто почти не разговаривал, и в действиях каждого чувствовалось какое-то настороженное презрение. Гульдандом припомнила слова Мирвахиды: «В институте все разгневаны на Сабира. Шутка сказать, опозорил весь коллектив!» — и решила, что в этом вся причина. Иной раз ей хотелось крикнуть им в лицо: «Что вы хотите от меня, я ведь развелась с ним!» В действительности же причиной такого отношения людей было совсем не то, что Сабира Салимова объявили «врагом народа», а то, что эта женщина расторгла с ним брак и с показушной гордостью объявила об этом через газету.

Как-то раз после обеда Гульдандом сидела одна и пила чай. Пришел Мирвахид, громким голосом задал два-три вопроса, а потом, убедившись, что никого нет, перешел на шепот, расспрашивая о жите-бытье. Слезы у Гульдандом, казалось, были наготове и вдруг полились струями. Мирвахид дал понять, что здесь не место, вечером, дескать, приду к тебе. Гульдандом не смогла отказать. Возвращаясь с работы, она купила два билета в кино и, как только пришла домой, сообщила об этом сыну, чем несказанно его обрадовала, но за полчаса до прихода Мирвахиды пожаловалась на сильную головную боль и протянула оба билета Исмату. Сказала: «Сходи-ка с другом». Исмат молча взял билеты и, надев шапку, вышел.

Мирвахид пришел в обещанное время и, едва войдя в дверь, стал жаловаться, что вчера была крупная выпивка у одного товарища и сейчас, мол, голова его раскальвается. Сказав об этом, он достал из кармана бутылку вина. Гульдандом растерянно пригласила его в дом и выставила на стол все, что имела. Мирвахид открыл бутылку, налил в два стакана доверху и, как ни отказывалась Гульдандом, он влил в нее вино чуть ли ни силком. После этого ей стало легче на душе, и она начала жаловаться и на людей в институте, и на свою несчастную жизнь. В эту минуту она почувствовала такую безысходность, что она одна на всем свете и никому не нужна, что когда Мирвахид, как бы утешая ее, поцеловал сначала в лоб, а потом и в губы, Гульдандом, как покойница, не шелохнулась. Теперь Мирвахид через каждое слово целовал ее, рассыная при этом, как овечий помет, чужие слова о нежности и любви. Но вдруг с треском распахнулись обе створки двери и на пороге появился Исмат, а с ним и Каплан. В руках у Исмата был огромный нож, он стоял бледный и дрожащий и, казалось, решал, с кого начать, глядя то на окаменевшего Мирвахиды, то на растерявшуюся мать. Каплан же сидел у его ног, весь наизготовку, как будто ожидая команды. Исмат простоял в таком положении некоторое время и вдруг с размаху швырнул нож на землю и с плачем бросился из дома. Каплан устремился за ним. Гульдандом, придя в себя, побежала вслед, но кричать на весь двор постыдилась, а Исмат тем временем, не различая дороги, перемахнул через забор и оказался на улице. Каплан тут же прыгнул следом. Пока Гульдандом выбежала в калитку, Исмат уже пропал из виду, лишь издали доносился лай собаки. Впервые за всю жизнь Гульдандом почувствовала острую боль в сердце. Она упала навзничь и ударилась головой о порог.

Наблюдавший за всем этим Мирвахид сидел ни жив ни мертв. Наконец он осторожно вышел из дому и припустился бежать, не замечая ни лающей вслед собаки, ни хрипящей на пороге Гульдандом, через которую он просто перепрыгнул.

...Исмат все стонал и бежал, сам не зная, куда и зачем он бежит. Он долго петлял по улочкам, падал, вставал и снова бежал. Сейчас он не хотел видеть никого, только разве мир в руинах да всех людей мертвыми. На бегу разбил камнем слишком ярко светивший фонарь, потом бросил булыжник в чье-то мирное и благополучное сиреневое окно. Люди кричали: «Держи хулигана!», свистела милиция...

Гульдандом пришла в себя долгое время спустя. Еле-еле поднялась и стала ос-

матриваться. Попыталась было пройти несколько шагов в сторону, куда, как ей показалось, убежал Исмаг, но, чувствуя, что падает, схватилась за дувал и с трудом вернулась домой. «Если умру, то через сколько дней об этом узнают люди?» — с тоской подумала она.

Два дня об Исмаге не было никаких известий. На третий день Гульандом пошла в институт, но не на работу, а чтобы увидеть Мирвахиду, ибо никому, кроме него, нельзя было заикнуться о поисках сына. Мирвахид был болен и бледен, вечно полуоткрытые губы почернели и потрескались. О происшедшем никто из них не говорил. Он обещал заняться поисками Исмага. И вправду, в городе объявили розыск. Милиция предложила Гульандом дать объявление в газету, но та отказалась.

Мирвахид каждый день сообщал ей о ходе поисков...

3.

Сабир Салимов три дня ждал своей смерти, пугаясь всякий раз, когда громыхла тюремная дверь; в последние часы страх превратился в какое-то гнетущее нетерпение, ему надоело ждать, и он даже стал стучать кулаками в дверь, крича: «Чего так тянете, выводите!»

На третий день приблизительно в тот же час, когда был зачитан приговор, дверь в коридоре открылась, и двое направились к его камере. Сабиру осточертела эта жизнь, и хоть он знал, что такое днем не происходит, но все существо его было охвачено ледяным оцепенением. Со скрежетом открылась дверь одиночки, и на пороге появился военный в сопровождении надзирателя. Военный зачитал новую бумагу. Поскольку Сабир ждал фразы «приговор привести в исполнение», то ничего толком не разобрал. Военный догадался об этом по его лицу и пересказал ему содержание нового приговора, по которому смертная казнь заменялась Сабиру десятью годами лишения свободы.

Дверь закрылась. Сабир как подкошенный упал на кровать и проспал, не вставая, больше суток. На следующий день после обеда его поместили в общую камеру. Сабир здесь и впрямь встретил Эрмата Кичкину. Эрмат бросил на него взгляд, но не узнал. Показался знакомым Сабиру и белый, как лунь, старик, сидевший, сторбившись, у двери. Ах, так это ведь его учитель из начальной школы — Шадманмахсум! Старик узнал его сразу и, приложив большой платок к лицу, беззвучно заплакал. Какая могла быть вина за этим стариком?! В беспокойные двадцатые годы, как и многие учителя, он патрулировал на улице: помнится, проводил уроки, приставив свою винтовку к стене, и если на город нападали басмачи, прерывал урок на середине и бежал оборонять школу! Его арестовали как националиста, но вот уже восемь месяцев он сидит безо всякого обвинения.

Узнав, что Сабиру грозила смерть, вся камера заинтересовалась им. Каждому хотелось в подробностях узнать о его вине, услышать, как он чувствовал себя и в минуту зачтения смертного приговора, и в часы, когда он ожидал его исполнения, о чем он думал и о ком вспоминал, почему был отменен приговор и как он радовался в эту минуту, словом, они задавали бесчисленные вопросы и не удовлетворялись его короткими ответами.

Эрмат слушал происшедшее с Сабиром то загораясь, то с горькой усмешкой, потом стал рассказывать о своих злоключениях. Оказывается, следовательно сорвал с его груди орден Красного Знамени, врученный ему самим Фрунзе.

...Когда выводили на прогулку заключенных соседней общей камеры, здесь выглядывали через решетку окна в прогулочный дворик, чтобы узнать, кого еще привели. В один из дней кто-то, выглянув в окошко, вдруг воскликнул: «Э, Агальк!» Агальк был известным в городе человеком: в свое время он распространял в своей лавке под чтение молитв заем Кокандской автономии, лет десять назад был арестован как член контрреволюционной организации; отсидев срок, вышел на свободу, но года три назад был арестован опять. Через несколько минут Агалька ввели в их камеру. Входя, он обратился ко всем со словами:

— Здравия желаю, контрики!

Кто-то откликнулся на приветствие, кто-то буркнул: «Шут гороховый!» Агальк полез на нары и, повздорив на ходу с известным в их краях бандитом, обозвал того «головорезом». Бандит, видимо, знал его и тут же отпарировал: «Хоть и головорез, да не контра!» Поднялся смех. Агальк и бандит каждый по-своему стали превозносить преимущества своего рода занятий, пока в разговор не вмешался Эрмат:

— Не ссорьтесь. Так и быть, вы — две половинки одного яблока!

Агальк долго смотрел на него, прищурившись, и, узнав, вдруг обрадовался:

— Э-э, полвон¹, так и вы здесь? Молодцом! — и, обернувшись к бандиту, сказал: — Видишь, даже такой человек, как полвон, и тот подобно нам — контра!

Эрмат смутился, но, улыбнувшись, произнес:

— Пусть на вас, мой эфенди, собака будет похожей.

Агалык огрызнулся.

— Молодцом! С коня упал, а в седле все держится! Слезайте уже, или помочь вам, стремя попридержать?

Эрмат бросил на него свой стремительный взгляд и ответил:

— Не тяжело ли будет? Вас ведь самого еле носят спичечные ножки. Совсем как лягушка, которая не могла плавать в озере, а говорила: «Вот была бы река, я бы показала...»

Опять поднялся смех. Агалык промолчал и лег набок. К нему перебрался благочинный русский старичок, игравший неподалеку в шахматы, которые умельцы смастерили из хлебного мякиша, и протянул руку. Агалык долго разглядывал старика и, узнав его, назвал Александром Ивановичем. Они, оказывается, были знакомы по тюрьмам.

Потом, в удобную минуту, Александр Иванович рассказал Эрмату об Агалыке. По его словам, Агалык был против Советской власти и, дай ему волю — ни перед чем не остановится. Этого он сам не скрывал. А раз так, то его перебрасывают из камеры в камеру, из тюрьмы в тюрьму для испытания разного круга людей.

Александр Иванович Мирализбур был родом из Мирзааки за Узгеном, школу кончил в Андигане, мореходное училище в Ленинграде. Потом работал в портах Одессы, Туапсе, Краснодарска, Баку, два года назад был арестован по обвинению в шпионаже, и вот два этих года его возят из города в город, а вины доказать не могут. Два месяца назад его допрашивал чересчур строгий следователь. С самого начала он кричал: «Я не буду цацкаться с такими шпионами, как ты, лучше сразу пристрелю!», и даже выстрелил поверх его головы. Навидавшийся таких методов и уже привыкший к ним, Александр Иванович сделал вид, что испугался, попросил бумагу и ручку. Следователь немедленно дал. Больше того, поставил перед ним стакан крутого чая и положил два кусочка сахара. Александр Иванович стал писать о том, что в портах Каспийского моря он собрал множество секретных сведений о закрытых объектах, а после того однажды ночью переплыл на моторной лодке из Каспийского в Черное море, продолжая и там собирать такие же сведения.

Следователь очень обрадовался, прочитав это признание. И даже не стал спрашивать о пути между Каспийским и Черным морями. По мысли Александра Ивановича, получалось так: поскольку материалы очень интересные, то следователь пошлет их наверх, и так, может быть, они дойдут до самой Москвы. В конце концов, найдется такой, который спросит: «Как же, простите, из Каспийского моря можно проплыть на моторной лодке в Черное?», а стало быть, поинтересуется, почему он так написал?! И все раскроется, правда восторжествует, и Александра Ивановича выпустят на свободу. Эрмат восхитился его хитростью и находчивостью.

— Если это достигнет Москвы, вас обязательно выпустят! Оправдают! А выйдете там, идите сразу же в ЦК. Там один шаг. Прямо в ЦК! Объясните! Расскажите обо всем. Может быть, и товарищ Сталин узнает о делах, которые здесь творятся.

Александр Иванович вздохнул:

— Встречусь, обязательно встречусь! Только бы мне выйти на свободу.

Через несколько дней Александра Ивановича увели. Знавшие о его хитрости пожелали ему доброго пути. В их представлении Александр Иванович, добравшись до Москвы, тут же ступит на порог Кремля и, встретившись со Сталиным, расскажет ему о положении дел в стране. Ну а после этого наступят большие перемены.

В полдень того же дня вызвали на допрос Эрмата. С допроса он вернулся быстро, но было заметно, как он пал духом. Вечером, часов в одиннадцать, дежурный надзиратель вызвал Эрмата с вещами из камеры. Сокамерники притихли. Агалык несколько раз кашлянул. Эрмат завернул в тишине цветастую подушку в красное одеяльце, взял ее под мышку и улыбнулся, чтобы разрядить обстановку:

— Не думайте дурного, следствие мое закончилось, меня переводят в другую тюрьму...

Камера загудела, все только и желали скорейшего освобождения. Дверь распахнулась и поглотила Эрмата. Опять настала тишина. За дверью послышались суетливые шаги, топот, видимо, Эрмат сопротивлялся, и вдруг раздался выстрел... Через некоторое время заскрипела колесами повозка. Кто-то снаружи насвистывал незамысловатую мелодию...

Камера молчала, и только сидевший сгорбившись у двери Шадманмахсум беззвучно плакал, и никому не приходило в голову его успокоить.

¹ Полвон — богатырь.

До обеда в камере царило тяжелое настроение. Никто, кроме Агалыка, не сказал ни слова. А в полдень пришли со страшной вестью два новых заключенных: вчера утром Гитлер напал на нашу страну.

Весть о войне породила разные мысли. Но все стали немногословны и сосредоточены. И вместе с мыслями о своей судьбе каждый теперь думал о том, что будет с народом, со страной.

Через два дня Сабира перевели в прежнюю темную одиночку. Сабир перепугался: если это связано с войной, то дай бог, чтобы все кончилось добром.

4.

Милиция после долгих поисков нашла след Исмата, колхозный чабан видел, как труп мальчика приблизительно такого же возраста плыл по реке. Гульандом тотчас нашла чабана. По его словам, это определенно был Исмат. Но отыскать труп не удалось.

Гульандом скорбила. Объявила поминки. На поминки пришли все из института, даже те, кого она не ожидала увидеть. Смерть Исмата, с одной стороны, искромсала сердце и душу Гульандом, но, с другой стороны, сыграла на ее авторитет. Мирвахид на каждом собрании находил повод ставить Гульандом в пример, говоря, что она нашла в себе смелость отречься от мужа — изменника Родины, что воспитанный ею сын предпочел смерть позорной участи считаться сыном врага народа. И хотя люди несколько не верили, что Сабир Салимов — враг народа, и смотрели на поступок Гульандом как на предательство, а на смерть ее сына — как на его следствие, ничего в ответ Мирвахиду сказать не могли.

Спустя некоторое время распространился слух, что Гульандом решила вступить в партию. И действительно, от нее поступило заявление с необходимыми рекомендациями. Секретарь партбюро задумался: известно отрицательное отношение коллектива к Гульандом, стало быть, никто из членов бюро, кроме Мирвахиды, не поддержит ее приема. И в конечном итоге несчастная женщина, у которой арестован муж и погиб сын, будет обременена еще одним горем.

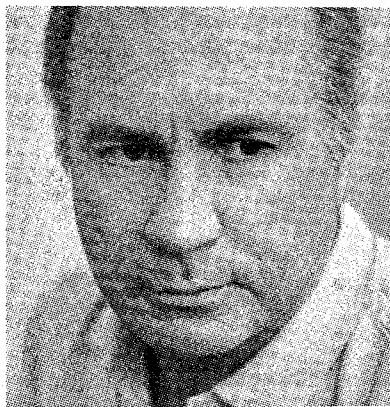
Секретарь подумал об этом и решил посоветоваться в райкоме. Его направили к Акбарову. Секретарь хотел, не раскрывая всех тонкостей ситуации, напомнить Акбарову, что еще не прошло года, как Гульандом работает в институте, и, следовательно, по уставу не может быть принята в партию. Но когда он начал говорить об этом Акбарову, тот прервал его со словами: «Я бы сам дал Гульандом рекомендацию, если бы не был первым секретарем». После этого остальные слова оказались излишними.

Заявление Гульандом в скором времени было рассмотрено на бюро. Секретарь известил членов бюро об отношении райкома к этому делу. На бюро Гульандом приняла кандидатом в члены партии. Когда решение бюро обсуждалось на общем собрании, Мирвахид посвятил долгую речь разъяснению слов товарища Акбарова о том, что не будь он первым секретарем райкома партии, то непременно дал бы рекомендацию Гульандомхон.

Общее собрание утвердило решение бюро.

Заседание бюро райкома пришлось на первые дни войны. Получилось так, что Гульандом решила вступить в партию, как только узнала о войне, и это оставило хорошее впечатление у членов бюро. Кандидатский билет ей вручил лично товарищ Акбаров и пожелал успехов «молодому коммунисту». Молодой коммунист начала свою работу в райкоме. Акбаров взял ее к себе помощником...

Перевод с узбекского Хамида Исмайлова.



Юрий Когтев

Август

Стоял исповедальный август,
созрели ночь и тишина.
Луна, свет льющая, как влагу,
не только зрима, но слышна.

В земной квартире без уюта,
где счастья музыка лилась,
влюбленных каждая минута —
как в первый, как в последний раз...

О, зыбкий свет глубокой ночи,
как иероглиф вечных тайн.
Молчанье звездных многоточий
не разгадаешь, но гадай,

волнуйся и живи надеждой,
что сможешь долюбить успеть
в горах рассвет тревожно-нежный,
пропахшую полынью степь,

и эту твердь, и это небо,
чему название есть и нет...
А жизнь без грусти так нелепа,
как звезды днем, как летом снег...

Встреча

Готова вспыхнуть, рассердиться
на слово и ответ... не дать.
Открыли гордые ресницы
в твоих глазах такую даль —

не охватить умом и зреньем,
вовек не исчерпать до дна.
В зрачках два любопытства зрели,
в них солнца искорка видна.

Мгновение, как вечность, длится,
и ты наверняка уйдешь,

как улетает в небо птица,
как без следа проходит дождь, —

уйдешь... И встреча, как предтеча
всего, что будет или нет.
Остановить тебя мне нечем,
хоть взять в союзники весь свет.

...Еще в ресницах взгляд таился,
еще так недоступен мне,
а я уже в тебя влюбился —
как не бывало на земле...

* * *

...грусть становится светлее
Федерико Феллини

Память — не капризной моде дань,
коль прошлое не умирает в людях.
Воспоминанию не скажешь: «перестань!» —
и даже если скажешь — не избудет
на нет, опровергая логику
души тишайшего свечения...

Жаль, постигается немногими
исповедальность откровения,
когда, не выдержав, заговорит
больная совесть... Низко и преступно
забыть содеянное... Вечный страх и стыд
преследуют расплатой за проступок,
ворвутся в ад моей бессонницы,
на окна вспыхнут занавесками...

Воображение поклонится —
воображенью Достоевского...

Чем жил — переживу еще не раз
в воспоминаниях, но не поправить
малейшего в былом... Из прошлого лилась
не музыка — осознанная память,
а в ней пульсирует энергия,
как в предрассветной звездной россыпи...

...и женщина, в сердцах отвергнутая
мною, окликается и просится...
И просится достойно пережить
тот день, заведомой неправды полный.
Мог вроде бы давным-давно забыть
все — что хочу, да не могу не помнить.

Бессонные воспоминания
(вы — в нелюбви к себе признании!)
меня смешите, злите, раните,
но через это испытание
добрее, исцеляясь памятью...

То ли парус в море, то ли птица,
или же отчаянный пловец —
может, к горизонту он стремится,
может, разуверился вконец

в той, кого вознес на пьедестале
и своей единственной считал...
То ли люди от него устали,
то ли он их сторониться стал.

Заманило море, защемило
душу — вольной волей зазвало:
по волнам бросало и носило,
растворило в человеке зло.

Я теперь прозрел, и мне открылся
доброты неистовый предел.
В море раз и навсегда влюбился,
породниться с далью захотел.

Чингизу Айтматову

Не вымысел и не воображение
писателя — зло на миру, таясь, живет,
приняв обличие волшебницы —
детей задарит подношением,
на преступление их подтолкнет...
Спаси заблудших, белый пароход,

от ласки оборотня-взрослого
уже не прошлых — будущих сирот спаси,
от слова лживого и острого,
добавь в их детство долю звездную,
добра и света, радости и сил...
А если сможешь — подлеца спаси

от самого себя, став исцелением
пороков, — пусть, как скальпель, режет стыд...
А белизна твоя — спасение
всех нас, когда земля весенняя,
а мысли и надежды так чисты,
что не прожить уже без правды.

...В тревожный день из неумной памяти
в жизнь выплывает белый-белый пароход.
Но если сердцем вдруг устанете —
сиротку невниманьем раните,
от вас ребенок робко отойдет
и с ним исчезнет белый пароход...



Альбина Петрова

ТЯЖКИЙ И СЛАДКИЙ ГРУЗ ДОЛГОВ

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Шульга сидел у выскобленного до желтизны стола в чистой горенке, которую отвели под штаб. На столе лежала развернутая карта, — старая, потерянная на сгибах.

Командир наш был статен, усат, карие глаза под бровями вразлет, твердо очерченные губы. Чувствовалась в нем душевная сила, мужицкая мудрость, беспримерная храбрость и в то же время тонкая чуткость к товарищам. Люди тянулись к нему. Его похвала была высшей наградой.

Он поднялся мне навстречу, улыбнувшись одними глазами. Но тут же посерьезнел и почему-то внимательно осмотрел меня с головы до ног.

— Ты какого роду-племени, Корнев?

— Из мещан, — смутился я.

— Родители кто были?

— Отец — чиновник. Мать — учительница музыки.

— Смирнов тебя очень хвалил. Говорит — храбрый, находчивый.

Я покраснел от удовольствия. Смирнов был старый солдат, необыкновенно строгий и ворчливый.

— Ты садись. Разговор долгий будет. — Он разгладил ладонями карту. Чувствовалось, испытывает какое-то неудобство. Вроде, не знает, как начать. — Политически ты парень грамотный, — наконец сказал он как-то задумчиво. — Что делается в стране, конечно, хорошо представляешь.

— Ну да! На Украине, на Кубани драка с контрреволюцией. В Сибири — тоже. В Туркестане басмачи зверствуют. Ребята, что прибыли оттуда в госпиталь, говорят — оружие у них первоклассное, заграничное. Ну и по российским губерниям всякие банды, вроде нашего Вольницы, подняли мятежи. Они ведь как соображают... — увлекся я, — чтоб себе не в убыток...

— Кто?

— Да кулачье и иже с ними.

Николай Фролович опять внимательно, будто вглядываясь, посмотрел мне в глаза. Потом негромко (я чувствовал, что-то он обдумывает) сказал:

— А напротив кто?

— Напротив — сознательные массы! — с готовностью ответил я. — И даже те, кто не совсем еще сознательные, Советскую власть зауважали. За то, что нужды рабочие да крестьянские понимает.

— Значит, при случае такой не совсем сознательный человек может здорово помочь, правда? — неожиданно спросил Шульга.

— Да... — ответил я, соображая, что именно он под этим подразумевает.

- Последний раз в Растягаевке видел, что делалось?
- Еще бы! Четверо порубленных. Да выпоротых сколько...
- А атаман?
- Так он же ушел!
- Да, ушел... А в Низовке?
- В Низовке тех мужиков, что нам сено давали, постреляли.
- А где был атаман?
- Ушел...

— Ну, в Петровке... бесчинствуют постоянно. Она для нас почти недосыгаема. А ведь в Выселки, в село, где мы находимся почти постоянно, вошел именно тогда, когда мы ушли на Ново-Алексеевку. До Голодаевки дошел! Ничего не опасался. Знал — мы далеко.

Шульга вел палец по карте, не отрывая. Получалось — очерчивает круг.

— А в середине... — он вопросительно посмотрел на меня.

— Никитовка! — прочитал я.

— Да, Никитовка. Это были мои предположения. И расположена она на некотором возвышении над окружающими ее селами... и находится в середине... Что-то я чувствовал. Но вот недавно получил уже точные сведения, что информация о нашем передвижении действительно идет через Никитовку... Может, потому, что она ближе других сел к Выселкам?

— Но как?

— Установить пока не удалось.

— Ух, если бы знать, куда пошлет этот гад свой «карательный» отряд!

— Пока что — наоборот. Он о нас знает все.

— Кто же передает ему это?

Я уже начал соображать, что вызвали меня и рассказали такое — не зря.

— Вот ты и узнаешь. Кто? Как?

В душе моей вспыхнула такая радость! Я уже даже рванулся, чтобы бежать и действовать, но опомнился — не знаю ведь, куда бежать и как действовать.

— Сиди-сиди. — Вокруг мягко устремленных на меня глаз Николая Фроловича собрались лучики морщинок. Он улыбался. Тепло и одобрительно. — Надо быть потерпеливее. — Погладил чисто выбритый подбородок и добавил: — Посолиднее.

Следующей ночью мы со Смирновым на лучших конях отряда выехали из Выселок и всю ночь кружными путями скакали в сторону Ново-Алексеевки. День провели в Зудёвом хуторе, что находился на полдороге от нашей цели, припрятанные от чужого глаза хозяином. Ночью, не доезжая до села, спешились у Горяевского оврага, который проходил неподалеку от Ново-Алексеевки и уходил корявым изломом в другой уезд. Я переоделся и пешком направился в село, войдя в него со стороны, противоположной Никитовке. Все, что нужно было знать, держал в голове, крепко запомнив задание во время неоднократного пересказа его Николаю Фроловичу.

В Ново-Алексеевке, как человек, не знакомый с местностью, стал спрашивать, как попасть в Никитовку.

Одет я был по-городскому. Насколько возможно аккуратно. Даже штiblеты были сносные на вид. Но жали... неимоверно.

— А зачем вам в Никитовку? — спрашивали любопытные, и я доверительно сообщал, что там живет мой дядя — поп. Обрадуется, небось, племяннику.

— А как звать-то дядю?

— Отец Савелий.

...В Никитовку я въехал на подводе, которую волокла еле живая от старости, негожая в военном деле лошадь. (Потому и не отобрали ее бандиты.)

Мои клетчатые брюки, щегольские штiblеты и немыслимую прическу — этаким взбитый и завернутый загогулиной чуб — с откровенным удивлением рассматривали босоногие мальчишки, шагая не спеша в ногу с несчастной клячей, тащившей телегу.

У церкви я распростился с возницей, одарил его целковым, который он долго недоверчиво разглядывал, прежде чем опустил в длинный карман.

Наконец он уехал, а я остался перед калиткой, за которой дорожка вела к маленькому деревянному домику, окруженному чуть тронутыми весенней прозеленью вишневыми деревьями. Слева возвышались выбеленные известняком толстые стены церкви. Резные дубовые двери были прикрыты.

Я направился к домику, но навстречу мне уже спешил, вытянув руки для объятий, высокий старик с широкой седой бородой и живыми умными глазами. Сочные, не стариковские, губы были ясно видны под усами. Отец Савелий. Как охарактеризовал его Шульга — преданный делу революции человек.

— Петенька! Голубчик! Да как же ты нашел меня, старого? Надолго ли? Устал, поди? Как маменька? Ах, молодец какой — вспомнил старика!

Он тискал меня в объятиях, засыпал вопросами, на которые сам же не давал мне ответить.

Нашлись и любопытные. Шла баба с полными ведрами на коромысле. Поставила их осторожно на землю, подперла аккуратно подбородок ладонью, поставив локоть в другую ладонь, и жалостливо смотрела на эту радостную встречу, готовая заплакать. Просто так. От доброты своей бабьей. Потом уж я узнал, что это Федория. Самая сердобольная на селе.

Из-за соседнего забора выглянула лохматая заспанная голова мужика, а через минуту уже она торчала над сараем, откуда была лучше видна встреча попа с племянником. И, как воробы, облепили плетни и заборы, любопытствуя, мальчишки и девчонки.

Итак, «племянник» отца Савелия легально вошел в село и остался в нем.

Для начала, как было обговорено в нашем плане, я должен был оглядеться, примелькаться людям. Чтобы никто не смотрел с любопытством мне вслед, гадая, куда это направился поповский племянник? Следовало также, по возможности, запомнить большее число жителей.

Вокруг Никитовки, как бы приподнятой над равнинной местностью, раскинулись разделенные на полоски поля. Одни из них чернели поднятой под зябь землей, другие светились слабой еще зеленью озими. Середина апреля, а работы на полях закончены. С надеждой на добрую жизнь, на урожай, на то, что обойдет их лихая беда, спешили люди отсестаться.

Через поля, широкий, осыпавшийся, сжирающий все больше пахотной земли, поросший мелким дубняком, кустарником и кое-где, словно лишаями, — польнюью, извилисто тянулся Горяевский овраг. От него, как малые реки от большой реки, где-то выше Никитовки разбегались овражки: Теньчин и Ходулин. А Ново-Алексеевский шел, обогнав в сторону леса Горяевский, через Никитовку.

Я бродил по селу, то в одном конце его, то в другом, таская под мышкой толстый домотканый половичок. (Земля была постоянно сырая.) Постелив его где-нибудь близ места, которое нужно изучить подробнее, я полеживал, читая, бездельничая, лениво и безразлично поглядывая на людей.

Очень скоро я стал неинтересен этим всегда занятым селянам. Уже никто не смотрел мне вслед. А однажды мальчишка откровенно выкрикнул прозвище, которое, видно, закрепилось за мной: «Попик!» Постреленок получил тут же подзатыльник от матери. Но не сильный, так, для вида. Ну что ж... Обидно, конечно, ходить в «попиках», но зато за это время я тщательно изучил почти всех жителей села. Не один раз повторил отцу Савелию — кто кому кем приходится, кто как живет, кто к кому ходит, кто уходит из села, кого посещают гости из других сел (таких почти не было). Только сдав этот экзамен, можно было приступить к выполнению плана.

Заодно, и это главное, я выбрал место, которое годилось для наблюдения за дорогами. Это был старый, но еще крепкий амбар, стоявший на холме. Видимо, из-за нарушенного порядка жизни в селе, он никем сейчас не использовался. Кто, когда, зачем построил его — такой не вписывающийся в общую картину? Отец Савелий говорил, будто когда-то, в давние времена, большие купцы вели здесь торговлю. Может, от них остался? Заколоченные чердачные окна смотрели на три стороны.

Справа, чуть поодаль от амбара, стоял дом первого богатея села — Никодима. Большой этот дом, каменный, надежный, был под железной крышей. Окна его смотрели с фасада на церковь, против которой он разбросал по холму свои пристройки: риги, сараи, клетки, кладовые. Задние окна смотрели на овраг, что пролет позади холма.

Слева на холме мостилась на самом краю старая, почерневшая от времени изба неуважаемого всеми мужика Митяя.

Теперь я стал чаще «отдыхать» неподалеку от амбара. То под прошлогодним почти сопревшим стожком сена, то на полянке, по которой первой весенней зеленью раскинулись свежие островки мать-и-мачехи, дружные семьи вереницы и медуницы.

В тот памятный день я лежал под кустом шиповника, тянувшего свои ожившие от тепла ветви в разные стороны, словно старавшегося захватить побольше этого голубого простора, напоенного солнечным светом. Неподалеку был огород, уже вскопанный и разрыхленный. Он примыкал к избе Митяя. Загораживая огород, разрослись кусты крыжовника, высокие, пышные, уже обсыпанные почками. Только что пробившаяся трава у склона оврага одуряюще пахла. Бездонное небесное пространство резали острыми крыльями ласточки. В душе моей, проникшейся красотой этого утра, возникло вдруг состояние предчувствия чего-то хорошего.

Будто должно было все это тихое великолепие завершиться чем-то необыкновенным. Я прикрыл глаза: что могло произойти такое хорошее, когда скоро я опять вступлю в полосу тревог и опасностей.

И вот... чувствую — кто-то смотрит на меня. Я тут же внимательно уставился в книгу, прошелся по строчкам, потом, будто нечаянно, поворачиваю голову и вижу... нежное девичье лицо. Ошарашенно замираю и, словно загипнотизированный, смотрю на нее. Во мне, как прорицание, возникает чувство, что это не простая встреча, что она будет иметь для меня продолжение...

— Нет ли здесь поблизости колодца? Пить очень хочется, — произнес я первое, что пришло на ум.

— А я принесу сейчас!

Так вот это кто! Дунятка! Без косынки не узнал ее.

Я встал, отряхнулся и пошел следом. А навстречу уже шла она, неся полный черпачок воды. Когда я брал его... вдруг что-то мягко торкнулось в сердце, и я понял — вот оно, то, что было неясным предчувствием минуту назад.

Дунятка стояла напротив, опустив длинные темные ресницы. Тень от них лежала на порозовевших от смущения щеках. Теперь я уже знал, под этими ресницами спрятались самые удивительные в мире глаза — нежно-голубые и прозрачные до дна. Глаза ребенка — чистые и открытые. А носик! Такой аккуратненький — смотреть и потрясаться!

Так вот ты какая, та, которую я ждал...

А вместе с радостью этого неожиданного открытия холодком входила тревога, Дунятка-то... уже два года, как замужем!

Эту историю, как и многие другие, с которыми знакомил меня отец Савелий на всякий случай, я знал.

Дунятка была сирота. Работала по людям, не имела собственного угла. Натерпелась лиха за недолгую свою жизнь. И вот сердобольные кумушки сосватали ее за щупленького мужичонку, вдовца Митяя, имевшего старую покосившуюся избу и крошечный надел земли.

Дунятку считали несчастливенной, а Митяя — благодетелем. Благодетель ни на минуту не забывал, что он — благодетель, и издевался над женой без стеснения. В побоях и оскорблениях прошли два года, и лишь сейчас вздохнула и расцвела Дунятка, когда «благодетель» подался... на заработки... в банду Вольницы.

Я протянул пустой черпачок и поблагодарил. Губы ее, как-то по-детски капризно очерченные, дрогнули в улыбке, и, не поднимая глаз, она ушла.

Я вернулся под куст шиповника, но не лег, а сел, обхватив колени, и уже не так радостно подумал, что сегодня, конечно, случилось необыкновенное... но что это будет означать для меня?

А через два дня я увидел и самого «благодетеля».

Я сидел на склоне оврага, неподалеку от домика Дунятки, делал вид, что читаю, а сам присматривался незаметно к происходящему вокруг и к людям. Мне хорошо были видны площадь и улицы, выходящие на нее. И вот на дороге, что шла со стороны Петровки, показалась телега. Запряженная в нее лошадь шла бодрым шагом, энергично помахивая головой. На телеге сидел, свесив ноги, какой-то обтрепанный мужичонка и правил к площади. Когда он остановился у тропинки, что поднималась по холму мимо меня к калитке, я еще ничего не понял. Но когда мужик, воровато оглядевшись, вытащил из-под соломы, которая была накинута в телегу, узел и быстро потащил его в гору, я вдруг сообразил, что это Митяя.

Он на мгновение задержался, проходя мимо меня. Его глубоко спрятанные глазки, словно буравчики, вонзились в меня. Но он спешил и потому тут же побежал дальше. Спускаясь назад, он уже более подробно осмотрел меня. А поднимаясь вновь, с самоваром и городской кастрюлей, уже не стесняясь, бесцеремонно ощупал взглядом мое лицо.

Я тоже за эти минуты молчаливого осматривания успел заметить — бороденка у него жиденькая, но все же она как-то ухитрилась свалиться и висела ржаво-соломенной паклей. Рот под жидкими грязными усами мокрый. Щупленький, суетливый, он таскал и таскал какое-то награбленное барахло. Каждый раз он наталкивался на мой взгляд, настораживался. Я вызывал в нем смутные подозрения. Он что-то чувствовал во мне, как чувствует пес.

Я же вел себя по плану, который тут же созрел: Митяя нельзя пугаться; нужно сидеть, как сидел, с презрением барина, не обращающего внимания на мужичье; всем видом показать ему, что я могу находиться где угодно, — я барин.

И он не посмел ничего сказать или спросить. Только посматривал в мою сторону недовольно да изучал исподтишка. Пробыл он дома часа два. Перед тем как уехать, шел важно вниз к телеге, где лошадь дожевывала брошенную ей охалку сена, а следом шла Дунятка и несла узелок с едой.

Развернув телегу, он оглянулся и пристальным долгим взглядом впился в мое

лицо. Что-то во мне его тревожило. Потом оглянулся еще раз, словно проверил, на месте ли я, и телега завернула за дома.

Я рассказал об этом кратком посещении села Митяем отцу Савелию. Мы насторожились, ждали последствий этого визита, но все шло, как шло раньше, и мы поняли — просто привозил награбленное.

Итак, место, с которого наиболее удобно наблюдать, по нашему общему с отцом Савелием мнению, был амбар. Подходы к нему были не трудны. По склону, что смотрел в сторону домика Савелия и церкви, разросся кустарник. Сзади амбара, на случай отступления, пролег овраг.

Я обследовал все внутри амбара и нашел, что лучшего секрета не придумаешь. На чердаке, куда вела прибитая к люку узкая лестница с выщербленными кое-где перекладинами, было четыре окна, нереально заколоченные досками, некоторые из них давно оторвались. Справа по торцу было окно, из которого хорошо видна дорога из Петровки. По фасаду — два окна. Из них просматривалась дорога от Выселок, где расположился наш отряд. Заодно просматривались площадь перед церковью, домик отца Савелия и... Дунятки. Четвертое окно по торцу смотрело на дом Никодима, его двор и пристройки. Из него же была видна колокольня. Так как церковь стояла ниже (у холма), колокольня была ненамного выше крыши дома Никодима.

Связного, если таковой будет, нужно ждать либо со стороны Выселок, либо со стороны Петровки. В обоих случаях идущему могут послужить надежным прикрытием овраги. Значит, заметить его нужно до того, как он скроется в их глубине.

Вчера, во время службы в церкви, отцу Савелию передали, что наш отряд через два дня пойдет в деревню Голодаевку. Я не знал, с какой целью пойдет отряд, но где-то очень глубоко чувствовал, что это операция ложная. Начали нащупывать с нашей помощью ту ниточку, что тянулась через Никитовку в далекий, лишь в ясную погоду синеватый тонкой кромкой лес, где в чащобах скрывалась банда Вольницы.

Когда думал об этой «ниточке» ночами и днем, на чердаке амбара, где я вел наблюдение за дорогами, душа моя холодела при мысли, что в отряде есть предатель. Я перебирал всех наших бойцов, припомнил их биографии, вспоминал о них все, что знал, и не хватало во мне решимости заподозрить кого-либо из них. Они же — солдаты революции! Мне казалось, та величественная светлая идея, за которую боролись и умирали люди, не могла не проникнуть лучом даже в душу предателя.

«Разве сможет он — думал я, — предать людей, которые бросили семьи, любимых, — не ради обогащения или честолюбия, но ради того, чтобы и тебе, и мне, и брату твоему, и соседу: соседу по хате, соседу по деревне, соседу по стране — жилось тепло, сытно и свободно под ласковым солнцем земли. Нет-нет! В нашем отряде предателя нет! Ночи под дождем. Многосуточные переходы в седле. Примерзающие к рукам винтовки. Не выдержит сердце иуды. Сдаст. Не-е-ет... В нашем отряде такого быть не может».

Но не только об этом думал я на своем тайном посту. Пусть простит меня мой командир, я думал и о Дунятке. Мне было девятнадцать, я провел почти два года в седле, и ясные глаза молодой женщины сделали то, что и должны были сделать, вдохнули в меня удивительное чувство, которое (теперь я это знаю) прошло со мной через всю жизнь.

«Время стирает все» — скажут мне. Но не сказал бы так командир красного кавалерийского отряда — Николай Фролович Шульга. Он сказал однажды (и я запомнил): «Сердце отдается революции, как любви, — раз и навсегда».

Наблюдая за дорогами, я переводил иногда глаза на дворик Дунятки. Там деловито разгребали лапами землю и что-то выклевывали из нее четыре курицы. За их поведением зорко следил важный, полный собственного достоинства петух с ободраным хвостом. На завалинке растянулись две кошки, обе, видно, порядком ленивые, но все же любимые хозяйкой. Она иногда останавливалась около них и гладила поднятые навстречу руке мордочки с зажмуренными от удовольствия глазами. У порога сеней лежал растянувшись пес, в расцветке которого участвовали, по моему, все цвета радуги, кроме разве зеленого и синего. Дунятка терпеливо переступала через него, не раздражаясь, не гоня. На полянке, у кустов крыжовника, привязанная к колышку, пощипывала короткую травку коза.

Если бы не дело, ради которого я пробирался тайком от всех на чердак, я, наверно, часами бы не отводил глаза от этой тихой и мирной картины.

Но уже через несколько дней моего сидения в секрете я сделал открытие, которое очень меня встревожило. Я убедился, что слежу за Дуняткой не один.

Я и раньше замечал высокого широкоплечего парня где-нибудь неподалеку от

нее. Я даже отметил про себя, что он хорошо сложен и, по-видимому, силен. Но лицо его мне не нравилось. Очень короткий нос, нахальные серые глаза. Рот полный, крупный. Редкий, бесцветный чуб, часто и тщательно взбиваемый. Парень то и дело бережно касался этого сивого облачка и на ощупь проверял его состояние. По всему было видно, что внешностью своей он доволен, а чубу придает особое значение.

Иногда, подкараулив Дунятку и загородив ей дорогу, он что-то говорил, картинно встряхивая головой, словно чуб был очень тяжел и лез на глаза, пытался обнять. Та вырывалась и убегала.

Но потом, у себя во дворике, она долго стояла, машинально перебирая голубые стеклянные бусы на шее, словно прислушиваясь к чему-то в себе, — смущенная и взволнованная.

В моей душе возникала в такие минуты не ревность, а тревога за чистую душу Дунятки, которую смущает, опутывает ради прихоти своей этот деревенский сердцеед. Я совершенно не верил в его искренность.

К середине апреля дожди стали не такими обильными, более теплыми, но на чердаке было еще весьма прохладно. Порой, когда туча закрывала солнце, меня пронизывало холодом, пожалуй, по-осеннему.

Но природа оживала. Кое-где на разлегшихся в неге полях появился слабый зеленоватый оттенок, — пошли в рост яровые.

Село словно погрузилось в густые запахи разнотравья, которые разбавляя своим свежим дыханием весенний ветер. Именно с этими запахами приходит к человеку ощущение полноты жизни, сознание, что плохое теперь должно миновать, ибо пережито, наконец, зима. Весна — вот она! Пора неясных надежд и каких-то сладких, не обремененных в образы воспоминаний.

Прошли дни, в которые мы должны были, по нашим расчетам, что-то нащупать. Но ничего такого, что выбивалось бы из колеи всегдашней неторопливой жизни Никитовки, не произошло.

Сегодня отряд пойдет на Лебедухино. Это — ложный маневр. В помощь нам. И нужно...

В этот день я бегал от окна к окну, следя за видимыми мне дорогами села, а главное — за дорогой из Выселок. Она терялась среди поднимающейся озими, но вдруг выкатывалась, как за клубочком, словно тоненькая темная речка, как бы выбирая русло свое. Пешеходов в это тревожное время было мало, телег еще меньше, и в общем-то все складывалось неплохо. Если будет связной, вполне возможно, что мы его заметим. Два раза по моему сигналу отец Савелий поднимался на колокольню, когда нужно было проследить путь заинтересовавшего меня пешехода, но оба раза напрасно. Больше уж сегодня он туда не поднимется, ибо это было бы подозрительно.

Время близилось к полудню, нетерпение возрастало. Мне казалось — пока я смотрел в одно окно, по местности, что видна из другого, прошмыгнул этот таинственный «кто-то», а я прозевал его, подвел свой отряд, своего командира.

Даже Иван (так звали парня), появившийся у двора Дунятки, не отвлек меня. Я только мельком заметил, что он почему-то подкрался к Дуняткиной кошке, что разлеглась на полянке, накрыл ее пиджаком и замер, стоя на четвереньках за кустами крыжовника.

Я до боли всматривался в редких пешеходов, но все они были либо знакомы мне, либо проходили село насквозь, не задерживаясь и ни с кем не переговариваясь. Однако меня не покидало предчувствие, что именно сегодня что-то произойдет.

Порой, будто шло параллельно с моими наблюдениями, не мешая им, поднималось, как сладкая волна, пронзительное воспоминание о Дунятке. В одно мгновение возникали передо мной ее глаза — прозрачные и нежные, полуоткрытый рот... которого я... касаюсь поцелуем... Сердце мое будто падало куда-то, и в голове начинало шуметь. Один миг! Как прыжок в ледяную воду.

И вот в такой миг в поле моего зрения попала фигура, вид которой привел меня в неменьшее волнение, чем то, что я вообразил. Что-то было в том человеке такое, что заставило меня вздрогнуть, напрячься. Я поймал его в окуляры бинокля и «вел», разглядывая. Я чувствовал, нет, я знал, тайна, стоившая стольких жизней, идет по дороге, и мне дано если не открыть ее, то хоть чуть-чуть приблизиться к ее открытию.

И еще — в душе моей зажглась нетерпеливая ненависть. Скорей бы увидеть его, виновника стольких бед. Я так всматривался в эту приближавшуюся, неясно еще очерченную фигуру, уже воображая, как выслежу его, узнаю, через кого передает он сведения Вольнице, и, может быть... доберусь до самого Вольницы.

Внизу вдруг отчаянно замыкала кошка. В крике была нестерпимая боль. Что это? Кошка кричала так долго и мучительно, что я проникся беспокойством. Что там с нею случилось? И тут я вспомнил Ивана, накрывшего ее пиджаком. Ничего не

понимаю! Но лишь кинул взгляд на дворик Дунятки, на секунду оторвавшись от дороги, с ужасом понял все.

Дунятка бежала на крик кошки. Кошка была в жестоких руках Ивана. А он прятался в амбаре подо мной. Ловушка! Сейчас Дунятка попадет в эти нечистые руки. Моя Дунятка!

Броситься вниз, разоблачить негодяя, объяснить ей все — вот что я должен сейчас сделать! Но... по дороге шел человек, в руках которого, я был совершенно уверен в этом, судьбы многих людей из сел, которые подвергнутся нападению бандитов. Десятки жизней могли прерваться сегодня же, только из-за того, что я не выяснил, куда он идет.

Сердце мое болело почти физической болью, меня корежило так, что холод волнами ходил по спине, а я... вглядывался через бинокль в этого все приближающегося пешехода. Может быть, я первый раз по-настоящему понял, что такое долг, когда нужно выбирать между личным и общим, и в жертву приносится... личное.

Я потом слышал внизу протестующий голос Дунятки, постепенно все меньше протеста звучало в нем, и представлял жадные Ивановы руки, в которых... растревоженная, не знавшая любви женщина.

А человек уже близко. Его можно было принять и за деревенского богатея, и за отбившегося от своих горожанина. Бинокль увеличивал хорошо. Я даже черты лица его, по-моему, рассмотрел.

Как он не почувствовал моего испепеляющего взгляда? Не остановился и не полез незаметно в карман за оружием? Не прыгнул в сторону и не укрылся во ржи?

Человек шел, а я ни на секунду не выпускал его из поля зрения. И вдруг... он пропал! Словно услышал то, что я шептал. Я испугался. Растерялся. Теперь уже было совершенно очевидно, что это тот, кто нам нужен. Подавать знак отцу Савелию нельзя. Если он заберется на колокольню в третий раз, как раз в тот момент, когда те, кто ждет посетителя, внимательно осматриваются, — это будет провал.

Я мучительно соображал, что все это могло значить? Видимо, пешеход спрыгнул в овраг. Зачем? Ведь Горяевский уходит далеко от Никитовки. Но... можно по отошедшему от него Ново-Алексеевскому вернуться и войти в село совершенно незаметно. Я бы поступил так. Видимо, и этот вражина соображал, как я. Что же делать? Бежать по оврагу навстречу? Но мне категорически запрещено обнаруживать себя.

Я волновался, рвался, но приказа все же не нарушил и остался на чердаке. Стал размышлять, прикидывать, пытаюсь предугадать действия связного. К кому пошел бы я, если бы был богатеем? К богатею, конечно же. А кто у нас самый большой богатей? Никодим. Если уж ничего нельзя сделать, решил я, то хоть послежу за его домом.

Осторожно, неслышно пробрался к левому боковому окну и приник к щели.

Дом Никодима стоял выше амбара и поэтому был виден со всех сторон. Владелец его, хитрющий мужик Никодим, приземистый и бородачатый, одно время слыл в селе человеком добрым. Но постепенно люди разгадали его «доброту».

Года два назад он вдруг великодушно взял на воспитание двух детей, оставшихся после смерти вдовы, муж которой умер, надорвавшись где-то на заработках. Мальчика двенадцати лет и девочку — одиннадцати. Сейчас Манятке было тринадцать, а Саньке — четырнадцать. За скудную кормежку и обноски их сила и выносливость чистым барышом вкладывались в прибыли хозяйина.

Вот и сейчас Манятка бегала от сарая, где кормила свиней, к летней печи, что стояла чуть правее чердачного окна, за которым сидел я. А у лестницы-стремянки, что была прислонена к крыше, еще стоял огромный деревянный чан с замоченными кусками полотна, которые тоже, конечно, ждали ее рук.

Я просидел, наблюдая, довольно долго, но ничего подозрительного во дворе не произошло. Напряжение немного спало, и я вернулся к мыслям о Дунятке.

Меня охватило такое горе, когда я представил, что произошло. Моя любовь, моя Дунятка, для которой я не находил достойных сравнений, попала в руки деревенского волокиты, и сердечко ее, это я, к несчастью, знал, на его ухаживания отозвалась первым чистым чувством.

Я сидел на пропахшем пылью чердаке, смотрел во двор Никодима, а видел дворик Дунятки и ее... когда в последние дни она вдруг останавливалась за работой и по лицу ее блуждала улыбка — тихая, удивленная. Она всматривалась в себя. Она вспоминала. Она мечтала... Я знал — о ком. И знал, чем все это кончится. Разговор, который я услышал внизу, подтвердил это.

— Ты любишь меня, Иванушка? — донесся чуть слышно голос Дунятки.

— Ну что ты все: любишь да любишь! Не зря же я за тобой столько шастал, — недовольный голос Ивана.

— Как хорошо это, Ванятка. Я всегда была одна... А теперь... мы будем вместе с тобой... Всегда. Да?

— Ты же — мужняя жена!
— Господи! — ужаснулась вдруг она. — Господи! Что же теперь будет?
— «Господи, господи», — передразнил он. — Попал в руки парень — пользуйся.
— Ну зачем ты так?..

Через неделю мы узнали, что часть банды атамана Вольницы попала в ловушку, влетев в Выселки без опасений. Ушедший в Лебедухино отряд Шульги, ночью тайно вернулся и встретил бандитов засадой и огнем. Вольница еле вырвался, оставив убитых и раненых.

Значит, тот связной, которого я потерял из виду, передал сведения об уходе отряда из Выселок и тем самым помог осуществлению плана, задуманного нашим командиром.

Больше месяца Вольница не делал крупных вылазок, а, как мы с отцом Савелием говорили, зализывал раны. Лишь небольшие отряды его зорили стоящие ближе к лесу Вошинские и Гаврилинские хутора да разбойничали в другом уезде, что располагалась по ту сторону леса.

Я по-прежнему наблюдал за дорогами, а больше за селом, а еще больше — за домом Никодима. Рассуждали мы с отцом Савелием так: мятеж кулацкий. Кто же будет помогать бандитам? Кулак, богатей. А кто главный богатей на селе? Никодим. Вот исходя из этого мы и решили пристально следить за всем происходящим на этом богатом подворье.

Но и о Дунятке я не забывал. Порой засмотрюсь на нее... Для меня она оставалась той бедной девушкой-батрачкой, которую выдали замуж за пожилого мужика на страдания и муки и которую сейчас обманывал Иван, хорошо понимая, что заступиться за нее некому и все сойдет ему с рук. Чистотой своих юных помыслов я исключал все это и возносил Дунятку над совершившимся. Она оставалась чистой в моих глазах, ибо — любила! Пылко, преданно, слепо, пусть не меня. За вспыхнувшим в ее душе огромным чувством не замечала мелочной, подленькой суеты Ивана вокруг собственной персоны и убажания своих прихотей. Он, воровато оглядываясь, нырял в калитку ее двора и с каждым разом все торопливее прощался.

А Дунятка будто ничего не видела.

Не замечала и двусмысленных взглядов тех немногих мужиков, что остались в селе, их повышенного внимания к ней. Словно бы намазали ее медом — и жужжат вокруг нее пчелы-мужики. Не замечала долгих значительных взглядов баб, их перемигивания и скорбного покачивания головами за ее спиной. Она ходила, не замечая ничего, погруженная в свои чувства и воспоминания.

Наверно потому, что моя любовь к ней была не меньше ее любви к Ивану, я понимал ее и не осуждал. Наоборот, предвидя, какие страдания ей скоро предстоят, я, жалея ее, любил все больше. Никогда в последующей своей жизни не испытывал я более глубоких и восторженных чувств.

Однажды я пробирался со стороны оврага, мимо огорода, к амбару и увидел Дунятку. Я замер, очутившись от нее так близко. Все было мне в ней знакомо и мило. Нежная линия плеч и шеи, поворот головы, движение руки — с изяществом, присущим только той, которая уверена, что ее любят. Трогательные стеклянные бусы, чуть голубее ее глаз.

Она наклонилась, сорвала ромашку. Не понюхала ее, а задумчиво рассматривала на слегка вытянутой ладони. С осторожной медлительностью оторвала лепесток и, отведя руку в сторону, выпустила.

Я мысленно сказал: «Любит». Следующий лепесток: «Не любит». Следующий: «Любит».

Я следил за лепестками с неменьшим трепетом, чем она. Я придал им СВОЕ значение. Где-то очень глубоко в себе я подменил адресата и гадал ее рукой... на себя: «полюбит», «не полюбит», «полюбит», «не полюбит».

Лепестков осталось три, и я, как и она, уже знал, ЧТО ответит колдовской цветок.

«Любит!»

Последний лепесток она поднесла к губам, положила его на них, подняла лицо к солнцу и закрыла глаза.

Я смотрел из-за зарослей крыжовника на Дунятку, и на душе у меня было ясно от того только, что стояла она счастливая-пресчастливая, богатая-пребогатая своей безоглядной первой любовью.

А я был счастлив тем, что она так близко, что я могу смотреть на нее, любоваться тем, как купается в солнечных лучах моя лебедушка, как шевелит ветерок светлую прядочку, выбившуюся из-под выцветшей косынки. И еще... во мне разлилась спокойная уверенность. Ее «любит» для меня означало: «Полюбит!»

А между тем ее радость уже приближалась к той жестокой границе, об которую разбиваются хрупкие души. Иван все чаще, выгораживая себя, откупался Дуняткой и отдавал на поругание самые тайные ее порывы. Его слушатели, удивляясь подкрашенным в определенном смысле подробностям, сально улыбались. Уходя, он подмигивал им, как бы намекая, куда идет.

Дунятка стала притчей во языцех. И стар и млад говорили о ней. Ее провожали взглядами, на нее указывали пальцами. Находились и такие, что пытались высказать ей «правду-матку»... А она чистыми голубыми глазами смотрела в лицо говорившему, и ни облачка тревоги не пробегало в них. Казалось, глаза ее говорили: «Не до этого мне. Я там, где бывают не все. Там, где взгляд любимого, поцелуй его... — дороже жизни собственной». Она не оправдывалась, не лгала. Забыла ли она об опасности или вообще не думала о ней, но она не умела таиться. Последние тонкие стенки осторожности рассыпались под напором чувств, которым несвойственны ложь и скрытность.

Встретив Ивана на улице, она не могла заставить себя пройти мимо него так же равнодушно, как он мимо нее, не сказав ему что-нибудь приветливое, ласковое. Смотрела нежно и непонимающе в его недовольные глаза. Ей еще и невдомек то, что уже твердо знал я, — Иван натешился, и вот-вот наступит развязка. Я был уверен — сделано все будет грубо и безжалостно. Мне было страшно за нее.

Однажды вечером отец Савелий вдруг завел разговор о Дунятке.

Мы сидели в саду. Вокруг нас легким хороводом разбежались вишневые деревья. На их гладких бордовых стволах каплями янтаря застыл клей. На одноногом врытом в землю садовом столе стояла широкая чашка спелой вишни. Это было завершение ужина.

Каждый из нас был погружен в свои мысли. Я думал о Дунятке. Думал-думал, и не мог придумать, чем помочь ей. Как вдруг заговорил отец Савелий, поразив меня тем, что думал о том же, о чем и я.

— Сегодня видел Дунятку... и так что-то нехорошо на душе стало. Показалось, вот-вот произойдет с ней большая беда.

Сердце мое сжалось.

— Почему... вам так показалось?

— Да не потому, что я прорицатель какой-то, а потому, что мне все уши прожужжали благочестивые старухи. Требуют, чтобы я посрамил ее публично.

— И вы... сделаете это?

— Нет. Этого я, конечно, не сделаю, — он замолчал, задумавшись, — но поговорить с нею надо бы.

— Ну о чем вы можете с нею поговорить?! Что вы о ней знаете?!

— Почему ты думаешь, что совсем ничего не знаю и говорить не о чем?

— Да потому, что все, что вы о ней знаете, вы знаете из чужих, недобрых уст! Совсем не так, как это знает она... — Я помолчал и добавил: — Или я...

— А что знаешь ты?

— Я знаю, что не она виновата, а Иван. Если же еще дальше идти, то и не Иван, а те «добросердечные» кумушки, что высватали ее, сироту, чистую, здоровую девушку, за сопливого скользкого Митяя. Облагодетельствовали! Она, как и всякая девушка, ждала любви. А получила что? Издевательства, побои и постоянные попреки. Этому «благодетелю» и невдомек, что она — богаче его. Красотой своей, душой чистой.

— Но ее заключают. В это я верю, как в то, что завтра снова наступит день.

— Да, ее не любят. Не то что не любят, не понимают. «Как можно, — думают, — так откровенно? Ну делай потихоньку, как многие делают...»

— Это ты верно, — вздохнул мой друг и продолжил свою мысль: — Им и невдомек, что от чистоты душевной она не прячется, а не от дерзости постыдной. Вот ведь как неожиданно ты все рассудил... А Дунятке я, пожалуй, смогу немного помочь. Как уж у них там будет с Иваном, не знаю, а старухам постараюсь втолковать твою мысль. И может быть, в ее трудный час хоть чья-то рука да не бросит в нее камень.

Пошел третий месяц наблюдений. Отряд жил своей обычной жизнью: кидался на помощь соседним уездам, сражался, подвергался опасностям, а я... сидел на чердаке и, как думал я раздраженно, насквозь пропитался чердачной пылью. Несколько раз небольшие передвижения нашего отряда делались для видимости (специально для нас), чтобы помочь разобраться, но никаких результатов это не дало. Там, в Выселках, тоже предпринимались какие-то меры по выяснению, но тоже безрезультатно.

И вот вчера отцу Савелию передали, что через день-два, видимо, надо ждать связного, так как Шульга поведет отряд к Вошинским хуторам, что неподалеку от

леса. Операция эта имеет целью вовлечь Вольницу в бой, заставить оттянуть назад подмогу, которую он направил в Киреевскую банду, ибо малочисленный революционный отряд соседнего уезда, которым командовал железнодорожный рабочий Комов, нес большие потери в боях с резко увеличившейся бандой. Для нашего отряда это был большой риск. В настоящий момент атаман имел около четырехсот человек.

Я всматривался в дороги, которые сегодня были пустынной, чем обычно. Редко-редко покажется пешеход. Пройдет путь, видимый мне, и опять пустынная тишь. Но нет, не пустынная. Передо мной, на сколько хватало глаз, простиралась мозаика переделанных полей. То зелеными волнами ходят овсы. То излучает голубоватый свет лен. То бело-розовая гречиха как бы невестится. Все это нежится в материнских лучах солнца, впитывает его тепло, превращая это тепло вместе с соками, которыми щедро поит земля, — в спелость.

Дороги теперь как бы пролегли по дну этого ходящего волнами моря. Были участки, на которых они совсем не просматривались, только угадывались.

«С этой войной и дороги зарастут! — раздражался я. — Сегодня вон вообще первый путник».

Я без интереса рассматривал через бинокль неказистого, плохо одетого мужичонку. «Вел» его только потому, что обязан был это делать.

И вдруг там, где пропадали предыдущие связные, пропал и он! Словно сгинул. Вот тебе и «неказистый», вот тебе и плохо одетый!

Я еще некоторое время следил за дорогой — а вдруг появится. Но он не появился, и мне ничего не оставалось, как переключить свое внимание на дом Никодима. Отец Савелий по моему знаку через некоторое время полез на колокольню, но долго там находиться не мог. Осмотрев незаметно село, он подал мне знак — следовать за двором Никодима.

А на ненавистном мне подворье все было по-прежнему. В огромном деревянном чане Манятка опять ворочала холсты...

Наблюдал я за ней довольно долго. Потом ее окриками послали в клеть, чистить у свиней. Она безропотно пошла, прихватив вилы, которые были чуть не вдвое выше ее.

Во двор вошел Санька.

— Чего стоишь?! — закричал на него вышедший на крыльцо Никодим. — Подмени ее! Не видишь — тяжело! (Смотри-ка, пожалел! — удивился я.) — А ты, нерадивица, когда-нибудь закончишь с холстами?! — он дал девочке подзатыльник, и она рванулась к чану.

«Вот гад! — ругался я, пока та мыла крышу, готовя ее для холстов, ползала по крутому железному скату ее, рискуя сорваться. — Вот издевается! Ну, погоди! Доберемся до тебя!»

Последив некоторое время за происходящим во дворе Никодима, я вернулся к окну, из которого смотрел на дорогу. Уже выйдя из оврага, по ней шел тот же мужичонка, но... в обратном направлении. Значит, уже передал сведения! Кому? Как?

Уже несколько раз отец Савелий «прогуливался» неподалеку от оврага, где тот «впадал» в Никитовку, после того, как связной «нырнул» в Горьевский овраг, и все напрасно. С этой стороны никто в село не входил. Значит, в селе есть еще кто-то, кому передаются сведения.

Сколько раз я, горячась, выговаривал своему старшему другу, что нужно взять связного...

— Устроить засаду и взять!

— Нельзя его брать, — спокойно отвечал отец Савелий. — Взяв связного, мы завалим этот путь. Путь, который нам известен. Кое-что делается врагом уже по нашей воле. Что-то можно предусмотреть. А если они, испугавшись, придумают новый путь для информации? А мы его, возможно, не нащупаем. Представляешь, сколько это принесет неприятностей... и жертв.

— Но отряд...

— Отряд же не сидит на месте. Он действовал, действует и будет действовать так, как будто ничего не ждет от нас. Но... Николай Фролович крепко надеется на нас.

— Вот мы и «выясняем» уже три месяца!

— Успокойся, не мы одни. В других селах тоже идет работа.

Я вспомнил этот разговор, повторил про себя такие подбадривающие слова: «Шульга крепко надеется на нас» — и, обреченно вздохнув, проводил глазами ненавистную фигуру связного. Когда он был уже совсем далеко, я опять перешел к «окну Никодима».

Манятка уже домыла крышу и начала стелить. Мне было хорошо видно ее потное раскрасневшееся лицо. Вот она развернула холст и потянула его по железу

наискосок. Край этой холстины был оторван неровно, конец как бы заострялся и смотрел вверх. Остальные холсты Манятка постелила на другой стороне крыши.

«Зачем? — думал я. — Здесь еще столько места. Может, потом еще сюда постелит? А почему-то деревенские бабы отбеливают холсты на траве. Эти же — на крыше! Конечно, у бедноты-то нет железных крыш».

Манятка, наконец, слезла по лестнице-стремлянке. Я видел, как она медлила, давая себе минутную передышку. Даже прилегла грудью на перекладины лестницы и закрыла глаза.

«Ах ты бедняжка-бедняжка!» — сокрушался я.

Но в следующий миг вышла на крыльцо хозяйка и послала девочку в подвал за картошкой. Та взяла пустое ведро и обреченно пошла к сараю.

Можно было, конечно, уже снять наблюдение. Связной был — это точно. Но я все же просидел до вечера, осматривая дороги. А вдруг кто-то еще будет.

Я был так расстроен — опять прозевали, опять ничего не выяснили! — так вглядывался в эти извивающиеся среди полей дороги, что и о Дунятке-то забыл. Вспомнил лишь, когда перед заходом солнца выскользнул из сарая. Огляделся и, подойдя поближе, став за куст крыжовника, стал наблюдать за ней.

Она доила козу. Поглаживала ее по спине, шептала что-то ласковое. Струйки молока с тонким звоном ударялись в дно подойника, постепенно наполняя его. Рядом, внимательно следя за происходящим, сидели две кошки и пес. Порой они откровенно облизывались, глядя на аппетитную молочную пену, взбитую струйками. Дунятка сидела на маленькой скамеечке, слегка наклонившись вперед, и я отчетливо видел ее прелестный профиль на фоне светлой стены.

Группа эта, освещенная красноватым заревом заката, была так живописна, что я пожалел, что никогда не смогу нарисовать эту картину. Даже если бы я за всю свою жизнь не сделал ничего другого для людей, а только запечатлел на полотне эту сцену, передал бы, как соответствует горячий закат тому, что происходит сейчас в душе Дунятки, я был бы прославлен на века. И через двести, и через четыреста лет, и дальше люди замирали бы от восхищения, глядя на эту милую женщину, выражение лица которой говорило о том, что она погружена в переживания своей счастливой любви.

А над всем этим — ароматы утомившихся от летней жары трав, сонно вздыхающих перед наступающей ночью цветов, горьковатый запах созревающей конопли.

Уже через день отцу Савелию передали, что через два дня отряд пойдет в сторону Ново-Алексеевки. Передали также, что Вольница из леса не вышел, боя избежал. Я вспоминал рассудительного Шульгу и думал, что он не будет зря мотать отряд туда-сюда. Либо хочет что-то уточнить, либо обстоятельства требуют самых решительных действий.

Первый день ожидания связного был испорчен дождем. Тучка, сначала прекрасная, белоснежно-вспушенная на голубом фоне неба, к полудню неожиданно разрослась, стала угрожающе-синей и вдруг, словно не выдержав тяжести жадно набранной влаги, пролилась таким густым, сильным дождем, что не только дороги, а и домов напротив не стало видно.

Косой теплый дождь, зубоскаля и резвясь, заливал все вокруг. Не прошло и получаса, как на площади возникла огромная лужа. Все живое попряталось под крыши, и лишь две блестящие белизной утки шли спокойно, переваливаясь, сквозь дождь — к луже. Потом плескались в ней, покрывая, словно выражая одобрение этой прорве воды, обрушивающейся с неба.

На меня текло из всех щелей дырявой крыши. Но уйти мне и в голову не пришло.

Зато на другой день воздух был таким промытым, прозрачным, что даже тонкая синеватая кромка леса была видна. Все сияло и дышало свежестью — умытое, обновленное.

В этот день отряд выйдет из Выселок. Чьи-то недобрые глаза проводят его, определяют направление. Кто-то поспешит сообщить Вольнице о благоприятном для него передвижении красных — пошлет в Никитовку связного.

«Кто же будет сегодня?» — пытался угадать я, осматривая дороги.

Мне хорошо виден двор отца Савелия. Он окутывает яблони, хоть земля еще сыра и тяжела после вчерашнего дождя. Это никого не удивляет. Селяне привыкли уже к тому, что батюшка все делает сам. «Но сначала, — рассказывал мне мой друг, — это вызывало у людей недоумение. «Что за поп такой — не как все». А сколько насмешливых переглядываний уловил я по поводу своего увлечения садом! «Яблоня усыпана яблоками, а он обрезает ее!» Не понимали, что прореживая ветки, я омолаживаю дерево, продлеваю его плодоношение. Лишь когда увидели, какие снимаю урожаи — стали приглядываться». Вот отец Савелий влез на лестницу-стремлянку, занимаясь обрезкой. Но это лазание запланировано нами. На

случай, если понадобится и ему смотреть на дорогу. Работая, незаметно поглядывает в мою сторону.

Как только тот, что придет сегодня, нырнет в овражек, я подам знак своему старшему другу, и он пойдет в дом Никодима, якобы с поручением от села — узнать, как живут у него сироты. Скажет: «Прихожане просили узнать об этом. Говорят, бьешь ты их нещадно и работат много заставляешь». Задержавшись у Никодима, «заговорившись», понаблюдает за хозяйками. Может, что-то заметит.

Вот отец Савелий разогнулся, упер руки в поясницу и прогнулся назад. «Спина болит», — догадался я. Он постоял так, подняв голову к солнцу, отчего широкая борода его поднялась над грудью, зажмурился, наслаждаясь солнечными лучами. Потом открыл глаза, теплым взглядом осмотрел все вокруг, ни на секунду не задержавшись на окне чердака, где как знак будет опущена доска — будто оторвался один край.

Я перебежал к «окну Никодима», проверить, что там.

Чан с холстами опять был полон, а Манятку гоняли то за одним, то — за другим.

«Бедняжка! — опять подумал я о ней. — Сколько работы и несправедливостей выпало на твою долю. Гоняют, гоняют весь день, а еще эти проклятые неперево- дящиеся холсты стирать...»

Вернулся к своему основному месту наблюдения, но Манятка все не шла из головы.

«Вот выковыряем все это вросшее в тело России гнилье, — думал я, — расцветет страна, наберется сил и поднимет таких, как ты, забытый ребенок. Окрепнешь ты тогда, распрямишься, как слабое деревце, пересаженное в благодатную почву...»

Вскоре после обеда на пустынной дороге замаячила фигура, направляющаяся к Никитовке. Поднес бинокль к глазам и ясно увидел длинного мужика в светлой рубашке. Я «вел» его, не отрываясь. Но овраг позади, а мужик идет себе и идет. Что делать? Подавать знак или подождать? А если просто идет через Никитовку прохожий? Святой отец нанесет визит Никодиму, а когда прибудет настоящий связной, идти к богатейу уже будет нельзя. Я решил знак не подавать. В крайнем случае — подам в последний момент.

Вот «длинный» вошел в село. Прошел мимо дворика попа. Перекрестился на церковь. Пошел дальше.

Отец Савелий полез опять на лестницу — продолжить обрезку, и незаметно, вместе со мной, проводил глазами незнакомца. Тот прошел село насквозь, ни с кем не заговорив, никуда не свернув. Я проводил его глазами и разочарованно посмотрел в сторону дороги, по которой он пришел. Там, вдалеке, уже приближался к месту, где «пропадали» все связные, тот же мужичонка, что приходил в прошлый раз. Еще несколько минут, и он нырнул бы в овраг незамеченным.

Я быстро оторвал доску, которую распатал заранее, и впился глазами в своего товарища.

Отец Савелий наконец слез и... продолжал окапывать яблони. Я готов был закричать: «Ну что же вы! Да посмотрите же!» Потом он не спеша отнес лопату в сарай, по пути поправив подпорку под отяжелевшей от плодов ветвью.

Я забыл о дворе Никодима, за которым с этой минуты опять должен был следить, я не мог оторвать взгляда от поповского домика. «Что же он так долго?!» — возмущался я.

И вдруг из двери вышел отец Савелий. В новой рясе, с крестом на груди. Его борода приняла благообразный, приглаженный вид. Перейдя площадь перед церковью, он направился в гору, к дому Никодима. Я вздохнул облегченно и перешел к другому окну, наблюдать за тем, что произойдет.

Вот во двор вошел батюшка. Все кинулись целовать ему руку. Кланяясь, пригласили в дом. Манятка забегала к погребу и обратно. Потом с огородов пришел Санька. Тоже помог, побегав по двору, то с дровами для печурки, то с водой из колодца.

Вскоре во дворе наступила тишина, и я перешел к окну, из которого просматривалась дорога. Немного погодя из оврага вышел связной и направился назад. Я подождал, пока он скроется из виду, и вернулся к «окну Никодима».

Отец Савелий уже шел дорогой вниз. Хозяин бережно поддерживал его под руку. Проводил. Вернулся. И... рывкнул, глядя на чан:

— Ты что же это, ленивица, гноишь холсты! Я все наблюдаю, третий день, почитай, стоят! А ну мне! — Он замахнулся на сжавшуюся девочку, но оглянулся на калитку, за которую только что проводил батюшку, и опустил руку.

«Поговорили, значит, — отметил я перемену. — Это хорошо. Может, поменьше будет бить».

А Манятка уже терла и крутила холсты. Таскала воду. Вот уже моет крышу. Вот уже расстиляет... Но что это? Почему опять холст с оторванным неровно кон-

цом? Его же отбеливали в прошлый раз... Может, нужно отбеливать несколько раз? В этот раз он смотрит оборванным «носом» вниз...

Что-то «толкнулось» во мне... Вроде я что-то с самого краешка, едва-едва... но нащупал. Стал вспоминать — сушили ли холсты в те дни, когда не было связного? Точно я не мог припомнить, но как будто бы нет... Не сушили! Значит, эти холсты... Я боялся поверить такой огромной удаче. На чердаке сидеть уже не мог. Мне нужно было срочно бежать к отцу Савелию и поделиться с ним открытием.

— Не может быть! — воскликнул он не столько недоверчиво, сколько пораженно.

— Точно! Точно! Теперь я вспомнил! По несколько дней киснут холсты в чане. А после ухода связного... их стелют на крыше! А крыша смотрит в сторону леса!

— Да кто ж их увидит оттуда?

— Почему не увидит? А бинокль зачем?

— Все равно не увидит. Ты посмотри, где лес...

— Значит, где-то на полпути еще кто-то с биноклем, а там... еще.

— Зачем?

— Может, сообщают по цепочке. А может... Тут надо подумать. А холсты эти выкладываются знаками! По знакам они узнают, куда пошел отряд Шульги, и безбоязненно нападают на те села, которые остаются без прикрытия.

— Наверно это так и есть...

Мой друг задумался и вдруг сказал:

— Ничего не будет стоять наше открытие, если мы не вмешаемся. Так и будет Шульга мотаться, таская за собой обоз и раненых, а Вольница опять будет наскакивать на ближайšie села. Как в прошлый раз... Сколько бед натворил.

— Но все-таки — из леса вылез!

— Нет. Это — не то. Нужно что-то такое...

— Какое — такое? — стал я нетерпеливо раздражаться.

— Не горячися. Не имеем права горячиться... И ошибиться нельзя. Все нужно продумать до мелочей.— Он оперся двумя руками о стол и, опустив голову, задумался.— Второго раза не будет! — твердо произнес он. Все нужно сделать в этот единственный раз. Даже если... придется погибнуть.

Я почувствовал в его словах такую решимость, такую волю. В этот миг я понял, что он действительно не остановится ни перед чем. Даже перед смертью. Я тоже должен быть готовым к этому... К тому, чтобы... умереть.

Теперь, сидя на чердаке, я только машинально оглядывал окрестности. Все мои мысли были заняты планом. Переходя почти машинально от окна к окну, я прикидывал, придумывал, отвергал.

Отец Савелий, совершая все дневные дела: служба в церкви, беседа с прихожанами, тоже был занят только планом. Так же, как и я, строил и разрушал, принимал и отвергал.

Вечером мы выкладывали друг другу придуманное, браковали или совершенствовали детали, спорили, горячились. Но постепенно вырисовывался окончательный рисунок, и пришло, наконец, такое время, когда в плане как будто бы все сходилось и можно было отдать его на суд нашего командира — Николая Фроловича Шульги. Выглядел план приблизительно так:

Нужно организовать обманный обоз, который на два-три дня задержится в Вьселках. Должно быть несколько телег с наваленными на них мешками. Те, что в середине, могут быть набиты хоть травой. А вот крайние мешки должны быть набиты всяким барахлом. Местами они будут прорваны, и из них будут торчать то теплые вещи, то холсты, то белье, то носок сапога. Охранять обоз будут комовцы, у которых на эти несколько дней надо просить подмоги.

Мы знали, что в городах и селах проводятся недели помощи фронту, и решили, что обоз не будет подозрительным, если осторожно распустить слух, что в мешках вещи, собранные трудящимися в помощь сражающейся Красной Армии, что идет он через наш уезд в соседний, мимо Ново-Алексеевки.

В точно назначенное время в борьбу вступаем мы. Чего бы нам это ни стоило, мы выложим на крыше нужный знак, подтверждающий слухи, что отряд идет на Ново-Алексеевку.

Это будет сигналом для выступления банды. На бешеной скорости будут они догонять идущий вдоль Горяевского оврага обоз.

А отряд Шульги, «проводив» обоз через опасную зону, уйдет вперед, оставив его «со слабой охрандой». Обоз немного оторвется от оврага, на тот случай, если в нем засада бандитов, но будет идти параллельно ему. Он должен быть растянут таким образом, чтобы «обозники» могли свободно лавировать между телегами,

чтобы не стал он преградой, когда их будут наступать. Вскочив на коней, они ускачут, чтобы вернуться тогда, когда начнется бой.

То, что Вольница клюнет на обоз, не вызывало сомнений. Последнее время ему уже почти нечем было «баловать» свое воинство. Все близлежащие села были разграблены. Получив сведения о богатой добыче, он, конечно, постарается овладеть ею. В Выселки не сунется. Драться он боится, хотя у него и больше людей. Значит, это произойдет в дороге.

Ушедший вперед Шульга, где-то за Зудёвым хутором, свернет к оврагу, спустится в него и вернется по его дну, чтобы в нужный момент выскочить и напасть на спешившуюся вокруг обоза банду.

И вот тут, когда завяжется бой, где-то между Выселками и Ново-Алексеевкой, отрезая бандитам путь отступления к лесу, ринется к полю сражения отряд ВЧК, спрятанный с ночи в узкой балке, отходящей от широкого Горяевского оврага.

Последнее время на борьбу с бандитизмом были брошены большие военные отряды. Внушительные, хорошо вооруженные, они наводили на банды такой страх, что те и носа не казали при их приближении.

И вот мы с отцом Савелием... включили такой отряд в наш план.

— Если бы Шульга договорился с губисполкомом! — горячо говорил мой старший друг, возбужденно расхаживая взад и вперед по комнате. — И дали бы нам в подмогу бойцов ВЧК! Хотя на один день! Возможно, с бандой Вольницы было бы покончено раз и навсегда.

— Договорится! — убежденно обнадежил я.

...Мы продолжали вести наблюдение за домом Никодима. Но так как все вокруг было спокойно, а во дворе проходила обычная жизнь, я порой позволял себе отвлечься от всего этого и отдохнуть душой, думая о Дунятке.

В тот день я с неудовольствием смотрел вдаль, где нежными вытянутыми прядями поднимался утренний туман. Его словно подбрасывали вверх, как тонкое легкое покрывало, но он не опускался вновь на землю, а таял в вышине. Дорог не было видно совсем.

Мысли мои, как этим туманом, напитались мрачностью, и все, что я представляла, было окрашено трагичностью. Вот лежу я мертвый, но... оплакиваемый Дуняткой. Странно, никакого ужаса при этой мысли я не испытывал. Это было сладкое послесловие после героической смерти. Вот она наклонилась надо мной, слезы ее капают на мое застывшее лицо. Она проводит ладонью по моим щекам, губам, и... Я вдруг возмущенно прервал себя: «Как же это? А я и не открою глаза? И не скажу: «Вот видишь, Дунятка, кто тебя любил больше и вернее?» Я тут же перевел себя из высочайшего сана — «мертвый», в сан пониже — «тяжелораненый». Она думает, что я мертвый, а я вдруг открою глаза и скажу...

Снизу донесся разговор. Прислушавшись, я узнал голоса Дунятки и Ивана. Я подошел к люку и посмотрел вниз.

Вот она — моя лебедушка! И рядом — этот ненавистный мне тип.

Он был откровенно нетерпелив. А она... все заглядывала ему в глаза. И было в этом робком движении столько беззащитности, столько мольбы... не обидеть ее. Все зануло у меня внутри: «Вот и пришла та страшная минута, которую давно предугадал я и которую уже предчувствует Дунятка».

— Ванятка, — сказала она ласково, зовуще. Голос ее был слаб, но интонации так сильны и выразительны. Словно будила она его.

Он смотрел на нее: сверху вниз. Руки в карманах. А она ничего этого не хотела замечать. Прижалась вдруг щекой к его груди и зажмурила глаза, сдерживая слезы. Видно было, как старалась она не плакать в такой момент, когда нужно быть бодрой и ненавязчивой и... мужественной.

— Ты совсем, мой лапушка, забыл меня...

— А что? — В глазах его появилось нахальное выражение.

Она уловила эту неприязнь, но опять сделала вид, что ничего не заметила.

— Уж не бегаешь ко мне каждый день... Вроде бы... стороной обходишь. Сегодня вот... случайно увидела тебя и окликнула. А то, небось, мимо прошел бы... Иван молчал, глядя куда-то в сторону.

— У тебя, верно, дела, да? А я, глупая, все на себя примериваю...

Она приподнялась на носках, положила руки ему на плечи, прижалась к его щеке и замерла. Наверно, так замирает птичка в жесткой безжалостной ладони.

Мне бы уйти... стыдно подсматривать, но все казалось — может, понадобится моя помощь. И я продолжал смотреть и слушать.

В лице Дунятки просвечивало огромное душевное страдание, которое так трудно сдерживать. Но она крепилась, чтобы не вызвать неудовольствия Ивана. Загадала эту муку в себе. И в позе ее не было расслабленности. Она, мне казалось, была очень собранна и... чего-то ждала.

Он снял ее руки с плеч. И опять Дунятка словно не заметила ничего.

— Что ты так спешишь от меня? Или, может, завелась другая, — она с трудом закончила, — ...зазнобушка? — Даже попыталась игриво заглянуть ему в глаза, но выдала свою боль, которая словно сосредоточилась в ее глазах, и опустила их.

— Отчего ж не завестись? Девочек и баб на селе хватает. А вот мужиков-то — раз-два и обчелся.

— Не надо так, — со страхом выдохнула она.

— Ну, я пойду. А ты по селу за мной не бегай. Не жена, чать.

— Нет-нет! погоди! — схватила Дунятка его за руку. И уже тише: — Сказать мне нужно тебе что-то... Очень важное...

— Ну что там? — голос его был уже откровенно груб.

Но она не хотела ничего замечать. Она готовилась сказать то главное... что сейчас все изменит. Сейчас вернется его бывшая нежность, сейчас...

Но не я один догадался, что хочет она сказать. Иван догадался тоже. Это было видно по еле уловимому оттенку его позы: словно бы появилась настороженность, словно бы посягнул кто-то на его неприкосновенное, словно бы стало что-то на его пути. И я понял, сейчас он будет очень жестоким.

А на лице Дунятки было написано смущение. Она готовилась сделать подарок... и не решалась. Подняла глаза, в которых появилась серьезная торжественность, и одними губами произнесла:

— Дитя будет...

Иван демонстративно опять заложил руки в карманы и просвистел что-то.

— Иван! Дитя будет! Наше, — настойчивей повторила Дунятка. Она даже положила ладонь ему на грудь, для большей убедительности.

— Ну и что? — в лице его появилось вызывающее, нахальное выражение. — Дело-то это — твое. Не мое. Ты — мужняя жена, вот и рожай.

Дунятка стояла пораженная, онемевшая. Кое-как осмыслив его слова, прошептала:

— Но ведь мужа здесь нет... А как приедет?

— Приедет — поохаживает тебя разок-другой кулаком, али кнутом, а там притерпится. И будет у вас дите. — Он ослабился. — Еще благодарить будет. Он же слабосильный. Что первая женка пустая век прожила, что ты. — Он вдруг словно смахнул с лица смех и жестко заглянул ей в глаза. — Вот что, бабочка. Любила по сеновалам с парнем лазить, умей и ответ держать. А ко мне не лепись. И на людях не подходи. А то с тобой... сраму не оберешься.

Он шагнул к двери, но Дунятка опять загрохотала ему дорогу.

— Не губи, Иванушка! Не бери грех на душу! Ведь свое дите погубишь.

— Ну вот ишо! Во, пиявка присосалась! — он грубо оттолкнул ее и неторопливо вышел за дверь.

А Дунятка согнулась так, будто ее ударили, и закрыла лицо ладонями.

Я бросился к окну. Смотрел, как уходит Иван. Я испепелял его широкую серую спину ненавистью. Мысленно я выпустил в него все заряды своего кольта. Я даже «увидел»... как повернулся он удивленно, прежде чем навсегда упасть... А я будто крикнул ему: «Это тебе, гадина, за Дунятку! За Дунятку! За Дунятку!»

Но... он легко перемахнул через старый кусок плетня, что остался с каких-то времен, ловко, играючи, пробежал с холма меж кустами, воровато оглянувшись, ступил на площадь и пошел ленивой нагловатой походкой.

Сознание невозможности помочь мучило меня. Не знаю, сколько прошло времени, но вот я поднялся и вернулся к люку. Посмотрел вниз. Дунятка сидела на снопике сена, видно, несла его, когда увидела Ивана, прислонившись к косяку двери. Широко открытые глаза ее смотрели отрешенно, может быть, сквозь этот сарай, а может быть, сквозь этот мир, такой жестокий, такой несправедливый, мир, где не ценится величайшая ценность его — любовь. Мне показалось, что она успокоилась. Лицо ее теплело, отходило.

О чем думала она? Может, вспоминала свое короткое счастье? А может быть, думала о той, второй жизни, что таинственным образом возникла в ней? А может быть, пошла еще дальше в своей всепрощающей женской нежности и представила себя рядом с Иваном, несущим на руках их сына?

Я смотрел на нее с глубоким состраданием. Все то, что совершалось и совершилось сейчас, нисколько не уронило ее в моих глазах. Напротив, мысленно я «воздевал руки к богу» и молил его о помощи. Я просил защитить ее, обманутую, ибо она не ведала, что творила. Застлало ей глаза светом этой любви. И она — чистая. Ее не испачкало происшедшее. Что из того, что она любила не меня. Главное — она любила!

Наконец Дунятка медленно поднялась. Провела ладонями по лицу, будто снимая с него какой-то налет, и, прихватив снопик, пошла домой.

Опять я смотрел, как доила она козу, как сидели и ждали своей доли кошки и пес. Но не было в лице женщины того света, что сделал бы картину, которую

я мечтал нарисовать, несущей радость. Об этой картине, те, что смотрели бы на нее через двести-триста лет, судили бы, конечно, по-разному. Но никто не догадался бы (потому что не будет этого через двести-триста лет), что эта женщина... — обижена мужчиной!

Подготовка к операции, в которой главными действующими лицами были я и отец Савелий, подходила к завершению. Как будто все изучено, учтены все слабые места, но как все осуществится, можно только предполагать.

Мы нервничали, стараясь не показывать это друг другу. Мучило нас одно и то же — сойдется ли все так, как задумано, не вклинятся ли в это непредвиденные обстоятельства?

Как-то отец Савелий ходил по комнате крупными шагами (в буфете позванивала посуда, скрипели старые половицы от тяжести его большого тела) и, продолжая начатый нами разговор, говорил:

— Время — живое существо. Оно — вездесуще. Я бы даже сказал, в человеческой жизни бог — Время. Как будто неощутимое — оно вещественно. Потеря его непоправима. Это оно, и только оно, подводит нас к последней черте; оно, и только оно, осчастлиливает нас юностью, наказывает старостью, проверяет наши поступки...

— Вот через неделю-другую оно и проверит нас, — сказал я.

— Да-а... — Он остановился, прикусил верхнюю губу, очень остро посмотрел в какие-то дали и надолго замолчал.

Я не мешал ему. Знал, что он все «прогоняет» и «прогоняет» мысленно наш план.

— Пусть проверяет... любой мукой, — негромко заключил он, — только бы удалось задуманное. Тогда многие муки многих других людей не будут терзать их тел, а страх — их душ.

После воскресенья наступили дни ожидания. Они тянулись очень медленно. Однажды вечером за чаем отец Савелий сказал:

— С Дуняткой совсем неладно. Ходит потемневшая. Опавшая какая-то. Бабы говорят — тяжелая она. А Иван куда-то пропал. — Он выжидающе посмотрел на меня. — Ну а теперь что скажешь?

— То же, что и тогда. Помочь ей надо... Если бы она приняла мою помощь, я бы руки не пожалел! — чересчур горячо воскликнул я.

Мой друг будто ничего и не заметил. Посидел, покивал чему-то головой, отставил чашку с недопитым чаем, встал. Постоял у окна, глядя в серые сумерки, и вдруг стал собираться.

— Куда вы?

— Схожу-ка я к Дунятке. Может, смогу вселить покой и надежду в нее. Пусть на этот раз принесет пользу самый главный момент в религии — «подсматривание в душу и контроль над самым тайным». Слово же мое... от того, что оно последнее, приобретет значение прорицания. Будет поддерживать ее, одинокую, будет греть ее, заблуждающую от людской неприветливости.

Он опять еле приметно покивал головой, и я понял, о чем он думает, там, глубже, за Дуняткой. О том, что не уцелеть нам в событиях, которые мы сами же приготавливали. Но не было в лице его ни страха, ни боли, только спокойное раздумье.

— Я пойду с вами.

— Зачем? Лишний ты там.

— А может и нет.

— Может и нет... — Он внимательно посмотрел на меня. Очень серьезно, понимающе. И повторил: — Может и нет... Ну, пойдём...

Когда мы вошли, Дунятка сидела, не зажигая огня. Ее силуэт вырисовывался в свете оконца. Она вскочила, услышав наше приветствие, зажгла лампу, пригласила сесть.

Сама же стояла перед нами, как на суде, опустив голову.

— Как живешь, Дунятка? — спросил отец Савелий.

— Спасибо, батюшка. Живу...

— Живи. Это богу угодно...

— Садись, Дунятка, — подставил я ей табуретку.

Она покорно села. Будто мы знали, что надо делать, а она растерялась, не знает, и потому, не прекословя, делает все, как мы велим.

— Ты мне сказать ничего не хочешь? — начал без обиняков отец Савелий.

— Хочу, — тихо и покорно сказала она, едва пошевелив побелевшими губами.

— Говори же, дочь моя...

Она закрыла лицо ладонями и прямо с табурета повалилась ему в ноги.

— Простите меня, грешную! Недоброе я задумала! — Стоя на коленях, она раскачивалась из стороны в сторону, забыв стеснительность, помня только одно —

сейчас можно облегчить душу признанием. — Недоброе, батюшка! Ох, недоброе! Не хвалит меня господь за жизнь мою, не похвалит и за смерть мою.

— Встань, Дунятка, — он приподнял ее за плечи, усадил на табурет и отвел руки от лица. — Из-за чего же это ты так убиваешься, милая?

— Да ведь знаете же! Все знают...

— Так ты из-за кого недоброе задумала? Из-за Ивана или из-за дитя?

Дунятка вдруг перестала всхлипывать. Вопрос ошеломил ее, и она пыталась разобраться. Но, видимо, вспоминая, натолкнулась на такую боль, что опять разрыдалась.

— Бросил! И дитё тоже! Ничего не нужно, только... — Она не решилась продолжить. — Как стыдно! А страшно! Что будет? Как жить? Митрию как сказать? Перед всеми виновата...

— Только перед ним права.

— Перед кем? — глянула заплаканно Дунятка.

— Перед ребенком своим. Перед ним ты права. Ты ему жизнь дала. В тебе теперь — две жизни. Ты же хочешь распорядиться всем одна. А ведь ты — его заступница. Он там спокоен — маменька выносит. Придет срок, и на свет божий появится твое дитя, кровиночка твоя. А ты его убить надумала.

Дунятка крепче прижала ладони к лицу, сдерживая рыдания.

— А откуда ты знаешь, раба божия Евдокия, почему бог тебе такое испытание назначил? Может, он покорность твою да доброту испытывает? Разве ты знаешь, для чего он это допустил? Может, для самого лучшего... — Он погладил ее по голове. — Ты прости, что в такое ваше тайное вмешиваюсь, но у Митяя-то детей никогда не было. А бог, ты вдумайся, наградит вас за терпение. Слышишь, Евдокия, за терпение!

Он понизил голос, и тот из рокочущего стал мягким и ласковым: — И будет дитя. Твое! Маленькое, беспомощное. Ты для него — большая и сильная. Ты защитишь его, спасешь от недоброго. Тебя бог испытал, и ты выдержала. Тебе можно верить.

Дунятка смотрела на отца Савелия широко открытыми глазами. Слезы высыхали, лицо светлело, какое-то сладкое ожидание вырисовывалось на нем.

— Ведь ты сирота, Дунятка. Одна на всем белом свете. А оно, дитя твое, будет тебе родным, кровным. Любить тебя будет. Жалеть тебя будет.

— Спасибо, батюшка! — Дунятка вскочила, хотела вновь упасть на колени, но отец Савелий тоже встал, обнял ее, она уткнулась ему в рясу и плакала, плакала... А он гладил ее волосы и тихо-тихо говорил:

— Поплачь, Дунятка. Поплачь. Надо человеку уткнуться кому-то в грудь да поплакать. Сладко это — горько-горько поплакаться кому-то. А вот уж когда некому... Вот худо-то. — Он вздохнул. — Это не последние твои слезы. Но их ты будешь вспоминать. Ты будешь отличать их от всех других слез.

Я перебирал букетик зацветшей пижмы, который нарвал, не удержавшись, пробираясь по оврагу к амбару. Сегодня смотреть вдаль было интересно.

Началась уборка озимой ржи. На некоторых полосках работали жницы. В живой волнующей дали белыми пятнами кофт виднелись их наклоненные спины. Иногда они разгибались, уперев руки в спину, отдыхали минуту-другую и вновь принимались жать. Рядом крутились ребятишки.

Вдруг я различил двигающуюся по дороге фигуру «мужичонки», как окрестил я его. Он дошел до места, где всегда пропадал, и на этот раз тоже скрылся в овраге.

Сердце мое радостно прыгнуло — опять! Теперь Шульга со своим отрядом то и дело курсировал от села к селу. А мы в это время изучали, как расположены холсты при каждом названии села. Это была очень важная часть плана. Когда мы изучим условные знаки, вступит в действие вторая часть — короткая, сокрушающая.

Каждые два-три дня шел связной, и мы тщательно разбирали код. Наконец система знаков начала проясняться. Мы уже сами для проверки рисовали завтрашний рисунок холстов, и в большинстве случаев он совпадал с выложенным.

И вот последняя проверка — Троицкое. Отряд двинулся на него, потом вдруг свернул к Голодаевке и вернулся опять в Выселки. Связной пришел два раза в день. Так мы делали уже три раза. Проверяли. Значит, следят очень внимательно. Значит, есть посты на пути к каждому селу. А для нас это значило, что, если понадобится, мы можем выложить знак дважды.

В воскресенье отец Савелий передал через нашего связного, что мы готовы и ждем сигнала.

Мы действительно обдумали все. Выходило, что нам обоим... нужно идти в открытую, и если удастся выложить холсты, нужно продержат их хотя бы часа два. Обычно они лежат часа три-четыре.

Было два варианта действий по выкладыванию знака. Один — силой занять дом Никодима, выложить холсты и держаться, сколько сможем. Мы знали, что в селе есть еще кто-то из банды. Он или они, неизвестно, сколько их будет, постараются нас выбить из дома.

Этот вариант был с изъязном. В случае, если один из нас будет сразу убит, знак снимут очень быстро.

Привлекать к этому плану еще кого-то из села старший друг отказался наотрез. По двум причинам: во-первых, то, что должно было произойти, было слишком серьезно, чтобы можно было довериться мало проверенному человеку; во-вторых, если все же подключить третьего, и вдруг операция сорвется, семья этого человека будет растерзана бандитами.

А вот второй вариант был идеальным, если бы, конечно, удалось его осуществить.

В этом втором варианте главным действующим лицом должен быть... Санька. Да-да, этот забитый парнишка, работник Никодима. Отец Савелий возлагал на него большие надежды. Хотя страдал от того, что вовлекает в опасное дело неподготовленного к этому душой подростка.

— А если разобьются, — оправдывая нас, говорил Савелий, — мы боремся за его правду, за его права в жизни...

Я успокаивал его:

— Но ведь он сам будет выбирать: помочь нам или не помочь, мы же не будем заставлять его это делать под пистолетом.

— Вот только это меня и утешает.

Сам же, как святой отец, все последнее время старался как-то просветить парнишку, подвести его к пониманию того, что вскоре от него потребуется. Отец Савелий часто разговаривал с Санькой, и в этих разговорах витиевато сплеталось то, что завещал Христос, с тем, что было Санькиной и Манькиной жизнью. Больше же всего говорил о нужде и бесправии народа, но опять же облекая это (как поп, в глазах мальчика) в изречения святых праведников, одновременно подталкивая его к истине — за счастье нужно бороться, как борется сейчас простой люд.

— Ну, как вы сами чувствуете, сможет он? — спросил я как-то.

— Душа человеческая — самое непознаваемое...

— Очень туманно.

— Яснее ясного. Человек подчинит разуму свои поступки. Но душа... Она сама выбирает свой путь. Хоть в любви, хоть в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, хоть в подвиге. Она страдает порой о недостойном, возьми Дунятку, диктует поступки, которые не были запланированы. Она крушит и ломает с треском трудно и долго строящее сопротивление ей. И она же, как травинка, раздвигает каменные плиты, пробиваясь к своему солнцу.

Я смотрел на своего товарища, как зачарованный. Какой он крупный — и фигурой, и душой. Ходит по комнате, рассуждает о душе человеческой, а свою уже определил на погибель ради общего дела.

— Солнце, выражаясь образно, — оно у каждого свое. Как будто я знаю солнце Саньки и Манянки. Как будто знаю, что они должны пойти навстречу справедливости. Но... ведь это — подвиг. А готовы ли их души для подвига? Кто знает...

— Но ведь мы не имеем права ошибиться.

— А мы и не ошибемся. Если не получится миром, зайдем дом Никодима силой. Только сами в нем не останемся. Холсты выложим и уйдем.

— Почему?

— Я уже подумал. Дом будет недоступен, если его обстреливать сверху. Я — на колокольне, церковь запру, ломать сразу не посмеют. Ты — в амбаре, у своего любимого окна. Мы будем выше всех. И каждого, кто полезет к холстам, станем отгонять выстрелами. Будешь держаться до тех пор, пока в состоянии будешь стрелять. И я — до последнего вдоха.

Наступил последний день наших приготовлений. Еще раз все осмотрели, еще раз все продумали, проверили оружие. С отрядом было согласовано все чуть ли не до минут. Там тоже сейчас последние приготовления.

Обоз, как нам сообщили, прибыл два дня тому назад. Охрана сделает так, что некоторые мешки, те, которые набиты барахлом, можно будет, тем, кто будет этим интересоваться, даже пощупать. Пусть уверяется, что там вещи.

Итак... завтра.

А пока, в тихие часы вечернего сумерничанья, мы вдруг разговорились, заспорили. Окна были открыты, в комнату набилось всякой мошкары. Она вилась вокруг лампы в трепетном кружении, бессознательно купаясь в ее свете, продлившем для нее день.

— Вот тоже жизнь, — задумчиво произнес отец Савелий, — без сознания, без веры. Просто жизнь.

— Что ж, если без веры, то уже и «просто жизнь»? А я вот тоже не верю в бога.

— Вера — есть состояние любой сознательной души.

— Что, и моей тоже?

— И твоей. Ты веришь в революцию. Она для тебя — бог. То есть она — та сумма справедливостей, которая способна убедить тебя и повести за собой. Даже — на смерть. Во что человек верит — то и есть его бог. Условно, конечно.

— А бандиты, терзающие пленных, как? У них тоже, условно, свой бог?

— Да. Насколько хватает их сознания. Хотя они думают, что верят в бога.

— И значит, единого, того самого, бога нет?

— Конечно. Есть вера. Вера, разделенная на веры. И еще вера тех, кто отверг религию и поднял знамя веры в нечто реальное. Я до этого давно додумался. Но вообще-то жаль, если не используем кое-что из религии. То рациональное, накопленное веками...

— Что же это вы, если так цените религию, пошли за революцией? — уже всерьез разгорячился я. — Или это все игра?

— Игра во что?

— Не в религию, конечно, а в революцию.

— Нет, мой друг, революция — это всерьез. Она совершилась, ибо народ страдался, изголодался. Теперь все мешающее — грешное и праведное — будет сокрушено. И торопливый гнев сокрушающих оправдан всей их бесправной, отравленной нуждой жизнью.

Мы вдруг умолкли, одновременно думая о том счастливом времени, за которое боролись и в котором... нас не будет. Мы — как раз те, кто совершит все, что нужно совершить, не пожалев себя ради этого сияющего сейчас для нас завтра.

— Революция в жизни народов, как любовь в жизни одного человека, — продолжал отец Савелий вслух то, о чем думал. — Тут тебе и мятежность, и стремление к счастью, и способность к самопожертвованию. В ней же проверка человека — на Человека. Ведь если высок человек и любовь его высока. Если низок душой — и любовь свою низводит до низкого...

— Как это верно! — потрясенно воскликнул я, мгновенно сравнив отношения Дунятки и Ивана...

Мой друг словно прочел все в моей душе. Он посмотрел на меня понимающим, участливым взглядом. А передо мной возник образ Дунятки... — светлый, какой-то полупрозрачный. Стоит она на тропинке среди подсолнухов — в выцветшем сарафане, в кофточке в горошек, на шее дешевые стеклянные бусы, их голубизна чуть ярче ее глаз. Кончики длинных темных ресниц слегка золотятся, они, как продолжение солнечных лучей. Обрывает лепестки ромашки и гадает: «любит», «не любит»...

И вдруг я отчетливо представил себе, что она так и не узнает о том, что я любил ее... Уйду завтра из жизни навсегда... и не задержусь ни в чьей памяти. Отец Савелий как-то о загробном мире сказал: «Все тлен. Как придет, так и канет».

— А как же загробный мир? — спросил я тогда.

— Какой же он мир, если он загробный? Мир — вот он! Не ценимая ни одним человеком возможность дышать. Мы впитываем в себя счастье жизни с солнечными лучами, с ветром, с дождем, хлещущим в лицо, со снегом, умиротворяющим душу, и стонем о том, что мы несчастливы... «Загробный мир», — усмехнулся он. — Какая глупость! Несчастливы мы тогда, когда собираются лишить нас этого, не замечаемого ранее нами счастья — дышать. Вот тогда мы понимаем, что есть счастье! Потому что каждый знает, смерть — это полное исчезновение. Остаются живыми лишь немногие... Те, кто жив в чьей-то памяти...

«Жив, пока жив в чьей-то живой памяти... Я хочу жить в памяти Дунятки. Но уже нет возможности сказать ей о моей любви... Может, я уже и не увижу ее...»

Откуда мне было знать, как близко и как трагически сведет нас судьба уже через день.

Еще затемно я проник на чердак сарая. Перетащил оружие, которого, как сказал отец Савелий, было негусто. Две винтовки, подсумок с патронами к ним. Если не будет осады, вполне достаточно. Револьвер я должен держать при себе в неприкосновенности, до критического момента. В кармане два десятка патронов к нему.

Время потянулось так медленно, что мне казалось, оно истончилось и стало, как паутинка. Вот-вот она разорвется... Этот обрыв будет означать несчастье. Мне уже начало казаться, что с моим товарищем что-то случилось. Он не может идти и не может сообщить мне об этом. Я готов был бежать к нему, но тут же осаживал

себя, вспоминая его наказ — ни при каких обстоятельствах не обнаруживать себя раньше времени.

Село уже переступило заботы раннего утра. Успокоенная, накормленная скотина, привязанная у плетней, мирно щипала траву. Отдымили трубы над домишками — завтрак приготовлен. Кое-где уже остановились для долгого обстоятельного разговора особенно словоохотливые кумушки. Ребятяня, с осторожностью маленьких зверьков, обкладывала сады для набега. А во дворе напротив меня — никакого движения.

И вот в тот момент, когда я уже истощил все свое терпение, открылась дверь и, наконец-то, вышел отец Савелий. Ступил за калитку, спокойный, собранный. В движениях неторопливое достоинство. Он постоял, оглядывая площадь, уходящие от нее улицы, и... провел ладонью по бороде, укладывая ее на рясе. Это означало: «Внимание! Я начинаю!»

Вот он пошел вправо, мимо холма, на котором стоял большой светлый дом Никодима, как бы взрывающийся с высоты на убогие, робко жмущиеся домишки бедноты.

Сейчас мой друг обойдет холм, незаметно свернет к оврагу и, выбрав удобный момент, спустится в него.

Я мысленно с ним. Вот он в овраге. Идет не спеша, придав своему облику вид расслабленности и покоя. Он-де — и здесь с богом наедине. Поглаживает крест, улыбается мелким божьим тварям, снующим в траве, порхающим в ветвях.

Увидев Саньку, доброжелательно улыбается, разрешает поцеловать руку, гладит его по голове. Говорит мальчику что-то хорошее, утешительное, чтобы Санька вздохнул, чтобы в его облике появилась причастность к благодати.

Это для постороннего глаза.

Поговорив об огороде, на котором с утра до вечера трудится сирота, ковырнув пальцем землю у выпершей наружу репы или моркови, он с движениями и лицом заинтересованного урожаем человека начинает, наконец, разговор о том, ради чего пришел.

Дальше мое воображение оказалось бессильным. Оставалось только ждать. Как отреагирует Санька? Как поведет себя?

Отец Савелий не вернется этой же дорогой. Он обойдет село и, как после хорошей прогулки, войдет в церковь. Закроет надежно дверь, поднимется на колокольню и подаст мне знак — либо наблюдать, если холсты будет стелить Манятка, либо стелить их самому, под его прикрытием.

Сколько прошло времени, мне было трудно судить — я весь горел нетерпением. Но, наконец, показался мой друг. Шел неторопливо, кивая редким прохожим на их приветствие, со спокойной благожелательностью. Остановился, погладил бороду... Это означало: «Внимание! Следить за крышей». Я приник к «окну Никодима».

Вот от огородов поднялся Санька и вошел в дом. Так бывало всегда после появления связного. Сердце мое прыгнуло. Тревога улеглась. Я напрягся, собрался внутренне. Наступал момент, ради которого было столько проделано.

Вскоре во двор с руганью вышел Никодим, выбежала испуганная Манятка. Из дома донеслись визгливые крики хозяйки. Все как всегда. Но... более светливо. Почему? Мне начало казаться, что они разыгрывают перед нами комедию. Я глянул на колокольню — мой друг был уже там. Мелькнула мгновенная радостная мысль, даже не мысль, а сознание того, что я уже не один, и тут же растворилась в недоумении, которое вызывала повышенная суетня во дворе. Почему они так суетятся? Знать они не могут ничего. Единственное объяснение — направление, которое точно выложила Манятка, было долгожданным. Оно их радует. Почему?

По спине пополз холодок страха. Не за себя. За то, что было подготовлено нами. Страх перед провалом операции. Я уже прикидывал, как это могло произойти. С нашей стороны предательство исключено. Нас только двое...

Я перевел глаза на колокольню. Мой товарищ, невидимый снизу, но хорошо видимый мне, нацелился глазами и дулом револьвера на дом Никодима. Мой товарищ! Человек, прочно связанный со мной тождеством мыслей и действий. Готовностью пойти на смерть.

Я пытался угадать, заметил ли он эту радостную суетливость во дворе Никодима. Я вопрошал его глазами. Он глянул на меня и сделал знак рукой: «Все в порядке».

Но почему тогда такая суета?

И вдруг меня пронзила счастливая мысль: обоз! Они знают про него. Значит, Вольница уже нацелен на обоз. Он уже охотится за ним. Он ждал, куда тот пойдет. И Никодиму... была обещана доля. Ура!

Наконец с холстами покончили, и во дворе потекла обычная жизнь. Хозяин ходил по своему подворью, что-то проверял, переворачивал, иногда останавливался, задумавшись, впериwв глаза «в никуда». Хозяйка возилась у летней печи. Меня уже начал дразнить запах щей. Я подумал: «Мы все предусмотрели, кроме того,

что есть-то надо тоже». Вспомнил, что около окна, выходящего на дорогу, должен лежать кусок хлеба, если мыши не утащили. Собрался было быстро сбежать туда, поискать, и вдруг увидел, что во двор вошел чужой человек — деревенских я знал всех. Либо он пришел по оврагу, либо находился здесь в селе тайно. Он сказал Никодиму только несколько слов, и тот спешно полез по стремянке на крышу. «Гость» что-то говорил, подняв лицо и следя за поднимающимся Никодимом. Он был красен и зол.

Я прицелился выше руки Никодима и выстрелил. Хозяин ничего не понял — видно, ругань пришедшего его сильно расстроила. Зато гость быстро нырнул в дом. Я выстрелил еще раз, отбил щепку около левой руки. Только теперь Никодим испугался. Кубарем скатился с лестницы и тоже вбежал в дом.

Хозяйка, стоявшая спиной к дому, развернулась с горшком на ухвате.

— Лезь наверх! — крикнул ей «гость» из-за приоткрытой двери. — Снимай холсты!

Она осторожно поставила горшок, прислонила к печи ухват, оберла руки о бедра и пошла к лестнице.

Но только ступила на первую перекладину, как я выстрелил опять. Пуля попала в стену, отбив штукатурку. Хозяйка с воплем ринулась в дом.

Какая-то особая тишина разлилась по селу. Я понял, — эти непонятные никому выстрелы загнали людей в дома.

Сонная полуденная одурь сковывала все вокруг. По двору носился томительный раздражающий запах остывающих щей. Чувство опасности постепенно припушало во мне, как бы поддаваясь общему состоянию безмятежности.

Вдруг резко раскрылась дверь, хлопнув о стену. Из дома стремглав выскочил «гость» и молниеносно поднялся по лестнице на крышу. Он бежал, гремя железом, к холстам. Не поняв, откуда стреляли, он, видимо, решил, что заскочив на крышу, будет в безопасности.

Но два выстрела прогремели одновременно. Мой, и с колокольни. «Гость» взмахнул руками и упал. Съехал вниз, зацепился за желоб и остался так лежать.

Я осторожно выглянул. Поймал взгляд своего товарища. Он приказывал не сводить глаз с «гостя». Глянув на того, я понял, почему. Видимо, ранен он был легко. Первый шок прошел, и он зашевелился. Действия его были вполне определенны. Он неуклонно отползал к лестнице. Я выстрелил. Пуля пробила крышу у его ноги, и он притих, боясь пошевелиться.

Опять наступила тишина, и время медленно покатило свое увеличивающееся с каждой секундой колесо. «Гость» еще пару раз попробовал отползти, и оба раза я его «прижимал» к крыше.

Если бы я знал, сколько бед причинит он, я бы не следил за ним эти несколько часов, а успокоил его навсегда. Видимо, мой старший друг тоже не хотел напрасных жертв.

Судя по солнцу, было где-то около пяти часов дня. Можно бы и снять осаду. Но думали мы, видимо, с отцом Савелием одинаково — пусть полежат холсты лишний час. Вдруг это нужно именно сейчас, а мы уйдем раньше времени.

Внезапно я услышал, помноженный на эхо тишины конский топот. Я подбежал к другому окну, радуясь, что это, наконец, наши, и увидел... как по селу неровной кучкой скачут бандиты.

Их легко было отличить от наших, хоть и те и другие были разновозрастны и разношерстно одеты. В одежде скачущих по селу было много городских вычурных и ярких вещей, не вязавшихся с их грубым обликом и вносивших в характер этой группы какую-то карикатурность.

Впереди в английском френче и генеральской папахе скакал крупный красивый мужчина. По описанию я узнал в нем Вольницу. Лицо его было бледно и зло. Лихо подкрученные, кокетливые, пшеничного цвета усы казались чужими на этом гневном лице. Будто приклеили их на время веселья, а в тяжелый час забыли снять.

Всадники, растянувшись, уже скакали по ведущей вверх, к дому Никодима, шеширокой дороге.

Я понял вдруг, глядя на этих удирающих, позабывших даже оставить заслон перед селом, бандитов, что план удался! Видимо, это оторвавшаяся от общей группы или от преследования часть банды.

Вернулся к «окну Никодима». Глянул на колокольню. Отец Савелий подал знак уходить.

Я пробирался по оврагу наугад, не имея определенной цели. Наш план подразумевал, что живыми мы не останемся. Мы не думали о том, что будем делать с собой, если случай отведет от нас смерть. Единственно и как-то вскользь говорили

о том, что о «племянничке» вспомнят сразу. Не зря, мол, шастал по селу. Ну и решились, что в случае непредвиденных обстоятельств лучше спрятаться.

А обстоятельства были самые непредвиденные. Мы и подумать не могли, что Вольница с остатками банды ринется в Никитовку. Ему самый резон — отступить к лесу. Но, видно, дорога к нему отрезана, значит, дали в помощь Шульге отряд ВЧК.

И вот сейчас мой товарищ там в церкви, живой и невредимый, а я тычусь в стены этого оврага, каждую минуту рискуя быть замеченным.

Во мне не было страха за свою жизнь. Не боялся я и за отца Савелия — он сумеет вовремя спуститься с колокольни и как-то обезопасить себя за то время, пока Вольница встретится с Никодимом.

Наконец я добрался до оврага и укрылся в маленькой «пещерке», закрытой от глаз высокими зарослями поляны.

Обнаружил я «пещерку» во время моих блужданий по селу, когда изображал из себя приехавшего к дяде племянника, умиравшего от скуки. Она оказалась довольно просторной. Я вытянул ноги, прислонился к сыроватой стене и закрыл глаза. Огромная усталость, как тяжелая, наполненная непролившимся дождем туча, придавила меня. Я никак не мог сквозь ее толщу вдохнуть до дна моих легких прохладный, пахнущий сырой землей воздух.

Но постепенно тело мое восстановило силы, я немного успокоился и решил потихоньку выбраться на разведку. Заблудившийся ветерок донес до меня острый запах бузины. Потом перемешал его с горьким запахом полыни, что стояла стеной у входа. Запахи были мирные, успокаивающие. Я приготовился вылезти, и тут мимо «пещерки» прошли двое бандитов. Я похлодел — еще минута, и я выкатился бы им под ноги. Через некоторое время они вернулись. Потом прошли еще двое, шаря в кустах. Они были так близко, что до меня донеслось их махорочное дыхание.

В наступивших сумерках прошли опять трое. Видимо, дозор. Ночью ходили еще. Что-то не спалось им.

А я, привыкнув к этому хождению, даже поспал немного, свернувшись и подрагивая от холода.

Но под утро меня будто обожгло чувство присутствия беды. Я быстро сел, прислушался — тишина. Лишь петухи надсадно возвещали миру, что они уже проснулись, значит, пора просыпаться и остальным.

Я стал «копаться в себе», отыскивая, что именно настораживало меня? И пришел к выводу, что сегодня, видимо, меня найдут. Прятаться больше негде. Это, конечно, было страшно. Но та душевная боль, что точила меня, исходила, как я понял, не из страха за свою жизнь.

Как найти способ сообщить с отцом Савелием? Уж он что-то да придумает, — обратился я свои мысли к действиям. Но лишь сунулся наружу, опять прошли трое бандитов. Видимо, смена дозора. Теперь надо ждать, когда вернутся. Может, и не вернутся, но я помнил о них.

Наконец, выкатилось солнце. Протянуло теплые лучи. Какие-то из них заглянули в «пещерку», обласкали меня: «Живой? Вот это и хорошо. Живи! Дыши!» Я вспомнил слова отца Савелия: «Не ценимая ни одним человеком возможность — дышать». Действительно, только когда эта возможность под угрозой, забываются «счастья» и «несчастья» и остается одно желание — жить!

Еще вдруг почему-то вспомнилось — незадолго до того, как разойтись нам по своим постам, отец Савелий сказал: «Ну что ж, будем молиться, чтобы все случилось так, как мы задумали».

Я возразил ему в темноте комнаты:

— Я же не верю в бога.

— Да это я по своей привычке сказал. А вообще-то — молитва не есть обращение к богу.

— А что же это тогда?

— Это — разговор с собой. Может быть, единственно откровенный... так как тайное произносится вслух.

Уже когда я открыл дверь, чтобы выскользнуть в предутренний мрак, он обнял меня как-то неловко и, уткнувшись мне в ухо, прошептал:

— Я хочу, чтобы ты остался жить.

Ближе к полудню в селе началось что-то, видимо, ужасное.

Вопли и плач женщин, крики. Все это отозвалось во мне болезненным чувством тревоги. Сидение в этом заточении изнуряло меня неизвестностью. Значит, Вольница начал «карать» неугодных. Я знал, как жесток и скоропалителен он в решениях, и замирал от страха за безвинных людей. Сколько порубленных, повешенных, расстрелянных находили мы после его налетов на села. Вот и сейчас... полетят чьи-то головы с плеч по его не знающим жалости приказам.

Вопли, плач усилились. Душа моя разрывалась от желания защитить. Я сжимал свой револьвер. Налететь бы! Всего-то бы парочку гранат, и они кинутся врассып-

ную. Пока сообразят, пока соберутся... А дальше что? Дальше... драться до последнего патрона. Отец Савелий поддержит. Может, и из деревенских кто... Но... гранат нет. Есть револьвер и двадцать патронов к нему, которые мне не дадут использовать. Окружат и собьют с ног.

И все же я решил выбирать. Но едва высунул голову, как увидел, что неподалеку стоят двое бандитов, осматривая стены оврага. Я опять сел, окончательно расстроившись.

Постепенно село затихло, и наступила тишина, поистине мертвая. «Все! Закончил расправы. Ну подожди, гад!»

В голове моей созрел план: любой ценой пробраться на чердак амбара и из «окна Никодима» выстрелить в этого проклятого Вольницу. Находиться так близко около него и не использовать эту возможность! Да я себе до последнего часа не прощу этого!»

Где ползком, где перебежками пробирался я к амбару. Долго лежал в траве около задней стены, приложив ухо к щели, прислушиваясь. Тихо. Осторожно отодвинул доску, проник внутрь. Еще полежал, притаившись. Ни звука. Поднялся и быстро взобрался по лестнице наверх. Заглянул на чердак — никого. Тогда я выскочил из люка и отбежал в угол, оставив его перед собой. Как только покажется голова преследователя, ударю его сзади.

Время шло, но никто не показывался. И тогда я пополз к окну. Сейчас! Сейчас я, возможно, увижу своего друга. Подаю ему знак, что жив. Сейчас! Нетерпеливая радость толкала меня вперед.

Я приподнялся, выглянул в окно...

Будто пуля пронзила мое сердце! Будто захлебнулся я собственной кровью...

Перед дверьми церкви, прогнув ветку старого вяза, на толстой веревке... висел отец Савелий!

Повесили!

Я зажмурился от нестерпимой боли. Я готов был убить себя — не уберег! Как будто мне можно было уберечь его, а ему — меня в этой смертельной схватке.

Ветка, не выдерживая тяжести большого тела, согнулась, и босые ноги моего друга чуть-чуть не доставали до земли, до той дороги, по которой каждый день он ходил. Ветер шевелил его бороду, рясу, и мне казалось, что идет он, не касаясь земли. Идет, идет... но никогда уже не придет...

Слезы текли по моим щекам. Горячим шепотом просил я у него прощения за то, что не защитил! Не спас! Не помог!

Когда первый порыв горя немного поутих, передо мной вдруг отчетливо возник образ его палача — Вольницы.

Покачать! — вспыхнуло во мне таким гневом, от которого, казалось, лопнет голова, раздуваемая изнутри. Смертью покачать! Подойти, крикнуть: «За отца Савелия! За всех погубленных тобой!» — и всадить в него всю обойму. Пусть меня потом тоже уложат на месте.

Но мой товарищ...

Он будет висеть до тех пор, пока будут в селе бандиты. Таков их закон. И будет кружить над ним воронье. И будут обходить его со страхом сельские, креститься на ночь, чтобы не явился он к ним в темноте. Будто мог он ночью освободиться от стягивающей его горло веревки. Из мученика и героя он превратится в пугало. Нет! Не допущу. Сначала надо выкрасть и похоронить отца Савелия, а уж потом...

Может, будь я постарше, я бы поступил рассудительнее и отложил это опасное дело. Но в мои девятнадцать лет мне казалось — первое, что я должен сделать, это освободить от петли и поругания моего друга.

Итак, я стал обдумывать — как это осуществить. Как ни крутил, а выходило, что одному мне не справиться. Кто-то еще должен быть. Но кто? И тут я вспомнил о Саньке. «Да! А где же Санька?»

Санька! Я ужаснулся тому, о чем подумал. Это же он выдал отца Савелия! Не выдержал... Надо было ожидать того, что он не выдержит. Мальчишка... А тут нужна воля бойца.

Я вспомнил, наконец, об «окне Никодима» и перебрался к нему. Незаметно, как и до сегодняшнего дня, стал наблюдать и понял — наибольшее количество сведений я получу именно здесь.

Несколько раз во двор из дома выходил Вольница, и было так просто пристрелить его. Даже, может быть, оставался шанс уцелеть самому. Но за моей спиной качался, как огромный черный колокол, отец Савелий и ждал погребения.

«Ладно, — обратился я мысленно к атаману, — поживи, тварь последняя, еще чуток. Но только чуть-чуть. А потом я вцеплюсь в тебя и утоплю, утонув вместе с тобой».

Из обрывков фраз я понял, что банда заперта в селе. Дороги перекрыты, лес отрезан. Что они залегли в старых окопах и надеются удержаться, так как Никитовка на возвышении.

Порадовало меня это все тем, что план удался, а расстроило тем, что и предположить было трудно, сколько времени задержатся бандиты в селе.

Последние часы я сильно страдал от голода и жажды. Второй день без еды и воды. На время самых острых переживаний голод отступил, а сейчас, когда я весь собрался для действий, он опять железным ежом ворочался в моем желудке.

И вдруг я увидел нечто такое, от чего мгновенно забыл о себе. Из сарая для свиней вывели Саньку. Был он в синяках и ссадинах, в разорванной, местами окровавленной рубашке. Его пошатывало на ходу. Мальчишку увели в дом. Вскоре оттуда донеслись разгневанные крики. Вот что-то разбилось. Еще грохот. Остервенелая ругань Вольницы... А через некоторое время Саньку пронесли, ухватив за руки и за ноги, обратно и, кинув внутрь сарая, заперли дверь на замок.

Вот тебе и Санька! Вот тебе и мальчишка! Не выдал, значит! Надо выручать парнишку. Но как? В риге, что рядом с сараем для свиней, разместилось до десятка бандитов. Широкие двустворчатые двери были открыты, и мне было видно, как лежат и сидят они на кинутых на пол овчинах, отдыхая. Нет, здесь не пробиться.

Я прикидывал и так и этак — могли помочь только какие-то удачно сложившиеся обстоятельства и... помощник.

Я знал, что из Никитовки ушло много добровольцев в Красную Армию, и стал прикидывать, где расположены их дома.

Семьи многих из них пострадали от руки Вольницы. Люди очень запуганы. А те, на чью помощь я хоть как-то мог бы рассчитывать, жили так далеко от площади, что добраться до них не было никакой возможности. Я вспоминал этих людей одного за другим и отвергал.

А ведь был еще кто-то в селе из своих. К нему по ночам приходили наши связные. Через него получал отец Савелий сведения. Но, видно, сильно берег он этого человека, если даже мне не раскрыл его.

Получалось, что обратиться за помощью я могу только... к Дунятке.

Откуда и как пришла ко мне уверенность, что я могу довериться ей? Что питало эту уверенность? Моя всевидящая любовь, или последний разговор ее с отцом Савелием? Или то, что жила она всю жизнь в батрачках? Видимо, все это вместе взятое. Но ни на секунду не заронилось в моей душе опасение, что она выдаст. Не ставил я в связь с нею то обстоятельство, что муж ее был с бандитами. Как-то четко жило во мне: она сама по себе, он — сам по себе. И дом ее расположен наиболее удобно для таких действий. Это еще одно «за», которое я не мог не учитывать. Осмотревшись, прислушавшись, я подполз к люку, спустился по лестнице, выбрался из сарая.

Прижимаясь к земле, я осторожно пополз, делая частые остановки. Пока лежал, затаившись под кустом шиповника, тянувшего отяжелевшие от плодов ветви к солнцу, вдруг как-то внезапно осознал, что уже разгар лета. Поляна благоухала разнотравьем и разноцветьем. Над ней порхали бабочки, деловито пролетали пчелы, в траве, как в высокоом густом лесу, хлопотливо бегали муравьи. Совсем рядом маленький кустик земляники согнулся под тяжестью ягод. Я дотянулся до них. Обобрал все ягоды и горстью ссыпал в рот. На одно мгновение забыл, почему я здесь. Упоительный вкус ягод напомнил детство.

Но я быстро опомнился. Осторожно огляделся и пополз от куста к кусту. Раньше мне и в голову не приходило, что они растут так далеко друг от друга. Но сейчас, когда в селе бандиты...

Как бы там ни было, я полз вперед уже вдоль плетня и добрался наконец до калитки. Одним рывком, согнувшись, вбежал в нее и заскочил в сарайчик. И только здесь подумал: «Вдруг Митяй вернулся?»

Прислушался. Тишина. И вместе с тишиной — облегчение. Какая-то часть плана уже осуществлена.

Теперь... Дунятка. Найду ли я слова, способные убедить ее и дать силы на такие необычные, сопряженные с опасностью поступки? Снять отца Савелия и затем, возможно, помочь освободить Саньку. Но об этой второй просьбе... я скажу ей потом.

Вот она вышла из сеней, — я смотрел на нее, как после долгой разлуки, — расстелила на середине двора тряпку. Потом поставила рядом маленькую лавочку, на которой всегда сидела, когда доила козу. Все очень спокойно — значит, не видела меня. Опять вошла в дом. Вынесла оттуда что-то в мешке и тоже отнесла к тряпке. Наконец села на скамеечку, вытащила из мешка шершавый диск подсолнуха и стала вылучивать семечки.

Она сидела ко мне боком. Мне хорошо был виден ее профиль, таящий в себе что-то от девочки, какой была она когда-то. Выбившаяся из-под косынки прядь

волос золотилась на солнце, и это еще усиливало впечатление, что передо мною сидит существо слабое, нежное. Нет, Дунятке не под силу страшное испытание, которое я назначил.

Я смотрел на нее и будто оттаивал. Мир оживал. Но уже в следующий миг я вспомнил то, что произошло, и то, что должно произойти.

Дунятка вдруг прислушалась, осторожно повернула голову в сторону сарайчика и увидела меня — грязного, измученного.

Она испуганно, как-то осторожно осмотрелась. Затем внешне спокойно свернула тряпку конвертом, накрыв семечки. Встала. Я видел, как она внутренне собралась. Подошла к плетню, сняла кувшин, надетый на кол для просушки, обтерла его передником и в то же время мгновенно глянула вниз — на дорогу. Потом повернулась и неторопливо пошла к сарайчику. И пока шла она ко мне, стоящему в глубине дверного проема, я видел, как исчезала девочка — нежная и слабая. Дунятка будто всходила на невидимый костер. В лице ее проявлялось сострадание и желание оградить.

«Она сможет! Она сможет!» — торжествовал я.

— Вас ищут, — тихо сказала она. — Корову обещают тому, кто найдет.

— Пусть ищут. Что ты знаешь о бабушке?

— Повесили! — она зарыдала. — Какой-то чужой наговорил, и ему поверили.

А мы кричали, плакали... Нам не поверили...

— Какой «чужой»?

— Говорят, он на крыше был и видел, как бабушка с колокольни стрелял.

«Гость!» — понял я. И испытал горькое сожаление, — почему не убил его тогда! Ведь видел же — враг! Теперь же вот как обернулось...

— А что наши?

— Кто?

— Наши. Красные.

— Слышала, дорогу к лесу отрезали.

«Значит, если прорваться через бандитский заслон, можно будет выйти на своих, — прикидывал я. — Если не удастся, придется отсиживаться в селе. Хорошо бы узнать, когда хотят начать выбивать Вольницу из села. И попробовать подсчитать, сколько, приблизительно, бандитов набилось в Никитовку. Перерезан ли путь или нет в Ново-Алексеевку? Сотня вопросов, и ни одного ответа. Но пока главное — отец Савелий».

Я смотрел на Дунятку, и язык не поворачивался начать разговор на эту страшную тему. И вдруг:

— Может, я чем помогу вам?

— Да! Очень нужна твоя помощь! — Я переполнился радостью: «Милая, милая девочка! Такая добрая. Готова помогать, ни о чем не спрашивая». — Ты садись, Дунятка. Разговор такой...

Она присела на колоду у двери. Я — напротив. Так, чтобы просматривался двор.

— Дунятка... — я долго молчал, — нужно снять отца Савелия и похоронить.

— Да! Так жалко его! Так страшно...

«Хорошая моя. Она и не подозревает, что это ее просят помочь в этом тяжелом деле».

— Дунятка!

— Да.

— Понимаешь... Мы с тобой сегодня ночью могли бы его тайно снять и унести. Может, успели бы и похоронить сегодня же ночью... А если нет, то хоть спрятать пока...

— Снять?! Мы? Я?! — Она пораженно посмотрела на меня и еще раз переспросила: — Я? Нет-нет!

— Больше никому, Дунятка!

— Можно попросить кого-то, — пыталась она отвести от себя это страшное соучастие.

— Не пойдут. А один я не смогу.

Она опустила глаза. Лицо ее то белело так, что вокруг губ проступала желтизна, то краснело. Наконец она еле слышно произнесла:

— Не могу... Боюсь... — и спрятала лицо в ладони.

Мы долго молчали. Она — от стыда, я — от досады.

«Вот тебе и костер! Выдумщик несчастный! «Она сможет!» — дразнил я себя, забыв, что несколько минут назад видел в ней слабую, нежную девочку. Я разочарованно и осуждающе посматривал на нее, обдумывая заодно, как же теперь быть. И вновь неожиданное:

— Надо прежде могилу вырыть.

«Чисто по-крестьянски!» — раздраженно подумал я. — Все прежде обстоятельно обмозговать, обговорить... Будто это и так не понятно».

Дунятка опять примолкла. Потом тихо спросила.

— Где могилу будем рыть?

Я почувствовал в этом вопросе ее согласие и ответил коротко:

— В амбаре.

— Это хорошо. Туда никто не ходит. Он, вроде, — ничей. Но Никодим на него лапу наложил. Следит, чтоб не растаскивали. Вот и обходят этот амбар стороной, чтоб не портить отношения с Никодимом.

— Это нам на руку.

— А на колокольне сидит кто-то. Осматривает все вокруг.

— Я знаю. Но ему не видно то, что происходит за амбаром... — Я умолк, подумав: «Зато сарай, где заперт Санька, виден часовому со всех сторон».

Видимо, страх за мальчишку, терзавший меня, отобразился на моем лице, потому что Дунятка вдруг успокаивающе подбодрила:

— Вдвоем быстро выроем.

— Нет, Дунятка. Ты сиди во дворе, шелуши свои подсолнухи и наблюдай. Если кто направится к амбару, подай знак.

Наконец я закончил рыть могилу. Вылез из пахнущей земной глубиной и ненасытностью ямы, замаскировал ее и взобрался на чердак. Выглянул в окно, выходящее на площадь. Отец Савелий был там же. Будто могло быть иначе. Ветерок шевелит его рясу, вздувает, она полощется, словно старается прикрыть его голые ноги. «Потерпи, мой друг», — сказал я ему мысленно.

До темноты просидел я на чердаке, следя за селом, за сменой наблюдателей на колокольне и часовых у ворот дома Никодима, ставшего штабом Вольницы. Прикидывал, как незаметнее подойти к церкви, как быстрее снять отца Савелия, как уйти.

К вечеру план, с учетом полученных сведений, был готов.

Наконец темнота, как высшая милость, спустилась на село. Я покинул чердак и перебрался во дворик Дунятки. Мы опять встретились в сарайчике.

Коза вздыхала за жердью, отгораживающей ее место, на насесте сзади порой вскудахтывали куры. Запах сена, помета как-то особенно подчеркивал мирную тишину вечера.

— Дунятка!

— Да, — еле слышно отозвалась она.

— Я постараюсь все сделать так, чтобы побережь тебя.

Молчание.

— Дунятка, думай о том, что это очень хороший человек, что он не пожалел себя ради тебя...

— Как это?

— Он мог бы жить спокойно. Не обращать ни на кого внимания. Лишь бы ему было хорошо. А он... — я проглотил слезы... — не терпел несправедливости... Он, Дунятка, ведь знал, что сегодня погибнет! — почти выкрикнул я. — А сказал мне накануне: «Пойдем к этой обиженной женщине... это к тебе, Дунятка! Может, слово мое потом будет греть ее». А сам... знал, что мы умрем!

— Почему? — спросила она сдавленным голосом.

— Потом расскажу. Все потом. Сейчас главное — не отдать его на поругание. Не бояться его надо, а жалеть. Так жалеть, так жалеть... — Я не смог больше говорить от душивших меня слез.

— Я жалею! Я так жалею...

Мы стояли расстроенные, переполненные слезами и горем, но, может, это и внесло в наши последующие действия такую ожесточенную целенаправленность.

Почти всю ночь мы не могли осуществить задуманное. В селе было какое-то движение, все что-то мешало... Часовой у дома Никодима ходил не как днем (около калитки), а как-то — к церкви вниз и опять вверх — к дому. Несколько раз мы поднимались для последнего рывка, и ложились опять, вспугнутые кем-нибудь.

Наконец, выбрав момент, мы перебежали, каждый к назначенному месту. Я — к телу. Дунятка — к дереву. Взобравшись на него, она легла на ветку и, вытянув руку, с трудом перерезала веревку, на которой висел отец Савелий. Я принял его. В следующее мгновение уже подбежала Дунятка. Она помогла уложить его мне на спину, и я, шатаясь от тяжести, пошел дорогой, выбранной нами заранее.

Дунятка шла сзади, поддерживая его. Мы добрались до тропки, что вела к амбару, передохнули в кустах и с большим трудом затащили свою ношу наверх. Опять сели передохнуть. Сердца наши колотились так, что их могли, казалось, услышать издалеко. Рядом с нами в сереющей тьме лежал наш друг. Я чувствовал Дунятку так, будто мы были единым существом. Сейчас она не боялась отца Савелия. Она страдала. Она испытывала облегчение от того, что сейчас он будет

предан земле. И земля, кормилица при жизни и утешительница в смерти, примет его, укроет в себе и будет носить в своей душе до скончания века.

— Дунятка, — сказал я, — нужно ведь было этой же ночью постараться освободить Саньку. А уже рассветает.

— Как же теперь?! — вскинулась она, и было этим вопросом выражено ее полное согласие на следующее, еще более опасное дело.

— Не знаю... Потом подумаем. Ну, отдохнула?

— Да.

— Тогда пошли.

Мы занесли отца Савелия в сарай, разгребли сено и положили у ямы.

— Я сейчас! — метнулась Дунятка к двери.

— Куда?

— Сейчас!

Она выбежала, а через несколько минут вернулась со свертком.

— Что это?

— Одеяло. Завернуть.

«Вот так вот, по-крестьянски, — упрекнул я себя. — Все предусмотрела».

Мы завернули нашего друга, попрощались с ним... и опустили в могилу. Уже светало. Лопаты, как и тогда, когда я копал днем, без конца скрежетали по камням. Звук этот казался оглушительным, заставляя замирать сердца, но мы, не останавливаясь ни на секунду, засыпали могилу.

Наконец утрамбовали землю ладонями и закидали сверху прелой соломой. Все!

Мы едва разогнулись от усталости. Стояли друг против друга, уже видимые в слабом предутреннем свете, перепачканные, взмокшие от спешки и волнения. В сером предрассвете я видел, как тяжело дышала Дунятка, как закрывала порой глаза, переводя дух. Я с какой-то особой остротой отметил про себя, что роста она небольшого, худенькая, я бы даже сказал — хрупкая.

«Как же ты смогла?!» — подумал я, потрясенный тем, что она сделала.

— Что? — тревожно спросила Дунятка, поймав мой взгляд.

— Ничего... Это я так...

— Устал?

«Милая ты моя заботница!» — захлестнула меня нежность и признательность.

— Перебеги в сараюшку. Я тебя сеном закидаю, отдохнешь хоть.

— Нет, Дунятка, нельзя. Завтра... Хотя, какое там завтра, сегодня начнут искать...

— У меня не будут. Я...

— Не надо! — Я испугался продолжения фразы: «жена бандита». — Не надо рисковать. Ты и лопаты сейчас в навоз засунь. Мало ли что...

— Тогда беги. Уже совсем светло.

Я подошел к двери, прислонился к косяку. Внизу, — мне видны были только крыши, — мирно спало село.

«Что-то завтра будет? — подумал я с тревогой о тех, кто спал под этими ветхими крышами, кто видел, может быть, последние сны в своей жизни. — И все — из-за меня!» Представил вырывающихся, кричащих баб, молчаливых, с обреченно опущенными головами мужиков и Вольницу перед ними — яростного, безжалостного, и в этот миг осознал, что поторопился.

Подошла Дунятка.

— Мне нельзя бежать, — сказал я.

— Почему?

— Представляешь, как будет зверствовать атаман? Сколько безвинных голов полетит!

— О! — застонала она у меня за спиной.

— Разве я могу это допустить? Пойду сам.

— Н-нет!.. — едва слышно прошептала она.

Я понял, ей страшно за меня, и прочел в это мгновение в ее глазах весь пережитый ею ужас сегодняшней ночи и... страх перед еще такой же. Я читал в них, как ясновидящий, — если со мной произойдет то же, что с отцом Савелием, как сможет она одна осуществить то, что сделали мы вдвоем?

— Дунятка! — Я шагнул к ней, взял ее за руки. — Ты должна сидеть дома. Так нужно. Что бы ни случилось. Ты слышишь? Что бы ни случилось! — Я особенно нажал на последнюю фразу, давая ей понять, что она не должна делать то, о чем подумала. — Не сегодня, так завтра наши выбьют их. Ты обещаешь?

Молчание.

— А Санька? Он в руках бандитов. Его надо спасать как-то. И кто расскажет нашим про нас? Только ты ведь знаешь все.

— Хорошо. Не выйду...

— Иди. Не забудь про лопаты.

Она пошла к могиле за лопатами. Не дойдя, остановилась, задумалась, потом повернулась ко мне. В лице ее произошли перемены. Оно как бы осветилось надеждой, решительностью. Она опять подошла.

— В переулке, куда выходит задняя стена моего дома, — торопливо заговорила она, — во втором дворе от угла, где Федория живет, есть старый колодец. Он в кустах. Его не видно. Цепь оборвана, но, упираясь в бревна, можно спуститься вниз... — Она заглянула мне в глаза. — Вдруг сумеешь убежать...

— Спасибо.

— Ну вот и ладно, — облегченно вздохнула она и пошла за лопатами.

И в этот миг я почувствовал, что вот сейчас только и можно сказать ей о моей любви.

— Дунятка!

Она с готовностью вернулась, видимо, ожидая какого-то уговора на случай, если...

— Дунятка... мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Ты не удивляйся... и не обижайся.

— Говори-говори...

— Я хотел тебе все это сказать в тихую светлую минуту... Но, думаю, больше не случится у нас такой минуты. — Я подошел к ней, взял ее за плечи и сказал, наконец, то, что так долго носил в себе: — Я люблю тебя.

Она вздрогнула, отшатнулась. Я понял — вспомнила мгновенно нахальные руки Ивана и подумала: «И этот такой же!»

Но уже в следующую минуту успокоилась. Это отец Савелий, понял я. Он лежит здесь, наш друг, ради которого мы сегодня не просто рисковали жизнью, а совершили такой глубоко человеческий поступок, который осветил нас друг для друга светом чистоты и великодушия, и нельзя после этого думать друг о друге плохое.

— Не так бы я хотел тебе это сказать. Не торопливо, не коротко. Но успокаивает меня то, что произнес я, наконец, эти слова, и они не умрут со мной, а останутся жить в тебе. Я знаю, ты полюбила бы меня, но у нас нет времени... — Поправил ей выбившиеся из-под платка волосы, посмотрел в ее заполнившиеся слезами глаза. — Моя ладушка... — Я коснулся губами ее искаженных беззвучным плачем губ и, не думая об осторожности, не хоронясь, быстро пошел к оврагу. Добрался до «пещерки» и погрузился в прохладный мрак.

Тело отдыхало, а в голове прокручивались и прокручивались события этих суток. Мысли перескакивали с одного на другое.

Но над всеми бедами и предстоящей мукой (я не верил в спасение) светом и теплом полнокровной жизни обволакивало меня ощущение, что мы с Дуняткой теперь связаны. Что она думает сейчас обо мне. Думает хорошо. Беспокоится. Нет, страшится за меня. Как все внезапно получилось. Я и не думал, что смогу когда-то сказать ей о своей любви.

Она будет жить, будет вспоминать эту страшную ночь, отца Савелия и... меня. А значит — и это мое (не ко времени и не к месту) объяснение в любви...

Солнце только взошло, а уж начались крики. Теперь я отчетливо представлял все, что творилось в селе.

Осторожно... вылез из своего убежища. Как я теперь берег себя! Мне нужно быть живым еще хотя бы час. Я переползал, перебегал, ложился, прятался. И повышенным чувством слуха, более, мне кажется, слухом души, чем физическим, прослушивал происходящее на площади перед церковью.

Плач! Пока ровный. Значит, расправа еще не началась. Надо спешить. Я даже, мне кажется, различал в ругани и выкриках голос Вольницы.

Наконец я добрался до угла переулка. Надо мной слева, прямо на краю обрывающегося резко холма, стоял домик Дунятки. «Только бы она сдержалась и не вышла!» — мелькнуло в голове.

Я нашел глазами двор Федории, второй от угла. За плетнем кусты... Где-то там старый колодец... Прячась в серой от пыли придорожной пыли, я завернул за угол. Замер в бурьяне, что начинался у края площади и поднимался вверх по холму.

Прямо передо мной, ближе к церкви, стояла большая толпа деревенских жителей, окруженная вооруженными бандитами. Из-за спин людей раздавался ненавистный голос Вольницы:

— Считаю до десяти! Потом будет поздно!

Он пошел на людей, и те шархнулись от него, как от бешеной собаки. В образовавшемся проеме я увидел атамана. Он повернулся к кому-то и резко сказал:

— Считаю!

— Раз... два... три...

Я перевел глаза на считающего, и внутри у меня все оборвалось. Сердце кувырнулось, как подстреленное...

«Гость»!

Он считал, слегка раскачиваясь на носках. Одна рука его была перевязана и подвешена на цветастой косынке.

Перед моими глазами возник отец Савелий. И вот он — виновник его смерти.

— Ах ты гад! — шептал я, забыв в охватившей меня ярости, ради чего я здесь. — Ах ты сволочь! — рука сама вытащила пистолет...

— ...десять! — закончил тот.

— А теперь!..

Голос Вольницы, многозначительность этого «а теперь!» встряхнула меня. Я с трудом вернулся к задуманному.

— А теперь! — и атаман зло прищуренными глазами обвел притихших селян. — Мы опять будем считать до десяти! — Он замолчал, усиливая эффект того, что будет сейчас сказано. — И каждый десятый... будет расстрелян!

Толпа, будто единое существо, как-то колыхнулась, вскрикнула коротко горестными женскими голосами и замерла, невольно следя за счетом.

— Десять!

«Гость» вытолкнул на середину подростка.

— Десять!

Сам вышел старик.

— Десять!

Крупная тяжелая женщина забилась в руках тащивших ее бандитов.

— Десять!

Стали отрывать малыша, державшегося за юбку матери, в руках которой был еще младенец.

— Не дам! — кричала она, пытаясь прижать к себе свободной рукой старшенького. — Люди добрые! Помогите! Люди!

Все глаза были устремлены на нее, и никто даже не заметил, как я вбежал в этот круг. А когда выстрелил в воздух, наступила вдруг недоуменная тишина. Все лица повернулись ко мне.

— Я стелил холсты! Я заманил вас в ловушку! Я снял отца Савелия!

Я нарочно громко выкрикивал эти фразы, чтобы использовать эффект внезапности и замешательства. По-видимому, по минуте мне это удалось, а в следующую я уже выстрелил в упор в атамана.

Кто-то сзади сбил меня с ног, придавил к земле. На меня навалились несколько человек. Я еще раз выстрелил, уперев дуло в чей-то живот. Тот со стоном отвалился. Но уже в следующую минуту мне скрутили руки и принялись бить. Кто сапогом, кто кулаками. Я потерял сознание.

Когда открыл глаза, на меня стало стремительно падать небо. Стоящие вокруг как-то косо закружились. Я зажмурился, стараясь преодолеть головокружение.

— Очухался! — сказал кто-то. — Теперь можно повесить.

«Значит, повесят», — подумал я о себе как-то отрешенно.

— А ну, поставьте его!

Меня подхватили, поставили.

Неподалеку, на том же месте, где достала его моя пуля, лежал недвижимо Вольница.

«Убит гад!» — удовлетворенно подумал я.

А когда мимо меня пронесли тяжелораненого «гостя», значит, это в его живот выстрелил я, чувство удачливости овладело мною.

— Нет, его не вешать надо... — пошел на меня бандит с сивой всклокоченной бородой.

— За атамана его надо так... — зверяя, продолжил другой.

— Подумаем, как! — обнадежил третий.

И тут я вдруг почувствовал, что они не знают, как со мной поступить. Предполагают, что птица я важная, надо бы попридержать... А для кого? Смерть Вольницы перепутала все.

Я попробовал подтолкнуть их к решению моей судьбы.

— Мне нужно сообщить что-то важное вашему главному, — твердо сказал я. — От этого зависит ваша жизнь.

— Глянь-кось, эта пададь угрожает!

Но они как-то одновременно посмотрели на мертвого атамана, и я почувствовал их растерянность. Не передо мной. Перед тем, что могло им действительно показаться угрожающим.

— Може, подождать, пока Гундев Станислав Лазаревич прибудут? — нашел кто-то выход.

— Мне к главному надо! — ухватился я за их замешательство.

— Ага ж! К главному? — с издевкой спросил сивобородый, и, расшвыряв, закричал: — В сарай его! К пацану этому, к Саньке!

— Его ж в расход пустили!

У меня все упало внутри: «Не успел!»

— Не. Сидит. Я недавно бил его.

Я облегченно вздохнул: «Живой».

— Вот вместе их и пустим! В одночасье преставятся.

— К главному меня! — настырничал я. — У меня важное дело.

— Шагай давай! — меня ткнули кулаком в спину. — «Сведения» у него! У тебе теперь одно сведение — либо в грудь литую, либо на шею витую! — И он загоготал такой удачной шутке.

Однако повели меня по дороге к дому Никодима.

Вот по левой стороне Дуняткин дом. Вот амбар. Я шел, не поднимая глаз. Чтобы не мелькнуло хоть на мгновение у кого-нибудь подозрение, и не пало оно... на Дунятку. Да не пошли бы шарить в сарае.

Меня ввели в знакомый до мелочей двор Никодима. Я глянул на крышу. Холсты были убраны и опять кисли в чане. Хозяйка суетилась у летней печи, но обходилась почему-то без помощи Манятки.

Следом за мной внесли на одеяле тело Вольницы. Хозяйка мелко закрестилась. На лице ее отобразились испуг и растерянность. «Как же так? — читалось на нем. — Атаман! Такой грозный! И вдруг... убит?»

Меня оттащили к стене сарая. Все посторонились, сняв шапки, пока несли Вольницу в дом.

Правый глаз его был чуть приоткрыт, словно искал меня. Мы встретились глазами. Он смотрел из-под века прищурившись, будто в прицел винтовки. А я говорил ему мысленно: «Допрыгался, падашь? Сам-то ты уже узнал. Вот другим передал бы, что с каждой смертью от твоей руки — вокруг тебя все теснее круг. Вчера ты еще вырвался из него, а сегодня ты — центр его».

Я знал, что завтра тоже погибну, но я ни на секунду не сравнивал свою смерть с его. Моя будет — за правду, за лучшую жизнь. Наши с отцом Савелием смерти будут, как надежные камни в фундаменте революции.

Атамана занесли в дом. Стоящие во дворе надели шапки, и все пошло своим чередом. Хозяйка вернулась к своим чугунам. Конвойные открыли замок сарая для свиней и втокнули меня туда. Закрыли дверь. Я слышал, как лягнул кованный засов.

Так как руки мои были связаны, упал я неловко, ударившись о жердь, которой были огорожены свиньи. Они зло захрюкали, шарахнувшись к стене.

В крошечное оконце над дверью слабо пробивался свет. Я огляделся, отыскивая глазами Саньку. Его нигде не было.

— Сань! — позвал тихо.

Никакого ответа.

Я с трудом поднялся на ноги. Нелегко, оказывается, со связанными руками встать. Обошел углы и убедился, что мальчишки нигде нет.

«Куда же он мог деться? — размышлял я. — Во двор не выйдет — и замок, и хозяин. В окошко тоже не вылезешь... А бандиты говорят — он здесь. Может... убежал?! Но как?»

Стал вспоминать, как расположен сарайчик. Он висит задней стеной над оврагом. Кусты густо облепили склон холма. Это я хорошо помнил, потому что не раз обходил дом Никодима, изучая подступы к нему.

Если Санька убежал, то лазейка может быть где-то около задней стены.

Я перешагнул через жерди к свиньям и стал ногами расшвыривать солому и навоз, которые у стенки и по углам были суше. Боров зло хрипел, все норовил меня цапнуть, но я не связывался с ним. Сейчас правда была на его стороне — влез не на свою территорию, топчется, мешают...

Я обследовал весь правый угол. Но никаких следов побега не было.

Прошел вдоль всей стены, и вспыхнувшая было надежда на освобождение стала затухать.

И вдруг нога моя провалилась. Труха ссыпалась в какое-то углубление. Ни секунды не раздумывая, я слез туда, протиснулся по узкому подкопу, и яркий дневной свет брызнул мне в глаза. Овраг! Я вылез в кусты, хотел начать осторожно спускаться, но хвататься за кусты руками не мог и, сорвавшись, покатился вниз.

У самого подножия холма зацепился, наконец, за что-то и остановился. Замер, прислушиваясь. Сейчас меня окружают те, кто видел, как пролетел я сквозь кусты, и больше они уже с меня глаз не спустят.

Но тишина ничем не нарушилась. Неужели никто не увидел?! Я глянул осторожно на колокольню, на которой был часовой. Но тот был неподвижен.

Это была немислимая удача. Я быстро отбежал, пригнувшись, от места, где мог

он меня заметить сверху. Затем медленно, осторожно ступая, завернул за холм и очутился с другой его стороны — у огородов, на которых всегда работал Санька. Мгновенно созрел план — добраться до «пещерки».

Не знаю, сколько времени мне понадобилось на то, чтобы добраться до нее. Но вот прохладное нутро «пещерки» вновь приютило и спрятало меня.

Я привалился к стене, и чувство великой удачливости вновь охватило меня. Это надо же! Не успел попасть в сарай, как тут же из него сбежал! Часовой — спал! Пока бежал по оврагу — никто не заметил! Немыслимая удача! Расскажи, не поверят.

Но мое ликование питало нечто большее, чем внезапное освобождение. И вдруг я понял что. — Вольница!

Подумать только! Сколько бед причинил он людям. Как долго бесчинствовал и «карал» беззащитных...

А где-то подрастал я — его смерть...

И стоило только стать нам друг против друга, как я — убил его!

Недолго размышлял я так приятно. В селе вдруг поднялись крики, ругань. Кто-то куда-то скакал. Несколько человек пробежали по оврагу мимо меня, тычась в кусты, то по правой, то по левой стороне. Но хорошо была спрятана «пещерка» — не нашли.

Переполох продолжался несколько часов. Еще два раза проходили мимо бандиты, шаря по склонам. А вот в третий... остановились как раз напротив моего убежища. Здоровенный мужик (у меня даже как-то мгновенно промелькнуло в голове: «Ну и дубина!») стоял лицом ко мне, раскуривая сигарку, и смотрел... прямо мне в глаза. Но... раскурил, кивнул товарищам, и они пошли дальше.

«Неужели не видел? Видно, мрак «пещерки» спрятал меня...» Только было ощущение, что видел! Сердце мое гулко билось. Кровь медленно возвращалась к щекам. А еще через некоторое время у околицы началась перестрелка, которая продолжалась до вечера. Я с надеждой прислушивался, может, наши в атаку пошли? Трудно им будет — Никитовка на возвышении. Но к темноте все кончилось, и село погрузилось в сторожкую тишину. Лишь собаки влаивали с какой-то неуверенностью. Не было в их голосах обычной хозяйской деловитости. Не подхватывались они дружным перебрехивающимся хором, как бывает, когда по селу идет чужой: Тут полно было чужих, и они подзапутались, как вести себя в таких обстоятельствах.

Руки мои занемели до того, что казалось, раздулись, наполненные тысячами мелких иголок, но сколько я ни старался развязать их, так и не смог. Веревка была толстая и завязана крепко.

Нечего было и думать выходить, идти куда-то со связанными руками. Продержаться бы мне пару дней. Но... этот «дубина», так назвал я мужика, смотревшего на меня, неужели не заметил? Ведь мы смотрели друг другу в глаза. И было в его взгляде такое... А может, и не видел. Кустарник довольно густой. Я был в тени, он — на свету. Может, и не видел...

Постепенно сон сморил меня, но был он чутким. Будто поставил я часового, и при малейшей опасности он разбудит меня.

Но разбудил меня крик петуха.

Ночь завершалась. Один за другим гасли мигавшие всю ночь разноцветные светлячки. Мне даже показалось, что как-то посветлело чуть-чуть отверстие «пещерки».

И в это время я услышал шаги. Осторожные, тихие. Потом шорох у самого входа. Я вжался в стену, и вдруг услышал шепот:

— Петя! Петь! Ты здесь?

«Дунятка! Это она!»

— Здесь я! Сейчас!

Но вылезти оказалось труднее, чем влезть.

— Руки! — прошептал я.

— Сейчас.

Она попробовала развязать, не получилось. Стала растягивать узел зубами, тоже не смогла.

— Что же делать? — расстроилась она.

Я молчал, не зная, как она решила поступить со мной.

— Пойдем наверх по тропинке, — услышал ее шепот.

— Не смогу без рук взобраться. Круто и темно.

— Я буду держать.

Кое-как влезли мы на холм и перебежками добрались до домика Дунятки.

Завесив окошко плотно одеялом, Дунятка зажгла керосиновую лампу, укруп-

тив фитиль так, что только узенькая полоска огня билась на нем, слабо освещая комнату.

Потом бросилась к печи, взяла лежавший на приступочке нож и стала осторожно перерезать веревку. Наконец руки мои свободны. Я тер их, тряс, шевелил плечами. По рукам струилась какая-то разрывающая их сила. Но постепенно боль улеглась. Я сел на табурет и огляделся.

По гладко смазанному унавоженной глиной земляному полу разбегались домотканые половички: к столу, стоящему у окна, к прялке, на которой пухлявился пучок козьего пуха; к широкой деревянной кровати, к горке для посуды, к большому, окованному двумя железными полосами сундуку. Несколько табуреток аккуратно стояли у стены.

Все дышало чистотой и ухоженностью. Кровать, стол, табуретки были до желтизны выскоблены. Стены и печь свежепобелены. По стенам печи раскиданы нарисованные цветочки. Над окном и дверью букетики чеборы и душицы — их запах на всю жизнь так и остался для меня напоминанием о Дунятке.

Все это я запечатлел в себе в одно мгновение.

А Дунятка уже возилась у печи, рядом с которой лежала вязанка соломы для топлива. Достала чугунок с теплой водой, чистую тряпку и подошла ко мне.

— К свету повернись. Я раны промою.

— Что ты, Дунятка! Я сам! — запротестовал я, смутившись.

— Сиди. Я сама, — просто сказала она.

На поставленной рядом табуретке установила чашку, чтобы в ней отжимать тряпку, и, слегка выкрутив фитиль, чтобы было светлее, склонилась надо мной. Ее руки осторожно касались особенно болезненных мест. Промыв, она промакивала их чистым льняным полотенцем.

Я лишь изредка взглядывал на нее, смущаясь и боясь смутить. Но душа моя была, как чистый ком снега, который подмыло весенней водой и понесло по звенящему, искрящемуся ручью. Вокруг капель. Сквозь переплетения тонких, оживающих веточек бьет голубизна небесная, солнце, а он несется по этой шальной воде и... тает, тает, тает... У меня кружилась голова от ее близости.

— Не больно?

— Век бы так сидел! — восторженно вырвалось у меня, и я тут же испуганно смолк.

Потом она накрошила в молоко хлеба и заставила меня поесть. Я поддевал деревянной ложкой куски, плавающие в молоке, и сначала степенно, неторопливо отправлял их в рот. Но постепенно движения убыстрялись. От такой необыкновенной вкусноты, после голодного существования последних дней, я терял над собой контроль и остатки доедал, взяв чашку в руки и прижав ее к груди. Бережно слил последние капли, и тут только вспомнил, где я нахожусь и как надо мне быть аккуратным и привлекательным.

Но Дунятка возилась у печи, и это успокоило меня.

Вот она положила в мою опустевшую чашку две вареные картофелины и принялась сама счищать с них кожуру.

— Что ты! Я сам!

— Ешь-ешь.

Поставила плосечку конопляного масла.

— Макай. — И извинилась. — Больше ничего нет. Огород весь обчистили эти...

— Да и так вон сколько! И картошка, и молоко...

— Сначала надо было тебе вовнутрь молочка плеснуть с аржаным хлебешком. А то, небось... все нутро у тебя побито... — Она посмотрела на меня с материнской жалостью, и я понял — видела Дунятка, как били меня, и... страдала от этого.

— А как ты догадалась прийти к «пещерке»? — наконец смог говорить я.

— Вспомнила, что ты там прятался. Но сначала я пошла к колодцу, тому, заброшенному. А там тебя нет...

И тут я вспомнил про Саньку. Почему-то показалось, что он должен быть там.

— А где Санька?

— Ушли они. Попробуют спрятаться в Теньчином овраге, он корявый и порос густо.

— Я ведь через его лаз выбрался. Выходит, он меня спас... А не я его...

— Выходит, так. А его спасла Манятка. Всю ночь рыла подкоп. Утром Санька и выбрался. Как раз, когда ты на площади был.

— Откуда знаешь?

— Манятка ко мне чуть позже пробралась. Я ей хлеба дала, картошки. Когда тебя искали, боялась, что найдут и тебя, и их. Но видать, и они хорошо схоронились.

Я съел картошку, запил козьим молоком, что поставила передо мной Дунятка в маленьком, из обожженной глины, горшочке. В жизни никогда не пил я больше молока вкуснее этого. А хлеб, накрошенный в молоко, до сих пор моя любимая еда.

— Ну, мне пора. Спасибо тебе...

— Никуда ты не пойдешь. Знаешь, сколько набилось здесь народу. Кого только нет. Тут и мужики богатые, и военные, и какие-то городские. Пробираются оврагами сюда. Видать, много их было понатыкано по селам, что вокруг Никитовки. А теперь всем скопом хотят к лесу прорваться.

— Значит, надо нашим сообщить об этом.

— А то они не знают! Там, знаешь, какая силища! Держат же этих который день.

Мне понравилось, как она сказала: «этих». Этим словом она отринула их от себя. В эту минуту я почувствовал, что душой она с теми, кто «держит их который день», кто — «силища!»

— Тогда спрячь в сарае.

— Теперь уж в сарае не спрячу. Они и по сараям, и по сеновалам лазят, тычут в сено штыками. Здесь будешь, — решительно сказала она.

— Да тут и вовсе спрятаться негде.

— А вот здесь.

Она сняла с кровати перину. Под ней, как широкий ящик, углубление, в которое накинаны были зимние вещи, какое-то домашнее тряпье, старье.

Дунятка переложила все так, что у стены образовалось пространство, где мог уместиться человек.

— Ляжешь, а я на тебя перину уложу, застелю сверху, подушки горкой выложу — никто и не додумается.

— Здорово!

— Ложись. А то уж светает.

Она постелила на доски кожух и даже маленькую подушечку положила под голову. Я улыбнулся этому.

— Не смейся. Полежишь на досках, головой вниз, — все занемет. А так удобно будет.

Я лег. Она положила на меня перину, застелила ее поверху ветхим пикейным одеялом. Все это отогнула там, где было мое лицо.

— Пока дыши. А я покараулю.

Задула лампу, сняла одеяло, которым было завешено окно, сложила его и села, глянув на улицу. Потом повернулась и предупредила:

— Если придут, не шевелись. Может, и не станут ворошить.

«Может, и не станут! Значит, не исключает возможность, что могут. И все же... идет на это».

— Поспи, — сказала она мягко. — Измучился, бедный...

«Измучился, бедный»... После этих теплых слов отступило на время чувство опасности. Как подарок жизни — вместо пыток, смерти — вот она, сидит у окна Дунятка. Охраняет меня!

Я немного подтянулся и как бы полусидел, опершись на спинку кровати, в любую минуту готовый соскользнуть в свое убежище.

Окно серело квадратом в негустой темноте наступающего утра, и на его фоне четко отпечатался силуэт Дунятки.

Разговор никак не складывался. Я чувствовал, помеха ему — мое признание там, в сарае. Оно, эта полутемная комната и я — в кровати — объединились и приобрели особое значение.

— Ты спи, спи, — сказала, наконец, она. — Кто знает, какой будет день.

— Да. Никто не знает, — вздохнул я. — Хорошо бы, наши сегодня ударили.

— Может, и ударят. Вечером же стреляли.

— Нет! Я все же пойду! — стал вылезать я. — Товарищи мои там в каждом штыке нуждаются, а я в пуховики залег.

— Сиди! — кинулась она ко мне. — Ты вон Вольницу убил! Да этого... чужака.

— Его я ранил.

— Преставился уже.

— Ну?! — с радостным удивлением воскликнул я. — Так ему и надо! — и сел, усмиренный. — Это он отца Савелия выдал.

— Он? Ну, туда ему и дорога. Прости мне, господи! — Она взглянула на икону.

В свете уже наступившего утра мне хорошо была видна освещенная горящей лампадкой икона Спасителя. Мягкость выражения его лица, благословляющие три перста, видно, успокаивающе подействовали на Дунятку. Она вздохнула и задумалась. А я рассматривал икону.

Была она в дешевом окладе, видимо, очень старая. Правый нижний угол помят, а у деревянной основы выщерблен довольно большой кусок.

Дунятка, конечно, и не замечала этого, глядяываясь только в лицо, в мысль, заключенную в его выражении. По всей видимости — это был ее любимый святой.

— А как отец Савелий... тогда? Расскажи... — попросил я.

— Как про такое расскажешь? Все кричали, плакали... А он... такой спокойный... Будто молебен служит. «Живите, — говорит, — в справедливости. А справедливость — в революции». Тут из-под него табуретку и вышибли...

Мы долго молчали. Образ этого сильного мужественного человека стоял перед нами.

— А что такое... революция? — спросила вдруг Дунятка.

Нельзя было и представить ничего более приятного для меня, чем услышать из уст Дунятки этот вопрос.

Я стал ей горячо объяснять все, что хранила в себе по этому поводу моя душа.

Сначала передо мной была очень внимательная слушательница. Она вникала во все, видимо, сравнивая с тем, что слышала уже из уст людей, настроенных против. Но постепенно, я это почувствовал, в ней пробуждались доверие, симпатия. Я даже уловил момент, когда она вспыхнула чистой верой, и я будто услышал слова отца Савелия: «верующие в революцию». О, как это верно. Именно — верующие!

— Революция в жизни народа — это как любовь в жизни человека, — говорил я, до словечка вспоминая то, что сказал мой мудрый друг. — Все тут есть: и стремление к счастью, и способность к самопожертвованию, и чистота помыслов... В ней же и проверка человека — на Человека. Как в любви. Если высок человек душой — и любовь его высока. Если низок душой — и любовь свою низводит до низкого.

— Как складно ты сказал о любви... Я тоже думала над этим, — она смолкла смущенно, не решаясь высказаться. Но решилась. — Я думаю, любовь — как птица. Попадает в хорошие руки — будет высоко-высоко летать... А попадет в плохие — сомнут ее, крылья поломают... — Глаза ее наполнились слезами.

Нут тебе и раз. Разговор о революции неожиданно свернул в сторону, коснувшись ее боли.

— А потом еще... — продолжила она чуть слышно, — найдутся такие, что будут добивать ее камнями...

— Не плачь, Дунятка! — я чуть не выскочил из своего тайника, чтобы броситься утешать ее. — Камни бросают те, кто ничего не понимает! А я! Я знаю, какая ты! Ты от чистоты своей, от большой веры людям... Я люблю тебя за это еще больше...

— Не надо, — посмотрела она на меня очень серьезно.

— Ты не пугайся, Дунятка, — испугался я сам. — Не думай, что я... пользуюсь случаем... Нет. Это я сказал тебе, чтобы ты поняла, как хорошо и высоко я о тебе думаю.

И, чтобы успокоить ее, я вернулся к началу разговора.

— А революция — она для хороших людей.

— Для бедных, — поправила она, хорошо и сразу усвоив главное из того, что я говорил.

— Конечно! Вон Санька-батрак, небось, как боялся своего хозяина. Потом атамана. А отца Савелия не выдал. Потому, что хоть и не знает он, что такое революция, а душа бедняцкая — с ней. И Манятка... К кому побежала за хлебом? Кому все рассказала? Тебе! Потому что знала — ты столько же горюшка хлебнула, сколько и она. Натерпелась...

— Да уж... натерпелась... — слезы текли по ее щекам.

Во дворе вдруг послышались голоса. Дунятка вскочила, я нырнул вниз. Она накрыла меня углом перины, расправила одеяло, откинула щеколду и стала двигать в печи чугуны.

Дверь открылась рывком — в горницу ввалились несколько человек.

— Ночью ничего не слыхала? — спросил густой бас.

— Нет. С вечера слышала — стреляли.

— Это мы и без тебя слышали.

Кто-то подошел к кровати, заглянул под нее. Потом со стуком открыли крышку подпола, и кто-то спустился туда.

— Нету никого! — послышалось приглушенно.

Вошел еще кто-то.

— В сарае никого, кроме козы и кур.

— Сено пощупал?

— Раскидал. Кой-где штыком потыкал.

— Вчера надо было искать лучше, — опять сказал бас.

— Чо здесь искать? Пропустили, потому что мужик ейный — наш. Митяй.

— Тот, плюгавый, што ля?

— Ну.

— Смотри, каку кралю подцепил! Завтрак готовишь?

— Да.

— Ну што жа — пошли... — с сожалением закончил он. — Если кого увидишь, прибеги скажи.

— Прибегу.

Хлопнула дверь, и они гурьбой вывалились во двор. Вскоре вышла и Дунятка. Осмотревшись, вернулась и позвала:
— Петя!
— Что? — тихо отозвался я.
— Ты лежи пока так. Они тут вокруг лазят. А я пойду козу подою.

К полудню во всех концах села началась частая стрельба. Включились пулеметы.

«Пошли наши, — обрадовался я. — Видать, в кольцо взяли. Пора и мне».

— Не пора, — строго сказала Дунятка. — Носа высунуть нельзя, сколько здесь этих... Откуда только набрались...

— Что ж, я так и просижу здесь весь бой? — горячился я.

— Лежи! Не слышишь, что ли?

Я, и правда, слышал голоса совсем неподалеку.

Прошло часа два, когда я почувствовал перелом. Выстрелы со стороны Ново-Алексеевки стали ближе. Потом реже. И тут включился близкий пулемет — вот почему все время были рядом голоса — устанавливали его в амбаре.

— Ну что там? — спросил я нетерпеливо у Дунятки.

Она молчала некоторое время, всматриваясь в окно, потом убежденно сказала:

— Наши.

«Какие «наши»? — мелькнуло у меня в голове. — Те, у которых Митяй, или НАШИ?»

— Скорей! — рассеяла мои сомнения Дунятка, откинув перину. — К амбару не иди. Там на чердаке пулемет. Спускайся прямо около дома.

Я вскочил распаренный, мокрый, с занемевшей спиной. Но внутри все ликовало: «Наши!» Подбежал к окну, глянул. Увидел лишь край цепи. Залегли. Пулемет не давал поднять головы.

Я раскрыл дверь, шагнул через порог... И вдруг сердце мое сжалось от предчувствия — что последний раз выхожу я отсюда, что последний раз вижу Дунятку. Я вернулся в горницу.

Она стояла там же, где и стояла. В позе ее была безнадежность. Увидев меня, вздрогнула, глаза ее стали широкими, испуганными. Я подошел, наклонился и прижался к ее виску. Она не отстранилась. Потом коснулся губами ее глаз, щеки и едва дотронулся до губ, боясь спугнуть эту тихую покорность. Переполненный болью, смешанной с восторгом, я быстро отстранился и выскочил за дверь.

Но словно привязан я был цепью — все никак не оторваться. Вернулся опять. Распахнул дверь. Она стояла все там же, прижав обе ладони к губам, словно зажимая рот, чтобы не вырвались рыдания. А из глаз ее... текли слезы.

— Дунятка! — крикнул я. — Дунятка! Я...

С амбара опять застучал смолкший было пулемет. Я развернулся и стремглав кинулся во двор. Перебежал его и, выскочив за калитку, упал у плетня. Дальше пополз знакомой дорогой: от куста к кусту, от куста к кусту... Но не за дом Дунятки, куда не доставали пули, а к амбару.

На что я надеялся, не имея в руках оружия? Там, конечно, не один пулеметчик. Наверняка — двое или трое. Единственно, что было в мою пользу, это то, что я хорошо знал путь и надеялся незаметно и тихо пробраться наверх.

Это мне удалось.

Пулеметчик был один! Справа от него лежал убитый офицер. Слева, его мне не было видно, кто-то, судя по одежде, из банды. Видимо, тоже убитый. Я навалился на пулеметчика, оторвал его от пулемета, и он упал, придавленный мною. Потом вывернулся, и мы стали кататься по чердаку. Он был силен и уже несколько раз был сверху. Но я хоть и ослаб за последние дни, все же выворачивался, сознавая, что одолеет меня он.

Вот мы подкатились к люку. Я услышал, что кто-то внизу бежит, поднимается по лестнице... «Все. Теперь добьют», — мелькнуло в голове. Но из люка вдруг показалась голова Акима Ведерникова, затем Пети Вековухина. Они выскочили на чердак. За ними еще двое бойцов из нашего отряда. Пулеметчик оставил меня и кинулся к окну, выбивая ногой доску, но его настигла чья-то пуля.

Я подбежал к пулемету. Рядом со мной вторым номером тут же оказался Петя Вековухин. Лишь на мгновение глянул я поверх щитка, разбираясь в обстановке, и направил густую свинцовую струю туда, где у церкви залегли за могилами бандиты. Огонь внес в их ряды смерть и панику. Они поднялись, смешавшись, не соображая, куда отходить, и тут наши окружили их. Бандиты стреляли, словно отгавкивались. Как бешеный зверь, которого прижали к стене.

Я вытер пот, можно было и передохнуть. Но вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Осмотрелся и встретился глазами с бандитом, который лежал слева от

пулемета и которого я считал мертвым. Узнал его сразу — «Дубина»! Мужик, что закуривал самокрутку, глядя мне в глаза, когда я сидел со связанными руками в «пещерке».

Он и сейчас смотрел на меня тем же взглядом.

— Выкарабкался? — спросил он еле слышно.

— Да... — растерянно ответил я. А в мозгу, как молния: «Значит, видел! И не выдал...»

— Вот и хорошо, — опять еле слышно сказал он, и лицо его исказилось от боли.

— А вы? Что с вами?

— Офицер, — он показал глазами на лежащего справа. — Я хотел повернуть пулемет... Но их было двое...

— Так вы хотели нам помочь?

— Я и помог... — Он переждал боль. — Несколько минут пулемет молчал... Пока мы дрались... А потом выстрелили разом... и вот...

Я опять глянул в окно — несколькими бандитам вязали руки. А со стороны дороги, что шла на Петровку, еще слышалась отчаянная перестрелка.

— Подняться можете? — спросил я раненого.

— Нет...

Я позвал ребят, что заняли позиции у окон. Стрельба на площади смолкла, и они пошли к люку.

— Товарищи. Помочь надо. Давайте снесем вниз.

— Это бандита-то?

— Он не бандит.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю.

Мы снесли его вниз, сдали санитарам, а сами кинулись в ту сторону, откуда доносились звуки боя. Добежали и с ходу врезались в рукопашную.

Но до рукопашной я, видимо, еще не дорос. Я размахивал винтовкой, которую подобрал по дороге, но не мог... всадить штык в человека. И когда возникло передо мной бородатое лицо какого-то мужика, я помедлил на секунду больше, чем можно было... и он успел меня опередить. Страшная боль будто разорвала грудь. Все остановилось, замерло в этот миг, обеззвучилось. Вбирая в себя последнюю картину, которую я еще мог видеть, — разъярившихся, убивающих друг друга людей, — я упал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сознание волнами наплывало, возвращая последнюю виденную мной картину. Но тишина была подозрительно глубокой. Наконец я как-то пробился сквозь беспмятство и открыл глаза.

Голые стены комнаты в сероватых красках рассвета не сказали мне ни о чем. Я скосил глаза — рядом со мною стояла кровать. Следом — другая. И так: справа три кровати, слева стол. За столом — медсестра. Уложив голову на сжатый кулак, она спала.

Я закрыл глаза, вызывая в памяти воспоминание об этой комнате, о кроватях, о медсестре... Нет. Ничего этого не было в моей жизни. Откуда же оно? Но, постепенно проясняясь, сознание нащупало и разъяснило происходящее — госпиталь! Я ранен. Да-да. Я помню, я ранен.

Сестра вдруг открыла глаза, глянула на меня и улыбнулась обрадованно.

— Очнулся?! Ну, теперь выздоровеешь.

Однако, чтобы хоть относительно выздороветь, понадобился месяц.

Только оторвалась душа моя от смерти, как устремилась... к Дунятке. Каждый день, каждую минуту возникала она передо мной с прижатыми ко рту ладонями, с глазами, испуганными, наполненными слезами. Я все силился проникнуть в это ее страдание, разгадать его.

Что за этим стояло? Горечь и боль из-за того, что не Иван так любит ее? Или жалость к себе за загубленную жизнь?

А вдруг... А вдруг?! — И душа моя взлетала в такие выси, с которых страшно падать... вдруг это относилось ко мне! Что, если моя, не требующая ничего, любовь пробудила в ней такую же — ответную!

Нет, конечно. Я спускался на землю, потому что находиться на такой высоте без поддержки — невозможно.

А иногда мне казалось совершенно очевидным, — это тогда, когда я вспоминал, как коснулся ее губ, — что что-то между нами есть. Очень значительное. Такое,

чего нет у нее ни с кем. И не будет. В эти минуты я сам себе был ненавистен за то, что не догадался сказать ей, как-то закрепить это, как-то протянуть в будущее.

— «Дунятка!» — передразнивал я себя. — «Дунятка! Я...»

Что «я»? Немтырь! Слов не нашел!

И тут же: «Какие слова? Она же — мужняя жена!»

Постепенно узнал, что стол стоит около меня не просто так. Что я — тяжелый. По левую сторону этого стола лежал второй тяжелый. Я его не видел, но слышал во время обхода врача:

— Авдей Рогаль, если не будете принимать лекарства — не выздоровеете.

— Выдюжу. Я как медведь. Отлежусь вот, а потом пойду по лесу сил набирать-ся, жирок накапливать.

Так его и звали: Одни — Рогаль, другие — Медведь.

Каково же было мое удивление, когда, впервые сев, я лицом к лицу столкнулся с Медведем — это был «Дубина». Тот, кто увел от меня бандитов, когда я прятался в «пещерке».

Мы обрадовались друг другу так, будто были родными.

— Это он меня спас! — радостно показывал на меня Рогаль.

— Наоборот! — восклицал я. — Это он меня спас!

И всем было радостно от того, что мы спаслись, и удивительно от того, что у нас одинаковые ранения — в упор в грудь.

Но постепенно новизна этого открытия стерлась и затерялась в общей тревоге: очаги мятежа вспыхивали то в одном уезде, то в другом. Мятежники захватывали села. Объединившись, пробовали нападать на города. Правда, в нашем уезде было более-менее спокойно. Уничтожение банды Вольницы дало возможность навести порядок в близлежащих селах. Недобитые остатки банды, во главе с новым атаманом — Гундевым, затаились и ждали удобного случая, чтобы ударить в спину.

В минуты тишины раненые нашей палаты рассказывали о себе, о своей жизни с такой искренней откровенностью — будто исповедовались. Так я узнал, как попал Авдей в «бандиты».

— Мобилизовали! Ха! Это называется «мобилизация»! Подставили винтовку к спине, и иди. Запротивишься — получишь пулю. С детишками не попрощался! Женку отогнали, как собаку. Она кричит, рвется, а они замахиваются на нее прикладами. Ну, думаю, потерплю. Огляжусь и что-нибудь придумаю. А когда увидел, как они зверствуют в селах, как кончают раненых, решил — выберу момент и перебегу к красным. Тогда уж рассчитаюсь с этими головорезами за пролитую кровь. Но мужик я осторожный... И вдруг однажды вот этот паря, — он показывает на меня, — сам ворвался в такой зверский круг! Себя не пожалел, чтобы спасти людей. И что вы думаете, убил атамана, помощника его, а сам чуть живой от побоев убег!

Соседи по кроватям смотрят на меня с восхищением. Я краснею и удерживаю Авдея от дальнейших похвал. Он нетерпеливо выслушивает меня и продолжает свое.

— Я тогда сказал себе: «Смотри, Авдей. Мальчишка, и столько смог. А ты, здоровенный дядька, осторожничаешь. И вот... — дальше в который раз рассказывалось, как смотрели мы друг другу в глаза сквозь кустарник вокруг пещерки.

Однажды приехал Шульга. Он вошел в палату с белой простыней на плечах вместо халата. Здоровый, усатый, невозможно красивый. Он высмотрел меня и, улыбаясь, подошел к кровати.

— Здравствуй, Петро!

— Здравствуйте, Николай Фролович! — радостно рванулся я.

— Лежи-лежи!

Он сел на край кровати и посмотрел на меня с отцовской теплотой.

— Врачи говорят — дело пошло на поправку?

— Да! Я уже...

— Торопиться нельзя. Ранение у тебя очень тяжелое.

— Да я уже могу вставать! Так нет же — лежи да лежи, говорят...

— Раз не разрешают, значит, не вставай.

— Я в отряд хочу.

— Успеешь. Ребята гордятся тобой. Ты молодец.

— Какой же я молодец, когда... отца Савелия не уберег. — Я отвернул лицо, чтобы скрыть свою борьбу со слезами.

— Война... У нее свои законы... Вернее, беззаконие.

— А как вы тогда? Я ж так ничего и не знаю.

— Все получилось, как задумали.

— Расскажите!

— Рассказчик-то я плохой. Но попробую.

Он задумался. Смотрел куда-то сквозь стены этой комнаты, вспоминая и, видимо, переживая.

— Обоз пошел по-над оврагом, — начал он очень неторопливо, словно проверяя сейчас, правильно ли все было сделано. — А основной отряд наш будто бы ушел вперед. Но на полдороге к Ново-Алексеевке мы, как и было задумано, спустились в овраг и пошли назад, под прикрытием его склонов. И вовремя, я тебе скажу, вернулись... У банды-то в овраге была засада. Видать, с хуторов да из сел, что неподалеку, собрались, чтобы задержать обоз. И, представь, тут мы наткнулись на них, а наблюдатели сообщают, что показался отряд Вольницы. Глянули, а их — тьма! Второе больше нас.

Ну, мы разделились... Часть отряда отошла назад, чтобы ударить с той стороны, а часть, разделавшись с засадой, быстро пошла вперед по оврагу. Получилось, мы и бандиты мимо друг друга прошли: они — в одну сторону, мы — в другую.

Выбрали место, где кони смогут вынести, и стоим ждем. Слышим — гикают. Наблюдатели поясняют: обозники, как мы и договорились, кинули обоз и ушли. Они потом вернулись, когда драка началась. Ну а банда и дорвалась до добычи. Что тут началось! Бандиты с коней соскочили. Обоза не видать — куча муравьиная. Кто выбрался из нее, прячет награбленное. Все рвут друг у друга. Забыли обо всем.

Вот тут мы и наскочили. Все произошло так быстро. Пока те вспомнились, а уж уйму людей потеряли. Да сообразить не могут — что делать. Направились было к лесу, навстречу — отряд ВЧК идет подковой. Они — назад. Куда ни кинутся, везде их встречают огнем.

— А Вольница ведь ушел, — не утерпел я.

— Да. Небольшая часть прорвалась и удрала в Никитовку.

— Надо было сразу за ними гнать...

— Нельзя было. Мы внезапно их смяли. Если бы часть отряда оторвалась преследовать, возможно, перевес этого боя был бы на их стороне. Их все-таки больше было.

— А те, что удрали, залегли потом в старых окопах.

— Что поделаешь. Сразу везде не успеешь. Зато мы их обложили в Никитовке так, что они носа высунуть не могли. Правда, сами тоже до поры не высывывали, — улыбнулся он. — Они-то на высоте, а мы — в низинке. Как на ладони. Дождались дружину, что в Растягаевке селяне сами создали, и тогда уж...

— А что Никодим? — опять не удержался я от вопроса.

— Свои же и шлепнули.

— Туда ему и дорога! За холсты, наверно?

— Вполне возможно. Он не справился с тем, что ему поручили. Проворонил.

— Вся банду уничтожили? — вновь перебил я. Хотелось узнать все.

— Да нет... Часть все-таки прорвалась к лесу.

— Я так и думал...

— Почему?

— В Никитовку тогда по оврагам столько всякого сброду поналезло. Откуда только брались...

— Мятеж...

— Товарищ командир, — обратился к Шульге товарищ справа, Егор, — а правда, что мятеж разрастается? Слухи ходят разные... Не знаем, кому верить.

— Да. Скрывать не буду, разрастается. Но теперь уже есть много сел, не вступающих в него.

— Как Растягаевка?

— Да. Создаются в таких селах ревкомы. Своя мобилизация. Да что там мобилизация! Люди сами идут в такие отряды. Советская власть теперь для них...

— Как мать родная, — закончил Егор.

— Для многих — так и есть. И вот, — занимают селяне оборону и не пропускают бандитов в село.

— Хлеба хорошие поднялись, — вздохнул Авдей. — Не как к войне, а как — к житью доброму.

— Оно и будет добрым. Только немного еще поднатужиться, — сказал я.

— Надо бы дать мужику хлеб собрать, — вздохнул Егор.

— Советская власть думает об этом, — успокоил Шульга. — Обращается к народу с призывом — собрать хлеб. У меня вот есть наша губернская, — он полез в карман и достал сложенный в несколько раз листок бумаги. Протянул мне. — На вот, почитай.

— Что это?

— Листовка.

Я начал читать:

— Товарищи крестьяне, с горячим приветом обращаемся к вам за всемерной поддержкой при учете наступающего урожая.

Товарищи крестьяне, не забывайте, что мы ваши есть избранники и призваны защищать ваши интересы.

Для вас же самих голодные и истомившиеся рабочие и деревенская беднота остаются в недоумении, обращаются с мучительными вопросами к власти, почему нет хлеба...

Итак, товарищи, достаточно с нас урока прошлого года, когда одни пухли от голода, а у других пухли карманы от денег.

Восшедшему солнцу правды свободы не дайте погаснуть.

Будем надеяться, что наша надежда на вас не пропадет.

Уездный комиссар по продовольствию

П. Елисеев.

Коллегия —

Васильев, В. Ерохин». ¹

Я прочел ее вслух. В палате было тихо.

— Здорово написано! — первым сказал Егор. — Пронимает.

— А в села эта листовка попала? — спросил Авдей.

— Конечно. Даже в те ревкомы, которые действуют в тылу у врага.

— А ну, дайте-ка посмотреть, — потянулся один из новеньких.

Листовка переходила из рук в руки. Ее рассматривали, бережно держа.

— Да... — задумчиво сказал Егор. — Хлеб сейчас чуть ли не самое главное. Дожить бы до новостей. А там полегчало бы народу.

— Да новина-то — вот-вот. Собрать бы! — закончил Шульга.

Он посидел еще немного, объяснил нам тревожную обстановку в стране и ушел, пообещав заглянуть опять.

В начале октября я вернулся в отряд. Страшно расстроился, когда узнал, что, пока валялся в госпитале, наш отряд дрался с конницей Мамонтова. Гнал ее аж в соседние губернии. Именно — гнал. Потому что в последнее время мамонтовцы уклонялись от боев и, видимо, имели одну цель — оторваться от преследования.

— Эх, как мне не повезло! — сокрушался я.

— Да навоюешься еще! Вон банда Гундёва опять объявилась.

— Того самого? — Я вспомнил Никитовку, свое неожиданное спасение...

И вновь болью в душе отозвалась весть, случайно полученная в госпитале, о том, что приезжал Митяй и увез Дунятку неизвестно куда.

— Того самого, что сменил Вольницу. Немногочисленная, правда, банда, но свое черное дело делает.

— Опять в селах бесчинствуют?

— Не во всех. Некоторые села сейчас ошетинились заградительными отрядами из своих сельских мужиков. Понял народ, что может бороться.

— И — с кем бороться.

— Это ты правильно отметил. Сейчас у простого человека Советская власть в большом авторитете ходит.

Он посмотрел на меня тепло, словно обласкал взглядом.

— Так что, повоюешь еще. Бои будут до тех пор, пока всю нечисть не выбьем. А ее вон сколько.

Сентябрьское «бабье лето», которое мне некогда было замечать в вечных скачках да в заботах о выпечке, пролетело паутинками, искрившимися на уже не жарком, но ослепительно ярком солнце, опало покорной листвой к ногам оголившихся деревьев. Сейчас они стыли на ветрах, их хлестали дожди. Надвигались холода, и ничего лучшего нельзя было им придумать, чтобы пережить эти зверские непогоды, как застыть, замереть, сжаться, до той поры, когда отходчивое солнце повернет к ним свой милостивый лик, обогреет и оживит.

А в октябре, после нескольких хлестких, упругих дождей, казалось, вбивающих капли в землю, как гвозди, — пал снег. Укрыл своей холодной благодатью поля и колдовал над деревьями, украшая. Одной белой краской сотворил такую красоту, что душа замирала в восхищении.

Шульга собрал на совет младших командиров. Я был тоже вызван. После Никитовки ко мне относились очень уважительно, спрашивали мое мнение по некоторым вопросам. А ведь все, что произошло тогда, в большей степени было заслугой отца Савелия. Я говорил об этом Николаю Фроловичу не раз, но он отвечал: «Все, что вы сделали тогда, вы сделали — вдвоем».

Мы сели вокруг стола, на середине которого стояла пятилинейная керосиновая лампа. Ее яркий свет освещал мужественные лица моих товарищей. Шульга начал без обиняков.

— Есть сведения, что Гундёв с бандой следующей ночью попытается тайно

¹ Подлинный текст листовки, хранящейся в городском музее г. Рязани.

пройти опасную зону, где мы его можем достать, и потом, не заходя в села, пойдет на соединение с мамонтовцами.

— Подкрепить, значит, хочет, — не удержался Смирнов.

— Выходит, так. Теперь действия его стеснены нами и отрядами, созданными в некоторых селах, а там, где бесчинствует белогвардейщина, ему опять откроется простор для грабежей и насилия.

— Наверно, хочет за ночь до оврага добраться, — заметил Смирнов. — Прокочит ночью мимо нас, а днем его овраг прикроет.

— Я тоже так думаю. Днем на снегу он будет очень заметен.

— Но и мы тоже! — воскликнул я.

— И мы тоже. Сегодня нужно послать связных по селам, чтобы их заградительные отряды незаметно подтянулись к Никитовке. Мы же ночью пойдем в сторону леса. Пропустим банду и скрытно, на расстоянии, пойдем следом, чтобы в случае чего отрезать им дорогу назад.

— А драться, что, в овраге будем?

— Это может решиться только на месте. Но постараемся не дать ему войти в овраг. Словом, главное — это чтобы их задержали у Никитовки. Чтобы втянули в бой. Вот тут мы и нагреем.

Затем Шульга дал подробные распоряжения на завтрашний день — тайно, чтобы в селе никто не догадался, привести отряд в полную боевую готовность.

И вот, наконец, наступила эта ночь, которую мы так ждали. По возможности тихо отряд вышел из Выселок и помчался в сторону леса. Часа через два после полуночи мы прибыли в район Акатовских хуторов и остановились на хуторе Бузева, через который получили известие о готовящемся передвижении Гундэва. Выслали вперед разведчиков. Приблизительно через час они вернулись, сообщив, что банда проскакала на рысях в сторону Никитовки. У каждого всадника приотрочен к седлу мешок с барахлом.

Мы тут же выступили, но шли не так ходко, как они. Берегли коней. Нам предстояло на них с ходу вступить в бой.

Эта ночь в седле, при легкой рыси, в полной тишине прислушивающейся к цокоту копыт наших коней заснеженной равнины, была полна раздумий. Бойцы были сосредоточены, углублены в себя. Никто не разговаривал, тем более не шутил. Мы шли — каждый к своей судьбе, сквозь эту ночь, и она расступилась, пропуская нас, ибо знала, что многие... следующую уже не встретят.

Есть о чем подумать бойцу перед боем. И есть за что принять этот бой.

Я в эту ночь... думал о Дунятке.

На поверхности моего сознания возникали отрывочные мысли: «Встретили бы только Гундэва у оврага. Не дали бы войти в овраг». Или: «Из оврага выбить, а на равнине уже проще» И: «Только бы ввязались в бой. Не ушли бы, как мамонтовцы, избегая его».

А сквозь эти мысли, как солнечные лучи, сквозь щели редкого забора пробивались ярким светом воспоминания о моей любимой.

И чем больше вспоминал я ее (все это возникало перед моим мысленным взором: то промывает мне раны, наклонилась ко мне, а у меня голова кружится от ее прикосновений; то сидит на скамеечке посреди двора и шелушит подсолнухи; или доит козу, или гадает на ромашке, залитая солнечными лучами), тем отчетливей щемило душу сладкое предчувствие, что сегодня я... встречу с ней.

Как только не представлял я эту встречу! И будто подойду к ней... она потянется ко мне, как травинка к свету. И будто наклонюсь я к ней, коснусь поцелуюем ее губ... а она медленно закроет свои нежно-голубые глаза и будет стоять так, замерев от счастья.

Я даже уже усадил ее впереди себя на коня и увез из Никитовки в какое-то невозможно счастливое «далёко».

Потом я возвращался к действительности. К четкой рыси коней, к поблескивающим в ночи стволам ружей, к пару, в который превращалось наше дыхание и легким облаком отходило от нас, смешавшись с ночью.

Наш отряд черными силуэтами всадников вырисовывался на серовато-белом ночном бездорожье. Казалось, в этом грозящем заочечении мраке только мы одни и движемся на всем белом свете. Все остальное забилося в теплые углы и пережидает эту ночь и эту зиму.

И только одна Дунятка... в легком сарафанчике, в выгоревшей тонкой косыночке, рядом со мной. Заглядывает в глаза и спрашивает: «Не больно?» Или положит лепесток ромашки на губы, поднимет лицо к прыгающей с тучи на тучу луны... и шепнет: «Любит!»

Я чувствовал... нет, я твердо знал, что сегодня пути наши сойдутся. И будет это не просто так. Будет это — полно значения.

Когда рассвело, перед нами на возвышении возникла Никитовка.

На белом снегу черные, будто игрушечные, фигурки дрались и пеше и конно. «Завязали все-таки бой! Молодцы ребята!» — пронзила нас одна и та же мысль.

Издаലെка все смотрелось совсем не страшно, игрушечно, несмотря на хлопки выстрелов, что услужливо доносил до нас чистой морозный воздух, да то, что фигурки падали одна за другой под копыта коней.

Шульга разделил отряд — как и было задумано заранее, при обсуждении нескольких вариантов боя — и приблизительно третью часть оставил стоять на месте заслоном. Этот отряд не должен дать отступить гундэвцам к лесу. А мы пришпорили коней и во весь опор помчались к сражающимся.

Как и всякая помощь, наша помощь была кстати — прибыла к тому времени, когда малочисленные по сравнению с бандой дружинники дрались уже из последних сил.

Гундэвцы поздно заметили беззвучно катящийся на них вал. Бросив поле боя, кинулись было в обход нас, к лесу, но, увидев ошестинившийся заслон, повернули к оврагу.

Часть их попрыгала в старые окопы, полузанесенные снегом, и стала отстреливаться.

Шульга, по одному из вариантов плана, поставил в правое крыло нашей атакующей цепи лучших коней и лучших наездников. Я в эту группу не попал. Еще на подходе к селу, по его команде, это крыло стало забирать вправо. Имея хороший глазомер, можно было легко определить, что до оврага они доскачут раньше, чем мечущаяся в панике банда.

Поняли это и бандиты. Заметались и потеряли еще несколько минут. Обходящий их полукольцом отряд сначала вынудил их повернуть назад, а потом, настигая, заставил драться.

Мы в это время уже подскакали к месту оставленной сечи. Порубленные, побитые, мертвые и раненые, свои и чужие, кровавили истоптанный снег и ждали помощи или погребения. Но мы, с оставшейся частью заградительного отряда, кинулись к медленно двигающейся навстречу, схватившейся в смертельной схватке, живой и яростной лавине.

Врезались в нее и, расчлняя, теснили оторвавшиеся от общей массы группы всадников и дрались, не думая о себе, имея лишь одно желание — уничтожить, наконец, этого зверя, пролившего столько безвинной крови.

Однако тех, кто отрывался и бежал, бросив оружие, не догоняли. Так было решено. Пусть бегут. Пусть спасутся. Пусть запомнят, чем кончаются такие мятежи. Пусть жмутся и дрожат от страха за свою жизнь. Пусть осознают...

Рукопашная продолжалась уже очень долго. И те и другие устали махать шашками. Но нам отступать — нельзя было, а банде отступать было — некуда.

Оставшись невредимым после нескольких жестоких схваток, я уже был совершенно изнурен, когда на меня напел здоровенный детина, неплохо владевший своим холодным оружием. Я был обречен. Мой конь медленно отступал, упираясь задом в бок чьей-то храпящей лошади. И вдруг оказалось, что мы тесним Ведерникова. Он сразу понял, что дела мои плохи. Кое-как вывернувшись из свалки дерущихся всадников, он развернулся и кинулся на приготовившего смертельный удар верзилу. Выбил его из седла и уже валяющегося, но тянущегося ко мне шашкой, застрелил.

В короткий миг передышки я огляделся, отыскивая, куда кинуться. Неподалеку сбилась группа дерущихся, в середине которой оказался Гундэв. Я понял это по выкрикам. Бледный, без шапки, он стрелял из маузера. Деревянная кобура его была прикреплена к ремню, который едва сошелся на отороченном мехом казакине. Гундэв медленно, но упорно выбирался из опасного кольца. По его движениям и взглядам я понял — собирается удрать.

К нему, тоже очень медленно, отбиваясь и круша, пробивался Шульга. Был он прекрасен. Чтобы понять это, достаточно было мгновенного взгляда на него. Черные густые волосы как-то особенно подчеркивали смелую честность его лица. Крупная сильная фигура — вся движение вперед, вся — натиск.

И вдруг Гундэву удалось выскочить из кольца. Он помчался, пригнувшись, в сторону Никитовки. Я, отбившись от налетевшего на меня бандита, помчался следом. Попробовал достать атамана гранатой, не достал. Пришлось самому резко осадить коня, чтобы не попасть под свой же взрыв.

Гундэв за это время оторвался от меня, и я пустил коня в галоп. Теперь я скакал в сравнительной тишине — звуки боя поотстали, — не выпуская из вида прижавшегося к лошади всадника.

Сзади послышался настигающий топот. Я оглянулся на преследователя и обнаружил, что это Николай Фролович. Он, как и я, не хотел упустить Гундэва.

Мы скакали уже бок о бок. Но вот Шульга стал обходить меня. И в этот момент я увидел, что его «ведет» ствол винтовки, выставленный из окопа. Еще мгновение,

и ее выстрел сразит моего командира. Я пришпорил коня, он рванулся, я встал на стременах, наклонился вперед, «догнав» своим телом Шульгу... и заслонил его.

Выстрел прозвучал одновременно с разрывающей болью, пронзившей правый бок. Полусознательно я как-то освободил ноги от стремян и упал под ноги коня.

Меня разрывало изнутри, и в то же время я чувствовал, как легко, горячей омывающей волной, выходила из меня кровь. Все вокруг смешалось в каком-то многоцветном тумане, а затем я полетел в беспамятство.

Лежа затылком на снегу, я пришел в сознание от того, что кто-то натянул мне на голову шапку. И опять поплыло все в голове, будто лечу я в пропасть, у которой нет дна. Лечу, лечу... Еще долго лететь мне... А надо мной... вдруг наклонилась, страдая, Дунятка... «Не больно?»

— Дунятка! Дунятка! — шептал я последние свои слова. Я хотел тебе сказать, что... очень люблю тебя...

А она смотрит на меня, плача, усталая, измученная (это там, в сарае, после похорон отца Савелия, когда я поцеловал ее искривленные плачем губы), и шепчет:

— Петя! Петя! Родной мой! Только не умирай! Только не умирай!

Я глубоко и удовлетворенно вздохнул: «ПОЛЮБИЛА!» И, остывающий, погружился в темноту, в которой на тоненькой, как паутинка, нити висела моя жизнь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Еще ступив на деревянную платформу этого маленького разъезда, я как-то вдруг осознал, что приехал впустую. Не найду я следов того, ради чего через столько лет (нет, — десятилетий) решил посетить эти места. Даже маленький полустанок отмечен печатью цивилизации и процветания. А что говорить о селе в шестьсот-семьсот дворов, с одной церковью на всю волость (по тем далеким временам) — о Никитовке.

Поля, раскинувшиеся вокруг, — золотые, волнующиеся под ветерком, поражали беспредельностью, легкий ветер наполнял грудь свежестью, и... показалось мне, будто и молод я, и не сед, и не несу за плечами испытания двух войн, и будто сложены небрежно в моем левом нагрудном кармане, топорщась и не умещааясь, — только радости, удачи и победы.

Я пошел по шоссе, что черной, заостряющейся у горизонта стрелой врезалось в великолепие полей. Мысли мои металась между прошлым и настоящим, легкость отступала, и крепло опасение, что не соединю я их... за давностью лет.

Сколько их прошло! Размыло в памяти черты женщины, которую я так любил... Которую и сейчас люблю — тихо, преданно, как нечто такое, что становится неотъемлемой частью жизни.

Дунятка...

Совру, если скажу, что образ ее каждую минуту был передо мной. Жизнь шла. И то, что требовала от меня, получала. Но чуть отступит важное, обязательное, счастливое или горькое, как появится то, что жило во мне втайне от всех.

Постепенно образ расплывался, таял... Я уже не «видел» его, представляя, а «знал» — какой он.

И вот сейчас... Произнесенное вслух слово «Никитовка», сознание того, что я в тех местах, где жила она — моя любовь, ветер, несущий в себе ароматы, которые я вспомнил, совершили необъяснимое. (Вы заметили, что ароматы хранят в себе больше всего воспоминаний, самых глубоких и достоверных!) Соединившись, все это приобрело какую-то сверхъестественную силу и, вырвав ее образ из забвения, явило его мне с такой ясностью, что я остановился среди дороги, боясь шелохнуться, чтобы не вспугнуть. Может быть, уже никогда не удастся мне «увидеть» ее так отчетливо, а запомнить — необходимо. Впереди еще отрезок жизни, который я проживу с воспоминанием о ней.

Но вот и Никитовка... Я узнал ее, раскинувшую свои домики на некотором возвышении над окружающей ее равниной. Только серая колоннада элеватора справа от нее была приметой нового, да несколько домов послевоенной постройки.

«Никитовка! — прошептал я. — Вот она — Никитовка!»

Сердце мое, давно уже пошаливающее, по возможности оберегаемое, прыгнуло вдруг радостно, поднялось над всем, что я увидел, но и из этого извлекло боль и мягко спланировало в нее.

Я остановился, чтобы успокоить его. Приложил к глазам бинокль, который взял специально для того, чтобы опередить самого себя на несколько минут.

И холм, и дом Никодима на месте. Но амбара нет. И домика Дунятки нет... Теперь сердце сжалось. (Смотри, как по-молодому отреагировало на то, что связа-

но с Дуняткой). Нет домика! Это плохое предзнаменование. Село почти прежнее, лишь расширилось. Колокольня церкви видна. А домика Дунятки — нет...

Растянувшись по всей вершине холма, стоял хорошо выбеленный одноэтажный дом с множеством бьющих отраженными лучами окон. Подойдя еще ближе, усилив бинокль насколько возможно, я прочел: «Школа». «Хорошее место выбрали для школы», — отметил я машинально.

И опять заныло сердце. Но это уже не относилось к Дунятке.

«Что же это?» И вдруг, словно молния в ночи, выхватывающая своим неживым светом упрятанное в темноте, вспыхнула пронзившая меня ужасом мысль: «Отец Савелий! Неужели потревожили его прах при постройке?! Не отнеслись к нему с должной почтительностью... А может... и вообще раскопали... и раскидали!»

Забыв о своем сердце, я бежал к Никитовке. Как будто мог за эти несколько минут помочь чем-то, что-то изменить.

По улице я шел запыхавшись, глядя только на видимую со всех концов села школу. На холм вела широкая деревянная лестница со стертymi ступенями, огороженная выкрашенными в голубой цвет перилами. Я влетел по ней во двор, огороженный штакетником, выкрашенным такой же лазоревой краской, и, сдерживая волнение, осмотрелся.

Школа стояла не точно на месте амбара. Она как бы была сдвинута назад, видимо, для того, чтобы оставить место для школьного двора.

Ориентируясь на дом Никодима, я обошел двор, прикидывая и рассчитывая.

— Вам что надоть? — услышал я женский голос.

— Мне? — повернулся я. — Да как вам сказать... Здравствуйте!

— День добрый! Говоритя-говоритя. Я сторожиха. Кому надоть, передам. Директор нынча в отпуске, а завучиха вот только-только как ушла. Каникула, чать. Чо человеку сидеть здесь целый день, — попыталась она оправдать начальство, приняв меня за какого-нибудь школьного инспектора.

— Школу эту давно построили?

— Так еще до войны...

Она, видимо, мучительно соображала: если это инспектор, то почему спрашивает, когда школу построили? И так должен знать. А если не инспектор, то кто же?

— А двор перекапывали?

— А что его копать?

— Когда школу строили, ну и...

— Не-е, — протянула она, припоминая. — Туточки амбар стоял... Так его разобрали...

Я замер, ожидая продолжения.

— А вам кого надоть?

— Да мне нужно, — замылся я. — А фундамент какой у школы?

— Чо?

— Фундамент у школы какой?

— Известно какой — советский.

— Да нет... Я не то хотел спросить.

— А что жа?

— На чем стены эти стоят?

Она внимательно посмотрела на меня, потом присмотрелась к стенам, пояснила, глядя мне прямо в глаза:

— Так на земле жа! А на чем им стоять-га? — усмехнулась сторожиха с выражением полного превосходства надо мной.

Я шел по улице к указанному мне дому и только сейчас заметил рдеющие красными гроздьями рябины и молодые чистые стволы берез цвета топленого молока, которыми она была обсажена.

Председатель сельсовета выслушал меня внимательно. Задумался.

— Случай такой... Не знаешь, как поступить, — наконец сказал он. — Было бы это где-то в поле, на лугу, копай, пока не докопаешься. А тут — школьный двор... И вторая сторона... документов, удостоверяющих, что прах этого покойного заслуживает особого внимания, нет.

— Но я-то заслуживаю доверия. Вот... специально на этот случай прихватил документы, удостоверяющие, что за участие в революционных боях и за участие в гражданской войне награжден...

— То — вы. А то... неизвестно кто. Я верю вам! И понимаю, что... такое нельзя оставить без внимания... Но, посудите сами, если мы все же найдем это погребение... Вы говорите, он герой?

— Да! Он заслуживает того, чтобы покоиться на площади и чтобы над ним был обелиск!

— Простите, но почему вы так поздно вспомнили об этом?

— Что бы я сейчас ни сказал, вы можете возразить: «Это отговорки». Но я дей-

ствительно после того, как выписался из госпиталя, сначала был направлен в Сибирь на борьбу с Колчаком, а затем — в Туркестан. Там тоже дел хватало. Земельно-водная реформа, возвращение местному населению отнятых земель, восстановление сельского хозяйства, стройки. Суток, сколько я себя помню, всегда не хватало. Потом война — с первого дня и до последнего. Восстановление хозяйства. Ни минуты свободного времени, и это не пустая фраза. Но мне всегда казалось, что амбар так и стоит — ждет меня. Мне и в голову не приходило, что здесь на холме могли произойти какие-нибудь перемены... Наконец пришла пора, когда я сказал себе: «Сейчас не сделаешь — уже никогда не сделаешь...»

— Да, времени всегда — в обрез. Вечно его не хватает. Спешим очень...

— Вот потому и сделано столько, что — спешим.

— Это верно. Но что же с вами делать? Давайте подключим нашего оперуполномоченного.

— Милицию, что ли?

— Да. Он знает порядок. Может, куда запрос пошлет. Может, обратится куда-то за разъяснениями...

— И начнется бумажная волокита.

— А куда деваться? Дело-то — вон какое!

— Но есть же старожилы! Можно расспросить людей...

— О ком?

— О попе...

— Вот именно, о попе. А старожилы... не забывайте, война прошла. Хоть на территории нашего села и не была, а народу ушло и полегло много. Кто-то уехал да не вернулся, кто-то еще что... А времени сколько прошло?! Сорок лет! Вы вдумайтесь, те, что были тогда стариками, уже поумирали...

— Неужели совсем никого не осталось?— спросил я упавшим голосом.

— Может, кто и остался... Надо по книгам посмотреть. Сейчас Веру Васильевну позовем, она у нас по актам гражданского состояния.

Не прошло и получаса, как мы перешли в комнатку, где сидящая симпатичная женщина разложила перед нами толстые канцелярские книги, в которых были записаны родившиеся и умершие.

Я уселся за них с твердым намерением перетрясти все, но найти хоть одного свидетеля тех давних событий.

Я как-то отклонился от Дунятки, сосредоточившись на отце Савелии. Но когда мне встретилось имя «Евдокия», я вдруг замер, ясно поняв, что никогда не смогу отыскать ее след. Я не знаю ни фамилии ее, ни отчества, ни года рождения.

«Ладно,— сказал я себе.— Дунятка потом. Сейчас главное — отстоять отца Савелия».

Вера Васильевна сидела напротив, углубившись в свои дела. Ручка в ее тонких пальцах выводила черной тушью красивыми четкими буквами фамилии и имена вновь родившихся людей. Зеленые корочки свидетельств о рождении невысокой горкой лежали перед ней. Как-то машинально я подумал: «А раньше тоже ведь как-то записывали новорожденных...» И вспомнил, как листал порой отец Савелий толстую внушительную церковную книгу, где значилась все о рождении и смерти.

— А церковная книга!— воскликнул я радостно.— Там же все есть! Там, может, и фамилия попа есть.

— Книги нет, все куда-то делось.

«Ужас, сколько времени прошло,— со страхом подумал я.— Ведь можно действительно не найти никаких следов». И с трудом заставил себя углубиться опять в записи.

Вдруг рывком распахнулась дверь и спешно вошел председатель.

— Вот голова я! Все забыл! Но, знаете, где-то глубоко было чувство, что я что-то знаю. И вдруг прямо осенило! У нас же есть один участник революционных боев! Старый, правда. Но в здравом рассудке и памяти. Сходите к нему, поговорите. Может, что-то вспомнит. Вот голова, вы подумайте! Это все дела заедают. Сходите. А я пока с оперуполномоченным потолкую. Он скоро должен приехать.

Василий Денисович, председатель, объяснил мне, как дойти до нужного места.

— Справа большой дом. Узнаете его. Крыльцо этакое, с резными подпорками для козырька и перильцами. Спросите Дмитрия Пантелеймоновича. Он там живет один.

Я тут же, не мешкая, направился на поиски нужного мне дома.

Крыльцо было действительно приметное — хитрая резьба перил, деревянное кружево по краю козырька.

«Тогда этого дома не было,— отметил я про себя.— Много новых добротных домов построено».

На стук в калитку кинулся, скаля зубастую пасть, небольшой худющий кобель — по проволоке, натянутой через двор, прогремела цепь.

«При таком доме собаке бы надо быть поупитаннее», — промелькнуло у меня в голове.

На лай кобеля из дома вышел небольшого росточка старик с редкой, тщательно расчесанной бородой. Он загнал пса в будку и пошел к калитке.

Я громко, вдруг плохо слышит, сообщил старику, что председатель сельсовета посоветовал обратиться за помощью к нему, Дмитрию Пантелеймоновичу — участнику революционных боев. Я особенно нажимал на то, что я из газеты, зная, как любят старики поговорить с «прессой».

Он пригласил меня в дом. Я шел, опасливо поглядывая на будку, но пес был, видимо, бестия умная: «Гость идет с хозяином. Вот пусть теперь сам хозяин и охраняет. Мое дело — сторона». И он, пренебрежительно повернувшись к нам задом, стал лакать мутную воду из грязной чашки.

Мы вошли в горницу, окна которой были занавешены темным.

— Для прохлады, — пояснил старик. — И от мух.

Он приоткрыл одно окно. Комната наполнилась полусветом склоняющегося к вечеру дня. Его хватило на то, чтобы видеть собеседника и нехитрую деревянную мебель. Неожиданным в этой обстановке был только буфет. Тяжелый, резной. Некоторых стекол не хватало, вместо них висели маленькие грязные занавесочки.

— Так что вы хотели? — спросил меня опять старик, когда я сел на табурет.

Я все подробно объяснил.

— Рассказать можно, отчего не рассказать... Однако давайте кой-что на стол покидаем, бутылек поставим и так вот потихоньку поговорим.

— Да я-то, в общем, не против... Только нужно ли это? Я думал, мы полчаса поговорим, и все.

— Что ж вы, за полчаса всю революцию и всю гражданскую проскакать хотите? Революция — это такое дело, — он будто поднял руками что-то тяжелое, — тут надо обстоятельно.

— Ну, давайте обстоятельно.

Мы выпили по граненой стопке самогона, закусили холодной картошкой с солеными огурцами. Вскоре хмель разлился по телу, сообщая ему легкость. Завязался разговор.

— Вы в каких местах сражались?

— Да в этих же.

— То есть, в этом уезде?

— Ну да.

— И у кого были в отряде?

— Как звать его, забыл... Старость — она не радость. Все из головы повышибало... А давайте-ка еще по стопочке.

— Может, попозже?

— Зачем же позже? В кои-то веки такой человек заедет, и вдруг — попозже.

— Ну, давайте.

— Э! Не-не. Всю! До дна!

Я выпил вторую стопку и закусил соленым огурцом. Почувствовал, что при такой слабой закуске скоро опьянею. Хмель одолевал меня, и я решил больше не пить.

— Ну, давайте продолжим, — я взял карандаш и приготовился записывать в блокноте, что давно уже лежал открытым. — Так в каком отряде вы находились?

— Дай бог память... Ох, и дырявая голова стала! Ведь уж скоро восемьдесят годов будет. А вот последний бой свой помню, как сейчас.

— Ну, давайте начнем с него. А там и еще что-то вспомнится.

— Энтот бой был уже в другой губернии. Обложили мы бандитов так, что им деваться некуда. И вот добиваем. А они мечутся: туда-сюда, туда-сюда. А везде мы. С этой стороны мы в окопах залегли, — он показывает на столе ладонями, — там конница наша красная рубит их... И вот вижу атаман ихний. Папаха такая генеральская, френч с блестящими пуговицами. Норовит сигануть между окопами. Там проход был. Я взял его на мушку и «веду»! «Веду-веду»... вот сейчас мне выстрелить. И тут, вы не поверите, вижу знакомого человека. Он догоняет этого атамана, и они скачут вместе.

— Что же это был за человек? — не удержался я.

— Не поверите, какое совпадение!

— Ну-ну?

— Это был... попик!

— Какой попик?

— Та... — он махнул рукой, — длинная история.

— Расскажите.

— А мы вот еще по стопочке.

— Идет.

— Наливайте, а я пока свет зажгу.

Он опустил темную занавеску, закрыв окно, и включил свет.

— Вот видите — электричество. А кто нам его дал — Советская власть. А значит — революция. — Он сел, взял стопку. — Да-а... Тяжело нам далось это.

— Вы правы. Я и сам ведь...

Взгляд мой вдруг натолкнулся на что-то такое, отчего дрогнуло все внутри. Что же это такое? Я смотрел на иконы, стоящие на двух угловых полках в красном углу.

Он перехватил мой взгляд. Пояснил:

— Жена моя богомольная была женщина, царство ей небесное. Я уж не рушу ее память. Пусть стоят. Не мешают.

Я молчал, не в силах вымолвить ни слова.

На верхней полке, в самой середине, между икон с хорошими дорогими окладами, у которых основа была обтянута бархатом, стояла икона Спасителя — в дешевом помятом в нижнем правом углу окладе и выломанным куском деревянной основы.

Я узнал эту икону. Это же — Дуняткина икона! Весь хмель из меня вышибло в одну секунду.

— Интересуетесь! Подойдите, посмотрите. Правда, нынче люди на иконы не смотрят.

— Я вижу... отсюда, — невнятно проговорил я.

— Что, забрало уж? А вы закусывайте, закусывайте.

— Спасибо, — выдавил я. — И что же дальше?

— А! Я уж забыл! На чем мы остановились?

— На попике.

И тут, словно молния, сверкнула у меня в мозгу: «Попик!» Это же...

— Да-да! На попике. Он тут у нас в селе долго ошивался. Шпион был бандитский. Все выведывал про красных и передавал в банду. Один раз мы его даже поймали, но он сбежал. И вот, представьте, вижу, этот попик скачет бок о бок с этим атаманом. Сбежать, значит, решили. Банду свою бросить, — пусть их красные добивают, — и сбежать.

Он вдруг умолк, посмотрел на меня внимательно.

— Ты что белый какой? Не привык к самогону? Может, выйдешь, подышишь?

— Нет, ничего... Что дальше?

— А дальше, попик этот шашкой машет, руку этак поднял, — он показал, как, — а я ему под ребро и всадил пульку-то. Ну, он с седла — брык! И готов. А тот утек. Еще одного, своего же, догнал да как полоснет шашкой. Слышь, своих даже не жалели.

Я уже не слышал его. Передо мной, вырванная какими-то непонятными силами из забвения, ярко возникла картина «того» боя у Никитовки: Шульга, «ведущее» его дуло винтовки, и я, с поднятой шашкой, бросающий свое тело вперед, чтобы прикрыть командира.

«Значит, он тогда успел. Догнал Гундёва, зарубил... А я ведь ничего этого не знал. Несколько месяцев провалялся в разных госпиталях... И этот старик... — я всмотрелся в него, и вдруг ясно проступили сквозь морщины виденные уже мною когда-то черты... — Это же... Это же — Митяй! Вот это кто! — Я был поражен. Смотрел, и не верил. Наконец подумал: — Только... не выдать себя! Держаться! Держаться так, чтобы он ничего не заподозрил».

— Ну, тебя и развезло, — услышал я его голос.

— Сейчас пройдет. У меня так бывает. Вы рассказывайте.

— А чо рассказывать. Разбили мы их тогда в пух и прах!

— А дальше?

— Дальше? Ранетый я был. Остался в той губернии. Подрядился сторожем в одном имении. Добра там было — уймища! Так вот председатель исполкома говорит: «Берегите. Это большая ценность». И так ясно, что ценность, — он бросил быстрый взгляд на шкаф, и я вдруг понял, что этот резной красавец из красного дерева — оттуда.

Митяй пожевал задумчиво огурец, бросил его назад в миску и продолжил:

— Прошло сколько-то времени, и я вдруг подумал: «Пока я тут барское добро караю, там землю раздадут, и я останусь ни с чем!» Раздобыл телегу с двумя конями и потихоньку поехал в свой край.

— А бандитов не боялись?

— Та их уж прогнали к тому времени.

— Ну и дальше?

— Еду себе и думаю: «Одному-то мне много землицы не дадут. Возьму-ка я какую-нибудь вдовицу в жены». Их тогда много было.

— А куда же делась...— я чуть не выпалил: «Дунятка?!»

— К тому времени довелось мне уже двух жен пережить.

— Как... пережить!

— Известно как. Померли обе.

«Когда же это она успела тогда умереть,— метались во мне неразрешимые вопросы.— Ведь здоровая женщина была, не болела...»

— Подъезжаю к Никитовке,— продолжает Митяй,— и уже даже прикинул, кого возьму. Присмотрел одну. Вот бабе счастье! Только мужика потеряла, а тут — на тебе, второй!

Я представил эту «осчастливленную». Сколько же она горя и унижений хлебнула с этой гнидой!

— У ней было трое ребятенков. Вот на что пошел!

— А не помешали чужие-то дети?

— Не-е. Я с тем расчетом и брал. На них землицы отрезали — дай бог сколько! Да и нешто в деревне лишние руки помешают? Они у меня работники были безотказные.

«Бедные дети!»— подумал я.

— Вырастил, выкормил, а теперь ходят мимо — не здоровкаются. Забыли, кто их поднимал. Как мать померла, так один за другим и повыскакивали из дома.

— Эта, значит, тоже померла?

— Преставилась. Хворая вскоре стала. То не может, это не под силу... А тут хозяйство растет...

— Значит, третья ваша жена от болезни умерла?

— Да вроде бы... Все что-то чахла-чахла, сохла-сохла, будь она неладна! Так и усохла.

— А что же случилось со второй?

— Да так...— Он уставился в угол, будто видел там что-то. Сидел так долго. Потом встряхнулся.— Да что тут вспоминать, умерла, и все тут. Давай выпьем.

— Давай.

После этой рюмки хозяин совсем захмелел. Как-то размяк, словно бы пути какие-то тугие поослабил. И вдруг заговорил так, словно ждал этого часа всю жизнь. Выкладывал все, как на духу. Отяжелела, видно, душа от грехов, и он облегчался, выговариваясь.

— Стерва она была! Дунька!

— Почему?

— Путалась с кем ни попадя! Пока я в красном отряде был, она с одним парнем связалась, с Иваном. Я как узнал, забрал ее в отряд. А то, думаю, опять заблудит. Держал ее в кулаке,— он показал, как,—так что она и пикнуть не смела. Ночью только, чую, плачет молча. Так ущипну, ажно кожа вывернется. Но терпеливая была, стерва. Не закричит. Только застонет.

И вот стал я замечать, что пузо-то у нее растет! Спрашиваю: «Тяжелая?» Она мне: «Да. Дитё жду». Ну я не вытерпел. Освирепел. Выбил я из нее это не божье дитё. Кажись, уж седьмой месяц был. Как дал ей сапогом в живот! Она упала. И что ты думаешь — рожать начала. Тут в окна мужики наши скалятся, а она орет не своим голосом и рожает.

Пока я мужиков отгонял, она уж родила. Лежит в кровящи и тянется к своему ублюдку. Я его отшвырнул от нее. Она — к нему. Подняться не может, ползет. А он пискнул разок-другой да и затих. Кончился. Ох и голосила она! На другом конце села слышно было. Встать сил нет, а голос — на всю деревню.

Тут бабы к ней подоспели. Обмыли ее, на кровать положили. А она в беспомощности.

Ребятенка похоронили, мальчишка был. А эта стерва отошла. Бабы, они, как кошки. Живучие. Тут уж я ее и вовсе в ежовые рукавицы зажал. Даже в бой брал. Не оставлял.

Бывало, кругом смерть, пули свищут, а она идет, будто заговоренная. Глядит прямо, пулям не кланяется.

Раз попали в такую кашу, краев не видеть. Сколь голов слетело... А вокруг нее будто круг какой заколованный.

И вдруг мне потом говорят, что видели, как она шептала что-то пацану одному. А он, как потом узнали, к красным утек... Тьфу ты, что я говорю! К белякам пробрался! Вот после этого нас и прижали. Так молотили! Как на току цепом. А ей — хоть бы что!

Когда вырвались, нас к атаману таскали. Он кричит: «Это твоя сука нас продала!» Крутит перед ее носом наганом, а она хоть бы сморгнула. Смотрит ему в глаза, а сама белая... Он освирепел, как дал ей пару раз кулаком, она по стенке

и сползла. А я объясняю: «Это ж она уже и на пацана позарилась!» Атаман сплюнул и отпустил. Одно слово — стерва!

Я представил себе «стерву» — измученную, исстрадавшуюся женщину, мою Дунятку. Как идет она, полная боли и горя, среди орущих, дерущихся, убивающих мужчин, равнодушная к опасности, несет в себе такое презрительное равнодушие к жизни, которая обошлась с нею так жестоко, что расступаются перед нею и пеший, и конный, и пули...

Все внутри у меня застыло, замерло, как от укуса ядовитой змеи. Яд медленно разливался по телу все усиливающейся болью, которая скрутила мое сердце так, что я не мог шевельнуться.

Я смотрел на этого человека, и ни одной мысли не было в голове, кроме: убить! Но руки задеревенели. Я сидел, выпрямившись, не в силах сделать резкое движение.

И еще как-то неясно всплывало, припоминалось, что комовцы не раз крепко трепали бандитов, прихватывая их там, где они и не ждали... Удавалось это потому, что какая-то женщина, из самого логова банды, присылала к ним в отряд мальчишку с точными сведениями о количестве и передвижениях банды. Последние сведения о тайном ночном броске, благодаря которым нашему отряду удалось, наконец, окружить и разгромить банду Гундёва, тоже были переданы той женщиной с риском для жизни...

Боже мой! Так это была Дунятка!

А Митяй увлекся. Не думаю, чтобы он хоть когда-нибудь, хоть кому-нибудь рассказал то, что рассказывал мне. Сколько десятилетий держалось это взаперти, загнанное в самые дальние, оберегаемые от посторонних уголки памяти, чтобы сейчас какие-то таинственные силы при встрече именно СО МНОИ — вытолкнули все это помимо его желания. Переливали в меня — в того, кто примет в себя эту боль бережно, страдаючи, и... откликнется своей болью... Запоздалый реквием тому, что не сумела уберечь тогда природа.

— Давай еще опрокинем,— услышал я как сквозь сон голос Митяя.

— Давай...

Я подставил стопку. Он налил. А я, не донеся до себя, вылил содержимое в огуречный рассол. Сделал вид, что выпил, заел огурцом.

Митяй положил голову на стол. Я испугался, что он уснет, встряхнул его.

— Ты про попика хотел рассказать.

— Не бойсь,— довольно осмысленно глянул он,— еще столько надо, чтоб меня свалить.

— А я уж думал...

— Не... Насчет водки или там самогону — я крепкий.

— Так что попик?

— А! Это в последнем бою было. Вот тут я узнал, что она и с попиком путалась... Когда я его свалил, он упал на снег и лежит вверх лицом. И вдруг чую, Дунька приподнялась — она рядом в окопе была. Вижу — смотрит на него. Глянул ей в лицо, а в глазах у нее такое! И слезы, и будто нашла то, что искала... Как рванулась вдруг из окопа к нему. Я ее — цап! Перехватил и назад в окоп стащил, меня тут и ранило. Руку прострелили, которой я ее ухватил. Правда, нет худа без добра, за эту руку мне почет — герой революции.

А тогда! Кровища хлыщет. Приосел я, чую — вот она смертынька. «Дунька, говорю,— спасай меня. Худо мне». Скосил глаза, а она смотрит на меня и не шевелится. Я ее за руку. Тяну. А она руку вырвала, глянула на меня, как на нечисть какую, вылезла из окопа и во весь рост пошла к нему. Немного не дошла — ее коном сшибло. Так дальше она — поползла.

Добралась до него, встала на колени. Шапку чью-то нашла и надела. В глаза заглядывает, что-то говорит... А я, муж! — лежу рядом и погибаю!

Такая во мне злость закипела! Нашарил я ружье, подтянулся и стал целиться. Вижу, наклонилась над ним, гладит его, говорит что-то и слезы крупные по щекам текут... А лицо,— ну ты скажи, вот стерва! — как в церкви перед иконой божьей матери. И свет тебе там, и вера... А он и глаз не открывает. Кончился уж.

Еле хватило у меня сил нажать на курок...

Так что ты думаешь, стала она падать, да все норовит его не задеть, не сделать бы, вишь, ему больно. И так это улеглась, как жена подле законного мужа. Вытянулась в струнку, глаза скосила на него, смотрит... Потом вздрогнула и закрыла глаза.

Я тут аж память потерял. А когда очнулся, глянул — они рядом лежат. Как муж и жена перед богом.

Но бог-то, он разберется, кто она. Он ее там как надо покарает. Небожь, до скончания века будет в адском котле кипеть.

Митяй, не приглашая меня, налил самогон, облив пальцы, и одним махом опрокинул в рот.

Я смотрел на этого маленького, тщедушного старикашку, и он вдруг, в своей злобе и жестокости, стал казаться мне больше и значительнее. Нет, не простой это человек. Разве простой человек сможет носить в себе столько лютой жестокости. Мне даже стало страшно рядом с ним. Сколько жизней загубил! Не в бою, правом или неправом, а ненавистью своей.

Я больше не мог сдерживаться. Встал, подошел к нему. Встряхнул грубо. Он непонимающе смотрел на меня снизу вверх.

— Ты чо?

— Посмотри на меня.

— Ну?

— Смотри внимательней. Вспомни. Попик я! Попик!

— Ты? Да он там же и кончился.

— Я это! Посмотри, Митяй!

Произнесенное мною его прежнее имя что-то сдвинуло в его памяти. Он всмотрелся в меня, что-то, видно, припомнил и тут же попытался вывернуться.

— Ты? Попик?

— Да! Попик!— будто приставил пистолет к его виску.

— Ишь, как прижился у Советской власти! А я, брат, таких, как ты, бил! Я, брат, таких...— он грязно выругался.

— Кого ты бил, я знаю.— В этот миг сильно схватило сердце. Я, не подавая вида ему, сел.— Значит, это твою пулю в груди ношу?

— Все носишь?— оживился он.— Вот и ладненько. Вот и хорошо. Чтоб помнил— это за пакости твои с Дунькой я с тобой поквитался.

— Не за то ты тогда квитался. А Дунятку... я любил. Чисто. Не так, как ты думаешь.

— Ишь ты, любил!

— Да, любил. Я и сейчас ее люблю...

— И сейчас?— Митяй как-то совсем твердо посмотрел мне в глаза. Его глаза — бесцветные, стариковские, были словно подкрашены застывшей вековой ненавистью.— Значит, любишь?

Я понял, соображает, как меня добить.

— Ну так гори во славу божию! Получай напоследок за мой тогдашний срам — Дунятку твою похоронили в общей могиле с мужиками! С бандитами! И никто! Никто уже не знает, где та могила. Только я знаю. А я не скажу! Вот так! Любовь-то твоя и после смерти — среди мужиков. И снизу мужики, и поверх — мужики! Стерва, она и есть стерва!

— Ну, подожди, гад!— снова вскочил я.— Посчитаемся еще с тобой! Ты у меня за все расплатишься!— Я едва сдержался, чтобы не кинуться на него. Схватил портфель, сгреб со стола весь хлеб, помня о тощем голодном кобеле во дворе, и, хлопнув дверью, вышел на крыльцо.

Митяй остался сидеть, видимо, ошарашенный завершением нашей встречи.

Пес рванулся ко мне, но я бросил ему хлеб. Он кинулся за ним назад, и слышно было, как спешно, давась, глотает он куски.

Я шел по темной улице, сам не зная куда. Будто только что похоронил я Дунятку. Да если разобраться, так оно и было. Спустя сорок лет переживал я ее смерть, как наступившую только что.

Я вышел за село. Шел без цели, спотыкаясь о комья земли, пока не набрел на стожок. Словно к нему и шел я. Остановился, бросил наземь портфель и прилег на душистое мягкое сено. Тут только позволил себе расслабиться. Я заплакал, представив все то, о чем узнал сегодня.

Будто не пролегли между тем боем и сегодняшним днем — сорок лет жизни и все, что уложилось в них. Вновь возникло то состояние, что ощутил я тогда, перед выстрелом. Потом оглушающая, раздирающая боль, падение на снег, беспамятство и... миг, когда я почувствовал, что кто-то надел на меня шапку. Услышал слова... ТЕ, которые повторял в своей жизни бессчетное число раз: «Петя! Петя! Родной мой! Только не умирай! Только не умирай!» И мое удовлетворенное... с чем и отошел я в беспамятство — «ПОЛЮБИЛА».

Значит, не обмануло меня тогда предчувствие встречи, и не в бреду, а наяву слышал я голос Дунятки.

Как пробивалась она к моему сознанию! «Только не умирай! Только не умирай!»

Может... потому и не умер я, что вложила она в эти слова столько воли, укрепив ею подсознательно мою. Я шептал их, перекладывал из одного тайника сердца в другой. Прятал понадежнее. Дышал на них, чтобы не остыли они. Слова эти будто выталкивали меня из холодного небытия, в которое я все норовил соскользнуть.

Так, значит... полюбила она меня!

Величайшее в жизни счастье было подарено мне. Но словно по чьей-то злой воле шло ко мне такими страшными путями — как босыми ногами по битому стеклу. И — дошло! Но лишь для того, чтобы коснуться меня и осенить... — на всю жизнь.

Может, и Дунятке светило оно, когда рвали ее на части, уничтожали, топтали. Может, оно одно и помогло ей выжить в том аду.

И вот, среди залитых лунным светом полей, пронзило меня сознание того, что Дунятка где-то здесь, что любит она меня! Тогда полюбила, и все... любит. Как я ее.

«Дунятка! Дунятка! — звал я молча, сердцем. — Ты видишь, я здесь. Я люблю тебя по-прежнему».

Но, мешая услышать отклик, в мои мысли вторгался Митяй, и закипала во мне ненависть. Жажда уничтожения.

— Ах ты гад! Ах ты гнида! — шептал я. — Убийца! Мучитель! Уничтожу!

Какие только картины мести не представлял я, с перехваченным гневом горлом. А надо мной, совершенно круглая, яростно накаленная луна замерла, красуясь, притягивая к себе внимание, словно живое существо, способное понимать происходящее.

«Все смотришь? — обратился я к ней с неприязнью. — Много тебе дано. Ты видишь гораздо больше того, что видит солнце. То, что видит солнце, — все на виду. А ты просматриваешь то, что люди прячут».

Уже в следующий миг вспомнилось вдруг, как скакал наш отряд к Никитовке, а луна прыгала с тучи на тучу, сопровождая нас.

И еще ночь, ночь, когда выкрали мы с Дуняткой отца Савелия. Вспомнил, как похоронили его, как стояли в предрассветьи, измученные душой и телом... Может, утешало в жизни не раз ее воспоминание об этой ночи.

— Ладно, — почти извинился я, обращаясь к накаленному диску, — хорошее ты тоже видишь... Но плохого — больше.

Теперь мысли вернулись к моему другу. «Отец Савелий!» — пронзило меня. Стало так больно от того, что лежит он посреди двора, по которому бегают десятки ног — хорошо еще, что детских. Лежит. А если — не лежит?! Все застывало во мне от сознания вины перед ним.

Подумать только, сколько здесь, оказывается, оставлено моей души! Чего ни коснись, все дорогое, бесценное. Все — боль. Будто ждало оно моего возвращения, терпеливо, с надеждой, с верой в то, что я все равно, обязательно приду.

К утру план действий был готов.

Отряхнувшись от сухой травы, приведя себя немного в порядок, я вернулся в село. Первый визит нанес председателю сельсовета. Рассказав ему все, что услышал от Митяя, и то, что знал о нем, я попросил содействия.

— Тут надо нашего «опера», по-моему, подключить, — сказал он, прикидывая.

Мы тут же вместе пошли к участковому оперуполномоченному, комната которого находилась в этом же здании, только вход в нее был с другой стороны.

Старший лейтенант милиции, человек немолодой, с колодками орденов за Отечественную на кителе, очень внимательно слушал мой рассказ, периодически что-то записывая.

— Как в сказке, — улыбнулся он, — исполни мои три желания... А каждое, в общем-то, почти не выполнимо.

— Почти, — подчеркнул я.

— По первому вопросу мы с Василием Денисовичем уже говорили.

— Об отце Савелии?

— Да.

— Это — герой! Вы не представляете, какой это герой! Над ним должен стоять обелиск. Это такие люди, как он, сделали революцию.

— Я верю вам. И всей душой с вами... Вторая ваша просьба — разоблачить Дмитрия Чохова... Тоже орешек крепкий.

— И третья... — немного замялся я, — помогите, пожалуйста...

— Это тоже задача нелегкая — найти могилу бандитов после боя у Никитовки в октябре 1919 года...

Семен Петрович, так звали участкового, задумался, постукивая по столу карандашом.

— Да-а, — протянул он, слегка улыбнувшись. — Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что.

— Но если не мы, то кто же это сделает?! — загорячился я.

— Успокойтесь. Мы же не отказываемся. Мы только ставим вас в известность — задачи трудные. По первому вопросу, например, я думаю, решение будет очень не скорым. Нужно будет запросить соответствующие органы, Музей

Советской Армии... Начнется поиск сведений от отца Савелии... Плохо, что даже фамилии нет. Так что — наберитесь терпения.

— А он будет лежать посреди двора?!

— Не сокрушайтесь, — успокоил меня председатель. — Нам это тоже покоя не дает. Что-то придумаем. Может, огородим, если вы точно укажете место.

— Приблизительно я уже прикинул.

— Теперь второй вопрос. — Семен Петрович пододвинул мне лист бумаги. — Все, что вы мне рассказали, опишите по возможности подробно и точно. Вспомните даты, людей. Может, кто-то найдется. Но... хочу сразу вас предупредить, за давностью лет наказания Чохову не последует.

— Как так?!

— Старик он. И лет прошло очень много. Потом, все эти годы он худо-бедно работал, ни в чем, компрометирующем его в глазах власти, замечен не был...

— Да вы что?!

— Пишите пока. Может, будут найдены о нем дополнительные материалы, которые подтвердят его особую активную роль в банде, тогда... Хотя я не уверен.

— Да нет, — расстроено сказал я, — он был просто грабитель. Мародер. Хотя, стрелял же в наших. Сам сказал. А в банду вступил, чтоб нажиться... Значит... так и прожил жизнь не наказанным...

— Давайте не будем раньше времени выносить решения. Тем более — решать это будем не мы.

— Так что ж, мы и не сходим к Митяю? И ничего не попытаемся узнать?

— Как это не сходим? Вот закончим формальную сторону дела, потом к нему пойдем. Поговорим. Так что — пишите.

— А третью просьба?

— Третью тоже будем разрабатывать не спеша. Стариков поищем, молодежь спрашиваем. Может, что-то от дедов да бабок своих слышали.

— Митяй же знает!

— И у него спросим.

— Но у меня только две недели времени...

— Это у вас. Мы-то остаемся. Мы не равнодушные созерцатели. Будем действовать, добиваться, искать...

— И писать мне!

— Обязательно. Будем писать вам. Главное сейчас — запустить все это. Потом уже время будет работать на нас. Задвигаются какие-то совершенно неведомые нам колесики, большая чуткая машина начнет поиск, и, думаю, что-то да прояснится. Это я насчет отца Савелия.

— Спасибо вам.

— Пока не за что. Ну, пишите.

Митяй встретил нас радушно. Собаку загнал в будку и закрыл. Шел по дорожке к дому и, приветливо заглядывая мне в глаза, спрашивал:

— Ну как? Отошли? Ох, мы вчера и накачались самогоном! — пояснил участковому. Потом опять ко мне: — Голова не болит?

Я вдруг с ужасом понял, что он ничего не скажет. Свернет все на пьянку. Так и вышло.

— Да я и не помню, что я там молот. Пьяный же был. И товарищ вот, — он кивнул на меня, — еле языком ворочал. Все кричал мне: «Попик я! Попик!» Ну и что, что попик? Советская власть всем простила. Всем! — Он посмотрел на нас выразительно. — Только живите, как люди. Не вредите.

Семен Петрович аж взмок от волнения, а Митяй извивался, как уж под сапогом.

— Какие могилы?! Да вы что?! Отколь я могу это знать? Меня ж и не было здесь. Я был в другой губернии. Я ж когда приехал? Пспрашивайте людей. По-то-о-ом!

— А жена ваша — Евдокия?

— Померла. В гражданскую. От тифа. Уж я убивался, убивался. А жизнь — она свое требует. Женился на Авдотье Ивановне. Трех ребятшек взял. Поднял, воспитал... А Дуню я любил. Я ее и сейчас люблю. Не смотрите, что старик. Когда молодость вспоминаю, только она одна, Дуня моя, и греет сердце.

— Есть сведения, что вы были в банде Вольницы.

— Да ни в жисть! У красных я был!

— Врешь! — не выдержал я. — А кто из банды на телеге узлы привез?! Я ж своими глазами видел, как ты их перетаскивал в дом.

— Это одно заблуждение. Время, знаете, какое было? Шел я домой, на побывку, смотрю... в широкой степи идет себе лошадь, одна, без хозяина, телегу катит. Я ее и забрал. Чо жа добру пропадать. Еще к бандитам попадет. Привел домой. Посмотрел, а в телеге узлы с барахлом всяким. Ну чо жа, я выброшу, что ля? Занес в дом.

— А почему лошадь дома не оставил?

— Та я ж на ней в отряд вернулся.

В общем, сколько мы с уполномоченным не бились, так ничего и не добились. Вернулись в оперпункт. Семен Петрович кинул планшет на стол, сел на стул и, сняв фуражку, стал вытирать платком взмокнувшую голову.

— На фронте легче было, — неожиданно сказал он. — Там уж точно знаешь, кто враг.

Я сел напротив и, не видя ничего, смотрел в окно. Все внутри меня горело от ненависти. Доказательства?! Вот же они — проходят перед моим мысленным взором. Одно за другим. Невидимые никому, кроме меня. Если бы можно было их каким-то фантастическим образом сфотографировать да предъявить этому скользкому Митяю... Тогда уж, небось, не отперся бы. Тогда и у Митяя тоже можно было бы отснять то, что он таит в себе... Увы! Вспомнились слова отца Савелия: «Хитро устроен человек. Самая суть его, душа, не просматривается».

Попросив разрешения у Семена Петровича, я стал собирать в селе кое-какие сведения о Митяе.

Но как много прошло, оказывается, лет! Почти никто ничего не помнил о тех годах. А кто помнил, рассказывал мне то, что я и сам знал.

Дети, которых «вырастил» Митяй, даже говорить о нем не захотели.

— Сволочь это! Знаю, что гад, а доказательств нет. Маленькие тогда были.

Я ходил по селу с фотоаппаратом на шее, с портфелем в руке, заходил во дворы, беседовал с людьми.

И вот однажды меня окликнул мужчина лет сорока пяти. Подошел, назвался Григорием.

— А я ведь вас узнал! — сказал он. — Вы «Попик».

— Да! — обрадовался я. — Вы что-нибудь помните о том времени?

— Помню.

— И что же? — радость удачи окатила меня горячей волной.

— Помню, как висел батюшка... Помню, что потом его кто-то украл...

— Это я и Дунятка! Вы помните Дунятку? На холме жила. У амбара.

— Нет. Не помню. Я ж тогда мальчишкой был... Но хорошо помню, как вы застрелили атамана и как вас... били.

— Пожалуйста, пойдите к Семену Петровичу! Он должен это услышать и записать. Это нужно для того, чтобы собрать сведения об отце Савелии.

— А кто это?

— Поп. Тот, которого повесили бандиты.

Григорий рассказал немного. Но главное было то, что он — живой свидетель.

Он очень расстроился, когда узнал, что могила отца Савелия — среди двора.

— Надо же что-то делать! — горячился он.

— Вместе будем думать над этим, — успокоил его Семен Петрович.

Жил я теперь у Семена Петровича. Мы часто и много разговаривали. И перед сном, сидя за столом в садочке, забыв об остывшем чае, и когда укладывались спать на сеновале. Я рассказывал ему о тех далеких событиях, которые остались живыми и горячими в моей памяти, о Дунятке, о том, что узнал о ней от Митяя.

Мы с ним, с Василием Денисовичем и Григорием все прикидывали, куда можно еще послать запрос, как ускорить дело. Мы как бы поделили ответственность за конечный результат начатого поиска.

Как только поулегся немного гнев против Митяя, душивший меня, мешавший рассуждать правильно, я стал думать над тем, где могла быть эта общая могила? Решил сходить на место боя.

Вышел однажды из села и направился к этому памяtnому месту. Дошел. Прикидывая расстояние, по отношению к Горяевскому оврагу и Никитовке, приблизительно определил место. Стал вспоминать, как все происходило. Мне кажется, довольно точно установил место, где ранен.

Справа от меня тогда был окоп, из которого стрелял Митяй. Немного впереди и тоже правее — еще окоп. Остальные окопы шли, как я припомнил, небольшим полукольцом, ближе к Никитовке.

Я вытащил из портфеля старую газету, постелил ее на траву и сел на том самом месте, так мне казалось, где упал когда-то с коня, сбитый пулей Митяя.

Долго сидел, недвижимый, вспоминая товарищей, командира своего — Николая Фроловича. Передо мной проходили картины, которые запечатлела тогда, в короткие передышки рукопашной, моя память.

Так тихо сидел я, что даже пугливая ящерка подбежала к моей ноге. Замерла рядышком с подошвой сандалета, пригревшись, видимо, на солнышке. Я тронул ее сухой былинкой, и она тут же юркнула в траву.

Ковыряя какой-то щепочкой мягкую рыхлую землю, я сосредоточенно думал. Была тогда зима, я припомнил, как цокали копыта по промерзшей земле, был шел несколько часов. Да после боя... пока отыскивали раненых, пока перевязали, пока отправили таких «тяжелых», как я, в безопасное место, прошло еще немало времени. Выделили похоронную команду — видимо, хоронили наши бойцы, потому что жители об этом ничего не знают. Настало время предать земле своих погибших товарищей... Да и бандитов тоже.

А как их «предать земле», когда она мерзлая, неподдающаяся.

Видимо, место для братской могилы, в которой будут покоиться наши славные товарищи, выбрали где-то в более-менее удобном месте. Может даже, на кладбище у церкви... (Как я не догадался спросить об этом людей?!)

Бандитов, конечно, с такими почестями не хоронили. Их могли, например, зарыть в этих двух окопах, что сейчас правее меня. И копать не надо, и погребены...

«Окопы! — вдруг ясно понял я. — Конечно, окопы!»

Я вскочил. Еще огляделся.

«Где-то здесь...»

Пошел вправо. Совсем немного. Вот здесь... уже мог быть окоп... Я сел, боясь шагнуть вперед.

«Неужели здесь? Неужели где-то тут, неподалеку? — стучало в голове. И опять заныло сердце: — Не нашла она, мученица бедная, успокоения и после смерти...»

Передо мной заплесало лицо Митяя:

«Гори, во славу божию! И внизу нее мужики, и поверх — мужики!»

Я, действительно, горел. Все корезилось и трещало во мне от этого пламени.

«Что делать? Как вырвать ее из этой могилы? Кто возьмется за это? А если все же договорюсь, если откапаям, а там ничего нет... А если есть, как найти ее?»

«Гори, во славу божию!»

О, гад! Какую рану нанес! А сам — неуязвим. Вывернулся. Проскочил тогда, в 1920-м, когда обратились к оставшимся бандитам с предупреждением — не воспользуются возможностями добровольной сдачи, пусть пеняют на себя. Митяй, я думаю, проскочил, как заблуждавшийся.

Я шел к Никитовке, когда солнце уже готово было коснуться края земли, растечься по ней последним предвечерним светом и продолжить свой путь где-то далеко от этого села, в котором я своим появлением пробудил столько забытого, казалось, на веки ушедшего.

Еще пиликали на скрипочках цикады, еще прыгали кузнечики, но уже видно было, все это в предчувствии прощания с солнцем.

И я прощался. До завтра. Но... с Дуняткой, с местами, где осталась она, навечно. И теперь, казалось мне, здесь что-то есть от нее. Легкий ветерок, мягко касающийся лица, — ее дыхание; покачивающиеся на тонких упругих ножках, доверчиво глядящие на меня голубые-голубые васильки — ее глаза; золотистая пшеница полей — как волосы ее...

Нет, не погибла Дунятка. Она растворилась в этом голубом покое, и солнечными лучами ее жизнь протянулась в вечность.

Когда я шел по селу, навстречу мне попался Митяй. Я с ненавистью посмотрел на него и с радостью отметил про себя:

«Почернел. Усбх. Даст бог, и вовсе сдохнешь».

Видно, разговоры, что идут по селу, не обходят его сторонкой. В селе ничто не утаится. И глаза его бесстыжие не раз, видно, застывают в ледящей ненависти, когда ему намекают, а может, по-деревенски прямо и бесхитростно говорят о том, что он — гад.

Однако в глазах его, сначала злобно устремленных на меня, вспыхнуло какое-то удовлетворение, и я понял, что тоже крепко усох за это время.

Я все собирался как-нибудь выбраться и сходить посмотреть «пещерку», хоть знал, что от нее и следа не осталось. Но времени не было совсем. И вот сейчас я подумал: «Дам крик и спущусь все-таки в овраг. А то так и уеду, не сходя к месту своего неожиданного спасения».

Я свернул в переулочек, и вдруг вспомнилось, как полз я среди кустов пыльной польни к площади, дрожа за свою жизнь так, как никогда не дрожал. Потому что в ней тогда было спасение людей, которых мог из-за меня растерзать Вольница.

Вспомнилось, как глянул все-таки тогда на «второй двор от угла» — двор Федории, где был заброшенный колодец, в котором просила меня Дунятка спрятаться в случае спасения.

Вспомнив это, я заглянул через старый плетень, отыскивая его глазами. Но кусты и сейчас были густыми, за ними ничего не было видно.

— Можно, я войду к вам? — спросил я у старенькой бабушки, что сидела во дворе на лавочке.

— Заходи, сынок!

Я вошел в калитку, подошел к старушке, присел рядом. Сначала поговорили о погоде, о здоровье... Наконец я спросил о том, что меня интересовало:

— Тут у вас во дворе когда-то колодец был?

— Был. Старый. Засыпали его. За ребятишек боялись.

Мне вдруг подумалось: «А вдруг эта бабушка помнит кого-то или что-то?» И я спросил:

— Тут когда-то Федория жила. Может, знали? Добрая очень была женщина...

— Отчего ж «была»? — ответила она негромким, слегка скрипучим голосом. — Это я и есть.

— Вы?! Федория?! — я чуть не задохнулся от радости. Какой дурак! Петлял, ходил кругами, искал, а она — вот, рядышком, Федория! Отсюда надо было начинать. Но кто мог подумать, что она еще жива!

А та сидела, в старческом смирении уложив ладони на клюку, и смотрела перед собой, не мешая мне удивляться и не задав вопроса, почему я так удивляюсь. Видимо, уже открылась ей стариковская мудрость — все суета сует. И в благом спокойствии ждала она своего часа не как страха, не как избавления, а как естественного перехода в другой мир.

— Федория! Вы помните Дунятку? Вот здесь ее домик стоял. Дунятка! Вспомните.

— Да я ее хорошо помню. У стариков только прошлое и есть. А сейчас что спроси... хоть вот, к примеру, куда я нынче гребешок задевала? Убей, не вспомню!

— А помните отца Савелия? Батюшку!

— Помню. Еще как помню! Повесили его, бедного, бандиты. А знаешь, ночью его кто-то снял...

«Надо будет привести сюда Семена Петровича да записать все с ее слов. Вот еще свидетель», — быстро промелькнуло у меня в голове. Но я тут же забыл об этом, стараясь пробудить в ней память.

— А Дунятку, когда она погибла, говорят, в общей могиле закопали. Только где та могила, никто не знает.

— Нет, мил человек, не в общей. Ее Санька с Манькой выкрали и где-то тайно захоронили.

— Как?! Откуда вы знаете?! — вскочил я.

— Кому же и знать, как не мне... Они боялись, что ее с бандитами похоронят... Наши-то не знали, что она... просто несчастная. И вот ребята те взяли у меня лопаты и тайком...

— А где?

— Чего не знаю, того не знаю. Но сказали — надежно.

— Значит, она не в общей могиле?

— Ни боже мой! Ей место хорошее выбрали. Потому как сироты эти любили ее. Она им помогала, жалела их...

— Может, на кладбище?

— Не знаю, мил человек. Знаю только — хорошо похоронили. Я им одеяло свое тканевое отдала, чтоб завернули...

Я сидел с Федорией до глубокой темноты. Только больше ничего не узнал. Попрощался с ней, расцеловал ее в обе щеки. Она растрогалась. Все говорила вслед: «Ты приходи. Может, еще что вспомню».

Но мне кажется, уже и не нужно было ничего. Моя Дунятка не лежит там, в степи, в общей могиле с бандитами! Ее «хорошо похоронили!» Над ней плакали эти бедные дети, которым она всегда старалась помочь в их суровой сиротской жизни.

После тех событий Санька и Манятка куда-то ушли из села. Совсем. Так сказала Федория. А я подумал, не оставила в беде этих сирот советская власть. Нашлись у нее для них, как и для многих осиротевших в те годы детей, и тепло, и забота, и средства.

Семен Петрович радовался вместе со мной.

— Прямо — гора с плеч! А то как представляю себе эту чистую добрую девушку среди врагов заклятых, так хоть сам иди рой и ищи ее! Только молчал. Не хотел вас тревожить.

— Да я и сам уж хотел Григория подбивать на это — на раскопки.

— Ну, теперь на очереди — отец Савелий. Мы уже решили с Василием Денисовичем — обгородим это место штакетником, пока придут нужные бумаги.

— А мне уезжать скоро...

— Езжайте спокойно. Обо всем будем ставить вас в известность.

Я распрощался перед отъездом едва ли не со всеми жителями села, столько появилось у меня в Никитовке друзей и знакомых. Навестил напоследок Федорию.

Я убежден, что ее долголетие при ясном сознании и сохраненной доброжелательности к людям — подарок природы за ее удивительную доброту.

Наконец я вышел из села и направился к железнодорожному разъезду, на котором вышел из поезда три недели назад.

Василий Денисович предлагал мне поехать на телеге, но я не согласился. Мне хотелось идти одному в тиши полей, среди вызревающих хлебов. Попрощаться душой со всем тем, что остается здесь и что мне навечно дорого.

Сквозь огорчения, что испытал я, коснувшись этого дорогого, прорастало и прорастало хорошее.

Пусть так тяжело и больно все с отцом Савелием. Но так хорошо, что со мною вместе болеют за него и Василий Денисович, и Семен Петрович, и Григорий, и уже многие другие люди.

Очень тяжело и больно все, что касается Дунятки. Но легче от того, что похоронили ее добрые любящие руки. Надежно укрыли, не зная в то тревожное время лучшего способа уберечь ее.

Митяй! Это — мое Горе. Лежавшее до поры, когда я натолкнулся на него, как Вольница на меня, чтобы поразить в самое сердце, отравить мою жизнь, наполнить ее ужасом и страданием.

Но он же, не ведая об этом, подарил мне величайшее счастье. Принес мне через долгие-долгие годы известие о том, что Дунятка любила меня.

Моя Дунятка!

В тишине вокруг меня, в необъятности окружающего простора совершенно естественно всплывали и печально выпевались любимые строки стихотворения, которые, так мне всегда казалось, — написаны про нас.

...Она была все прожитые годы
не то чтобы в друзьях, не в их кругу,
а просто — частью времени, природы...¹

«А просто — частью времени, природы...» Как верно. Именно так, неотрывно от себя, я и ощущал Дунятку.

Первое письмо из Никитовки я получил месяц спустя после приезда в Ташкент. В нем говорилось, что пришел ответ на один из наших запросов. В нем сообщается, что никаких сведений об отце Савелии пока не обнаружено, но поиск продолжается.

Потом пришли еще два письма приблизительно такого же содержания. Но в конце третьего письма... была приписка:

«Митяй ушел из села. Заколотил окна, двери и куда-то подался. Последнее время его сторонились, выражали ему открыто неприязнь. В селе ведь новости быстро расходятся. Так что — не выдержал все-таки стыдобы, ушел».

Новость эта и порадовала меня, и огорчила. Порадовала тем, что хоть как-то да наказан он за свои злодеяния. Огорчила тем, что не наказан, как надо. Так, значит, и сошло ему все с рук.

А вот четвертое письмо было — как взрыв! Оно оглушило меня, вырвало из привычного и надолго оставило в растерянности.

«Обсуждалось-обсуждалось, кипело-кипело все то, что всколыхнулось с вашим приездом, по дворам да по домам, и вдруг... бабы наши потребовали созвать сход!

И как вы думаете, что постановили на сходе? А вот что: не дожидаясь никаких бумаг, отыскать могилу героя революции и перенести его прах на площадь!

Еле-еле убедили мы с Василием Денисовичем, что нужно пока перенести хотя бы на кладбище. На том и остановились.

Экспертов из города я все же вызвал. Так, на всякий случай.

Копали днем. Очень осторожно. Как археологи. На холм никого не допустили. Да никто и не рвался. Все стояли молча на площади. Тишина была поистине гробовая.

Эксперты так прониклись общим волнением, что поскидали рубашки и тоже давай копать. А копали — по сантиметрам. Чтобы, в случае, если найдем, не задеть.

¹ В. Торопыгин, «Берега».

И вот, представьте себе, какая радость — нашли! Гроб у нас был приготовлен заранее. Как сказали людям, что нашли героя, так нам тут же и гроб передали. Оббили его красным кумачом и украсили черными бантами.

А теперь... слушайте, что дальше было.

Пошли мы влево от праха отца Савелия, расширяем могилу, и вдруг замечаем, что рядом есть еще кто-то! Эксперты тут же определили, что срок этого второго захоронения — приблизительно один и тот же.

И вот, представьте, обнаружилось, что это... женщина. Голубые стеклянные бусы рассыпаны... Меня как пронзила мысль: «Так ведь это же... ДУНЯТКА!»

Словно пуля навывлет прошла через мое сердце! Я забыл про письмо. Не радость, не горе охватили меня, а что-то такое, что потрясло и перевернуло все мое нутро. Я сжался, согнулся, придавленный этим известием. Но надо было читать дальше. Стал читать, а письмо прыгало в моих руках...

«Дунятка! — так стало больно. Я ведь теперь ощущаю ее как близкого человека.

Мы и так все были, как натянутая струна, а тут аж озноб по спине пошел. Вот где ее припрятали! И не одиноко, мол, ей, и надежно, и тепло — от присутствия такого хорошего человека.

Я только вот думаю, кто мог знать о том, что в сарае захоронен отец Савелий? Или это невероятная случайность?»

Я сам дрожал, как в ознобе.

«Дунятка! Рядом с отцом Савелием! Нет, это, конечно, не случайность».

Я закрыл глаза. Перед моим мысленным взором проходило то, что происходило той ночью. Как долго она длилась. Как долго не могли мы подобраться к телу отца Савелия, что качалось огромным черным колоколом совсем неподалеку от нас. Наконец мы рванулись к нему, бесшумно, осторожно. Прodelали все так тихо, что никто не всполошился. Вот Дунятка соскользнула с дерева и помогла уложить нашего друга мне на спину. Мы обошли площадь, взобрались на холм, вошли в сарай...

Кто мог видеть, что там, в сарае, мы похоронили отца Савелия? Была ночь. Все люди по домам. Кто мог в такую ночь не быть дома, когда кругом бандиты?

Стал вспоминать, что было на следующее утро.

Я убил Вольницу. Потом попал в сарай во дворе Никодима. Потом бежал... Но бежал-то... только потому, что до меня бежал Санька... Еще утром его били. Значит, он убежал незадолго до того, как в сарай втокнули меня.

Дунятка говорила, что Манятка рыла подкоп...

Значит, в ту ночь не спала эта девочка — Манятка. Она готовилась спасать брата. Была настороже. Тоже прислушивалась и осматривалась. И значит... видела нас.

Нам не помогла, у нее была своя задача, свой риск, своя надежда — спасти брата.

А вот потом, когда нужно было надежно спрятать Дунятку, Манятка и Санька вспомнили об амбаре и... о могиле в нем.

Только сейчас я осмыслил, — что смогли эти дети! А может, и смогли-то потому, что видели, как смогла сделать то же самое — Дунятка. Разобравшись немного, я продолжал чтение.

«Как плакали наши женщины! Если бы вы слышали... Федория отдала свой гроб, что уж много лет стоял у нее про запас — для себя. Его так же красиво украсили, как и гроб отца Савелия...

Похороны назначили на другой день. Эксперты съездили в город — привезли свой милицейский оркестр.

Посреди площади на столах, покрытых кумачом, поставили рядом два гроба. Все вокруг было усыпано цветами. В почетном карауле стояли пионеры. Играл оркестр. Люди прощались с героями. Лица у всех были светлы и торжественны. Василий Денисович сказал речь:

«...Мы скорбим, но мы и гордимся ими...»

И еще. Мне понравилось:

«...Хоть и говорят — гражданская война, а это была — революция! В один день ее не совершить. Особенно в селах. Тут в каж-

дом — своя и в свое время. Как у людей — тоже у каждого в свое время.»

Это он имел в виду Дунятку.

Похоронили их на кладбище, что у церкви. Оно совсем рядом с площадью. Запущено, конечно. Но эти две могилы обнесли штакетником и поставили над ними обелиск с красной звездой наверху. На обелиске золотом вывели:

**«ГЕРОИ РЕВОЛЮЦИИ —
ВЫ ЖИВЫ В НАШИХ СЕРДЦАХ!»**

Вот когда, наконец, нашла свое успокоение моя светлая лебедушка...

Я замер, сдерживая боль в сердце, чувствуя, что вот-вот может накатить еще более грозная. Но и тогда, наверно... мне не будет больнее, чем сейчас.

Дунятка!

Всю жизнь прошел я вместе с нею. Всю жизнь разговаривал с нею, не зная о том, что ее нет. И она... отвечала мне. Значит — была! Пусть только во мне. Но это же — немало. Это и есть то, о чем говорил отец Савелий: «Остаются жить немногие... лишь те, что живут в чьей-то памяти».

И всю жизнь готовился я к тому, чтобы поведать людям о событиях, в которых участвовал тогда, и... о Дунятке. Она — моя молодость, любовь... Но она во мне и продолжение тех тревожных и прекрасных лет — всегда живых и нетленных.

Я напишу о ней, и она будет жить среди будущих людей. Они будут иметь в себе, эти будущие люди, которых мы представляем умными, всепонимающими, — столько сочувствия, что заплачут над ее горькой судьбой; столько понимания Красоты, что восхитятся ею — деревенской женщиной. Соединят ее молодость со своей молодостью. Потрясенно скажут: «Она ведь такая молодая!.. Как мы».



Александр Файнберг

СТРУНА СКОМОРОХА

ПОЭМА

1

Ой да ну, подкову гну
не напрасно я.

И ударило в струну
солнце красное.

В синеве спят глаза
башни лепые.
Прорастают в небеса
луком-репою.

По суме да по тюрьме
славно славою
царство зреет на холме
златоглавое.

По острогам дают блох
уголовнички,
а в хоробах — царь Горох
со полковнички.

Рожи — словно из печи.
Взоры властные.
На столе — огонь парчи.
Вина красные.

Злату рыбку тянут в рот.
По заслугам — труд.
Где решают за народ —
за него и жрут.

Но меж них — прыг-скок — блохой,
вроде вольною,
шут мотает гребухой —
шваль запойная.

Он давно уж при дворце
пьет и кушает.
Правду корчит на лице
с простодушием.

Ах ты, душка, лисий хвост!
Красна девушка.
Ты ж не просто сладок-прост,
а за денежку.

Промышляешь на бугре.
Машешь лохмами.
Прыщ, полезный при дворе, —
шут гороховый.

Скачешь в перстнях золотых
день до ужину.
А как ночь придет — бултых —
в бабье кружево.

Только нынче соловьи
зря невестятся.
В небо вышли не твои
звезды с месяцем.

От степного куреня —
гость непрошенный —
в столовый град явился я
с пыльной рожею.

От просторов, где беда
вьется полозом,
где репей да лебеда
вместо колоса.

Там кора ползет с коряг
бедной родины.
Рыбы бьются на камнях
от безводия.

Там накрылись трын-травой
грабли с вилами.
Вдоль погостов бабий вой
над могилами.

От заплочных дел царя
с лютой челядью
улетели за моря
гуси-лебеди.

Без надежд и без дорог
бродят нищие.
Гарь лесов да ветерок
с пепелищами.

Но не зря меня вели
без указочки
лапти драные мои
в рай твой сказочный.

Вот он — я. Царю не брат.
Шляпа с дыркою.
Зипунишка из заплат.
Девки фыркают.

Ни вина и ни пшена.
Голь запечная.
Но зато со мной струна
самопевчая.

И не стану я, как вор,
прядать ушками,
чтоб меня ты на бугор
нанял служкою.

Не затем я, мил браток,
версты вымерял,
чтоб царю сосать сапог
вроде вымени.

Так что царь твой во хмелю
похрапит без нас.
Да и рано мне к царю.
Мне к тебе — сам раз.

2

Ой да ну, подкову гну
злому лешему.

Не кажи тугу мошну,
да с усмешкою.

Я, браток, не за пятак
ночью страшною
мимо стражников-собак
лез по башенкам.

Я проник на твой лужок
тропкой лунною,
дабы спеть на посошок
то, что думаю.

Я сегодня — дух степной,
мгла овражная.
Срам тебе — передо мной
корчить важного.

По столам да по чинам
глазом бегаю,
ты забыл, как ночевал
под телегами.

Как в полях да с ветерком
жил царевичем,
с прибауткой-говорком,
с лаской девицей.

Не за брошки был ты мил.
По-хорошему.
Краше нашего чудил —
скоморошничал.

Пел-свистал, как соловей,
что не велено.
Балалаечке твоей
люди верили.

В злобе лютой рвали рты
псы державные.

Так за что ж тебя в шуты
царь пожаловал?

В кожу — шило, в доску — гвоздь.
Время грянуло.
Вижу я тебя насквозь,
как стеклянного.

Не за цвет красивых глаз
нынче куплен ты.
А за то, что знаешь нас
как облупленных.

От кого, скажи, браток,
в царской банечке
наши выведал Горюх
притчи-баечки?

Не криви свою губу.
Дело кончено.
Неспроста колпак на лбу
с колокольчиком.

Неспроста он — трень да брень —
звонок ябедцей.
Нас — веселых — что ни день —
убавляется.

Вдов бездомных мучит зной,
жгут комарики.
Ходят по миру с сумой
дети малые.

Пел их батька во степях
звонче кочета.
Да на царских на цепях
в яме кончился.

Ты ж, браток, жуешь пирог
с кофе утренним.
Бел кафтан, как сахарок.
Щеки пудрены.

На тебя давным-давно
царь не сердится.
У тебя друзей полно
в злате-серебре.

Похвальбуши-болтуны,
псы заморские.
Льешь в них вина под блины
царедворские.

Не поешь — цедишь янтарь.
Любо-дорого.
Чтобы всюду злой наш царь
слыл за доброго.

Эта верша — на ерша.
Мне ж медок не лей.
Я сегодня, грош-душа,
не тебя глупей.

Твой царек — с горох ума.
Вор помазанный.
Кормит подданных с холма
лишь указами.

Я ль не шел к нему с мечтой,
глядя в небушко?
Да не с кривдой-хитротой —
с правдой-хлебушком.

Точно в церковь душу нес.
Голодал и дрог.
Да расквасили мой нос
о дверной порог.

3

Ой да ну, подкову гну,
черта сватаю.

Ты не кличь мою струну
виноватую.

Не гневись и не сердчай
сытой холкою
на ее тоску-печаль
безысходную.

Ей не пела трель в садах
соловьиная.
Выли в пьяных слободах
нож с дубиною.

Не заморский грамотей
с нянькой гладенькой,
а пенька склонялась к ней
с прекладиной.

Каторжанин без рубля,
битый, колотый,
ей о правде пел, хрипя,
да под колокол.

И не царский чародей —
кенар лаковый, —
нищета да мор над ней
кровью плакали.

Мимо, рванью по лицу
слезы пачкая,
шли убогие к дворцу
за подачкою.

А дворец — он цепь да плеть,
да кулак к лицу,
да петля, коль станешь петь
поперек дворцу.

Жуй траву, не колобродь,
люд отчаянный.
Не слезай с креста, Господь
опечаленный.

Эх, сторонка — два пшена!
Залы тронные.

Но гляди — цела струна.
Ржа не тронула.

А не ты ли врал царю,
как твой план толков,
как возьмешь струну мою
да сорвешь с колков?

Не судьба, как видишь, мне
дюже грешному
на своей же на струне
быть повешенным.

Не у ямы на краю
при часовенке —
пред тобою жив стою
весь, как новенький.

Так что зря ты, рвань-шакал,
по гнилой воде
мне свои приветы слал
через «быть беде».

Зря шипела зла змея
по моим следам.
Царских змеек этих я
черту в рот кидал.

Ах, как ты б отпел меня! —
что при выносе.
Да не к роже мне петля.
Так что — выкуси.

Не теперь моя жена
станет вдовою.
Мечен я. Да и струна
заколдована.

Ты же — плут и егоза —
не минуешь смерть.
Пятаками на глаза
ляжет плата-медь.

И качнется крест, скрипя,
не под звонами.
Отпоют в ночи тебя
ветер с вороном.

Ну а там, где светит мне
место лобное,
царство встанет на холме
не голодное.

Не дорожкой сквозь тюрьму
вседержавную,
а делами по уму
достославное.

Не гармошкой под тоску
с пьянь-корытами —
волей с правдой на веку
знаменитое.

Точно вороны с полей,
сгинут нелюди.
Прилетят из-за морей
гуси-лебеди.

Не твое, горохов шут,
кодро псовое, —
нас — бедовых — помянут
люди новые.

Будет ангел белокрыл
осенять наш прах.
Будут холмики могил
до небес в цветах.

Оживет земля. Да так,
как не чаяла.
Поцелуй же свой колпак
на прощание.

4

Ой да ну, подкову гну
не напрасно я.

И ударила в струну
ночка ясная.

Под луною — холм-краса.
Башни лепые
подпирают небеса
луком-репою.

Бродит вольный ветерок.
Звезды яркие.
А в хоробах — царь Горох.
Скука с пьянкою.

Вкруг стола его — гуртом
рожи серые.
Шлют холопа за шутом
для веселия.

Чтоб развеял топ да хлоп
злую дрему всем.
Глянул в спаленку холоп —
и аж на пол сел.

Ай да ну! Да вот те на!
Глазки лупают.
За окном звенит струна.
Струнка лунная.

И глядит на свет луны
шут гороховый
из петли моей струны
скомороховой.

Подбородок — в облака.
Нос — морковкою.
В точь — заморская блоха.
Весь подкованный.

5

Так хлебайте ж лаптем щи
среди полночи.

Всем поклон. Ищи-свищи
ветра в полюшке.



Любовь Юсупова

Ц В Е Т О Ч Н И Ц А

ЭССЕ

То, что мы не даем себе труда быть мужчиной и быть женщиной, обедняет нашу жизнь, превращает нас в усредненных потребителей, лишает чудесной россыпи природных чувств, очарования и поэзии жизни...

Но как нам состояться между конкретностью природы и установлениями общества?

I

Ташкент в тот день был поразителен.

Редкая погода — без яркого солнца, со сгущенной, припудренной едва заметной взвесью легчайшего тумана воздушной синевой — преобразила все. С утра она трудилась, нежно прикасаясь кистью Мане к панорамному холсту города, и к пяти часам вечера окрасила его в мягкие, пастельные тона.

Посланица природы, в великодушии своем она давала городу не спеша проснуться от тайного сна зимы и понежиться перед тем, как яркие, изнуряющие потоки горячего солнца обрушатся на него, и городская пыль, смешавшись с выхлопными газами машин и дымом беспардонных курильщиков, повиснет над столицей постыдным, варварским смогом.

Как жаль, что когда-то, при выборе машины, мой вкус подчинился нашей моде на яркие расцветки! Теперь красным пятном она петляла по улочкам старого города, то и дело забираясь в очередной тупик среди кремовых глиняных домиков, нарушая хрупкую гармонию удивительной, цельной картины.

Душа моя была в состоянии тихого покоя.

Наверное, это случается тогда, когда биоритмы человека полностью совпадают с ритмами природы.

Была странная пятница: некуда было спешить. Накануне он уехал на целый месяц, а я дала себе слово не думать о нем, даже не вспоминать его имени. Отпали разом все вопросы: как нам жить дальше и что с нами будет? Они стали бессмысленны — их некому было задавать...

Я разыскивала то место старого города, где жила моя коллега, чтобы передать ей деловую бумагу с очень важным и приятным известием.

Давно я не заглядывала в эту часть Ташкента и теперь снова удивлялась отсутствию номерных знаков на многих домах и легкости, с которой местные жители объясняли мне дорогу, запутанную лево- и правосторонними поворотами. Я старательно следовала их указаниям, но быстро сбивалась с пути и в конце концов оставалась, решив дождаться какого-нибудь мальчишку-школьника — из тех, кому принадлежит весь этот мир и каждый закоулок в нем.

Не прошло и пяти минут, как на дороге показался подросток в синем стеганом халате. Рядом с ним прыгала легкая шалунья лет пяти с лукавыми глазками. Похоже, что мальчик вел сестру домой из детского сада. Она непрерывно тарантела о чем-то милым, он кивал с серьезным видом и строго посматривал на нее, когда она дергала его за рукав чапана.

Я попросила детей указать мне дорогу и назвала адрес. Они переглянулись и спросили, кого я ищу. И тут, к нашему общему удовольствию, мы обнаружили, что моя коллега Наргиза и их старшая сестра Наргиза — одно и то же лицо.

Мальчик усадил сестренку на заднее сиденье, а сам открыл переднюю дверцу, но прежде, чем сесть, защелкнул предохранительные кнопки задних ручек и погрозил сестренке пальцем. Потом он с важным видом проводника уселся рядом со мной и положил левую руку на колено. Взгляд мой застыл на этой руке.

Что это была за рука! Она напомнила мне описание кисти Омара Хайяма в большой монографии о нем, изданной в Лондоне.

«Смутные узкие ладони с длинными тонкими пальцами кажутся лишенными тепла. И это впечатление остается до тех пор, пока они спокойно лежат на коленях. Но вот владетель этих рук поднимает на вас глаза и начинает говорить. Слова его смущают ваши чувства, зажигают кровь, а движущиеся в такт словам и прикасающиеся к вашей руке пальцы оказываются сухими и горячими...»

Я все смотрела на эту руку, пытаюсь припомнить слова монографии.

Но что-то еще удерживало мои глаза на руке подростка...

Ах, да! Перед отъездом он хотел закончить маленький этюд — вид из моей спальни... Времени было мало. Он торопился, опрокинул баночку с разведенной краской... Эти его руки, перепачканные белым и розовым, так неуклюже, по-мальчишески вытирающие пятна на полу... Я невольно подняла глаза к лицу мальчика...

Он смотрел на меня тем же строгим взглядом, которым недавно пытался оставивать шалости сестренки.

Я торопливо повернула ключ.

Шум мотора показался неприятно громким.

Через каких-нибудь сто метров и два поворота мы оказались у дома Наргизы.

Мальчик позвонил.

Вышел хозяин и после короткого объяснения сына впустил нас во двор.

Мне не хотелось проходить в дом, чтобы не подавить замкнутым пространством радостной вольности чувств. И я осталась ждать во дворе, объяснив, чтобы не было обиды, что машина моя стоит на улице и из-за нее неудобно разъезжаться людям.

Отец увел девочку в дом и обещал прислать мне старшую дочь. Мальчика позвала из кухни мать.

В приоткрытую дверь вылетел горячий дух ароматного хлеба и закружил вокруг, опьяняя.

— Я приготовила лепешки, Аллояр, — послышался голос женщины.

— Я уже говорил, что не буду больше торговать, — ответил мальчик.

— Но ты же продавал в прошлом году, — уговаривала сына мать.

— Это было один раз, когда ты болела, и больше не повторится, — твердо сказал он.

Я представила его строгие глаза.

— А если снова заболела? — спросила мать.

— Торговать не буду! Мужское дело найду! Кому-нибудь огород вскопаю, мусор вынесу, траву выкошу... Мужское дело найду!

— Э-э-э... Аллояр... Торговля всегда была в почете у мусульман, — увещевала женщина.

— Я сначала — мужчина, человек! А потом уже мусульманин! — отрезал он, выскочил из пристройки и, столкнувшись со старшей сестрой, остановился.

Постояв немного в раздумье, он заспешил к дому.

Наргиза встретила меня тревожным, вопрошающим взглядом. Видимо, неспокойно провела она свой творческий день.

Я протянула ей конверт, и после первых же прочитанных строк тревога сменилась радостью. Она вскрикнула, закружилась, побежала к дому, потом, спохватившись, вернулась и стала настойчиво приглашать войти:

— Идемте! Сделаем праздничный чай! Болгары купили мою идею! Признали! Спасибо и вам за поддержку!

Я не поддавалась соблазну остаться и получить щедрую долю чужой радости, потому что боялась потревожить разговорами редкостную тишину своего душевного покоя.

Кроме того, не только погода, конец рабочей недели и приятная миссия настраивали мои биоритмы. Впервые за два напряженных месяца я вырвалась из

кружева забот и решила поехать в ателье, чтобы заказать цветы к новому весеннему платью.

Прощавшись с ликующей Наргизой, уже через три минуты я вклинивалась в поток автомашин у площади Дружбы народов, окруженной хоромом высотных зданий. И это был тот же удивительный, сплетенный из бесконечности архитектурных стилей и человеческих судеб Ташкент.

Возбуждение стремящегося к отдыху и развлечением города привнесло в тишину моей души неосознанную, тайную готовность к чему-то необыкновенному. С этой готовностью я и вошла в ателье.

Посередине небольшого холла прижались к маленькому столику два мягких кресла. В одном из них сидела девушка. Не было сомнений, что именно с ней я уговорила по телефону о встрече: она профессионально-небрежно выкладывала из сумки свои изделия, и на моих глазах мастерски, в стиле необычного каприза, столик был украшен букетами шелковистых, по большей части белых, цветов.

Рядом, на подставках, появились свадебные шляпки, фата и оригинальный головной убор к вечернему платью. Он был сплетен из серебристой тесьмы, сбоку к нему был прикреплен воздушный сетчатый цветок. Тычинки его дрожали от струек всегда подвижного, непостоянного воздуха.

— Добрый вечер! — сказала я. — Вы — Светлана?

— Да-да, проходите, пожалуйста, присаживайтесь, — она указала мне на кресло, и на лице ее появилось привычное, деловое внимание.

— Мне нужно пятьдесят белых розочек. Четырнадцать — малюсеньких, для рукавов, а тридцать шесть — покрупнее, для юбки, но не больше четырех сантиметров в диаметре, — объяснила я.

— Так... Мне бы хотелось знать, к какому наряду заказ, чтобы представить свою работу, — попросила она.

Я начала рассказывать о платье.

В это время было вполне приличным разглядывать цветочницу.

Сначала я смотрела ей в глаза. Они были бархатисто-каrimi, почти черными, но все-таки светлее темных высоко расположенных бровей, придающих лицу особую выразительность.

По мере моего рассказа профессиональное спокойствие, граничащее с безразличием и скрывающее внутреннее, истинное состояние девушки, сменилось в ее глазах интересом, сквозь который излучался вопрос: разве может ваше платье хоть что-нибудь изменить в этом грустном мире?!

Все черты ее лица были мелкими и четко очерченными. Само лицо — маленькое и узкое. Подбородок переходил в длинную стройную шею, как изображалось на заказных портретах русских княгинь. Миниатюрность черт делала это лицо милым, а ярко выраженная породистость лишала его доступной простоты.

Алый джемпер из мохера «Пастушка Севера» с подплечниками и выправленным наверх белым воротничком блузки придавал девушке вполне современный вид. Яркость джемпера подсвечивала безукоризненную, тонкую кожу лица, избалованную щедрым южным солнцем, и усиливала его приятный, здоровый цвет.

Рассказ о платье закончился.

Ресницы цветочницы взметнулись вверх, теплые глаза с участием и пониманием пробежали по моему лицу, и над столиком взлетели легкие, изящные руки. Она взяла карандаш, записала на листке мою фамилию и предварительную сумму денег, которую нужно было внести. Писала она медленно и с радостью отложила карандаш, когда к ней подошла женщина с дочерью-невестой за свадебной фатой.

— Подождите, пожалуйста, я выдам заказ. Вы не торопитесь?

— Кажется, нет... — сказала я.

— Вот вам журналы, полистайте пока... — предложила она.

«Я не хочу, чтобы вы уходили», — сказали мне ее глаза.

Я начала переворачивать листы красочных свадебных журналов. Романтическая древняя страна, дух которой рождается в волнах самого ласкового моря и гордо возносится к затихшим вершинам, чтобы поселиться там навсегда, демонстрировала на их страницах своих невест — прекрасных гречанок на пороге брачной ночи...

Я не успела еще досмотреть второго журнала, а цветочница уже раздала все свои заказы, приняла другие и снова села в кресло напротив.

— Прекрасно, — сказала я, возвращая журналы. — И прекрасна ваша работа. Сплошное удовольствие, не так ли?

— Да... — вздохнула она. — Но, видите ли, если я могу задержать ваше внимание еще на несколько минут, то скажу вам, что одно слово определяет мое состояние — «апатия»... Монотонная и пасмурная апатия...

Я смотрела на лицо цветочницы, избегая ее глаз, боясь очутиться в той глубо-

кой бездне естественных, неудовлетворенных желаний, которую люди изредка приоткрывают случайному встречному, потому что падают своих близких.

— Но это — временно, Светлана, поверьте мне! — с неожиданной уверенностью сказала я. — Сейчас весна... Авитаминоз... Все везде так неустойчиво, начиная с погоды. Это пройдет! Вы создаете такую красоту! А красота и правда — одно и то же.

— Неужели?! — радостно улыбаясь моим словам, словно именно они были ей нужны, спросила она.

— Да. Это не мое утверждение. Это — тезис самой утонченной теории нашего века, теории суперсимметрии. Эйнштейн только высказал ее главную идею и оставил расшифровывать потомкам. Суть в том, что все в природе развивается по законам симметрии относительно определенных осей, которых множество и которые нужно уметь правильно установить. Выражаясь образно, в самом зеленом цветке жизни уже заложен черный цвет гниения и смерти. Ось симметрии здесь проходит между жизнью и смертью. Своя ось симметрии есть и в каждой семье. Находится множество осей симметрии, относительно которых развиваются общества, религии да и все человечество. В конце концов эта теория приведет ученых к единому взгляду на происхождение жизни, а вместе с ними и всех нас — к гармонии с природой и с самими собой...

Мы смотрели друг другу в глаза. Значения слов, которые произносились, были важны, но еще важнее — их тон, звучащий аккомпанементом к нашим чувствам.

— Конечно... Верно... — снова вздохнула она. — Все это так. Я люблю свое дело, если бы только не мелочные проблемы! Вот вы видели эти журналы. Когда я смотрю их, во мне разливается горечь. Я трачу столько сил на то, что там делается просто и быстро. У нас нет элементарных приспособлений и инструментов. Знаете ли, мой отец — инженер. Он сам сделал расчеты и чертежи к нужным мне станочкам, но никто, и за приличные деньги, не взялся выполнить их, не нашлось специалиста...

Да и сами заказы... Приходят и просят то, что было на свадьбе у соседки. Если в махалле заказали фату, то такую же придется повторить столько раз, сколько свадеб там состоится. Скучно!

— А вы не предлагали свои идеи республиканскому Дому моделей, Ленинграду, Москве?

— Ленинграду и Москве — нет, а нашим модельерам предлагала. Но они сразу не оценивают, не воспринимают. Через год-другой спохватываются, а меня в это время занимает уже что-то другое...

— Да... — теперь вздохнула я. — А давно вы этим занимаетесь?

— С пяти лет. Как помню себя. Мне всегда хотелось создавать что-то прекрасное. И не просто что-то, а такое, чтобы нравилось и нужно было людям. Для меня самой мне ничего не надо, поверите ли?

Густая грусть ее глаз все же была полна особой теплоты. Я сидела, загнипнотированная серебристой, звенящей музыкой ее голоса, который больше подходил для выражения радости.

И вдруг она произнесла фразу, совершенно не относящуюся к теме нашего разговора, но естественную для чувственного фона, на котором он происходил:

— Знаете ли, я скоро поеду в Ленинград на встречу с человеком... Он станет мне родственником...

— Мужем? — догадалась я.

— Может быть...

При этом «может быть» в глазах ее засветилось столько надежды на счастье, в голосе зазвучала такая уверенность в перемене самой сути ее жизни, что я испугалась. Как часто мне приходилось видеть в жизни людей, полагающих, что кто-то извне способен сделать их счастливыми...

— Пять лет назад, — заговорила я неожиданно горячо, — со мной произошло то, что рано или поздно случается с каждым человеком... Это как переход из количества в качество, как внутреннее озарение... Неважно, почему это произошло, это — у каждого человека по-своему... Я вдруг почувствовала, что никто и ничто на свете не властно сделать меня счастливой или несчастной. Во мне появилась та точка опоры, в которой рождается спокойствие. Не поверхностная успокоенность, заметьте, а глубокое спокойствие. В этой точке как бы сконцентрировалась вся моя воля и освободила мои мысли и чувства от ненужного метания и распыления. Границы понятия счастья расширились, оно стало полнее, насыщенной, что ли... И не только человек, которого я люблю, но и старушка на базаре, у которой я покупаю зелень, старик с большой собакой, которого я встречаю по утрам на стадионе, библиотекарь моего читального зала, педикюрша, парикмахер и многие-многие другие — все они включены в то, что называется счастьем жизни.

Любовь к мужчине — это лишь эмоциональная окраска того, что уже звучит

в душе женщины... Как голос: может быть десятка два альтов, но все они окрашены по-своему, и вы отличаете одного обладателя альта от другого...

Если же это не так, то тогда права Марина Цветаева. Тогда любовь означает смерть — полное растворение одного человека в другом, конец его личности. Но тогда... кого же будет любить тот, другой?!

Она удивленно смотрела на меня и не понимала, о чем я говорю, или, полностью захваченная своими собственными чувствами, раздумывала, рассказать или нет самое главное, что занимало ее, но кто-то крикнул из приемной:

— Светлана! К телефону!

— Боже мой! — сказала она, вернувшись. — Папа заждался меня в машине. Нужно идти.

Только теперь, когда она стала надевать демисезонное пальто — огромное, несуразное, противоречащее ее тонкому вкусу, и я оказалась рядом с ней, я увидела, какая она высокая.

Рост ее неприятно поразил меня. «Не меньше метра девяносто», — определила я. Мне показались понятными все ее проблемы. Я опустила глаза и больше не в силах была взглянуть на прекрасное лицо цветочницы.

Мы вышли на улицу.

К нам подошел мужчина — высокий, дородный, большой — истинный отец своей дочери. Он предложил подвезти меня, но я ответила, что сама на машине. Невыразимо приятной, почти биологической уверенностью веяло от его присутствия...

— Так я все сделаю к следующей пятнице, — подтвердила она наш уговор и тихо, только для меня, добавила: — а тот, к кому я еду, совсем другой случай...

— Благодарю вас. Я уверена, что наряд будет великолепен с вашими цветами, — ответила я и, сделав над собой усилие, посмотрела на девушку.

Но уже стемнело, и выражения ее глаз я не разглядела...

* * *

Вместо того, чтобы поехать к подруге на ужин с прослушиванием диска из нового альбома ансамбля «KISS» и советов, как мне следует проучить и наказать его за все-все-все, я вернулась в институт, попросила оставшихся сверхурочно чертежниц выйти на работу в воскресенье и отпустила всех домой.

Войдя в кабинет, я включила полную иллюминацию и восстановила детали проекта, которые на предварительном обсуждении показались членам приемной комиссии излишними, декоративными, не несущими полезной нагрузки.

К полночи я испытывала такое чувство, будто избежала предательства чего-то важного в себе.

Новое обсуждение проекта было назначено как раз на пятницу, и я не смогла поехать за своим заказом. Позвонив Светлане домой, чтобы договориться о другом дне, я застала ее в напряженном волнении. Вместе с ее голосом из трубки неслись другие шумные голоса и звуки падения тяжелых предметов.

— Что-нибудь случилось? — спросила я.

— Нет-нет, — поспешно ответила она, прикрывая трубку ладонью. — Пожалуйста, приезжайте в следующую пятницу.

II

Всю неделю с небом происходило что-то странное. Под пеной белых и серо-голубых облаков оно, как беспокойная наседка выводок, прятало созревающую землю от резвого весеннего солнца.

По ночам, устав от напряжения, облака сбивались в причудливые скопища, и в небесные окна заглядывали любопытные звезды. Все беспокойно было на притаившейся земле перед новым возрождением. Все живое беспокоилось, билось от прилива диких сил: так крикнет птица, так сорвется помертвевший сук, что затрепетит в человеке тонкая сердечная струна и смутится разум...

По вечерам, с наступлением темноты, я не торопилась включать свет и вышагивала по кабинету, воображая в красках будущие сельские дома. Картины сменяли друг друга, наполняя меня уверенностью, что совершенство и гармония возможны.

Делать наброски, однако, совсем не хотелось, потому что за точными линиями чертежей должны были последовать расчеты и сметы, которые одни волновали тех,

кто решал судьбу человеческого жилья, и в результате кабинеты учреждений оказывались просторней людских спален и детских комнат...

Подолгу стояла я у окна, наблюдая за движениями огромного старого вяза. В медленных сумерках он окрашивался в очеретовый цвет и разбрасывал вокруг суетливые тени.

Не раз в такие вечера я думала о цветочнице, поражаясь человеческой черте — быстро привязываться к еще недавно совсем незнакомым людям. В большей мере это свойственно учителям и писателям.

Как поразительна, безысходна тоска молодого Толстого! Как мощно его желание быть близким и деду Ерощке, и Марьяне, и Лукашке!

Судьба нас караулит с детских лет на трех углах: на первом — разложен костер чувства, на втором — упорно ждет томительный и тягостный расчет, на третьем — роскошная, капризная случайность. И вот мы уже выбрали профессию.

На день рождения, это было в первом классе, мне подарили толстую большую книгу «Человек строит дом». Она состояла из великолепных рисунков жилищ — от первых пещер и соломенных хижин до небоскребов и небольших, живо и занимательно написанных, историй к ним.

Многие годы я возвращалась к этим рисункам и историям, с улыбкой вспоминая, как после первого прочтения дедушка спросил меня:

— Итак, что нужно для того, чтобы построить дом? Из чего его можно строить?

— Нужно просто знать, для кого строишь, и думать о нем. А строить можно из всего, — отвечала я и, помню, очень волновалась при этом.

Дом...

Вот место, где мы творим себя как люди, где так сложно живет или чахнет в печали, хуже того — тонет в мелочах, наша душа.

Наш дом — наш храм... Пока это не так, мы — не такие...

Я думала о цветочнице, и во мне рождалась идея нового жилища, в котором бы она ждала своего мужчину, где бы шалили ее дети, куда бы приходили ее друзья...

Я проектировала не только ее дом, но ее будущую судьбу. И я была довольна собой, потому что эти раздумья поднимали меня над мелочным самокопанием и освобождали мои чувства к нему от гнета мыслей. Я не могла, пусть с сожалением, но и с облегчением, не заметить, что чувства эти не только не гаснут, но усиливаются, накапливаются, и, должна сознаться, с трудом предполагала, во что они выльются.

Может быть, мысли мои о чужом доме были репетицией разговора о своем собственном?..

К пятнице собрался дождь. В сжавшемся, похолодевшем воздухе тонкие струйки легонько шелестели, словно извинялись, задевая друг друга.

По воле странного каприза я поехала в ателье по известному маршруту — через старый город.

Ворота у дома Наргизы были приоткрыты.

Я остановила машину и заглянула во двор.

Под навесом, у розовых кустов, сидел Аллояр. Голова его склонилась — он читал книгу и так был увлечен, что даже не обратил внимания на шум подъехавшей машины. Рядом с ним стояла пустая тележка и лопата. Видимо, он только что вывез мусор.

Несколько мгновений я смотрела на промытую зелень травы во дворе, на усыпанные дождинками цветы, на лицо читающего мальчика...

«Почему он не любит, когда я завожу разговор о доме, о лужайке под окнами? Это неважно для него? Это для него — мещанство?»

Не может быть!»

Усилим воли я оттолкнула от себя эти вопросы и вспомнила о цветочнице.

Мне приятно было воспоминание о ней.

Выбираясь к площади Дружбы народов, я думала о том, что самый большой подарок жизни — не разочаровываться в человеке.

Во мне поднималась светлая радость, как будто я ехала к сестре, которую долго не видела, чтобы услышать рассказ о том, что происходило во время разлуки. Светлана была в той же одежде, но волосы ее были тщательно уложены мягкими кольцами.

Все люстры в зале горели в полную силу.

Подставки для изделий стояли теперь не только у столика, но и по стенам. Создавалось впечатление, что здесь происходит выставка аксессуаров для брачного обряда. Приятно было окунуться в это веселое цветное царство после серых владений дождя.

По взлету ресниц, по свечению глаз цветочницы видно было, что со времени нашей встречи в ее жизни произошло что-то существенное.

— Добрый вечер! — издали приветствовала она меня, открывая голубую коробку, стоящую на столике. — Вот ваши цветы.

— Добрый вечер! — ответила я.

Достаточно было взглянуть на ослепительно белые цветы, чтобы понять, что заказ выполнен безукоризненно.

— Благодарю вас, — я взяла из ее рук крышку и закрыла коробку. — Сколько я должна доплатить?

— О! Ничего! Дороже то настроение, с которым я работала и которого хватило еще на массу вещей, — она широким жестом обвела холл, приглашая в свидетели своего вдохновения выставленные изделия.

— Столько заказов вы должны сегодня раздать?!

— Нет. Это все впрок, знаете ли. Сегодня я никого не жду. Ни одного заказа, кроме вашего. И дождь... — улыбнулась она.

Я тоже улыбалась и смотрела на цветочницу.

— Поверите ли, — снова заговорила она, — наш прошлый разговор, вообще все... настроение... так благотворно подействовали на меня. Очень... Вы не будете в Ленинграде в мае?

— Пока не знаю своих планов на май, а что?

— Я пригласила бы вас на свадьбу. Так, на небольшое собрание друзей — человек десять — двенадцать.

— А кто же он? — спросила я, потворствуя ее желанию рассказать, удивить историей своей любви, самой необычной, как, несомненно, верилось ей.

Но я услышала нечто большее, чем простая любовная история...

— Вы заметили мой рост, не правда ли? — начала она.

— Конечно. — Я несколько растерялась. — Но это ни о чем не говорит, Светлана! Вспомните Софи Лорен! А манекенщицы! Все они не ниже четвертого-пятого роста. И как прекрасно смотрится любой модный наряд на высокой женщине. Вы видели конкурс «Мисс Очарование»? По телевидению показывали. Самая маленькая была метр восемьдесят шесть. Они объезжают весь мир!

— Все это так, — остановила она меня. — Но до этого они бывают девочками, они растут, они учатся в школе. И страдают оттого, что они не такие, как большинство... И я страдала ужасно. Я прошла через все клички типа «дылда» и «коломенская верста» и через трудности со школьной формой, с вечной проблемой обуви и верхней одежды. Даже то, что моя мать работала учительницей в той же школе, не удерживало ребят от оскорблений. Они падали на меня, как камни, оставляя внутри боль, кровоподтеки...

— Да, детская жестокость известна...

— И так продолжалось до девятого класса, пока у нас не появился новичок. Звали его Борис. Держался он настороженно и ни с кем не сходил. Между собой ребята окрестили его «Чужаком».

Прошло два месяца, в течение которых он наблюдал за нашим классом и, конечно, прекрасно видел и мои страдания, и отчуждение ребят.

И вдруг пятого ноября, в последний день занятий перед октябрьскими праздниками, он вошел в класс с прелестным букетом цветов. Букет был составлен так искусно и мило, что до сих пор стоит у меня перед глазами: пять роз одного цвета, но разных оттенков.

Урок уже начался.

Борис попросил прощения за опоздание и сказал нашей учительнице литературы:

— Я думаю, Наталья Алексеевна, что вам легче будет простить меня, если вы учтете, что сегодня — день рождения Светланы Красновой.

Он подошел к моей парте, а я сидела одна все эти годы, и произнес слова, от которых мне захотелось плакать:

— Поздравляю тебя, Светлана, с днем рождения! Желаю тебе и дальше быть в прямопропорциональной зависимости с именем, которое тебе очень идет: Светлана... Свет-лада...

Он так это произнес! И положил цветы на мою парту, потому что я не смела посмотреть на него. Он был первым посторонним человеком, который поздравил меня с днем рождения. Мое залитое краской лицо было опущено вниз. Я ждала взрыва хохота или шепота колких насмешек, но в классе стояла тишина. Долго мои одноклассники не могли прийти в себя от шока, в который поверг их поступок «Чужака».

Мне хотелось поднести цветы к лицу, сжать их стебли пальцами, почувствовать уколы колючек и увидеть капли крови на коже. Мне казалось, что было бы хорошо, если бы часть крови вытекла из меня, потому что ее было слишком много и она была слишком горячая.

Оказалось, что у меня просто-напросто поднялась температура, и сразу же после урока я ушла домой.

Все каникулы я проболела.

Прихотливые розы скоро разбросали лепестки по моему письменному столу, и я уложила их в толстый англо-русский словарь для засушивания, а стебли связала метелочкой и подвесила к книжной полке. Ох! — она вздохнула и продолжила рассказ.

— После каникул я вошла в класс со звонком, чтобы ни у кого не было ни времени, ни возможности намекать на то, что было до каникул.

Поверите ли, я даже не удивилась, когда увидела, что Борис сидит за моей партой. Все это случилось так просто и естественно, как умел сделать он.

Насмешки и оскорбления в мою сторону прекратились будто бы сами собой. Кончилось мое безраздельное одиночество в школе...

Мне подумалось, что за этим восторженным рассказом стоит множество вопросов, которые она не раз задавала сама себе, и ей будет полезно высказать свои сомнения вслух.

— Что же в нем самое главное? — спросила я.

— Главное? Как вам сказать? Вы знаете, его многие не то что не любят, но держат себя настороженно в его присутствии. Как бы это выразить точнее? — дотронулась она до виска кончиками пальцев. — Вот: с ним нельзя расслабиться. Всегда чувствуешь себя в рамках. Нельзя выйти за пределы того, что умно, красиво, за пределы торжественного отношения к жизни, а это, знаете ли, мало кто любит.

Но для меня, привыкшей к рамкам и наедине с собой, это было просто. Потом, он требователен не только к другим, но и к себе — прежде всего.

— Интересно. И как эта требовательность проявляется?

— Ну, например, какая-нибудь из девочек принесла в класс дорогие французские духи, что-нибудь из «Шанелей» или «Нины Риччи», и начинала хвастаться.

Борис подходил к ней со стихами:

— «Когда еще в садах лица
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...» —

и потом спрашивал: — Как ты думаешь, Рита (например), почему Александр Сергеевич предпочитал осуждаемого, вьедливого Апулея красноречивому, образцовому Цицерону?

— Ну, чего тебе, чего?! — заранее приходя в смущение, спрашивала Рита.

— Мне — ничего. А вот Апулею нужно было, чтобы люди чистили зубы каждое утро, а не только перед танцами. Прочти его «Апологию, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии». Кроме того, он ценил в людях человеческие мотивы поступков. А чем оправдать твое хвастовство духами, купленными за деньги отца? Не у всех отцы — короли бензоколонок.

От себя добавлю, что вчера был дождь. К твоему сожалению, это заметно по твоим туфлям и колготкам...

И Борис отходил, оставив Риту самой себе. Вот так... — произнесла она, как мне показалось, не без гордости за Бориса.

— Постепенно наша парта стала центром, из которого исходила энергия возбуждения. Затворничество мое в школьные годы привело к тому, что я очень много читала и размышляла. У Бориса же была страсть к философии, к книгам, к историческим личностям.

Кумирами его были Скотт Фицджеральд и Валерий Брюсов, властителем дум, самого строя мысли — Стендаль, а эталоном эстетических оценок были для него оценки Пушкина.

Раньше, до прихода Бориса в класс, у нас царил культ фирменной одежды, аппаратуры, а у девочек — еще и украшений, и импортной косметики. Многие были из обеспеченных семей, как сейчас говорят, интересы их были далеки не только от школьной программы — это понятно, этому не способствовали и большинство учителей, но и от того, что называется столбовой дорогой культуры в мире.

Борис это заметил сразу.

В десятом классе он писал в сочинении о родном городе:

«Катастрофой не только в нашей столице, но и вообще в стране является положение, когда люди добровольно соглашаются жить, не используя главной способности человека — способности мыслить. Мыслить, отталкиваясь от того, что накоплено мировой культурой.

Леонид Леонов, который для меня и есть современная литература, разграничи-

вае понятия всечеловеческое и общечеловеческое. В последнее он вообще не верит, как не верил и Достоевский.

Под всечеловеческим же он понимает то, что свойственно всему роду человеческому: постоянное стремление к идеалам, внутреннюю потребность в удобстве, гармонии, тягу к духовному богатству, а общечеловеческое — это то, что принадлежит всему роду человеческому: энергия, леса, земли, определенные блага цивилизации и так далее.

Мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы приобщиться к новым видам энергии, к модам — ко всему материальному, а что касается мировой культуры, то мы от нее в стороне. Даже от своей старой культуры.

Но объединить людей может только культура, потому что предметом ее является превращение дикого и обычного в прекрасное, возвышенное. И объединение это будет тем прочнее, чем мощнее и прекрасней общая идея.

Общечеловеческое, материальное люди растаскивают по домам, по государствам, стараясь как можно крепче запереть все это друг от друга границами. Вырвать у природы, у соседа, у ближнего — это и разъединяет нас.

Мы не стали пока человечеством, значит — мы не стали еще людьми...»

Вы не удивляйтесь, что я помню наизусть его сочинения. Их несколько хранится у меня. Долгих одиноких вечеров было достаточно, чтобы десятки раз перечитать их, как бы поговорить с ним.

Словом, с приходом Бориса в класс акценты оценок сместились с фетишей на интеллект. Он обладал способностью сильно возбуждать ум и глубоко задевать честолюбие своих сверстников.

Знаете ли, я тоже с легкостью училась на «отлично», но у меня никогда не было потребности делиться с кем-либо в классе, а тем более вставать в ответы учителям самостоятельно прочитанное, прочувствованное, не входящее в программу школы. Он же делал это всегда. Познания его, как буйное море, заливали наших «фирменных» мальчиков и девочек. Честолюбие их было задето, и они вынуждены были учиться плавать в этом море.

Поначалу все думали, что он из очень обеспеченной семьи. Аккуратность его была уж очень какой-то взрослой: в одежде, в манерах, в учебе — во всем! Пожалуй, он был единственным, кто ходил в школьной форме. В десятом классе это было странно: мы все противились унификации.

— Простите, а сколько лет назад это было?

Она слегка тряхнула головой, как бы отгоняя вопрос, но в мозгу уже произошел подсчет. Глаза ее заблестели.

— Ах! — сказала она. — Девять лет назад!

Извинившись, она встала и вышла.

Я сидела в нерешительности. Может быть, мне нужно было сделать вид, что я спешу, и избавиться ее от волнующего рассказа?

Но она вернулась собранная, с сухими глазами и спросила:

— Хотите чаю? Я захватила с собой термос.

Не дожидаясь моего ответа, она вынула из сумки льняную салфетку, целлофановый пакетик с бутербродами, завернутую в фольгу кашушку с изюмом и курагой, термос и две пиалы. Расположив все это на столе, она наливала чай.

— Я ни в чем не уверена, — тихо сказала она, будто самой себе. — С ним всегда так. Девять лет прошло. Одноклассники подрастили детей, а мы...

На свежей, промытой слезами голубизне белков расширившиеся от волнения зрачки ее казались бархатными и говорили своим языком, дополняли то, чего не в силах были выразить человеческие слова.

Мы молча смотрели друг на друга.

Розовость Светланиных щек вызывала ощущение тепла; тем сильнее я почувствовала холод ее руки, когда она подавала мне пиалу с чаем.

Я опустила глаза, чтобы они не выдали нового вопроса, и грела пальцы теплом пиалы.

Усиливался дождь.

Косые, холодные струи металась за окном в путаном танце, потоками сбегали по стеклу. Отдельные, самые крупные капли на мгновение задерживались на нем, успевая отразить лучи горящих листьев, потом падали вниз, захваченные новыми потоками.

Никогда раньше волнение природы не передавалось мне с такой силой! Мне захотелось посмотреть, куда исчезают эти сверкающие капли.

Я встала и подошла к окну.

За стеклами была такая непогода!

Не в силах сдерживать неуклюжие, громоздкие тучи, небо швыряло в них раскаленными ветками молний, и, разрушаясь с тяжелым грохотом, они сползали к горизонту мрачными лавинами.

«А что же тогда там, на Севере, в Мурманске, где он? Там, верно, еще снег и последние, злобные вьюги... Это при его небрежении к шарфам и перчаткам...»

Я дрогнула от этих мыслей, но, вспомнив данное себе обещание не думать о нем, я отвернулась от погоды и направилась к креслу, пытаюсь упрятать грусть под маску простенькой улыбки.

Светлана заговорила, торопясь, словно жалея о пропущенных минутах, и снова полетел по залу ее звенящий, летний голосок:

— Так вот, оказалось, что форма — это из-за нужды. Он жил в Ташкенте у дядьки, родного брата его матери. Мать же с сестрой остались в маленьком городке Кызыле.

Позже, когда я не могла понять, почему он не делает мне предложения, я дважды ездила к его матери.

Там я узнала, что, когда Борис окончил первый класс, отец повез его на каникулы в Ташкент. Уже очищенный от руин и заново отстроенный, город поразил мальчика.

В том же году его отец умер, и остался он с пятилетней сестрой и матерью. Детство оказалось коротким...

Начиная с третьего класса, Борис подрабатывал, чтобы скопить деньги и поехать учиться в Ташкент. Ташкент был мечтой, последней памятью о веселом, ничем и никем не занятом отце, о времени, проведенном с ним.

Обстановка в городке была ужасной. Попойки и пьяные драки — зимой, сплошная работа — летом. Но жил у них один чудак из реабилитированных. Освободить его освободили, но в Ленинград возвращаться запретили, а все другие места были для него одинаковы. Вот и остался он в городке и начал заведовать библиотекой.

Книги там собраны очень грамотно: от греков и римлян до писем лорда Честерфильда, не говоря о русских классиках. Рассказывают, что в любой момент в этой библиотеке можно было найти Бориса.

Школа в городке была восьмилетней. Сначала все подсмеивались над Борькой-грамотеем, а потом, когда узнали про его желание доучиться до института в Ташкенте, стали приглашать во дворы то огород вскопать, то дров напилить, то воды для баньки натаскать. Особенно старушки.

После восьмого класса Борис приехал в Ташкент.

Дядька его бобылем жил и к тому времени вышел на пенсию. Устроился он почтальоном, а Борис ему помогал. Так они вдвоем и справлялись...

В восьмидесятом году мы закончили школу. Борис собрался поступать в Нархоз. Ему хотелось стать экономистом.

На вечернее отделение он прошел с легкостью: у него была настоящая золотая медаль, в отличие от двух купленных в нашем классе.

Меня институт не привлекал.

Видите ли, я не верила, что там могут научить меня чему-то такому, чего я не смогу постичь сама. Я наблюдала за людьми с дипломами, и, поверите ли, ни образ их жизни, ни стиль работы не прельщали меня.

Светлана заметила мое желание возразить и замолчала.

Но это желание затихло во мне, как сворачивается у ног своевольный котенок, когда я вспомнила о десятках разного рода энзосов, снующих по этажам нашего НИИ, плетущих интриги, прочная сеть которых сдерживает естественное развитие науки. Мы все двигаемся со спутанными ногами и при этом делаем вид, что живем, что терпим все это из гуманности: всем бездельникам и интриганам тоже нужно жить, кормить семьи... Однако тем самым мы побуждаем их тратить энергию не на созидание, а на противодействие ему. Мы потакаем психологии типа «если я не способен, то пусть и у них не получится...», вместо — «у них получается, у меня — нет; я должен найти другое дело, свое...»

Конечно, можно было привести примеры иного рода, но коротко о них не скажешь. Пришлось бы описывать всю долгую жизнь людей, которые смогли чего-то добиться вопреки существующей практике. А мне совсем не хотелось нарушать выстраданный, внутренний необходимый для нее строй рассказа цветочницы...

— Даже на примере моих родителей, — не дождавшись возражений, продолжала она. — Я их очень люблю. Очень. Но наблюдения над их жизнью заставляли меня страдать.

Отец буквально прозябал на заводе, его способности не использовались и на десять процентов и глохли, глохли...

Мама сильно постарела за пятнадцать лет работы в школе...

Я чувствовала, что они живут со скрытым, глубоко укоренившимся сознанием неполноценности своей жизни. Самое же страшное, что они смирились, привыкли к этому, даже находили моменты радости и счастья — и тем успокаивались.

Короче говоря, я поняла, что не смогу ничем скрасить жизнь, если получу диплом, то есть возможность умственной деятельности. Ее придется ограничить

существующими рамками, рамками которые дают возможность тем, кто в креслах, жить по удобному образцу: как можно больше привилегий и как можно меньше хлопот.

А что значит разрешить мыслить от сих до сих? Кратчайший путь к тому, чтобы отучить мыслить вообще, в истинном понимании этого слова.

Что же касается самообразования и самосовершенствования, то я была уверена: это зависит только от условий жизни, которые, при желании, я смогу себе создать.

«Себе». Здесь коренилась не просто ошибка в ее рассуждениях, но заблуждение, что можно прожить жизнь по типу страуса... Можно, конечно, одну жизнь, свою, а дальше, а что оставить детям?»

— И я решила овладеть практической специальностью — такой, которая бы облегчила людям быт, и поступила в кулинарное училище. Вернее, это были ускоренные курсы.

Планы я строила грандиозные: научиться шить, вязать, готовить, привести в порядок свой гардероб, найти свой стиль прически и косметики, следить за литературой, театром, перестать, наконец, бояться стадиона — словом, сделать все то, без чего не может состояться женщина.

Усилий моих хватило ненадолго.

Все потому, что за год я видела Бориса всего три раза! О! Это было так трудно для меня! В разлуках я теряла стержень, на котором все во мне держалось.

Вы говорите о конкурсах красоты, о манекенщицах... Нет, все это не для меня. Нужно иметь свойства характера, чтобы раздеваться перед камерами, перед публикой, перед посторонними мужчинами. Я думала только о нем! Да и вряд ли много найдется таких... славных, отчаянных, целеустремленных...

— Но это же здорово! — воскликнула я. — Это прекрасно, что есть такой мужчина, о котором можно думать, которого можно ждать столько лет и не разочароваться в нем!

— Разочароваться?.. Нет... Но ждать и любить — тяжело...

— Да... — согласилась я, сцепляя под коленями руки, борясь с собой, чтобы не начать рассказ о нем... — И как же вам это удавалось? — тихо спросила я.

— Как удавалось?! — последовало нервное движение губ, и усмешка ее показала мне искусственным цветком на живом ростке печали.

— Так и удавалось... У меня хорошая память. Его улыбки, его голос, наши разговоры, наши ужины вдвоем в самых лучших местах Ташкента. Танцы, поцелуи... Эти редкие, ошеломляющие праздники... Наши ночи... Они освобождали меня от того необъяснимого, темного, глубоко спрятанного во мне, где рождались все мои сомнения, комплексы, греховная готовность к невероятным поступкам и глупостям.

Страсть и нежность этих ночей вселяли в меня уверенность, что Борис принадлежит мне и только мне!

Только после этих ночей я чувствовала себя женщиной, а не загадочной дикаркой! Женщиной — спокойной, достойной и красивой!

Когда он утром уходил, я смотрела ему вслед, такому великолепному, всегда тщательно одетому.

Один бог знает, чего ему это стоило! Работа, и нелегкая работа — нужно было еще помогать матери с сестрой, одеваться, — а признавал он только фирменную одежду и обувь. Я шепотом ругала дворников и дорожников за неухоженность вокруг. Мне казалось, для него подходили только идеальные тропинки европейских парков.

Вечерами — институт и библиотека, потом чтение за полночь. Так он и жил...

Чем я могла привлечь и удержать его? Любовью в своей крошечной комнатке? Разговорами о том, что происходит вокруг? Мечтами? Но они растревляли душу... Нет, ничем нельзя было оторвать его от книг, от работы, от спорта, от веры, что он пробьется, что сможет изменить самую систему жизни...

С трудом дождавшись окончания курсов, я уехала по распределению на Урал.

Там, в пекарне воинской части, я мудрила над булочками, тортами, пирогами... Рядом был небольшой магазинчик, где семьям военных продавали и мою выпечку.

Тут начались новые проблемы.

Момент творчества — вот что привлекает меня в любом труде, даже в генеральной уборке квартиры, не говоря уже о кулинарии. Не могла я приходиться каждое утро к восьми и начинать фантазировать. Да и вредно это — набивать ежедневно желудки булочками и пирожными. Иной раз ходила к двенадцати, иногда — после обеда, но с настроением и желанием колдовать у духовок.

Это не понравилось местным барынькам. Им нечем было заняться, кроме как

следить, во сколько «кулинарка», как меня там называли, выходит на работу. Все это было так тягостно, знаете ли!

А больше всего их бесило, когда я не соглашалась с их мнением о прочитанном в газетах и журналах, еще хуже — о каком-либо происшествии в части.

По дружному мнению обывательниц, я должна была довольствоваться тем, что пеку для них булочки, и, уж конечно, не должна была сметь читать больше их и спорить с ними.

А тут еще, через восемь месяцев моей работы, Борис заметил, что меня нет в Ташкенте, и прислал письмо, короткое и категоричное:

«Приветствую тебя, Свет-Лада!

Надеюсь, ты здорова и счастлива.

Но это не причина, чтобы тебя так долго не было в нашем городе. Ты должна быть здесь и только здесь.

Жду тебя,
Борис».

Доработав до конца месяца, я вернулась домой.

Борис уже заканчивал второй курс.

Вначале мы виделись каждую неделю, потом — раз в месяц, потом — в три месяца раз.

Он был занят, занят, занят...

В Ташкенте работа моя складывалась полегче. Я могла приходить во сколько мне заблагорассудится, в разумных пределах, конечно. Но! Вместо указанного в рецептуре масла, мне выдавали маргарин, вместо сливок — молоко, вместо яичного порошка — далеко не диетические яйца. Удовлетворение от работы пропало: мне стыдно было выйти к людям и спросить, вкусно ли то, что я напекла.

Поверите ли, я настолько устала от несвободы труда и скудости заработка, что не знала, как мне жить. Повторить своих родителей мне никак не хотелось, а носить продукты домой, воровать то есть, для меня было совершенно невозможно и немыслимо.

И я решила вернуться к цветам, к детской забаве, к красоте.

Конечно, здесь тоже свои трудности. Например, нужно переплачивать за каждый метр белого шелка, доставать где-то приспособления и инструменты, потому что организация, от которой у меня патент, ничего этого не решает.

И все-таки самое главное в моей работе то, что результат зависит только от меня. Я стала зарабатывать вдвое больше, чем отец и мать вместе взятые. Папа купил себе машину. Мама получила возможность поправить здоровье.

Но я была одна, одна, одна...

И как-то раз, когда выдержка отказала мне, я спросила Бориса, почему мы так редко видимся.

Никогда не забуду его долгий ответный взгляд.

Вы замечали, когда настоящий мужчина смотрит на женщину, то в глазах его появляется непроницаемая завеса? За ней остаются проблемы, раздражение, усталость — все то, что могло бы спугнуть нежные, тонкие чувства?

— Замечала...

— Так вот, тогда, после моего вопроса, эта завеса спала. Он посмотрел на меня как на друга, он доверил мне свою усталость. Но было в этом взгляде что-то еще, когда он произнес:

— Впрочем, тебе это сложно понять...

Вот! — она взмахнула рукой и сжала пальцы, словно поймала это «что-то еще» в воздухе. — Это было пренебрежение. Пренебрежение к моей работе, к моему способу зарабатывать деньги, к моему свободному времени...

Боже мой! Как я сильно обиделась на него тогда!

Потом, поразмыслив немного, я успокоилась: он был продуктом своего времени и обстоятельств, своей среды, где одни профессии котируются, другие — нет. Пусть это было неосознанно в нем, но было.

Первый недостаток, который я обнаружила в своем Борисе, огорчил меня, и я решила устранить это препятствие нашему союзу — поступила в институт на заочное.

Я знала, что никогда не буду работать по выбранной специальности, — она так и сказала «по выбранной», а не по избранной, — это электроника, но я не могла допустить, чтобы он стеснялся жены без высшего образования.

Я купила двухкомнатную кооперативную квартиру и опять стала ждать, пока он закончит институт.

Он его окончил, но предложения о замужестве не последовало.

Тогда я поехала к его матери.

Это поразительная женщина! Мы с ней так подружились!

Верите ли, после этой поездки я еще больше полюбила его. Теперь в моей любви появилось что-то материнское... Я представляла его третьеклашкой, таскающим воду и колющим дрова. Таким маленьким мальчишкой с такой серьезной целью!

Так не поддаваться судьбе!

Она откровенно плакала.

Голова ее опустилась, и прозрачные слезы скатывались по крыльям носа к приоткрытым губам. Лицо ее как-то собралось и стало еще меньше. Невыносимо было смотреть на нервные, скорбные гримасы, комкающие это прекрасное лицо.

Я встала, подошла к ее креслу и, обняв за плечи, поцеловала в голову. Я не верила в силу слов в такие минуты и потому молчала.

Она не вздрагивала.

Все в ней, казалось, застыло.

Плакало одно лицо.

Этот плач, показалось мне, был симметричен ее восторгам. Ось симметрии проходила через их жизнь нервным роковым пунктиром, и в основе ее лежали сомнительные, не мужские, действия Бориса.

— Господи! — не выдержала я. — До мая остался один месяц. Вы же сами говорили, что в мае — свадьба. Еще только один месяц!

— Нет, две недели. — При этих словах глаза ее сверкнули. — Вы слышали шум в моей квартире? У меня идет грандиозный ремонт. Борис приезжает через две недели.

«Какое совпадение! И мой приезжает через две недели...»

— Видите, он тоже скучает и не выдерживает разлуки! — сказала я.

Однако в глазах цветочницы была скорее тревога, чем радость.

— Нет, здесь другое, здесь обстоятельства помогли. Я тут решила на отчаянный шаг... Но, расскажу все по порядку.

После окончания института Борис пригласил меня на банкет. Их группа отмечала свою дипломированность.

Борис был в ударе. Он не хотел пропускать ни одного танца и все держал меня за руку даже за столом.

И вот, когда мы делали в танго переход и он прижал меня к себе, я с ужасом обнаружила, что снова переросла его сантиметра на четыре.

Все старые комплексы поднялись из глубин моего существа и начали терзать меня.

— Ты не замечаешь, что я стала выше тебя? — спросила я Бориса.

— Не может быть! Это я просто согнулся от жизни. Особенно от того ненужного балласта, который навалили на меня в институте. Сравнить то полезное, что получено по специальности и в мировоззренческом плане, с количеством шелухи, так шелуха все скрывает. Нужно иметь невероятную силу сопротивления мозгов, чтобы сохранить способность мыслить. Вот пойду на настоящую работу — распрямлюсь! — отшутился он.

С того вечера прошло около четырех лет, но такого сияния надежды, такой радости перед будущим я в нем больше не находила.

После ресторана мы долго провожались со всей компанией и в час ночи приехали ко мне.

С нами был еще Сергей Макаров — лучший друг Бориса. Он закончил тот же институт двумя годами раньше.

Сергей поссорился с женой и решил явиться под утро, чтобы она немного помучилась.

Я накрыла им чай в гостиной и ушла в ванную освежиться и переодеться.

Потом я присела на банкетку в прихожей, чтобы немного остыть и позвонить жене Сергея, успокоить ее. Но мне помешали возбужденные голоса друзей.

Впервые я услышала, как Борис говорил о своем деле — об экономике. Этот разговор растревожил меня: так элементарно, на таком эмпирическом уровне два дипломированных специалиста рассуждали о деле своей жизни! — с сожалением сказала она. — Кроме того, он был мне интересен потому, что в тот год мне предстояло сдавать политэкономии социализма, а составить более или менее завершенное представление о выводах этой науки я не сумела.

Я очень хорошо запомнила этот разговор, как и все, что касается Бориса.

— Замучился я с этими экономикой, Сергей, — говорил Борис. — Когда шел капитализм, все было понятно. Началась политэкономия социализма, и пошло: ленинградская школа, московская школа... А кому докажешь, что экономика одна, как медицина, математика, физика... Мы же не утверждаем, что на Западе врачи

лечат по капиталистической медицине, а у нас — по социалистической. Экономика, как любая наука, едина. Весь вопрос в том, кто и как использует ее законы.

— Или творит беззаконие, которого можно избежать только при помощи строжайшего учета. Учет — это и есть проверка, правильно ли мы решаем экономические задачи. Но учет — наше самое слабое место, — отвечал ему Сергей. — Вообще, мне жаль ваш выпуск. Началась перестройка. Если сравнивать с природой — очистительная буря. Птенцов ни одна мать не учит в это время летать, а вам придется. Идут сокращения, потому что теплые места приносили пользу только тем, кто на них сидел, а все общество расплачивалось. Специалисты полно, и нет специалистов. Вот парадокс! А вы учились по старой методике. Прямо скажу — не представляю тебя у нас в объединении. С твоим характером и подходом к вещам трудно тебе будет приспособиться.

— А зачем приспособливаться?! Эту старую рутину менять надо, а не приспособливаться к ней. Хочешь, я скажу откровенно?

— Скажи...

— То, что ты ссоришься с Милой, — результат той же пошлой рутины. Четыре года вы живете, четыре года я вижу, что она — замечательная женщина. Крутится дома, работает, растит сына — все на ней. Так и в большинстве семей. Но порядок на заводах, в государстве вообще можем навести мы, мужчины, или нет?!

— Я посмотрю, как это у тебя получится! При вопросе о Миле возникает вопрос о Светлане. Что ты держишь ее на поводке столько лет?!

— Во-первых, не держу... Я ничего не обещал и ничего не требовал, кроме возможности видеть ее хоть изредка, — отвечал Борис.

— Для чего?

— Я не могу ее не видеть... Но! — Борис помолчал немного. — И дать то, чего она достойна, тоже пока не могу. И не хочу хоронить то, что между нами, под грудой кухонно-гардеробных проблем!

— Да ладно тебе... — Сергей заходил по комнате. — У нее с финансами полный порядок.

— У нее, но не у меня...

— Это принципиально?

— Да конечно же!!!

— Да... Ты — человек принципов. Принципов, несмотря ни на что. А как же было с принципами, когда я доставал тебе справки, что ты — экономист планового отдела, чтобы тебя не отчислили с вечернего отделения? Ты заколачивал бабки своим хребтом и руками, а голова твоя была свободна от нашего планового мозготства. Ты учился. Теперь я посмотрю, как ты сработает у нас на объединении. Дадут тебе, максимум, сто двадцать пять рублей оклад и полномочия от сих до сих.

— Ну уж нет! Первое, что я сделаю, — это серьезный анализ работы всех предприятий. Второе — перспективный план развития. Иначе, зачем я нужен? — спросил Борис.

— Вопрос риторический. Даже если ты проделаешь эту гигантскую работу, что сомнительно из-за отсутствия всей информации и документов, то директору она не нужна. И министру не нужна, — остановил Сергей возражения Бориса. — Все продается и покупается, дружище.

Прежний министр и его команда уже нахватили и начали более-менее думать о работе. Их сменили. Заметь при этом, что система работы осталась та же.

Новые, в ситуации общей неустойчивости, стараются нахapat побыстрей. Правда, к настоящей работе их вынуждают последние Постановления, но они им невыгодны. И все преобразования проводятся в бумагах, а суть остается все та же, и корни лицемерия уходят все глубже.

Всех устраивает не очень грамотный директор средних способностей, но обязательно с развитыми хватательными инстинктами.

Место покупается, как покупаются рестораны, магазины, базы. Заплатив зную сумму за кресло, такой директор горит желанием вернуть ее, поэтому и для работы подбирает себе подобных. И обман идет сверху донизу.

— А я-то ломаю голову, почему наши ведущие экономисты никак не напишут свой трактат в духе реализма. Притворяются, что политизация жизни и социальная психология их не касается. А нужно-то всего-навсего поставить два главных вопроса: как политики управляют страной и защищен ли наш человек социально?

— Полагаю, что в условиях нашего государства на первый вопрос честнее ответить самим политикам.

А на второй — экономисты вынуждены дать отрицательный ответ, потому что у нас до сих пор не установлена черта бедности. Следовательно, мы от нее не защищены. А люди — дворники, сантехники, пенсионеры — все, должны чувствовать себя людьми. Их минимальная зарплата и пенсия должны быть такими, чтобы им был доступен человеческий образ жизни.

— Вот! — воскликнул Борис. — Вот где зарыта собака неуважения ко многим видам деятельности. Сам себя много раз на этом ловил. Вот где разгадка неравенства морального плана, что еще страшнее, чем неравенство материальное.

Разве меньше для человека, для его здоровья значит работа хорошего дворника, чем работа врача?

В стране, где плохие дворники и учителя, вряд ли будут хорошие ученые, министры, политики...

— И галантные мужчины, — добавил Сергей. — Ты забыл про Светлану. А я пошел домой.

Они еще шутили!

Я пришла в ужас от предсказаний Сергея про будущую работу Бориса. Спала я очень плохо, часто просыпалась и еще и еще раз прокручивала в памяти их разговор.

Утром я проснулась от пристального взгляда.

Борис рассматривал мое лицо и что-то нашептывал. Я не стала открывать глаза и прислушалась.

— Любимая моя... Прекрасная моя ладушка... Потерпи еще немножко, голубушка моя... Я должен довести это дело до конца...

Я порывисто обняла его и прижала к себе.

— Знаешь что? — прошептал он мне на ухо. — Я решил поступать в аспирантуру. Ты рада?

— Очень, очень рада! — сказала я, выскользнула из его объятий и пошла плакать в ванную.

Конечно, он был прав. Кто будет считаться с молодым специалистом без особых связей и могущественных родственников?!

Знаете ли, меня всегда поражала формула: «От каждого — по способности, каждому — по труду». Всех волнует вторая часть. Но и теперь, и даже в годы застоя видно было, как кто работает. Это всегда сразу видно. Другой вопрос, что оплата была не по труду, а по положению, по должности.

А главная беда, по-моему, в невнимании к первой части. Кто у нас ищет способных людей? Кто им помогает? Как, вообще, выявляются способности?

— Да, пока мы печально известны всему миру тем, что отторгали, изгоняли или уничтожали лучших людей, цвет страны, — согласилась я.

— Вот возьмем хотя бы моего Бориса. Он в школе мешал учителям, потому что с ним было труднее справиться, чем с посредственными учениками. Его недолюбливали многие ребята, потому что выглядели недоучками на его фоне. Не легче ему было и в институте.

В объединении, как и предсказал Сергей, он ужасно мучился. Вытребовал у директора характеристику и уехал в Ленинград, сказав, что у него нет таких денег, которые позволили бы ему поступать у нас.

И опять моя жизнь останавливалась между его телефонными звонками и редкими приездами.

В этом году мы заканчиваем оба: у него — кандидатская защита, у меня — диплом.

И решила я устранить последнее препятствие на пути к нашему браку — разницу в росте. Надумала я ехать к профессору Илизарову, чтобы укоротиться сантиметров на пять или хотя бы на четыре.

Это так важно в спальне, когда мы стоим друг против друга, глаза в глаза... Больше всего на свете я люблю его долгий, проникающий взгляд, от которого все во мне начинает томиться в горячем желании... Я хитрю, чуть-чуть сгибаю колени, и это отвлекает меня, мешает чувствам... — Она опустила голову, но тут же вскинула ее.

— Короче говоря, поехали мы с папой к профессору в Курган.

— Как интересно! Вы видели живого Илизарова, общались с ним?

— Да! — сказала она с гордостью. — Это поразительный человек! И все его сотрудники — молодые, высокие, красивые врачи — тоже. Я так прекрасно себя там чувствовала. Обстановка у них удивительная. Такое внимание к людям, такое понимание!

Они отговаривали меня от операции, находили, что у меня все гармонично, а оперируют обычно тех, кто страдает гигантизмом или другими отклонениями в развитии.

Мне показывали больных, рассказывали о муках, через которые они проходят: это месяцы и месяцы болезненных ощущений.

Но я знала одно: я должна это сделать ради Бориса, ради нашего будущего. И я их уговорила!!!

— Как же это делается? Сколько стоит?

— Моя операция — немногим больше десяти тысяч. Но это длительная госпитализация; и лечение, уход, питание там — на высшем уровне.

А делается? Делается очень сложно. Я вряд ли смогу точно рассказать.

Было это как раз накануне отъезда профессора Илизарова в Америку, на лечение. Заодно он собирался прочесть там несколько лекций о своих методах. Он пообещал вернуться через две недели и велел готовить меня к операции.

Мы с папой подумали, что мне лучше побыть дней десять дома, чем лежать там одной перед таким серьезным делом.

Договорившись о дате, мы вернулись в Ташкент.

Сердце мое было настолько не на месте, что, сказавшись занятой, я поехала к себе.

Съездила в институт. Закончила реферат по специальности, к которой не могла относиться небрежно, как и к любому делу.

В воскресенье Борис позвонил родителям. Он знал, что в выходные я всегда там. Трубку взяла мама. Ну и, конечно, в ответ на вопросы о самочувствии и настроении расплакалась и рассказала о предстоящей операции.

В девять вечера раздался телефонный звонок в моей квартире.

— Как дела? — спросил Борис таким убитым голосом, без приветствия, что я испугалась.

— Случилось что-нибудь? — спросила я.

— Нет, но может случиться... Что-то уму непостижимое... Это я во всем виноват! Но я думал, что между нами все ясно, никаких сомнений. Слышишь меня?

— Слышу! Слушаю тебя! Что там у тебя стряслось? Ну, говори же!

— У меня любимая девушка собирается оперироваться по совершенно нелепому поводу... — сказал он глухо.

Я молчала.

— Умоляю тебя, не ездь никуда. Никуда! Слышишь?! Я все дела закончу в месяц и приеду насовсем. Защита все равно мне не светит. В своей диссертации я обобщил современный опыт экономистов трех главных зарубежных школ, разработал пути применения их результатов у нас. Но руководитель уперся рогом. Надо либо выколачивать тему, либо брать другую...

Но ты не волнуйся, мы не пропадем. Я ручаюсь.

Я молчала. Напряжение и волнение давали себя знать. От слабости я не могла произнести ни слова.

— Ты слышишь меня? Я приезжаю насовсем! Никуда не ездь! Обещаешь мне?! Обещай!

— Обещаю...

И вот я делаю ремонт и жду его, хотя еще не могу до конца поверить в происходящее. По инерции пригласила вас на свадьбу в мае, в Ленинград...

«Как это понятно, как понятно! Как долги и мучительны у нас поиски себя! До тридцати пяти-сорока лет мы не свободны в выборе. Потом это входит в привычку, затем человек устает... Но я буду твердой!» — упорствовала я даже в мыслях.

Мы сидели тихо-тихо.

В теплом, ярко освещенном холле усталая музыка дождя казалась особенно трогательной.

Потом мы медленно собрались, не торопясь вышли и в полночь подъехали к дому Светланы.

Еще минут пятнадцать мы обсуждали, у какого модельера ей следует создавать свой гардероб. Выбор наш совпал. И я обещала ей переговорить с человеком, модель которого она уже давно отмечала для себя. Деньги, предназначавшиеся на оплату операции, она решила потратить на одежду.

— Завтра все будет промытое-промытое... — сказала она.

— А листья — зеленые-зеленые... — сказала я.

Мы расстались, уговорившись встретиться вчетвером.

* * *

В новом светло-сиреновом платье, усыпанном белыми цветами, я спешила в аэропорт встречать его.

Ожидая московский рейс, я пыталась угадать, какими будут наши первые фразы. К счастью от предстоящей встречи, к удовольствию от красивого платья присоединилось возбуждение аэропорта, залитого солнечным светом.

Я то и дело оглядывалась, потому что он имел обыкновение проскользнуть мимо, купить цветы и появиться сзади.

Однако прошли последние пассажиры, а его все не было.

Я подошла к дежурному у выхода в город и спросила, все ли пассажиры покинули борт.

— Вон еще один автобус катится, — ответил он.

Действительно, подошел автобус.

Из него вышли трое, и он в том числе. Они тащили какой-то ящик с такой предосторожностью, будто в нем кто-то спал и его ни в коем случае нельзя было потревожить.

Увидев меня, он что-то сказал своим коллегам, и они понесли ящик вдвоем.

Молча поцеловав мою щеку, он взял меня под руку, подвел к цветочницам, выбрал семь белых гвоздик и протянул мне со словами:

— На счастье. Ты была совершенно права в тот день.

Он имел в виду мой ответ его матери месяц назад, во время проводов.

Она, как обычно, принялась увещевать меня, что пора нам жить в одной квартире и завести детей.

Я устала от этих разговоров и отвечала категорично:

— Это невозможно. Я должна, по меньшей мере, подрастить их до школы сама, на зеленой лужайке у своего дома...

— Не принцев же ты собираешься рожать... — перебила она.

Я ответила резко:

— Дети — выше королей...

Это была моя последняя фраза в тот день.

— Я рада, Дима, что ты теперь меня понимаешь, — сказала я ему, опуская лицо в цветы.

— Теперь мне это проще. Мы выиграли конкурс и получили первую премию. Теперь у меня хватит на один из твоих невероятных проектов.

«Хватит ли?» — засомневалась я, так как знала, сколько рогаток стоит на пути к дому...

Садясь в машину, я оглянулась на здание аэропорта и с радостью вспомнила, что скоро придет сюда моя цветочница.

Но где-то в глубине души воспоминание это пугливо замирало.

Мысль отказывалась выдавать из копилки жизненного опыта длинный список трудностей, с которыми всем нам придется столкнуться... Чувство тревоги не исчезало... Мозг терзался вопросами и сомнениями, которые я не в состоянии была четко сформулировать.

Я устала одна...

Через три дня, не дождавшись звонка Светланы, я сама позвонила ей.

— Добрый день! Как дела? Какие новости?

— Добрый день. Все хорошо, — ответила она сдержанно.

— Вам неудобно разговаривать? Вы не одна?

— Нет-нет... Просто я так много наговорила тогда, что мне неловко.

— Ну что вы! Все было замечательно! Вам ведь пришлось говорить за двоих — за себя и за меня. Вы очень хорошо объяснили мне Дмитрия.

— Бориса.

— Нет, именно моего Дмитрия, да и меня самое...

— Правда?!

— Да. Ну а как насчет гардероба? Я еду в Москву через неделю. Говорить мне с модельером?

Последовала пауза...

— Нет, пока... Борис сказал, что с этим спешить не стоит, что у нас теперь общие планы... Возможно, мы скоро сами поедем в Москву...

— Да, понятно... Ну а как он, Борис?

— Борис — это Борис... — она подыскивала слова, но вдруг словно внутри у нее что-то переключилось, голос ее зазвучал привычно звонко. — Позавчера мы расписались. Он договорился в одном сельсовете, чтобы не ждать два месяца в ЗАГСе. Знаете ли, он еще лучше в роли мужа, чем я могла ожидать! — торопливо рассказывала она.

Я не останавливала ее.

Ни за что на свете я не посмела бы остановить этот самообъясняющий, самоубеждающий и самоуспокаивающий словесный поток женщины.

* * *

Всякий раз, проезжая через площадь Дружбы народов, что между домом Наргизы и ателье для новобрачных, вспоминаю я задумчивого мальчика в синем чапане и прекрасную цветочницу.

Щемящая, тихая грусть влетает в открытые окна машины и не спешит исчезнуть...

Истинные женщины...

Настоящие мужчины...

Да состоите вы в своих ипостасях!



Н. Турин

САМОСТОЯТЕЛЬНА ЛИ АВТОНОМИЯ?

Для филолога вынесенный в наш заголовок вопрос начисто лишен смысла. Ведь греческое слово «автономия» переводится именно как «самостоятельность».

Однако в политической лексике автономия имеет более узкое значение, предполагая ограниченную самостоятельность, и вот вопрос о границах этой самостоятельности сегодня становится одним из самых жгучих вопросов нашей федерации.

Наш рассказ — об истории, сегодняшнем дне, проблемах каракалпакской автономии. Уникальна ее судьба, ведь Каракалпакия в разное время входила в состав Туркестана, Казахстана, РСФСР и Узбекской ССР. Но и типична, поскольку в ее истории в полной мере отразились как достижения, так и грубые перекосы в практике национальных отношений в СССР.

Но здесь не обойтись без предисловия. Дело в том, что наша публицистика еще не избавилась от упрощенного подхода к оценке очень непростых процессов. Если раньше сталинизм представляли как прямое продолжение, воплощение и развитие идей Ленина, то теперь — наоборот, его представляют как полную антитезу ленинизму. Дело, на наш взгляд, значительно сложнее.

Несколько поколений советских руководителей «досрочно» рапортовали о том, что национальный вопрос в нашей стране решен. Причем, первый такой рапорт был сделан еще Г. Зиновьевым на XIII съезде РКП(б) в 1923 году!

В платформе КПСС по национальной политике, принятой сентябрьским (1989) Пленумом ЦК, как раз и сказано о негативном влиянии на состояние межнациональных отношений, которое оказывали «теоретические установки на форсированное сближение наций, утверждение о якобы полной и окончательной решенности национального вопроса».

Процесс национальной консолидации на социалистической основе происходил впервые в мировой практике; мы шли непроторенным путем. Особая сложность заключалась в том, что на рельсы социалистического строительства предстояло перевести многие народности, не прошедшие стадию капитализма.

Еще в резолюциях X съезда РКП(б) в марте 1921 года говорилось, что «если из 65 миллионов невеликорусского населения исключить Украину, Белоруссию, часть Азербайджана, Армению, прошедшие в той или иной степени период промышленного капитализма, то остается около 25 миллионов, по преимуществу тюркского населения (Туркестан, большая часть Азербайджана, Дагестан, горцы, татары, башкиры, киргизы и др.), не успевших пройти капиталистическое развитие, не имеющих или почти не имеющих своего промышленного пролетариата, сохранивших в большинстве случаев скотоводческое хозяйство и патриархально-родовой быт (Киргизия, Башкирия, Северный Кавказ) или не вполне еще ушедших дальше полупатриархального-полуфеодального быта (Азербайджан, Крым и др.), но уже вовлеченных в общее русло советского развития»¹. Из этого следовало, что одного рецепта решения национальных проблем

¹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК М., Политиздат, 1970 г. т. 2., с. 252.

не могло быть, так как нации находились на очень разных этапах социально-экономического развития.

Главный же принцип был таков — равноправие и учет интересов национальных меньшинств. Людей, повинных в искривлении национальной политики в Закавказье, В. И. Ленин назвал «держимордами» и «националистами». Ильич глубоко осознавал, что в рабочем движении всегда существовали вопросы, которые находились на стыке понятий классового и общечеловеческого. Именно к таким относится национальный вопрос. Еще в XIX веке выявилось, что инструмент классового анализа не дает на него исчерпывающего ответа.

Европейская социал-демократия так и не смогла решить, что такое нация. О. Бауэр, например, явно недооценивал вопрос языка, за что его критиковал К. Каутский. Но и он впал в крайность, посчитав общность языка за единственный признак нации.

«Разница между нацией, классом, профессией, религией заключается в том, — писал он, — что нация означает общность языка, в то время как люди одного класса, одной и той же религии могут говорить на самых разных языках.

И та борьба, которая ведется между отдельными национальностями в государстве, еще не превратившемся в законченное национальное государство и представляющее из себя еще государство национальностей, эта борьба является исключительно борьбой из-за языка; она вращается вокруг вопроса о том, какой язык должен господствовать в государстве, и тем самым, что является самым решающим — какое именно сообщество по языку должно господствовать в государстве и эксплуатировать». ² Второй вопрос, над которым безуспешно бились теоретики социал-демократии, состоял в том, что необходимо обеспечить на первой стадии социализма: государство национальностей или национальные государства, как же удовлетворить интересы всех национальностей в рамках одного государства?

В Австро-Венгрии они встали на путь автономизации, причем предложили самую элементарную форму национальной автономии — конституирование нации как территориальной корпорации. Но в таком случае территорию можно дробить до бесконечности, так как автономии может потребовать любое национальное меньшинство.

Австро-Венгрия, как известно, распалась в 1918 году. Здесь, конечно, сыграли свою роль и «лоскутный» характер габсбургской монархии, и неумение учесть интересы бурно развивавшегося рабочего класса с его интернациональной идеологией.

Еще более остро национальный вопрос стоял перед российской социал-демократией. В принятой на II съезде РСДРП в 1903 году программе партии были сформулированы важнейшие пункты в области национального вопроса: широкое местное самоуправление, областное самоуправление для местностей, отличающихся особыми бытовыми условиями и составом населения; полное равноправие всех граждан, независимо от национальности; право получать образование на родном языке, право на самоопределение за всеми национальностями, входящими в состав государства. Программа по национальному вопросу была органической частью программы партии большевиков.

В. И. Ленин, давая отпор всевозможным искажениям марксизма в национальном вопросе, непреклонно выступая за право наций на самоопределение, в то же время еще в 1917 году отмечал: «Для нас важно не то, где проходит государственная граница, а то, чтобы сохранялся союз между трудящимися всех наций для борьбы с буржуазией каких угодно наций» ³.

В 20-х — начале 30-х годов был создан и успешно работал динамичный механизм управления национальными процессами. Были национальные секции, отделы, комиссии, сектора и целый институт изучения национальных проблем. Действовали специализированные издательства, библиотеки и клубы национальных меньшинств. Выходили журналы «Жизнь национальностей», «Революция и национальности». Существовали национальные районы и Советы.

Результаты революционных достижений в социально-экономической, политической, духовной областях были впечатляющими. Но нельзя сказать, что процессы шли однозначно. Тем более, что, на словах признав ошибки в вопросах автономизации, Сталин постепенно провел свои идеи (вернее даже не свои, а О. Бауэра. Даже лозунг о культуре — «национальная по форме, интернациональная по содержанию» — он почерпнул у него) в жизнь.

Волонтаристский стиль административно-командной системы Сталина в решении национальных вопросов, к сожалению, не умер вместе с ним. Менялись границы, подчиненность, межнациональные связи, а многие насущные проблемы годами не решались. Не имея конституционных прав, местные власти союзных, автономных республик, округов вынуждены были находиться в роли просителей. Дошло даже до

² Каутский К. «Материалистическое понимание истории», М., Гос. соц. экон. изд-во, 1931г. т. II., с. 439.

³ Ленин В. И. ПСС, т. 35, с. 115.

того, что они не имели права по своему усмотрению изменить название поселка. Или, как приводился однажды пример, заведующий облоно Нагорно-Карабахской автономной области не мог без санкции республиканского центра назначить даже учителя в школу.

К чему все это привело — видим в Прибалтике, Молдавии, Закавказье, видим и в нашей республике.

Сегодня страна стоит перед сложными, качественно новыми задачами в области межнациональных отношений, которые предстоит решать нашему поколению.

КАРАКАЛПАКИЯ: ВРЕМЯ И ГРАНИЦЫ

Каракалпаки сформировались в народность в Приаралье, по своему происхождению они близки другим тюркоязычным народам. Этногенез каракалпаков завершается в послемонгольский период (XV в.) в составе ногайского союза. Часть их тогда жила вместе с ногайцами в бассейнах рек Урала и Волги и имела свою территорию. С конца XVI века каракалпаки упоминаются как особая народность во многих среднеазиатских письменных источниках. С этого времени каракалпаки стали называться собственным именем. Они жили тогда на Сырдарье и вместе с казаками причислялись к аймакам. В середине XVIII века существовало большое каракалпакское «владение» у восточных окраин Хивинского ханства, в бассейне Жангадарьи. Много каракалпаков жило в это время и в дельте Амударьи вместе с узбеками, образовавшими независимое от Хивы «Аральское владение», Хива вела против него долголетнюю борьбу. К началу XIX века хивинские ханы подчинили «Аральское владение» и завоевали сырдарьинских каракалпаков. С этого времени вплоть до присоединения Хивы к России они находились под властью хивинского ханства.

Невелик был экономический и политический «багаж» у народа, до Октябрьской революции не имевшего подлинной независимости и свободы. Сама территория Каракалпакстана была разделена между двумя частями Средней Азии — Туркестаном и Хивой. Причем Правобережная Каракалпакия, называвшаяся Амударьинским отделом, непосредственно входившая в состав России, уже в конце 1917 — начале 1918 годов влилась в революционное движение, а в левобережной, еще оставшейся в составе Хивинского ханства, вплоть до 1920 года сохранялась средневековая политическая надстройка — феодальная деспотия.

После победы социалистической революции народы Средней Азии и Казахстана получили возможность заняться национально-государственным строительством. В апреле 1918 года была создана Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика в границах бывшего Туркестанского края. Крайняя политическая, экономическая и культурная отсталость обусловила медленные темпы национального размежевания. Вот почему В. И. Ленин считал, что многонациональная советская автономия Туркестана — неизбежная форма на пути к образованию советских национальных республик.

Были противники такого плана. В частности, совсем иную позицию занимал председатель ТуркЦИКа Т. Рыскулов, выступавший против национально-государственного размежевания и настаивавший на преобразовании Туркестанской АССР в так называемую «Тюркскую Советскую республику». В феврале 1920 года состоялось специальное заседание Турккомиссии, где рассматривался вопрос об автономии Туркестана. Выступая на комиссии, М. В. Фрунзе подчеркнул, что не существует какой-то «единой тюркской нации», а есть здесь целый ряд национальностей.

В сентябре 1924 года Временная территориальная комиссия на основе этнографических, экономических и историко-географических данных разработала проект границ будущих республик. Впоследствии на этой основе были созданы Узбекская, Туркменская, Таджикская ССР и две автономные области: каракиргизов и каракалпаков.

Сейчас территория ККАССР составляет 164 тысячи квадратных километров, что на 5 тысяч больше, чем в 1925 году — в году проведения в Турткуле I Учредительного съезда Советов Каракалпакской автономной области. Здесь проживают представители около 80 наций и народностей, причем примерно по 30 процентов населения составляют каракалпаки, узбеки и казахи.

Вот как говорит народная легенда об образовании Каракалпакской автономии (в записи Т. Каипбергенова): «На большом курултае был, конечно, Аллайр Досназаров⁴. Слушает он речи выступающих и замечает, что о каракалпаках никто не говорит.

⁴ Ответственный секретарь первого учредительного комитета Каракалпакского обкома КП Узбекистана.

И тогда он со своего места задает вопрос: «Кто имеет право забывать о нас, о каракалпаках?» А в ответ ему ряд вопросов:

— Что еще за каракалпаки? Откуда мог взяться такой народ?

— А вообще, самостоятельная ли это национальность? А какова их история и культура?

И вот послушайте, как ответил Досназаров. Он сказал:

— Конечно, откуда же такому человеку, который ничего не знает о самих каракалпаках, знать об истории и культуре этого народа. Но как узбекам дорог их великий поэт Навои, как казахам дорог их Абай, как дорог украинцам Шевченко, а русским — поэт Пушкин, так же точно поэт Бердах, живший в прошлом веке, дорог нам, каракалпакам.

— Да, да, Бердах, — подхватили в зале.

А Досназаров продолжал:

— Как у любого народа есть свои песни, так есть они и у нас. — И он пропел с трибуны «Бозатау» и спросил: — Чья это песня? Может, узбеков, казахов, киргизов?

— Нет, — кричали из зала, — у нас нет такой песни!

— Вот видите, — сказал Досназаров. — Это наша культура. А что касается истории каракалпаков, я вот что отмечу: каким был для России Петр Первый, таким же для нас был Маман. Петр Первый открыл окно российского дома в Европу, а Маман открыл полог каракалпакской юрты в Россию.

— И самое главное, — продолжал Досназаров, — что о каракалпаках знал товарищ Ленин и он тоже говорил о необходимости предоставить нам самостоятельность!

Тут все поднялись с места и начали хлопать. Раздались возгласы: «Немедленно предоставить каракалпакам автономию»⁵.

НЕ ПРОПИСКА, А СТАТУС

Это предание отражает те жаркие дискуссии, которые шли о необходимости предоставления каракалпакам государственности. Мнения разделились и по такому вопросу — в состав какой союзной республики им войти? Впервые он обсуждался на съезде Советов I сессии Амударьинской области 25 апреля 1921 года в Турткуле. Были сторонники вхождения в РСФСР, были сторонники объединения как с Хорезмом, так и с Бухарой (которые в тот период были самостоятельными республиками).

После бурной дискуссии делегаты съезда приняли решение: обсудить этот важный вопрос с населением и, имея его мнение, приехать на очередной съезд.

Эта позиция была подтверждена и в 1924 году. 26 июня исполбюро ЦК Хорезмской Коммунистической партии, рассматривая вопрос о национальном размежевании, принимает решение: «В отношении Каракалпакской части Хорезма оставить автономной областью, предоставив ей решение вопроса о том, к кому присоединиться». В сентябре 1924 года этот вопрос обсуждался на заседаниях Территориальной комиссии Средазбюро ЦК РКП(б), затем был передан на рассмотрение центральных комиссий Средазбюро ЦК РКП(б)...

Этот же вопрос решался и на уровне правительств и соответствующих органов Каракалпакии, Казахстана и РСФСР. Было высказано соображение, что с хозяйственной точки зрения Каракалпакской автономной области выгоднее иметь тесные взаимоотношения с Казахской республикой, так как рыбные угодья, которые служат источником одного из важнейших доходов области, в этом случае будут относиться и к территории Казахстана.

В 1925 году Каракалпакия вошла в состав Казахстана. Вот как описывает обстановку в регионе после национального размежевания ответственный работник контрольной комиссии Озол. «Итоги проделанной работы (по национальному размежеванию — Н. Т.) были заслушаны на пленуме обкома, где выяснились группировки: одна за присоединение Каракалпакской автономной области к Узбекистану, точку зрения которой разделял и обком, и в то время ответственный секретарь обкома т. Напесов, узбек. Другая группировка поддерживала мнение о присоединении Каракалпакской автономной области к Киргизстану (имеется в виду Казахстан — Н. Т.). Здесь нужно отметить, что каракалпакские работники все были за присоединение к Узбекистану.

Пленум обкома проходил очень бурно, и было решено вопрос о присоединении передать на окончательное решение в Средазбюро ЦК РКП(б), постановление это прошло большинством одного голоса».⁶

Т. Низаметдинов (в 30-е годы он работал наркомом финансов, председателем

⁵ Каипбергенов Т. «Каракалпак-намэ», М., «Советский писатель», 1982 г., с. 63—65.

⁶ Партархив Каракалпакского обкома партии, ф. 1, оп. 19, ед. хр. 10, с. 22—23.

Госплана, в 1938 году — репрессирован, реабилитирован посмертно) писал, что во время национального размежевания Средней Азии, т. е. в 1923—1924 годах, на партконференциях и на съездах Советов и других партзаседаниях, где обсуждался вопрос национального размежевания Средней Азии, он выступал за включение Каракалпакской автономной области в состав Узбекистана, исходя из следующих соображений: Каракалпакция географически и территориально оторвана от Казахстана (в это время центр Казахстана находился в Оренбурге), при включении Каракалпакии в Казахстан по делам необходимо было бы проезжать через территорию Узбекистана. Кроме того, вопросы ирригации, профиль основных отраслей хозяйства Каракалпакии не вполне сочетался с экономикой Казахстана.

Такого же мнения придерживался и К. Садуллаев (бывший член Хорезмского ВЦИКа, нарком просвещения Каракалпакии, затем репрессированный и реабилитированный посмертно). Он писал: «В 1924 году я был членом Комиссии национального размежевания в Средней Азии от имени Хорезмского ЦК ВКП(б) как представитель каракалпакского народа, стоял за присоединение Каракалпакской области к Узбекистану, а не к Казахстану. Об этом мною было подано заявление лично т. Сталину на XIV партийном съезде». Оба приведенных здесь свидетельства хранятся в фондах партийного архива Каракалпакского обкома партии.

К началу тридцатых годов Каракалпакская автономная область значительно отставала по темпам своего развития не только от республик и областей европейской части РСФСР, но и от национальных республик Средней Азии. Казахская АССР в этот период не имела возможности увеличить помощь Каракалпакии, так как сама являлась одной из отсталых национальных окраин. Обширная территория, слабый экономический потенциал, малочисленность рабочего класса, острая нехватка кадров обусловили исключительную сложность разрешения проблем социалистического переустройства в автономной республике. Казахская АССР сама остро нуждалась в помощи РСФСР, в которую она входила. Дальнейшее пребывание Каракалпакской автономной республики в составе Казахской АССР могло существенно затормозить темпы социалистического строительства не только в Каракалпакии, но и Казахстане. Федеральные органы РСФСР в июле 1930 года, учитывая эти обстоятельства, приняли решение о непосредственном подчинении области центральным органам РСФСР.

Но и этим снимались далеко не все проблемы. В ноябре 1930 года представительство Каракалпакской автономной области при Президиуме ВЦИК обратилось в Совнарком и Госплан РСФСР с настоятельным требованием о финансировании автономной области отдельной строкой в планах развития союзной республики (в данном случае — Российской Федерации). Добавим, что этот вопрос актуален и по сей день.

В годы второй и третьей пятилеток укрепились органы государственной власти и управления Каракалпакии. Начали создаваться промышленность, механизированное сельское хозяйство, появились национальные кадры рабочего класса и интеллигенции.

Это позволило Областному комитету партии ходатайствовать перед ЦК ВКП(б) о преобразовании Каракалпакской автономной области в Автономную Советскую Социалистическую Республику, входящую в состав РСФСР. «Преобразование в республику в составе РСФСР, — говорилось в докладной записке обкома ВКП(б) и облисполкома по этому вопросу, — явится актом огромной важности в деле более быстрых темпов коренной реконструкции народного хозяйства и культурного строительства». В соответствии с волей и пожеланиями трудящихся Каракалпакии, 20 марта 1932 года Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании Каракалпакской автономной области в Каракалпакскую АССР.

А вскоре Казахская АССР была преобразована в союзную республику, и это означало, что Каракалпакская АССР уже лишилась общей границы с РСФСР. В 1936 году, в соответствии с принятой тогда Конституцией СССР, Каракалпакская АССР вошла в состав Узбекистана. Этому способствовал целый ряд факторов. Народы этих республик объединяет этническое родство, между ними существовали давние социально-экономические, культурные связи. К тому же значителен был и удельный вес узбеков в Каракалпакии. Еще больше усилила экономическую общность двух республик работа по развитию хлопководства. Вхождение Каракалпакской АССР в состав Узбекской ССР, как отмечалось в резолюции VII съезда Компартии Узбекистана (июнь 1937 года), было актом величайшей политической важности в жизни узбекского и каракалпакского народов.

Здесь надо подчеркнуть, что уровень и темпы социально-экономического развития автономии вообще и Каракалпакии в частности не зависят от того, в чей состав она входит, — дело в статусе автономии. Наиболее быстро ККАССР развивалась в 20—30 годах не потому, что входила в РСФСР или Казахстан, а потому, что в этот период она имела наиболее широкий правовой статус, который был значительно урезан «Сталинской Конституцией». Причем речь идет практически о всех сферах. История национально-государственного строительства в СССР показывает, что автономии в на-

чальный период имели достаточно широкие полномочия и по своему статусу были близки к союзным республикам.

Так, например, в соответствии с Конституцией СССР 1924 года, каждая АССР имела в Совете Национальностей ЦИК по пять представителей, как и союзные республики.

Автономные республики не только имели по одинаковому с союзными числу представителей каждая, но и благодаря их общему количеству фактически располагали подавляющим большинством в Совете Национальностей ЦИК. Например, в 1927 году в Совете Национальностей все союзные республики имели 40 членов, а все автономные республики — 80 членов; автономные области — 16.

Таким образом, автономные республики были ровно в два раза «сильнее» союзных по общему числу голосов в Совете Национальностей ЦИК СССР. Выходило так, что если автономные республики были подконтрольны союзным республикам внутри них, то союзные в значительной мере были подконтрольны автономным республикам в Совете Национальностей ЦИК СССР.

Интересен факт, что в 1924 году КазЦИКом в ознаменование образования Каракалпакской автономной области объявлена амнистия на ее территории. Сейчас правом амнистии обладает лишь Союз ССР в лице Верховного Совета СССР и его Президиума.

С того периода прав у автономий заметно поубавилось. До последнего времени существовал, к примеру, пункт в Положении об административно-территориальном делении Узбекской ССР, согласно которому Каракалпакия, как и любая область, обязана согласовывать даже вопрос о замене названия улицы с правительством Узбекистана. Между тем, республиканские инстанции, особенно в период застоя, могли себе позволить решать территориальные вопросы автономной республики без учета мнения народа. В частности, так произошло с Кзылджарским массивом (на территории Муйнакского района), который был передан в аренду Хорезмской области еще в 1959 году. Через двадцать лет срок землепользования истек, однако все осталось по-старому.

В апреле 1982 года был принят Указ Президиума Верховного Совета Узбекской ССР об изменении границ Каракалпакской АССР, Бухарской и Хорезмской областей без согласования с правительством Каракалпакской АССР. Решать сегодня этот вопрос надо гласно и демократично, с учетом интересов как хорезмийцев, так и суверенных прав автономной республики.

Можно привести и некоторые другие примеры, но и без того ясно, что дальнейшее устойчивое развитие производительных сил Каракалпакии возможно лишь при соответствующей правовой защите ее интересов, повышении статуса как самостоятельного национально-государственного образования.

Сегодня в печати высказывается мысль о том, что одно из возможных решений — включение автономных республик в состав Союза ССР в качестве субъектов федерации. Думается, что здесь не надо делать поспешных выводов. К каждой автономной республике следует подходить индивидуально, с учетом принципов территориального хозрасчета, самофинансирования и самоуправления.

Бесспорно то, что Советам Министров союзных республик, имеющим в своем составе АССР, необходимо разработать проекты «Общих принципов перестройки, руководства экономикой и социальной сферой в автономных республиках на основе расширения их суверенных прав, самоуправления и самофинансирования» аналогично соответствующему документу, внесенному Советом Министров в Верховный Совет СССР и касающемуся союзных республик. В проектах, которые можно вынести на всенародное обсуждение, должны быть определены принципы и направления перестройки управления социально-экономическим развитием АССР в народнохозяйственном комплексе республики, меры по расширению сферы хозяйствования, повышению экономической самостоятельности и ответственности автономных республик, укреплению их финансовой базы и совершенствованию управления в области планирования, капитального строительства, охраны окружающей среды и природопользования, развитию социальной сферы.

НА ВЕСАХ ЭКОНОМИКИ

Известно, что истоки многих проблем в межнациональных отношениях кроются в социально-экономических отношениях. В нашей стране они в определенной мере объясняются и забвением большевистской концепции о выравнивании экономических условий в развитии национальных республик.

Еще на XII съезде РКП(б) отмечалось: «...борьба за ликвидацию фактического неравенства национальностей, борьба за поднятие культурного и хозяйственного

уровня отсталых народов является второй очередной задачей нашей партии». ⁷

Сразу скажем, что эта задача в полной мере не решена и сегодня. Хотя у нас с самых высоких трибун неоднократно желаемое выдавали за действительное.

В докладе на XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев утверждал: «С первых лет Советской власти наша экономическая и социальная политика строилась так, чтобы как можно быстрее поднять бывшие национальные окраины России до уровня развития центра. И эта задача успешно решена... Отсталых национальных окраин, товарищи, ныне не существует». ⁸

Да, в дореволюционном понимании отсталых окраин нет. Но проблема выравнивания развития различных регионов стоит по-прежнему остро. Первые пятилетки вывели экономику ККАССР на среднерегionalный уровень, который в основном поддерживался до начала 40-х годов. Но в послевоенные годы в экономике образовался перекося в сторону развития аграрного сектора за счет резкого увеличения новых площадей под хлопчатником, а в 60-е годы — и под рисом. Промышленность же развивалась чисто символически, не формировался национальный рабочий класс.

Отрыв народных масс от реального управления страной, административно-командный стиль работы, негативы застойных лет заметно приостановили социально-экономическое развитие Каракалпакской АССР. Если сегодня сравнить среднемесячную зарплату рабочих и служащих в народном хозяйстве по республикам, то в Литве, Латвии и Эстонии она колеблется в рамках 240—250 рублей, Казахстане — более 200, а в ККАССР — всего 178 рублей. Если продовольственных товаров на душу населения в Белоруссии производится на сумму 562 рубля в год, в Латвии — 816, Эстонии — 1096, в Узбекистане — 202, то в ККАССР около 180 рублей.

Промышленный бум, охвативший в послевоенные годы многие регионы страны, слабо коснулся Каракалпакии. На уровень развития автономной республики не обращали должное внимание ни Госплан Узбекской ССР, ни Госплан СССР. Этим наносился огромный вред развитию целостного народнохозяйственного комплекса региона — материального фундамента дружбы народов СССР.

К примеру, доля работающих в промышленности автономной республики в общем числе занятых в народном хозяйстве в 1985 году оставалась на уровне 1960 года и составила всего 9,9 процента.

Однoboкoe планирование, осуществляемое сверху, насаждение хлопково-рисовой монокультуры в сельском хозяйстве привели к тому, что Каракалпакия утратила свои позиции и в области производства животноводческой продукции. В итоге — потребление мяса на душу населения в Каракалпакской АССР в прошлом году составило чуть более 23 килограммов, что в полтора раза ниже среднереспубликанских и почти в три раза — среднесоюзных показателей. Та же картина с потреблением молока и молокопродуктов, яиц, рыбы и рыбопродуктов, картофеля, сахара.

Каракалпакия остается сырьевой базой, что отрицательно сказывается на ее развитии, использовании имеющихся трудовых ресурсов. Задача состоит в том, чтобы экономика автономной республики приобрела индустриально-аграрный характер. Для этого есть все возможности. Но вот уже два десятилетия не осуществляется промышленная разработка более двухсот месторождений и проявлений огромных запасов титано-магнетитовых, железных руд, сульфато-магнезиальных и натриевых солей, сырья для строительных материалов. А ведь развитие соответствующих отраслей могло бы стать ключевым фактором подъема промышленности, наращивания рабочих мест.

Много можно сделать и в традиционных отраслях. Остро необходима коренная реконструкция перерабатывающих отраслей АПК, надо строить новые молочные, консервные, масложировые заводы, малые цеха непосредственно в колхозах и совхозах — для переработки риса, хлопковых семян, животноводческой и плодовоовощной продукции. Стоит подумать и о размещении на территории Каракалпакии предприятий трудоемких отраслей промышленности, особенно электронных, радиотехнических, сборочных машиностроительных заводов, нацеленных на производство готовой продукции, глубокую переработку сырья.

В ЭПИЦЕНТРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДРАМЫ

На значительные издержки планирования в народном хозяйстве, все былые недостатки и промахи наложились и проблема усыхания Аральского моря. Развитие хлопководства в республиках Средней Азии не только не сопровождалось соответствующими экологическими мерами, а, напротив, нарушались даже элементарные законы инже-

⁷ Ленин В. И. КПСС о борьбе с национализмом. М., Политиздат, 1974. г., с. 162,

⁸ Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., Политиздат, 1981 г., т. 8, с. 698.

нерного освоения земель и их мелиорация. Сбросные воды оставались на материке. Их по магистральным коллекторам необходимо было направлять в Аральское море, но этого не делалось. Как следствие, образовалось огромное количество больших и малых озер — Арнасай, Аккауль, Аязкалинское и многие другие. Происходит засоление и заболачивание земель, агрессивные воды разрушают сады и естественные заросли — тугаи, строения в городах и селах, ухудшают плодородие почвы. Только на территории Каракалпакской АССР для ослабления их вредоносного воздействия действуют на перекачке воды около четырех тысяч насосов.

В то же время в течение ряда лет в Арал не попадало ни капли воды из ранее полноводных рек Амударья и Сырдарья. По сравнению с уровнем Аральского моря в 1960 году объем водных масс сократился на 65 процентов, средняя глубина моря уменьшилась на 13—13,5 метра, его площадь сократилась с 66 до 40 тысяч квадратных километров. В результате ухода моря образовалась соляная пустыня площадью 2,6 миллиона гектаров, которой народ дал меткое название «Ак кумы» — «Белые пески».

Опустынивание Приаралья не могло не сказаться на его жителях — узбеках, казахах, туркменах, народах других национальностей, но особенно тревожно его последствия отражаются на каракалпакском народе, проживающем именно в низовьях Амударьи — эпицентре экологической драмы. И речь теперь идет о судьбе целого народа.

Происходит сужение ареала существования каракалпакского народа, что в свою очередь влияет на его взаимоотношения с другими проживающими в Приаралье народами. Кроме того, изменение привычных параметров внешней физической среды неизбежно ведет к нарушению здоровья нации. Достаточно сказать, что ни в одном районе Каракалпакской АССР вода по своим качествам не соответствует санитарным нормам. Ее жесткость превышает предельно допустимую в 1,5—2, минерализация — в 1,5 раза.

Концентрация пестицидов и гербицидов в почве тоже значительно превышает предельно допустимую. Из-за бесконтрольного водопользования Амударья превращается в сточную канаву отработанной, отравленной ядохимикатами воды. Анализ ее химического состояния в зимние месяцы в створе Тахиаташской плотины показывает, что она не отвечает даже техническим требованиям.

Предварительные итоги всеобщей диспансеризации населения в Каракалпакской АССР свидетельствуют о том, что у 65 процентов взрослого и 60 процентов детского населения имеются отклонения в состоянии здоровья, а в таких районах, как Ходжейлийский, Шуманайский, положение еще значительно хуже. В Тахиаташе отклонения выявлены у 80,8 процента детей. Наибольшее распространение имеют болезни крови (анемия, малокровие), желудочно-кишечные заболевания, поражения печени, почечная патология, и, что особенно трагично, более чем у половины обследованных женщин наблюдается железодефицитная анемия. Каждая четвертая женщина детородного возраста страдает гинекологической патологией.

Как результат, по показателям продолжительности жизни, детской смертности Каракалпакия стоит вровень с самыми отсталыми государствами. Эти позорные факты наводят на глубокие размышления.

Политбюро ЦК КПСС и советское правительство с пониманием отнеслись к нашим проблемам. В 1986 году было принято известное постановление «О мерах по ускорению экономического и социального развития Каракалпакской АССР», предусматривающее создание такого хозяйственного комплекса, который смог бы не только нейтрализовать неблагоприятные воздействия уходящих природных условий, но и обеспечить преодоление отставания и усиление темпов дальнейшего развития производительных сил автономной республики, соблюдение интересов всех проживающих на ее территории народов и народностей.

Органическим продолжением этого документа стало принятие в сентябре 1988 года постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по коренному улучшению экологической и санитарной обстановки в районе Аральского моря, повышению эффективности использования и усилению охраны водных и земельных ресурсов в его бассейне». Эти два жизненно важных союзных решения укрепили веру миллионов жителей Приаралья в то, что есть реальная возможность исправить рукотворные ошибки застойных времен, отстоять море, сохранить жизнь в регионе.

И вновь мы возвращаемся к проблеме преодоления отставания развития автономных и других образований. А происходит оно в значительной мере от того, что для автономных республик до сих пор планирование осуществляется по остаточному принципу. Для них не решен важнейший вопрос — финансирование «отдельной строкой» в планах социально-экономического развития СССР и союзной республики. К тому же, доходная часть бюджета автономных республик складывается, в основном, за счет подведомственных хозяйств и не обеспечивает покрытие расходов бюджета. Так, например, для покрытия расходов Каракалпакская АССР в 1988 году получила дотацию в сумме 132,2 миллиона рублей, что составило 57,8 процента всех доходов государ-

ственного бюджета республики. Да и вообще с момента образования Каракалпакской АССР не было такого периода, чтобы ее бюджет не был бы дефицитен.

Так как политика есть концентрированное выражение экономики, то сама политическая жизнь автономных республик с низким уровнем экономического развития урезалась по всем параметрам. К моменту начала перестройки многие союзные и автономные республики, края и области пришли с разным уровнем развития. Поэтому неправильным было бы подходить к ним с одной меркой, пытаться дать единые рецепты дальнейшего движения вперед. Как и на любом крутом повороте истории, перед нами множество вариантов выбора, и окончательное решение должно приниматься на местах.

ЯЗЫК АВТОНОМИИ И АВТОНОМИЯ ЯЗЫКА

Одним из наиболее острых сегодня вопросов является вопрос о функционировании и развитии национальных языков. Для взаимопонимания существует объединяющий всех нас русский язык — язык межнационального общения. Как отмечает доктор философских наук Гамлет Тавадов, проблема в этом вопросе состоит в том, что двуязычие на практике сводилось к изучению лишь русского языка, порой даже принудительно. Было нарушено равноправие языков, их мирное сосуществование. Во введении государственного (официального) языка ничего плохого нет, если знание языка не станет цензом для занятия той или иной должности, не будет провоцировать трудности в общении людей разной национальности. Если человек долго живет в той или иной республике, он должен изучать язык коренной нации, учиться уважать обычаи, традиции, обряды, уклад жизни коренной нации.⁹ Еще В. И. Ленин предупреждал в своем политическом завещании: «...Надо ввести строжайшие правила относительно употребления национального языка в инонациональных республиках, входящих в наш союз, и проверить эти правила особенно тщательно. Нет сомнения, что под предлогом единства фискального и т. п. у нас, при современном нашем аппарате, будет проникать масса злоупотреблений истинно русского свойства. Для борьбы с этими злоупотреблениями необходима особая изобретательность, не говоря уже об особой искренности тех, которые за такую борьбу возьмутся. Тут потребуются детальный кодекс, который могут составить сколько-нибудь успешно только националы, живущие в данной республике».¹⁰

Конституционное законодательство нашей страны и в прошлом и в настоящем знает немало примеров, когда статус государственного закреплялся за несколькими языками. Так, в Конституции Туркменской ССР 1925 года говорилось: «Государственными языками Туркменской Советской Социалистической Республики признаются туркменский и русский». А в особо многонациональных республиках в зависимости от складывающихся реальных условий государственными могли бы быть признаны даже не два, а три — четыре языка проживающих здесь основных национальностей (так, в Конституции Абхазской АССР государственными признаются абхазский, грузинский и русский языки). Думается, что это более полно и точно отражает языковую ситуацию в таких республиках, способствует совершенствованию культуры межнационального общения, укреплению интернационализма. В то же время в платформе КПСС «Национальная политика партии в современных условиях» записано, что вопрос «о целесообразности признания государственным языком национальности, давшей название союзной или автономной республике, — компетенция самих республик». Видимо, в каждом отдельном случае этот вопрос должен решаться на основе консенсуса мнений.

МИР НАШЕМУ ДОМУ

Подводя итог сказанному, можно заключить, что вопросы межнациональных отношений нельзя анализировать и решать без классового подхода, но с обязательным учетом фактора общечеловеческого. Ведь социально-экономические противоречия неминуемо одеваются в национальные одежды. Нам не удастся укрепить межнациональные отношения простой перестановкой пограничных столбов. Нужна система мер, направленных на удовлетворение специфических интересов и потребностей всех национальных общностей, независимо от их размеров и административно-территориального статуса. Недопустимы никакие привилегии одному народу за счет другого — как

⁹ «Новое время», № 18, 1989 г., с. 26.

¹⁰ Ленин В. И., ПСС, т. 45, с. 361.▼

в экономике, так и в языке и культуре. Решение национальных проблем нуждается в дифференцированном подходе, с учетом развития производительных сил, накопленного научно-технического потенциала.

Жизнь показала, что административная территория каждой нации, как правило, включает в себя довольно большие национальные меньшинства, рано или поздно последние дадут о себе знать, и это произойдет тем быстрее, чем быстрее возрастет их культурный уровень. Немыслимо также, чтобы нации отказались от защиты своих национальных меньшинств внутри других национальных территорий. Примеров тому множество: вспомним ситуацию с еврейской и армянской диаспорами, положение украинцев, проживающих в любой другой союзной или автономной республике, и т. д. Таким образом, очевидно, что на пути «разбредания по национальным квартирам», переноса «национальных заборов» находится тупик, из которого трудно выйти. События последнего времени убедительно об этом свидетельствуют.

Очевидно и то, что в целом нуждается в совершенствовании и законодательном закреплении соотношение компетенции союзных и автономных республик, а также разграничение их функций с центром для расширения прав и самостоятельности республик. Было бы правильным в государственных планах экономического и социального развития страны необходимые капитальные вложения и материальные ресурсы для автономных образований фиксировать отдельной строкой. Нужно расширить и права Советов Министров автономных республик по использованию денежных и материальных ресурсов, предоставить право на месте распоряжаться ими.

В условиях территориального хозрасчета и самоуправления мы непременно перейдем к формированию бюджетов автономных республик на базе стабильных долговременных нормативов отчислений предприятиями союзного и республиканского подчинения, расположенных на их территориях.

Есть смысл подумать о создании двухпалатного Верховного Совета союзных республик или предусмотреть другие конституционные гарантии автономии. Словом, надо четко определить права центра как регулятора всей общественно-политической жизни страны и права союзной республики как «старшего брата» по отношению к населяющим ее национальным меньшинствам.

Ряд народов, по тем или иным причинам не имеющих сегодня национально-территориальных образований, могли бы уже сегодня претендовать на получение статуса автономной республики или национальной области, округа, района, сельсовета, и это подчеркнуло бы еще раз, что все национальности в стране имеют равные права. Такая позиция заложена и в платформе КПСС по национальной политике.

Расширяя конституционную самостоятельность союзных и автономных республик, в сегодняшних условиях нельзя говорить о полной их независимости от центра. Наш девиз: «Сильный центр, сильные республики». Наводя порядок у себя в доме, переходя на региональный хозрасчет и самоуправление, налаживая международное сотрудничество, мы тем самым крепим порядок в стране, укрепляем дружбу всех народов нашей Родины.



А. Вулис

НА ПОДСТУПАХ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ РОМАНУ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЧИТАТЕЛЯ

НЕУРОЧНАЯ БАНДЕРОЛЬ

Недавно в моем почтовом ящике обнаружился пакет с невнятным обратным адресом. От кого бы он мог быть? Не стал я ломать голову над криминалистической криптограммой — взял да и распечатал конверт. А внутри была небольшая книжица. «Боги в изгнании» — стояло на обложке. И имя автора — Юрий Слацинин. Юрий Слацинин? Помню такого. Работал когда-то в главной газете республики. Потом уехал. Потом, кажется, приехал...

Словом, как говорится, чем обязаны? Распахиваю книгу в поисках объяснения — на чистой странице, по-видимому для автографов и предназначенной, выведены мои имя, отчество, фамилия в датальном падеже, без каких бы то ни было эпитетов, с холодной официальностью, а далее следует причастный оборот, все в том же датальном падеже: «задержавшему издание этой книги на десять лет». Отдельной строкой: «автор». Подпись. И дата: июнь 1988.

Итак, оказывается, мы с писателем, создавшим «Богов в изгнании», пребываем уже длительное время в конфликтных отношениях, о чем писатель знает, а я не имею представления. И еще: оказывается, развитие литературы было, по-видимому, на тот же срок — на те же десять лет — приостановлено по моей вине.

«Боги вернулись из изгнания, когда страна сказала свое решительное «нет» застою», — примерно такой подтекст вычитывается из надписи на книге.

Может быть, я фантазирую? Может быть, меня провоцирует самый жанр «Богов в изгнании»: «фантастический роман»? Придется вспомнить факты... Журнал «Звезда Востока» попросил меня когда-то дать отзыв на Слацинина, и я принял предложение, так что какая-то вещь Ю. Слацинина действительно побывала в моих руках. Восторга она у меня, помнится, не вызвала, хотя и заставила поверить в способности автора; об этих своих чувствах и мыслях я честно доложил редакции, и инцидент был исчерпан.

Теперь о другом: неужели рецензия одного-

единственного критика может столь роковым образом повлиять на судьбу талантливого (или просто «нормального») произведения?

Помнится, в самый разгар застоя предстал читателю во всем своем блеске булгаковский «Мастер». И Федор Абрамов публиковался задолго до гласности, и Можаяев с «Федором Кузькиным». И фантасты сумели поведать нашему обществу не одну и не две горькие притчи: и Ефремов, и Стругацкие, и многие другие. Допускаю, что у каждого из этих авторов случались на пути к читателю неприятности, включая брюзжание критики. Но пост вершителя литературных биографий — не слишком ли большая ей честь?!

И потом, хочется спросить Слацинина: «Почему же, потерпев неудачу в «Звезде Востока», автор романа не воспользовался помощью (и, соответственно, страницами) «Нового мира» или «Юности», почему не обратился в «Художественную литературу», «Молодую гвардию», «Советский писатель», «Укитувчи» и т.д. и т.п.? За десять-то лет, надеюсь, можно было найти другого издателя?»

А может быть, просто роман не столь значителен, как это представляется его автору? Вчитываясь в издательскую аннотацию: «Используя гипотетический диктат, один из Верховных правителей Кселены влюбляет в себя девушку низшей касты и узнает о готовящемся на планете восстании борцов за свободу. Борьба обостряется, когда он выпытывает тайну могущественного экл-Т-трона. Гибель повстанцев, казалось бы, неминуема. Да и можно ли противодействовать высшей касте, овладевшей секретом бессмертия? Оказывается, можно...»

Смешно сражаться с аннотациями: они — дежурная ветряная мельница авторской «линии Мажино». Ринешься на нее с копьем, а окажется, что твой противник — вовсе не сам сочинитель, а скромная девушка, занимающая двенадцать с половиной дней должность младшего редактора. Впрочем, аннотация к «Богам...» вполне соответствует своему назначению: это приманка, и значит, на первый план выдвинуты авантюрные мотивы сочинения. Но, кажется, другое, по мысли Ю. Слацинина, придает особый вес его книге.

А именно: подразумеваемый Эзопов заряд критичности, нонконформизма, фрондерства. Не будучи телепатом, я все-таки вычитываю из его автографа именно такой подтекст. Дескать, реакционеры, мракобесы да фарисеи десятилетиями преграждали путь «Детям Арбата», «Новому назначению», «Собачьему сердцу», «Чевенгуру». И заодно, в этом же ряду, — «Богам в изгнании»...

Самое парадоксальное во всей этой истории: позиция Слащанина не просто понятна, не просто объяснима (скажем, самообольщением), она еще и справедлива.

Цель романа (как я ее воспринимаю) провозгласить священный суверенитет персональной психики, тщету всех и всяческих попыток поставить один интеллект в рабскую зависимость от другого, учредить инспекцию мозгов, управление чужим сознанием. Рассматривая проблему по преимуществу в физиологическом плане, писатель постоянно подразумевает еще ее политические аспекты, среди которых, конечно, руководство идеологией, творчеством, вообще духовной жизнью общества со стороны государства и всевозможных административных ведомств. По-видимому, Слащанин против посягательств на свободу духа — и я симпатизирую его решимости опубликовать свое кредо (тем более, самому кредо в его сути!). И приветствую его жанровый выбор: политический роман в виде антиутопии.

А теперь другая сторона вопроса.

Худоожественное произведение — всегда чудо. Возможно, «Бог в изгнании» — тоже чудо. Но чтобы пробиться к этой истине, надо преодолеть серьезный лингвистический барьер. Ибо простые ситуации у Слащанина тщательно зашифрованы при помощи сложных слов: «Первым осел на кровать, сонно прищурив глаза, молодой фарон. Старший повернулся к Тадоль-па, сопротивляясь расслаблявшей его сонливости, попытался растегнуть кобурку парализатора, но тоже осел в узкий проход между кроватью и столиком, развалился в беспмятном сне», «Теперь надо было выйти из-под контроля за мыслями. На виске у Тадоль-па, как у каждого кселянина, катался под кожей желвак вживленного микропередатчика мыслей — бионик, с помощью которого и осуществлялся контроль за размышлениями с городской станции надзора. Старик надел на желвак самодельный магнитный блокатор, и сразу оборвалось ощущение ментального пространства вокруг...»

Не правда ли, ощущается потребность в русско-фантастическом словаре? Впрочем, можно прожить и без словаря, надо только изловчиться, влезть в эту манеру: «па» — это, по-видимому, некий возрастной индекс (производное от «папа», пуская хоть с французским ударением на последнем слоге — папа́, но можно и по-домашнему, по-отечественному: па́па), фароны, надо думать, полицейские (от жаргонного русского «фараон»). Ну а всяческие парализаторы да ментальные поля — пустяк, детская игрушка для подписчиков журналов «Техника — молодежи», «Знание — сила» да «Наука и жизнь».

Познавательного материала, а также соответствующей экзотики в виде загадочных терминов и фантастических обычаев на первых страницах предостаточно: «Еще не зная, что он там будет делать, не представляя, как найдет Кари, без которой он ничего не мог предпринять, Тадоль-па брел по пустым переходам, ведомый пока еще неясным позывом алогичного размышления. И как случалось с ним часто, именно здесь,

в области алогичного, с дразнящим вызовом блеснула перед ним дерзкая мысль, и Тадоль-па ее принял сразу, хотя и не стал развивать. Пусть все будет интуитивно, решил он, и снял блокатор с бионика».

Что и говорить, переживания этого «па» сложны — и, значит, знакомство с его психикой должно, по авторскому замыслу, протекать как процесс постепенного, замедленного путешествия от неизвестного к известному — нечто вроде спуска в шахту или пещеру.

Конечно, и шифры, и дешифровки вполне ко двору там, где мы с замиранием сердца следим за судьбами героев, задавая себе сакраментальный вопрос: «Что будет дальше?!», или «Что замыслила их сатанинская шайка?!», или «Кому выгодна такая постановка вопроса?!», или, наконец: «Кто это сделал?!»

Но ведь чтобы эти вопросы возникли, необходима, как минимум, элементарная внятность повествовательной речи. Далеко не всякий читатель мечтает о лаврах Шлимана в Шамполионе, равно как и о деятельности переводчика с тарабарского наречия на родное. Между тем роман Слащанина в конечном счете оставляет нас со странным чувством, будто писатель хотел загадать будущим поколениям многостраничную загадку в машиностроительной (электронно-вычислительной и проч.) системе письмен. И чтоб такие-то и такие-то действия и слова они, отыскивая суть, заменяли вот этакими и этакими, а вот те — еще какими-нибудь. И чтоб получали в результате обычную беллетристику.

При этой исходной позиции даже элементарные зрелищные сцены (другой вопрос, больше ли они искусство, нужны ли они нам — и т.д. и т.п.) обращаются в апофеоз технократии: «...Ладен не помнила, как она оказалась в флайере, где уже валялся в беспмятности Биз, как вылетела за город. Перед глазами стояло, не желая оставлять ее, сморщенное, трясущееся от сладострастия личико Гульбара, дирижирующего коллективным насилием. Настроившись на бионик очередного исполнителя его воли, переживая ощущения насильника как свои, Гульбар вошел в азарт, вскрикивал и стонал, придумывая все новые приемы истязания ее тела. Ладен умоляла, искала в его глазах хоть отблеск сострадания, но тому все было мало, мало... Перекошенное его лицо впечаталось в сознание Ладен так, что все виденное воспринималось как бы через сетку его черт. От этой сетки она не могла избавиться и много дней спустя, когда начался новый виток страданий».

Уйдя в терминологическое и технологическое пике, писатель, как мы видим, успешно из него выходит, обращаясь к нормальным, общечеловеческим словам и ситуациям. На две-три фразы этой нормальности хватает, а там — опять срываются шифровальные инстинкты и устройства, и снова автор вталкивает окружающих в свою координатную схему, откуда нам так или иначе предстоит выкарабкаться.

Не Ю. Слащанин придумал научную фантастику. Не Ю. Слащанин разрабатывал образности декорирования чужие миры так, чтобы было ясно: они чужие, и чтобы сохранялось одновременно обязательное демократическое условие: они свои; ибо ничто человеческое нам, землянам, не чуждо, включая инопланетянское, гуманоидное и т.д.

Собственно говоря, самый принцип образности, самая идея метафорического видения, самый жанр притчи, позволяющей говорить об

одном, подразумевая другое, наконец, самая возможность басни, которая описывает, допустим, льва или мышь, а подразумевает человека — и человека, — все это, вместе взятое, ратует за роман Ю. Слэцинина и тем самым опровергает мои филиппики по адресу произведения, единственная беда коего — не критическое отношение к современным техническим энциклопедиям.

И здесь я остановлюсь. Единственная? Значит, ежели бы Слэцинин напрямую рассказал о том, как один его персонаж спавает стражников, оглушает их, скажем, ударами пистолета и удирает на свободу, а другой предается половым извращениям в духе разлагающейся римской империи (или современного гнилого Запада), то его можно было бы счесть большим художником?! И ответ у меня сразу вырывается отрицательный: «Нет, ни в коем случае!»

Откуда такая быстрота реакции? Думаю, что избранная Ю. Слэцининым повествовательная манера хороша тем, что сама себе рассказывает о себе. Она и симптом, и носитель симптома. Любая фраза романа, даже случайная, свидетельствует о нарочитости, надуманности, «кnavязанности» научно-фантастического маскарада. То есть роман как бы существует сам по себе, а его форма существует независимо от него, в виде некоего, что ли, приложения. Отряхнув с себя эту неорганичную оболочку, роман ни на гран не поступит ни сюжетом, ни замыслом. Последуем, чтобы убедиться в сказанном, за Тадоль-па: он идет к Верховному:

«— Ночь, не видишь? Куда прешь? Кто вызывал?»

— Наш любимый и дорогой Верховный предводитель ле-Трав, который ночью занят большими делами...»

Чуть дальше:

«На финальный размет собрались все цузары, оставив свои места за пультами надзора...»

...Тадоль-па лучементом аккуратно срезал рычаг обратной подачи задвижки и пошел оглядывать станцию надзора за мыслями, чтобы с ее помощью провести дерзко задуманную операцию». «Цузары были высокопоставленной прослойкой высокопоставленной касты скелендзов, порожденной Новым Порядком. Когда-то, в доисторические времена, в цузары шли презируемые всеми соглядатаи и доносчики, служившие каждому, кто захватывал власть. По мере развития цивилизации им доверяли следить за тем, кто что говорил или писал, а после тотального жввления в мозги микропередатчиков мыслей цузары стали обеспечивать единомыслие общества и безопасность господствующей касты».

Почему я так активно нападаю на усложненность слэцининского романа? Мало ли пишется всякой забубенно-тарабарской фантастики, в хитросплетениях которой сам черт ногу сломит?! Дело в том, что «Боги в изгнании» — политический роман. Самая актуальная для наших дней жанровая форма. У современного читателя политический роман-антиутопия ассоциируется с замаятинским «Мыш», с произведениями Хаксли и Оруэлла. «Боги в изгнании» — тоже антиутопия, но, увы, разница между «Богамии» и классической жанра есть. Великолепная ирония, окрашивающая собой те, «старые» произведения, подменяется в нашем случае лобовым натиском прямых аналогий.

Иносказание, представляющее собой специфический способ художественной примерки к действительности, получает буквалистскую — и даже просто буквальную — трактовку: это

ино — сказание, это известное «всем, рассказанное по-иному. Камуфляж снимается простым усилием, отмыть метафорические краски не стоит труда, полагаю, даже школьнику...»

Произнося свои оценки безапелляционным обвинительным тоном, я словно бы опираюсь на общепринятую норму, на кодекс неоспоримых эстетических критериев. Между тем у меня нет теоретического тыла, разве что вкус (а он, как известно, материя нематериальная и к тому же сугубо индивидуальная), разве что эмпирика литературы, опыт читателя, наблюдения книжника, чем-то лодобные библиотечной статистике. И этот малоавторитетный тыл, коёму до теории не ближе, чем грешнику до рая, твердит свое: «Настоящая литература, в отличие, скажем, от газетного фельетона, избегает прямолинейных решений. В настоящей литературе герои живут сами по себе. Марионетки, покорные чужой воле, — персонал кукольного театра, но отнюдь не литературы». И как итог: «Идея (или замысел, или тенденция) — это в настоящей литературе всего только ходатайство перед музой, богом, чудом — или своим собственным Я, чтоб даровали они бытие образу — новой реальности, какой допрежь еще никогда не было. Вулгарно говоря, идея — это заявка в высшие инстанции на дефицитный товар, которая может быть удвоительворена или оставлена без внимания, как уж там, наверху, пожелают». Автор романа «Боги в изгнании» вправе до потери пульса изничтожать своих критиков, доказывая, что образ слит у него с идеей в альяне полного отождествления. Но тут возможна единственная альтернатива: если шекспировские или пушкинские, толстовские, чеховские образы — образы, то герои «Богов в изгнании» принадлежат к другой категории идеологических явлений.

И вот я опять хочу вступить за Слэцинина. Дело в том, что образы научно-фантастического и к тому же политического романа — совсем не те образы, что нисходят к нам со страниц Шекспира или Толстого. Приключенческие жанры (а роман Слэцинина как разновидность политического романа, антиутопии, относится к «приключениям») руководствуются собственными законами. В приключенческом произведении велик удельный вес расчета, умозрения, рационалистической мотивировки. Приключенческим героям мила публицистика, они охотно впадают в декларативный тон, в дидактику, запросто поддаются авторским указаниям и следуют авторским подсказкам. И с такой точки зрения мои нападки на роман «Боги в изгнании» — вопиющая бестактность по отношению к поэтике приключений и к самому себе: ведь именно ей я посвятил целую книгу.

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ?..

Но, возражу, главный недостаток романа «Боги в изгнании» — не приключенческая его природа (это я счел бы скорее достоинством), а половинчатость автора в использовании приключенческих возможностей и тенденций. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, ступил на авантюрную стезю, уйми свои менторские амбиции. Приключенческая литература исходит из некоторых догматических допущений, которые пугают догматиков от критики, но без которых не бывает приключенческой литературы. Она, во-первых, признает реальность чуда; на ее просторах могут происходить сколь угодно целесообразные

события, но и автор, и его герои свято верят в невероятное, anomальное: в случайности, совпадения, в головокружительные скорости, в живучесть раненых, в «железную» победительность добра, в обязательный приход хеппи-энда (счастливым концом при любых обстоятельствах — разве это не чудо?!).

Второй каприз приключенческой литературы, переросший в черту ее характера, — тяга к игре. Сколь бы серьезны ни были коллизии, выпавшие на долю наших бравых д'артаньянов, — они острят, шутят, радуются жизни. Если не играют они сами — тогда играют ими, такая концепция игры в приключениях также вполне естественна.

«Помилуйте, как же так?! — слышится мне голос строгого гражданина, заявлявшего Ильфу и Петрову, что смеяться грешно и улыбаться тоже грешно (см. «Золотой теленок», любое издание любого года). — Как же так?! Автор пишет политический роман, изображает гримасы тоталитарного режима. Из людей выкачивают все соки, у них отнимают свободы, их лишают права даже на собственные мысли! Какая еще игра на этом фоне?! И какие чудеса?! Поистине, наша критика сродни кощунственному бреду!»

Защищая свою позицию, сошлюсь на исторический материал. Свободу маневра открывают наблюдателю двадцатые годы, когда молодая советская литература накопила львиную долю своего экспериментального творческого опыта. Именно тогда начала формироваться — кстати, весьма бурно — советская утопия. Многие ли сохранилось от того изобилия на сегодняшних книжных полках? Почти ничего. Отчасти по техническим причинам: прогнозы фантастов оказались ошибочными. Отчасти по историческим обстоятельствам. Отчасти по литературным поводам: краски поблекли.

Что же уцелело? Романы, чуравшиеся прямых житейских параллелей: вот, мол, за этим героем постарайся разглядеть такой-то прототип, а за этой ситуацией — такую-то событийную предпосылку. Смел автор выйти на крупные обобщения, абстрагироваться от газетной повседневности, хватило у него таланта облечь их в яркую артистическую форму, он победил.

Любопытная закономерность: уцелевшая фантастика — вся от начала до конца — и Ю. Олеся, и В. Катаев, и менее известный, но не менее талантливый С. Зайяцкий — чаще фигурирует в наши дни под рубрикой сатиры, нежели в исходном качестве авантюрной литературы. И дело вовсе не в том, что некие доброты перекрашивают менее почтенный жанр в более почтенный, дабы обеспечить ему благополучие. Перечисленные мною романы имели это измерение — сатирическое — так сказать, с пеленок. Они сатирическими и родились. Да, утопия. Да, фантастика. Да, политика. Но — со смеховым подтекстом. Этот подтекст и даровал им жизнестойкость, глубину, долголетие.

Чего ради я, без видимой нужды, заговорил о сатире? Напомню: ее стержневым компонентом является как раз игра — обязательная принадлежность приключенческих жанров.

Так ли важен этот поворот в размыслениях о современных тенденциях нашей литературы. Думается, что важен. Активное развитие фантастики в Узбекистане — реальный факт. Не раз гремели по сему поводу в соответствующих статьях и докладах праздничные литавры. Но часто ли мы присматривались к ее жанровой специфике, часто ли спрашивали себя (и писателей-фантастов), насколько самобытно возводимое ими здание и насколько долговечно?

Представляется, что просчеты: слащининской прозы присущи иным сочинениям его коллег. Больно уж соблазнительен в наш технический век этот принцип сюжетосложения: выверни наизнанку существующее правило физики, перекинь понятия из одной координатной системы в другую, а дальше импровизируй в русле отправной гипотезы, сколько заблагорассудится, поставляя разрастающемуся тексту адекватные реалии (географию, механику, физиологию, политику).

Стоит автору поработать произведение согласно этой рецептуре, как оно мигом обращается в некое цеховое табу, о котором судить синклиту посвященных — и более никому. Бластеры, нуль-транспортники — вся эта терминологическая доштура обретает силу колдовского наречия, доступного лишь жрецам. Самоизолируются они на шаманской, «технарской» почве, а вещают от имени большой литературы, с позиций изыщной словесности. На глазах у всего честного народа совершается обманная (и самообманная) операция: подтасовка музыки.

Книжная явь убеждает: братья Стругацкие, или Кир Булычев, или Е. Парнов смотрят на свой труд как на писательство в первую очередь и только потом акцентируют (для себя и для других) его научно-фантастические аспекты. Научная фантастика (не исключая ее политическую ветвь) в своих лучших современных образцах приобретает к традиционной литературе. И чаще всего поиски интеграции идут на территории комической (сатирической, юмористической, пародийной и приключенческой, детективной) прозы.

ТАЙНА СΙΑ ВЕЛИКА ЕСТЬ

И еще одним дефицитом на фоне приключенческой традиции грешит роман Ю. Слащинина (повторяя тем самым пробел, характерный для «прочей» фантастики Узбекистана). Маловаго в «Богох» тайны. Ступая по событийным тропам этого произведения, испытываешь вполне правомерные реакции: «Ага, ситуация мне знакома: подобное у нас в городе встречается на каждом шагу!», или: «Поберегись, герой! Сейчас твой враг нанесет тебе удар — отошел бы ты в сторонку!», или: «Ах, негодяй! Ну, погоди, зло, никогда не остается безнаказанным — наши тебе отомстят!» Но давайте согласимся с аксиомой: будничная неизвестность перелистываемого календаря, где каждая завтрашняя страница остается сегодня белым пятном, — это еще далеко не Тайна в высоком, приключенческом смысле, каким наделил это слово черный роман прошедших веков или детектив современной эпохи. И не философская тайна большой науки.

Причина — вот ключевое понятие в разговоре об авантюрной тайне. Литература тайн — исследовательская. Что бы ни делал герой, куда бы ни устремлялся, кого бы ни преследовал, у него в конечном счете одна цель: найти причину образовавшихся несуррицид, добраться до корня своих (или чьих-то) несчастий, постичь механизм событийного процесса. Причина в приключенческих жанрах может материализоваться: допустим, обратиться в клад. Причина может персонафицироваться — принять облик убийцы, вора, похитителя, шантажиста, клеветника. Но в строго научном понимании она останется причиной, и именно с ней будет состязаться — и в мыслях своих, и в действиях — неутомимый осуществитель прутковского лозунга «зри в корень!», неунывающий бродяга Главный Герой.

До назойливости часто инкриминировал я Ю. Сладцину «угадываемость» его сюжетных комбинаций. Суммирую свои обвинения (высказанные и подразумеваемые). Чуть ли не с самого начала читателю ясно, что произойдет дальше, как будет разворачиваться фабула романа, какова расстановка действующих лиц и сил. Не то что тайне, даже элементарной неизвестности иной раз негде у Сладцинина приткнуться.

Вы мне возразите: а в серьезном психологическом романе, да хоть в «Мадам Бовари», события предвидимы, развязка изначально различима, и вообще среди художественных критериев не значится никакой провидческой шкалы, никаких упражнений с загадками и отгадками, никаких умашек (чтоб устанавливать «любит — не любит»). Информационный потенциал явления со всеми возможными перепадами уровней у Флобера не наделяется ни малейшим эстетическим весом.

На это придется ответить категорично: ни «Мадам Бовари», ни «Анна Каренина», ни, добавлю, «Человек без свойств», ни «Улисс» приключенческим жанрам не указ. Да, там, где преобладает живописное, психологическое, лирическое начало, где установка писателя ориентирована на похожесть, тайной могут пренебречь. Но зато огромные области литературы, совместные владения графа Монте-Кристо, капитана Немо, капитана Сильвера и Холмса, не в силах жить без тайны. Они вырождаются с ее исчезновением. Они оскудевают до полного упадка, сдают на милость скучным декларациям, пополняют собой архивы дидактической публицистики. Стоит, однако, появиться хоть призраку тайны, и, как пустыня после дождя, поскучевшие были страницы зажигаются свежими красками...

Но какая же тайна нужна политическому роману?..

Отвечу: в нашем случае — постижение механизма власти.

АНАЛИЗ, АНТИПОД МИМЕСИСА

Есть у меня парадоксальная гипотеза: присутствие тайны — неотъемлемая, или, как выражаются философы, имманентная, черта литературы, всякой литературы, не только приключенческой. Тайна как бы противовес общепринятому атрибуту искусства — отражать, подражать, повторять, уподобляться. Тайна — вызов той данности, наличности, очевидности, которую мир предъявляет искусству, объединяя столь многочисленные и разнонаправленные свои грани единым представлением: «оно есть!» и единым термином: «действительность» или «реальность». Изображая действительность (или реальность), искусство постоянно чувствует присутствие чего-то, а может быть, кого-то третьего, подозревает: помимо реальности, явленной нам в ощущении, возможна и другая реальность, еще не открывшаяся, но ответственная за многое из происходящего вокруг нас. Ее-то мы и называем тайной.

Искусство — самый великий и самый древний прагматик (даже витают в облаках здесь на материальных началах, оформляя эту операцию в слова, картины и т. п.). Призван бытие неких иксов, оно сразу же ставит перед собой задачу их исчислить. Соответственно вырабатываются в его крови охотничьи ферменты, исследовательские устремления. Искусство благословляет

своих героев на поиск, снаряжает их в погоню — и тем самым запечатлевает обычную житейскую ситуацию. Но присуща сей ситуации и ершистая экстравагантность: то, что будет найдено, поначалу как бы не существует, значит, изображается нулевой объект, вычтенная реальность, мнимая величина. Как с этим мирится (и мирится ли) Аристотель?

Эта проблема принципиальна, и на ней следует остановиться. Если мы, по команде Аристотеля — и вполне справедливо, числим за искусством функцию мимесиса: установку на жизнеподобие, зеркальность, отражательную покорность внешней среде, то столь же справедливым было бы признание за ним и другой, более активной миссии — разгадывать, открывать, изучать, анализировать. То есть выступать под плащом героя, коего последующая литература повсюду — нет, увя, не в рыцари — в сыщики, впрочем, сохранив за ним отмирающие рыцарские доблести.

Конкретная литературная практика порою облекает нашего Агасфера интеллектуальной службы в одежды скучные и неприглядные, подчас смехотворные, наделяет чудачествами и причудами; цель же при этом преследуется прикладная: индивидуализировать персонаж, наделенный высокой аналитической потенцицией, спрятать, замаскировать его всепроницающий ум, который нет-нет да и блеснет сатанинскими масштабами обобщения. Или антисатанинскими, что в сущности то же самое: сверхчеловеческое может выступать под знаком плюс или под знаком минус, но, будучи сверхчеловеческим, оно сверхчеловеческим и останется.

Самое страшное предстоит мне сейчас, когда волей-неволей надо приводить примеры. С подобием, с мимесисом дело обстоит более-менее благополучно. Ассоциации и авторитет Аристотеля, поддерживаемые древнегреческой музой, неоспоримы. А с анализом, с детективом, хлопот не оберешься: в сферу эстетики он прокрадывается нищим странником, словно никем еще не идентифицированный Одиссей после скитаний.

Но ведь тот же Одиссей дает нам возможность уверенным тоном повторить: всякая литература содержит детективные мотивы. Одиссей является домой открытым для любых новостей. Время отсутствия, лежащее позади, ожидает его теперь впереди, точно некая загадочная земля. Оценить это прошлое — вполне детективная проблема. Сам Одиссей входит в родной дом на правах незнакомца. Дешифровка незнакомца — типично детективный ритуал: срывание масок. Если заглянуть в Аристотеля, у него можно найти подходящий к этому случаю терминологический момент — да и не только терминологический, сущностный: узнавание. Мы по сей день подчас воспринимаем Аристотелю теорию чисто технологически, как если бы узнавание было частным элементом художественной композиции: ударил, дескать, где-то посреди трагедии гонг (или гром), и несведущий герой по мановению высших сил стал осведомленным. Или в духе иллюстративной инсценировки: бредет по древнегреческой тропинке, стуча палочкой, условный слепец, по имени, допустим, Платон, а навстречу ему шаги: это вернулся из дальних странствий его блудный сын, допустим, Демосфен; в момент, когда их пути пересекаются, взгляд Демосфена касается лица Платона, Платон вскрикивает, реагируя таким образом на двойной шок: оптический (ибо к нему внезапно возвращается зрение) и психологический (ибо оно сразу же отвечает на вопрос: «Кого же занесла судьба

в столь неподобающий для прогулок час на эту отдаленную садовую аллею?)). Возвращение зрения совпадает с возвращением человека, а затем и с третьим возвращением: самой идеи о том, кто он такой, этот возвратившийся.

Узнавание в подобной транскрипции — как бы мелкая частность судебного расследования: идентификация личности (будь то преступник, потерпевший, свидетель, истец или еще кто-нибудь). Разумеется, литература пользуется кульминационным пафосом сей метаморфозы ради всяческих переосмыслений, каковые являются по сути дальнейшими метаморфозами, геометрической прогрессией сдвигов в нашей оценке действующих лиц.

Идентификация — один из аспектов узнавания. Но узнавание шире, глубже, философичней. Ибо идентификация всего только ничтожный параграф в сыщицком кодексе, тогда как узнавание — это в сущности философская система (или, по меньшей мере, строительство таковой). Узнавание — сложный, многосторонний процесс нашего (авторского, читательского, героя) продвижения — и не всегда приближения — к истине. Важнейшая грань (и цель) детективного анализа. Появляется соблазн усмотреть в узнании и универсальный закон искусства — и, более того, главенствующий. И причины сего душевного порыва понятны: корень «знать» способен возвысить любое, даже самое рядовое терминологическое словосочетание. «Узнавание» — всего только вариант отглаженного существительного «познание» или другого аналогичного, еще более отвлеченного существительного — «знание».

КТО ЭТО СДЕЛАЛ?

У англоязычных авторов для обозначения детектива используется иногда термин, отсутствующий в нашем литературоведении: «худанит». Буквальный перевод его мог бы быть таким: «кто-это-сделал» или «чья-это-работа» — единым духом, даже без дефиса.

Не довольствуясь тем, что и само слово «детектив» содержит лаконичную характеристику жанра, выдвигая на передний план мотив поиска, новая формулировка усиливает конкретность понятия, конденсирует в нем элемент дефиниции. «Худанит» — это не просто детектив, но еще и детектив и с точным адресом: в фокусе авторского любопытства активное действующее лицо. Ищут не кого-нибудь. Ищут того, кто совершил преступное деяние. Что до определения «преступное», то оно в данном случае использовано в сугубо различительных целях; любая другая акция, самая что ни на есть благотворительная, также может оказаться объектом изучения, а соответственно, темой «худанита». И с такой точки зрения вопрос «кто это сделал?» приобретает в контексте мировой литературы весьма серьезное звучание.

Более того. Кабы всемирная история (как наука) оказалась вдруг приключенческим романом в игровом завитушечном переплете, ох как уместно было бы на соответствующую страницу, ту, где открывается первая глава, вынести провоцирующий эпиграф: «Кто это сделал?!». Тогда честно бы вышел наружу один из лейтмотивов этой самой сюжетной изо всех гуманитарных наук (предположу мимоходом, что точные науки, опирающиеся на логику, например, математика, куда более сюжетны — да что гово-

рять: именно они, строго говоря, и демонстрируют безукоризненную, безупречную сюжетность).

Событие, составляющее очередной эпизод этой книги, свершилось. Оно обрело остановившуюся навеки определенность, кою фальсификаторы могут подправлять или подменять, но уничтожить во времени, то есть в истинном, реальном ряду жизненной динамики, уже никак не в силах. И вот некий следователь от имени и по поручению будущего останавливает свой взор на упомянутом событии, горя желанием постичь его внутреннюю целесообразность, его механизм, определить состав действующих лиц, исполнителей, дирижеров и режиссеров в их взаимозависимости. Сколь ни парадоксально, на помощь приходит детективная методика. Главным орудием историка оказывается вопрос, который с таким успехом обслуживает предстатель авантюрной литературы: «Кто это сделал?» Далее с покорностью и неизбежностью королевской свиты следуют уточняющие вопросы все из того же судебно-сыщицкого репертуара: «Кому это было выгодно?», «Чьим интересам отвечало?». Копирование или оборвование сэра Артура Конан Дойла продолжается и в дальнейшем: «Когда?», «Как?», «Почему?» И к ответственности за плагиат историка трудно привлечь по одной-единственной причине: он работал — в некоторых случаях — за сто, двести, а может быть, и за тысячу лет до выхода в свет рассказов о Шерлоке Холмсе.

Шутки шутками, что же касается сопоставимости детективного подхода с историческим (и, главным образом, историческим с детективным), то ее убедительно обосновывает английский философ Коллингвуд — с одной стороны, в своей работе, посвященной анализу конкретного уголовного преступления, с другой же, в статьях по проблеме развития британской государственности. В одном случае он, грубо говоря, влезает в шкуру детектива, в другом примеряет смокинг (или какая там одежда предусмотрена протоколом) историка, но в обоих этих своих воплощениях подвизается на роли аналитика, выясняющего: «Кто это сделал?», «Чья это работа?».

Муза истории любит ответы получать, а иногда и сама давать — на манер провинциального сыщика, одаряющего слушателей своими умозаключениями. Но и по части вопросов, и по части ответов у нее в конкурентах фигурирует философия. Вот уж кому всегда надо докопаться до первопричины и, по возможности, персонифицировать ее, чтобы не осталось ни малейших сомнений: у каждого события — от кухонной свары до космогонической акции — имеется свой автор.

Не знаю, куда отнести священные книги — к истории или к философии. Сущственно то, что их тексты перенимают у истории с философией установкой на детективный разбор действительности — и даже приумножают.

Разве не вопросом «Кто это сделал?» начинаются религии. И в самом деле, кто сотворил мир? Если его, конечно, кто-нибудь сотворял... И кто повинен в бедах Адама и Евы? От кого исходит зло, неотступно преследующее людей на их земном пути? Князь тьмы изворотлив, но тщетны его попытки ускользнуть от преследования. Всепроницающая человеческая мысль наступает на пятки врагу рода человеческого... Куда бы он ни спрятался, под любой маской, какую бы он ни присвоил. До окончательной поимки этого персонажа дело не доходит, но

сюжетов, связанных с его поиском, неисчисли- мое множество.

Какие вопросы возникают при чтении Ветхого завета? Клонятся они по большей части к установлению чьей-нибудь виновности, или греховности, или уступчивости, иначе говоря, преследуют навязчивую цель всякой религии: поймать дьявола за руку на месте преступления.

А там, где Ветхий завет не задает вопросов, он разворачивает перед зрителем экспозицию ответов. Это теперь вторая половина детектива, та, где Дюпен, Шерлок Холмс, мсье Пуаро завершают свою миссию. Как пример наидревнейшей детективной фавулы приводят, случается, убийство Авеля. Ситуация, на мой взгляд, вполне криминальная, но отнюдь не детективная, проблема «Кто это сделал?» даже и не возникает — ни у повествователя, ни у читателя. Не забудем, однако, что существует такая колокольня, такая точка в нравственном и физическом пространстве, откуда тень крадущегося Каина не видна, откуда события в семье Адама не просматриваются, а различим лишь бездыханный труп. И таких точек на земле не существует великое множество, и каждая из них — потенциальный плацдарм для наблюдателя, чей репортаж о происходящем неизбежно примет форму детективного повествования. В сущности, девяносто процентов детективной продукции — той, что строится на теме борьбы за наследство, — представляет собой старую, библейскую хронику в интерпретации нового, современного хроникера, все ту же легенду об убийстве одного брата другим. А коли не быть буквалистами, то и другие посягательства на священную заповедь «не убий!» в современной авантюрно-криминальной прозе — тиражирование исходной модели: Каин убил Авеля.

И все-таки каждый раз упрямо воскресает из пепла консервативный тезис детективной поэтики: чтоб состоялся жанр, учрежденный Эдгаром По и Конан Дойлом, причастность Каина к смерти Авеля не должна быть очевидной. Презумпция невинности, на которой зиждется вся юстиция и всякое правовое государство, — высший закон детектива. При условии, что она сочетается с плюрализмом выбора, с альтернативностью кандидатур, претендующих на скамью подсудимых. Эта демократическая ситуация также входит ответственным компонентом в конституцию жанра. Поэтому, когда мы, оставив библейского Каина и библейского Авеля, обратимся к реальному Авелю Енукидзе, то и его горькая судьба незаконно репрессированного при всем ее драматизме продемонстрирует нам свое безразличие к детективному канону. Виновником смерти Енукидзе является Сталин. С некоторой натяжкой его можно назвать даже прямым убийцей своего бывшего соратника. Так что вопрос: «Кто это сделал?» — сегодняшнему наблюдателю прошлого покажется просто излишним: очередная попытка ломиться в открытую дверь.

Впрочем, ареал детектива — во всяком случае, потенциальный — значительно шире элементарного вопроса «Кто это сделал?». Разве путь от неведения к знанию ограничивается поиском активных действующих лиц (по принципу: обеспечить каждому сказуемому подлежащее)?! Вот уж нет! Продолжая нашу грамматическую аналогию, надо сказать, что в сферу действия детектива входят (а со временем, полагаю, внедрятся еще шире) и сами сказуемые, когда известен исполнитель, но требуется установить, что же именно он исполнял, что делал, иначе

говоря, обеспечить действующее лицо — действием, связать авантюриста с его авантюрой, вернуть автору поступка сам поступок. Возможен детектив, сосредоточенный исключительно на обстоятельствах: «Как это было?». Историки, кстати говоря, предпочитают такой угол зрения любым другим. И авторы исторических романов — тоже. Благодаря чему исторические романы усваивают детективный способ мышления.

Каин придумывает повод убить Авеля, Каин ищет, к чему бы придраться, чтоб убрать со своего пути эту живую помеху, раздражающую его самим фактом своего существования. А литература ищет способ объяснить идеологию убийцы — механизм убийства. Так что, вообще говоря, наш безапелляционный отказ от концепции: «Убийство Авеля — детектив» — решение опрочечивое.

Под определенным углом зрения сама история первого убийства переходит из разряда завязок со скучным безразвязочным будущим в другую категорию: это секрет, разгадка, мотивировка детектива, именуемого общечеловеческой историей (ну, пускай скромнее: ветхозаветной). Много бед, несчастий и кар обрушивается божья десница на человечество, и когда род людской коллективным вздохом беззвучно вопрошает: «За что?!», свыше доносится намекающее: «А вот за это!» — и перед глазами нашей совести проходит, пряча глаза, скорбное воспоминание о брате, заколовшем брата.

Трагическое происшествие, обрисованное в Ветхом завете, — средство показать «психологию» творца, мотивировать его негативное отношение к потомкам Адама и Евы на неоспоримо-криминальном основании. С этой точки зрения, «Каинов эпизод» — предыстория понятия «Каинова печать»: как оно сформировалось в понятиях Бога.

Не так уж абсурден и другой взгляд на библейские сюжеты: они представляют собой некую событийную данность, нуждающуюся в разгадке, дешифровке, осмыслении. Эти темные места, эти недоговорки, это витийство, бормотание, эти величественные деяния вперемежку с декларациями, выкрики следом за трогательнейшей лирикой, за ними — огромная трепетная мысль, она же — тайна.

Если так, то почему бы не назвать священное писание первой главой детектива, а всю последующую «божественную» литературу, комментарии, дополнения, конкурирующие версии — ее продолжением. Аналогия перспективная: найдется в ней место и Новому завету, который в данном контексте надо будет назвать кульминацией, и комментариям Розанова, и Емельяну Ярославскому или Демьяну Бедному с их атеистическими речами — это сойдет за речи доктора Уотсона, и даже Чернобыль, как все, наверное, уже слышали, окажется напророченной деталью («звезду Полынь» угрожающе предсказывает Библия, но в переводе с украинского «чернобыль» — и есть «полынь»).

Подкреплю эту аналогию еще одной аналогией: Диккенс не дописал свой детективный роман «Тайна Эдвина Друда», и вторую часть оборванной на полуслове вещи симпровизировал литературовед, давший вразумительное (и приемлемое!) толкование всем намекам опубликованных глав. То же самое с Библией — ее продолжения сделаны чужой рукой, и тут ничего не попишешь (в буквальном смысле), ибо чужая рука — она и есть чужая рука. Но продолжение есть — и этот факт чудесным образом преображает завершенную, ограниченную во времени

и пространстве религиозную книгу в неостановимый процесс мышления, отыскивающего через следствия — причины, через причины закономерности, через закономерности — жизнь во всем ее бесконечном многообразии. Вот один из последних примеров детективного подхода к Библии — эссе Якова Кумока «Когелет». На основании текстологического (чуть ли не на грани графологии) анализа автор пытается установить, исчислить личность исторического персонажа, создавшего темнейшие страницы Библии — Екклесиаст. Поначалу этот поиск носит характер отвлеченно-литературный: нам предстает абстрактная субстанция, образ. Но постепенно, как бы подстегаемей собственными аргументами, писатель все более и более делается историком. Перебирая строки и фразы, всматриваясь в мысли и интонации, он собирает достаточно объемистое досье на своего героя. И вот уже звучит вывод, сбрасывающий авторский пафос с лирико-романтического уровня на научно-бытовой. Екклесиаст — это царь Соломон. Право же, мне грустно расставаться с фигурой зловещего, мрачного незнакомца в маске и плаще в пользу старого (с бородой!), набившего оскомину притчевого персонажа, коему традиция отвела скучное назидательное амплуа «блюстителю здравого смысла». Но с другой стороны, отрадно встретить старого знакомого, остроумца-сыщика, который по неуловимым, простому глазу не видимым признакам способен опознать человека, извлечь его из небытия и поместить в бытие (пускай в другую книгу Библии, не в ту, которая «Бытием» называется, — зато она называется «Екклесиастом»).

Неужели после Библии не было никаких посятельств на проблему «Кто это сделал?» в ее общепризнанном значении? Рискну сказать, что вся мировая литература испокон веков только и размышляла по сему животрепещущему поводу, исподволь, без излишней рекламы, занимаясь вроде бы чем-то совершенно другим.

ИНТЕРЛЮДИЯ О БОРХЕСЕ

Мифологическая мощь этого латиноамериканца специфична. В отличие от Маркеса или других магических реалистов, этот библиотекарь (как называли его многие ревнивые писатели, в их числе, скажем, Апдайк) на самом-то деле определился — и, как я теперь подозреваю, вполне сознательно — в соперники Библии. Не в том, конечно, смысле, что поставил перед собою цель выдать человечеству Новый завет, еще более современный, чем тот, который появился без малого две тысячи лет назад. Не настолько далеко простирается тщеславие современного литератора. Но достаточно далеко, чтобы поставить перед повествователем аналогичную задачу: сотворить модернистский аналог древних космогонических гипотез, рассказать о сотворении мира с позиций человека умудренного (и обремененного) тысячелетиями книжной цивилизации, придумать альтернативу — и не одну! — священным текстам, начиная от «Бытия» и кончая «Екклесиастом», и противопоставить себя романтическим мифологиям древности, решавшим на куцем притчевом пространстве великое множество самых разных проблем, так что в одном мыслительном ковчеге без осуждений противоречий размещались философия, религия, математика, физика и метафизика.

Каждая новая мифологическая версия дается

человечеству как очередная догадка, причем, что это — догадка, нужно еще чисто детективными способами — сравнивая, сопоставляя, умозаключая — догадываться. Правда, в некоторых случаях Борхес позволяет себе, подобно художнику, любующемуся своей акварелью, отойти в сторону — но впоследствии и сей пассаж включается в общую картину на правах очередной гипотезы. «Почему нас смущает, — говорит Борхес в своем эссе о романе Сервантеса, — что карта включена в карту и тысяча и одна ночь в книгу о «Тысяче и одной ночи»? Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем «Дон Кихота», а Гамлет — зрителем «Гамлета»? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним — читатели и зрители — тоже, возможно, вымышлены. (...) Карлейль заметил, что всемирная история — это бесконечная божественная книга, которую все люди пишут и читают и стараются понять, и в которой также пишут их самих».

Аналогичных рассуждений у Борхеса дюжины, и они складываются в особую теорию познания (которая работает по совместительству еще и теорией отражения, еще и эстетикой, еще и отказом и от любой теории познания, и от любой эстетики).

Казалось бы, проповедь относительности наших представлений о себе должна была отвратить Борхеса от посятельств на основы основ, от попыток проникнуть в святая святых мироздания. Но нет — весь Борхес устремлен туда, в самое неизвестное из всего неизвестного. То одну, то другую, то третью гипотетическую конструкцию предлагает он читателю, и тот поначалу прогуливается по местности, не замечая, что угодил в ловушку новой вселенной, в уютном настроении землевладельца, разглядывающего свои территории. И вдруг он с ужасом замечает по какой-то мимолетной детали, что он не только не землевладелец, но даже и не обитатель Земли (или, предположим, обитатель, но не той Земли, к которой привык, а совершенно иной, свихнувшейся, сорвавшейся со своей орбиты). Изменилась точка отсчета, сорвались с места и поехали прочь привычные координатные ориентиры, а главное, неузнаваемо трансформировалась сама система мышления — прежде всего потому, что была украдкой передана чрезвычайно специфичному наблюдателю, зажатому в щели однобокости, информационной предвзятости (в одном случае) или, напротив (в другом случае), овеваемому хитроумным ввером предположений и т. п. Различие между этими двумя повествовательскими ролями станет понятным, если мы учтем, что упрямым заблуждающимся однодумом оказывается у Борхеса информационно ограниченный, обворованный по части фактов персонаж, которого умно было бы называть рабом позиции. Он смотрит на мир оттуда и только оттуда, откуда ему дозволено смотреть, и, значит, видит только то, что ему предписано (самой судьбой, местом рождения, наследственностью и проч.) видеть.

Иная маска предоставляется высокоинтеллектуальному рассказчику. Это экспериментатор и наблюдатель, это ученый, прокручивающий исторический материал на хитроумных аппаратах теории вероятностей во славу скепсиса и релятивизма. Именно ему оказывается по плечу создание нового «Дон Кихота» или реабилитация Иуды, ревизия античных мифов и перелицовка вечных сюжетов.

Но, конечно, главная задача, кою он ощущает как свой провиденциальный подтекст, как жизненное свое предназначение, — это теория (а теория, собственно, и является истинной наукой, перспективным производным от бескрылой, эмпирической фактографии). Теория для Борхеса — это еще и теология, и телеология, и теизм, и атеизм. Ибо в любом случае, на любом материале борхесовский повествователь гонится за главными смыслами, охотится за сущностью. Сущностью чего? Вопрос решается всякий раз конкретно — иногда во вселенском масштабе, иногда же — в индивидуально-человеческом. Искомая величина, сущность вот эта самая, продиктована повествовательной субстанцией, нащептана материальной (или духовной, или такой да этой одновременно) атрибутикой сюжета. Однако, как бы она ни именовалась, какую бы ни выполняла фабульную работу, деловая ее функция неизменна: руководство происходящим. И притом верховное.

Чуть было не сорвалось у меня пространственное уточнение: «С высот Олимпа!» Но я вовремя остановился: ведь наиболее характерная черта теологии (и телеологии) Борхеса — неопределенность. Неопределенность «руководящего» субъекта, неопределенность адреса, коим сей субъект располагает, неопределенность его географии, космогонии целей и всего прочего, чем наделяет религия своих персонажей. И немудрено. Потому что Борхес причащает нас не к религии, не к культуре неведомой силы, а к науке, к постижению великих тайн мира через данности, через улики, через малые моменты нашего повседневного бытия. С такой точки зрения новеллистика Борхеса — богоскательская ипостась детектива.

Детектив Борхеса — концептуальный. «Кто это сделал» — конечная точка авторских выкладок или, напротив, их Полярная звезда. На промежуточных этапах блуждающую логику поиска подстергают промежуточные вопросы. «Каков нравственный алгоритм поступков?» Или: «Куда ведут нити причинно-следственных связей?» Или: «Да где же, черт побери, мы очутились?» Или наконец: «С кем здесь приходится иметь дело — обычные ли предомно люди!» Рассказчику надлежит прочувствовать свою версию предлагаемых обстоятельств. Определить по действию — действующего, по творению — творца.

У ЭКРАНА СОВРЕМЕННОСТИ

Ныне вопрос «Кто это сделал?» в эмоционально-драматизированном его варианте — почти детективном — резко сместил свой прицельный прожекторный луч на конкретно-исторические факторы повседневной жизни, на политику, которую мы — незаметно для самих себя — то и дело принимаемся интегрировать по законам приключенческой литературы, пользуясь ее терминологией, прибегая к ее приемам, избегая ее просчетов, досадуя на все, что вызывает у ее знатоков и критиков аналогичные чувства: раздражение, недовольство, скуку.

Людей, спорящих о политике, мы привычно ассоциируем с ильфетровскими пикейными жилетами, апологетами темы «Бриан — это голова!» или «Чемберлен — это тоже голова!». Любителей программы «Время» приравняем порой к унылым старушкам, вяжущим всю свою пенсионную биографию один и тот же шерстя-

ной носок. Между тем перед нами наэлектризованное социальным беспокойством общество.

Не буду примитивизировать ситуацию, делая вид, будто вся мировая политика сводится к нескольким ответам на вопросы учебника «Родная речь». Она, мировая политика, неизмеримо сложнее и разнообразнее. Вместе с тем, даже в учебниках есть вопросы предельного философского накала. Например: «Кто это сделал?». Или другой, почти столь же употребимый вопрос детективного ряда: «Кому это выгодно?». Или общеавантюрное: «Что будет дальше?». Именно этот букет вопросов преподносит сегодня со своих страниц читателю, со своих экранов — зрителю пресса.

Загадки социального порядка зачастую возникают на главных магистралах исторического развития. И характеризуются мощным накалом драматизма — такого и выдающимся мастерам авантюрного, утопического, политического, жанра нелегко достичь. Отсюда — сдвиг читательского интереса к придуманным сюжетам на документальные.

Вспомним убийство президента Кеннеди. Своей злой загадочностью оно превосходит любой, наизумительнейший детектив. В качестве «зип-председателя» растрепанной эпохе бросили, как сторожевой собаке кость, — Ли Харви Освальда, и тут же его убрал Руби. Потом исчез и Руби. Один за другим пропали, как сквозь землю провалились, люди, хоть что-нибудь знавшие об убийстве. Вереница теней, маячивших за спиной у Освальда, рассеялась — и вместе с ними надежда раскрыть механизм этой кровавой драмы.

Агата Кристи нередко нарушает реалистическую тенденцию лучших своих романов калейдоскопической развязкой. На протяжении одной финальной страницы возможные версии случившегося возникают и умирают в космическом темпе, подавляя нас своим сказочным количеством и качеством. Поворот следует за поворотом, кандидат в преступники за кандидатом. И мы, отложив книгу, разочарованно вздыхаем: «Так в жизни не бывает!». Но вот — расследование президентского убийства. Нелепые до пародийности догадки: «Это сделал вице-президент Джонсон — чтобы занять его должность» — сменились трезвыми размышлениями об американской политической игре, конфликте между президентом и мафией, о психических дефектах Освальда. Опять поворот за поворотом, кандидат за кандидатом, а конца пока не видно. Ау, бабушка Агата! А еще обвиняли тебя в подражании сказкам...

Но вернемся из «каменных джунглей» к себе. И от ковбойских крайностей перейдем к рутине повседневной жизни. Миглом окажется, что к концу восьмидесятых годов от «рутины» не осталось и следа. Перестроечные процессы, демократизировавшие общество, раскрепостившие сознание миллионов, развернулись на первом Съезде народных депутатов в динамичную панораму, чей сюжет вобрал в себя тысячи трагедий, драм и — детективных эпизодов. Там, где было больше всего споров, поляризовались кульминации, образовались комиссии — и каждой были присвоены аналитические, следовательские цели: «Выяснить, кто ответственен за происшедшее?», «Установить, в чьих интересах замалчивались события?», «Произвести реконструкцию реальной картины?». И даже так: «Определить, виновен ли этот человек в нарушениях законности или не виновен? Оклеветал ли он высокопоставленных лиц или предъявил им справед-

ливые претензии? Достоин ли он народного доверия или не достоин?». Я не называю имен, но каждый, кто следил за волнующим телевизионным зрелищем под названием «Съезд», бесспорно воспринял в своей памяти соответствующие картины: покамест многие ситуации пребывают в подвешенном состоянии, и мы испытываем чувства, соответствующие двухсотым страницам трехсотстраничного романа. Многое уже определилось в жизни наших героев, но впереди еще немалый путь...

Спустимся, однако, на грешную землю: ящик для почты, бандероль с книгой Ю. Слащинина, драматическая надпись... Был ли у автора «Богов в изгнании» повод для обиды на автора внутренней рецензии (если предположить, что рецензировался именно тот текст и тот сюжет, какие сегодня опубликованы «Еш гвардией»)? Намеревался ли критик причинить писателю-фантасту обиду, нанести оскорбление, удержать от дальнейшего творчества? Нет, нет и еще раз нет! Но, с другой стороны, на вопрос: «Представляет ли интерес для читателя этот роман?» — критик ответил бы сегодня с прежней — нет, даже с большей — определенностью: «Увы!»

Я выстроил бы иерархию упущенных возможностей, начиная от общелитературных, общечеловеческих, от тайны, игры, и кончая технологией, приемом, словом. Может быть, закономерности поэтики кому-нибудь кажутся пустым звуком и уж никак не доказательством. По мне они — высшее доказательство, потому что вне поэтики нет литературы.

Поэтика — понятие куда более широкое, нежели полагают эстеты (а также антиэстеты), сводящие ее к инструментальным функциям: дорожный нессер путешественника по литературе писателя, читателя или критика — да и только. Саморегуляция отношений искусства с действительностью — тоже поэтика. Когда появляется притча о вымышленном обществе, черты коего копируют тенденции современности, жанровый выбор фантаста определяют обычно без труда: он колеблется в узеньком диапазоне между антиутопией и романом-предупреждением (что во многих случаях одно и то же). Но у этой как бы лабораторной ситуации имеется обязательный подтекст: не терпящие отлагательства требования жизни, человеческая боль, о которой надо кричать, прямо сейчас, немедленно, которую никакие психотерапевтические наговоры или академические симпозиумы не облегчат.

«Богов в изгнании» — роман-констатация. Даже в годы своего создания (если, повторяю, допустить идентичность двух вещей, тогдашней и нынешней) он был романом-констатацией. В пору перестройки — это роман-анахронизм.

Малость поотставшей прозе Ю. Слащинина хочется противопоставить публицистику — прямую, газетную, с одной стороны, (о ее сближении с детективными, авантюрными, рационалистическими жанрами я только что говорил) — и художественную, с другой. В том же издательстве «Еш гвардия», словно бы в противовес «Богам», только что вышли «Пешие прогулки» Рауля Мир-Хайдарова, откровенная, хотя, быть

может, и бессознательная полемика против умозрительных экспериментов с политической тематикой. «Пешие прогулки» — под определенным углом зрения — тоже антиутопия. В том смысле, что взамен утопии нам предлагается вновь открываемая реальность, которая своими страшными, коррумпированными сюжетами перешибет любую фантастику.

Из-под пера Р. Мир-Хайдарова совсем недавно появился еще один роман: «Двойник китайского императора». Это, кстати, двойник не столь уж давних апологетических романов о секретарях обкома и героях труда с прозрачными намеками на прототипические фигуры. Но — под знаком минус. Секретарь райкома Пулат Муминович Махмудов, тщетно пытающийся устоять против мафии, открывает нашему взгляду мир взяточничества, вымогательства, воровства. Этот персонаж, сам себе — Шахерезада, сам себе — Шерлок-Холмс, изнемогающий в конвульсиях самоанализа, является одновременно Шерлоком Холмсом по отношению к другим. Среди «других» принципиальное место принадлежит секретарю обкома партии Тилляходжаеву, сопоставимому, например с гнусным старикашкой-насилником из «Богов...» Но персонажу Мир-Хайдарова сопутствует колорит документальной конкретности, узнаваемости, чего о гротесковых образах Слащинина не скажешь.

Было бы нелепо превозносить один тип художественной условности над другим, утверждать, будто персонаж-гротеск хуже, чем персонаж-фельетон или персонаж-очерк. Правомерно, однако, сказать следующее: «Сегодня, когда борьба с механизмом торможения идет не на жизнь, а на смерть, когда саботаж перестройки ведут вооружившиеся до зубов застойные кланы, опознание врага, изучение его методов — важнейшая задача литераторы!» Может быть, не на всю литературу стоит распространять это пожелание. Но уж по меньшей мере — на весь политический роман, на всю публицистическую прозу. А ведь «Богов в изгнании» — по сути такой же политический роман, как «Пешие прогулки» или «Двойник китайского императора».

«Вы не учитываете, — возразят мне, — что «Богов в изгнании» — фантастика». Почему же не учитываю? Учитываю. Как и то, что «Двойник китайского императора» — советский роман ужасов. Производственный роман, показывающий высокопоставленную мафию в разрезе — и в работе. И детектив, наполняющий реальным бытовым содержанием все эти газетно-криминальные абстракции: получил взятку в 50.000 рублей, обнаружено около ста килограммов золотых монет и драгоценных украшений. Но будучи и тем, и другим, и третьим, «Двойник китайского императора» прежде всего — политический роман. Качество, которого так недостает «Богам в изгнании».

...Разговор о давно написанном романе затянулся неожиданно — или, может быть, закономерно? Потому что смешался со случайного, преходящего, третьестепенного, с проблем лаборатории, приема, изыска на животрепещущее: на невиданную политизацию общества.



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

КРАСОТА И ВЕЧНОСТЬ РЯДОМ

Лирическая интерпретация пейзажного образа — то, что сближает многих живописцев Узбекистана, зачастую совершенно различных по своей творческой манере. Одухотворенность пейзажного образа характерна для таких мастеров, как Б. Джалалов, М. Новиков, Р. Чарыев, Ю. Стрельников, Г. Чернухин.

Б. Джалалов и Г. Чернухин пишут зимнюю природу, однако подход к ней у них совершенно разный. Джалалов стремится передать нежность красок, выступающую в едва уловимых перепадах оттенков атмосферы, его образам свойственно музыкальное начало, которое выражается в сложной нюансировке легких тонов, переданных бережным прикосновением кисти.

Близок к Б. Джалалову по тихому звучанию красок и поискам тонких эмоциональных связей и настроений В. Касин. Очень интересная область его творчества — мемориальный пейзаж.

Пейзажи М. Новикова невелики по размеру. Но лирический пейзаж может представлять и в большой картинной форме, не теряя своей проникновенности. Именно так он трактуется М. Новиковым. Этот пейзажист не принадлежит к тем мастерам, которые ищут в живописи броских эффектов, но разработка цвета в пределах суженной гаммы отмечена у него очень большим благородством. В работе «Голубые сумерки» сложно разработана синева воздуха, точно и тонко переданы оттенки зимнего вечера.

Определенность композиционного строя еще в большей степени выступает в картинах В. Касина. Он ценит в пейзаже пространственную выразительность. В его работах всегда хорошо читаются планы, которые органично соединяются с воздушной перспективой. В колористической разработке он следует методу Р. Ахмедова. В свои произведения Касин включает жанровый момент, утверждая гармонию человека и природы.

Лирическое истолкование пейзажа, естественно, не единственная линия, по которой идут пейзажисты Узбекистана. Есть много примеров и иного плана. Нам представляется интересной в этой связи серия пейзажей Б. Джалалова, ряд работ которого восходит к опыту русских пленэристов. Усиливая экспрессивное начало в пейзаже, мастер уходит от правдоподобия в передаче красок природы. Через колорит художник стремится выразить прежде всего драматическое настроение, рождающиеся в человеке под влиянием состояния природы. Акцент переносится на впечатляющую правду чувств, переживаний.

Надо сказать, что такое отношение к пейзажу, как правило, характерно и для работ Г. Чернухина, где натурные наблюдения перерабатываются с усилением декоративно-напряженной стороны образа. Однако декоративный момент только повышает в его вещах активность вложенного чувства. Оно ярко выразилось в картине «Родное село».

Для современной живописи во всех его жанрах характерно желание углубить сложную образность произведения. Отсюда поиски многими мастерами живописной метафоры. Именно она определяет решение работы Ю. Стрельникова. Написанный бархатистой темперой вид горной гряды предстает перед нами в какой-то сказочной преображенности. В матовой синеве ночи словно растворяются вершины, фосфорическим блеском мерцает луна. Выдвигая на первый план фантастическое начало, художник открывает не лежащий на поверхности, но всегда присутствующий в мире романтический план бытия.

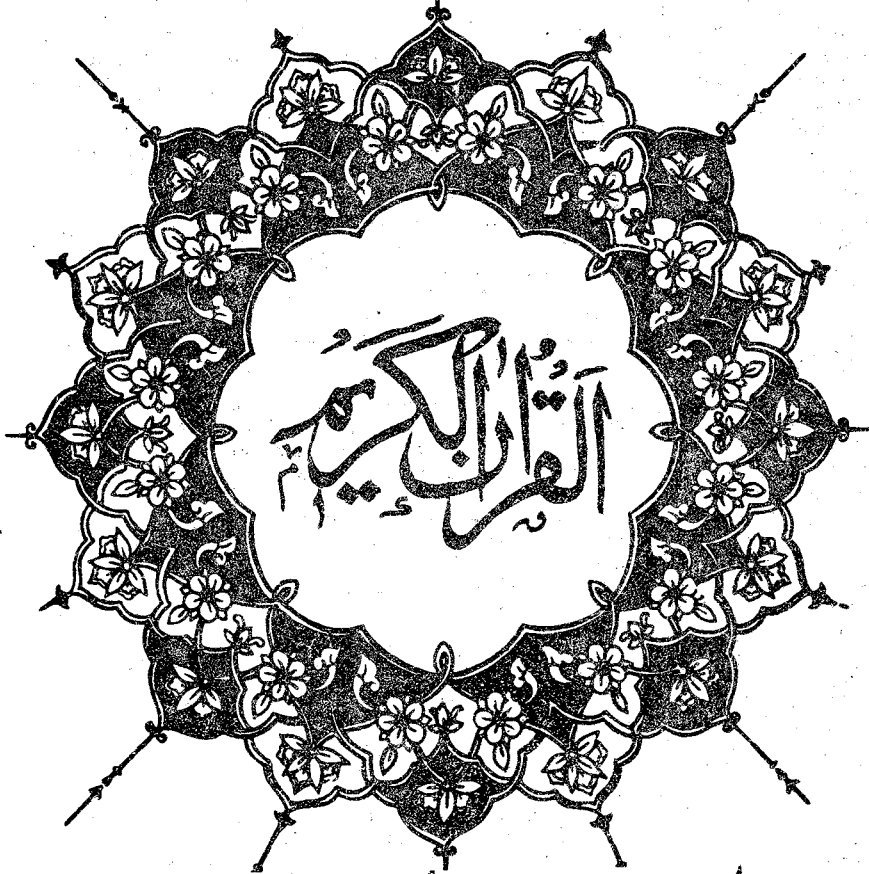
Многогранно предстают полотна Р. Чарыева. Начав свой творческий путь с увлечения такими мастерами, как А. Волков, У. Тансыкбаев, Карахан, Р. Ахмедов, живописец переработал их традицию в свою глубоко индивидуальную манеру. Сохранив свойственное названным пейзажистам поэтическое чувство природы, увиденной в неповторимости определенного состояния атмосферы, он вместе с тем развил чисто декоративные принципы, увлекшись приемами раздельного мазка, чистого по цвету. Р. Чарыев внимательно изучает натуру, но в своих картинах стремится к ее переосмыслению. Так, он исползует натурные впечатления в картинах «Тихий вечер», «Зимняя сказка». Чувствуя в природе лирические мотивы, он усиливает их и чистыми, почти мозаичными пятнышками цвета и плавными силуэтами предметов.

Как всегда, очень темпераментно подходит к трактовке тем художник П. Пантюхин. Он давно известен своими городскими пейзажами, всегда своеобразно выражающими напряженность жизни современного города.

Ценить природу, беречь первозданную красоту земли призывают людей пейзажисты. Их работы свидетельствуют, насколько полнокровно и интересно развивается в настоящее время жанр пейзажа в искусстве Узбекистана.

С. РАХИМОВ.

انما اريد ان يكونوا اعداء لهم
تزيين العالين



الله ص

ДРЕВНИЙ ПАМЯТНИК ЛИТЕРАТУРЫ

Редакция журнала, учитывая огромный интерес современной общественности к библиографическим редкостям мировой цивилизации, с этого номера начинает публикацию одного из выдающихся памятников культуры — Корана. Текст Корана дается в переводе академика И. Ю. Крачковского, под наблюдением и с краткими комментариями доктора философских наук М. А. Усанова.

Человеческая цивилизация создала множество памятников письменной и материальной культуры, через которые пылкий ум людей познает историю народов.

Наиболее важных из этих памятников не так уж много, но они являются фундаментом изучения истории мира. Это — знаменитые египетские иероглифы, клинопись Двуречья, письменные памятники хеттов, Урарту, древней Индии, Ирана, Средней Азии и другие.

В их ряду особое место занимают те, что связаны с историей широко распространенных религий мира: Тора и Талмуд в иудаизме, Библия в христианстве, Трипитака в буддизме, Веды и Упанишады в индуизме, Коран в исламе.

До недавнего времени интерес к этим источникам в нашей стране не удовлетворялся полностью, в изучении и публикации их проявлялась осторожность именно потому, что они связаны с историей религий и каждый из них признан священным писанием какой-то религии. Однако они представляют собой важнейшие документы, в которых получили отражение мировоззрение, традиции и обычаи, нравственные нормы, представления о добре и зле народов древности.

В условиях демократизации общества резко возросла потребность в памятниках истории, человеческой духовности и нравственности. И потому представляется вполне естественным решение журнала опубликовать полный текст Корана.

Он представлен в переводе выдающегося советского арабиста академика Игнатия Юлиановича Крачковского. Этот перевод остается пока единственным литературно-адекватным научным переводом, поскольку И. Ю. Крачковский подходил к Корану как к литературному памятнику, первому крупному памятнику арабской литературы, в отличие от всех предыдущих переводчиков, которые в большей или меньшей степени находились под влиянием традиций.

Коран является важным религиозно-философским и законодательным памятником и уже потому не прост для восприятия и понимания. Но сложность текста древней книги объясняется еще и особенностями классического арабского языка VII века, и труднопонятной терминологией, и непривычной для современного читателя структурой размещения материала. Поэтому среди исламоведов мира существует множество разночтений и различных толкований отдельных мест.

В традиции ислама Коран признается священной книгой, содержание которой составляет откровение Аллаха, поэтому в мире более 800 миллионов мусульман относятся к нему с особым благоговением, прикасаются к Корану только после ритуального очищения (тахарат), держат его в доме на самом почетном месте.

Но в традиции науки, несмотря на утверждение ислама, будто пророк Мухаммад был лишь посланником Аллаха, несущим на землю повеления господина миров, создателем Корана признают самого Мухаммада. И. Ю. Крачковский в связи с этим пишет: «С начала до конца Коран — точное воспроизведение Мухаммадом того, что он считал откровением Аллаха ему... Эта точка зрения важна не только для понимания психологии последователей Мухаммада, но в известной мере и для него самого. Для литературоведа она существовать не может. Мы подходим к Корану, как к любому продукту литературного человеческого творчества самого Мухаммада, продукту, создавшемуся в определенной обстановке».¹

Эти два подхода существовали всегда, остаются и сейчас. Нет надобности разворачивать философскую дискуссию между религиозно-традиционным и научным подходами, она идет сотни лет и будет продолжаться и в будущем. Нам важно зафиксировать другое — то, что суры и аяты² были прочитаны Мухаммадом в течение его 22-летней проповедческой деятельности, каждое чтение было связано с определенными событиями, следовательно, хронологический порядок сур представляет собой этапы формирования его учения. Только при таком подходе возможно научно-исторически понять содержание Корана.

Мухаммад родился в 570 году в Мекке. Он был из рода хашимитов племени Курейш. Отец его Абдаллах умер, когда ребенок только родился (по другим версиям, за несколько месяцев до рождения). Мать его Амина умерла, когда мальчику было 6—7 лет, воспитывал его дед Абд ал-Мутталиб. Через два года умирает и дед, и Мухаммада берет на воспитание Абу Талиб — его

¹ Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. М. 1963, стр. 662. Изд. 2-е, М. 1986, стр. 674.

² В исламоведческой литературе нередко суры Корана называют главой, а аят — стихом, уподобляя их другим религиозным источникам, в частности, Библии. Такой подход нельзя считать уместным. Эти термины лучше принять в первоначальном виде, объясняя их содержание, как и во всех других подобных источниках, как, например, в Ветхом завете, сутры в Ведах, галаха в Талмуде и др. Разъяснение многих религиозных терминов здесь не дается в надежде на то, что читатель при необходимости найдет их в справочниках и словарях.

дядя, старший брат Абдаллаха. Мальчик пас коз и выполнял домашние дела, иногда Абу Талиб брал его с собой с караваном на ярмарку в города Палестины. В 24 года Мухаммад женился на богатой вдове Хадидже, у них родилось шестеро детей: двое сыновей и четверо дочерей. Оба сына Мухаммада умерли еще детьми.

В 40-летнем возрасте, когда троих дочерей он уже выдал замуж, он начал свои религиозные проповеди. Объявил близким, что ему является архангел и внушает откровение от Аллаха. Первой ему последовала жена Хадиджа, когда он рассказал ей о том, что после нескольких дней молитвы в пещере Хира (недалеко от Мекки) ему явился архангел Джабраил (у христиан Гавриил) и повелел ему читать то, что было написано в свитке (это 96-я сура Корана).

В течение четырех лет он проповедовал в своем доме, куда собирались его последователи. Когда их стало около 30 человек, один из богатых последователей, ал-Аркам, предоставил свой дом и двор, где проповеди продолжались около года.

Затем Мухаммад (около 615 г.) начинает открытую проповедь на возвышенном месте в центре города, где обычно народ собирался, чтобы слушать поэтов, рассказчиков, гадателей, проповедников, где также обнародовались объявления о различных событиях.

Но вскоре родовая аристократия Мекки, в руках которой находилась экономическая и политическая власть, стала враждебно относиться к проповедям Мухаммада, подрывающим их влияние. В результате различных преследований около 80 человек из последователей Мухаммада эмигрировали в Эфиопию. Бойкот самого Мухаммада, оставшегося в Мекке с небольшим количеством последователей, продолжался еще 2—3 года. Но когда умер его опекун Абу Талиб, а через два месяца и его жена Хадиджа (это случилось в июне 619 г.), новый глава рода хашимитов, Абд ал-Узза, лишил Мухаммада покровительства рода. В условиях племенной и родовой поруки это было равноценно объявлению его вне закона¹.

Гонимый и преследуемый Мухаммад отправился в июле 619 года в город Такиф (недалеко от Мекки), чтобы найти там убежище и последователей. Но в Такифе его не приняли, подвергли насмешкам и забросали камнями. Мухаммад вернулся в Мекку и нашел прибежище у одного из далеких родственников. Затем в течение трех лет встречался с паломниками из города Ясраиб (в дальнейшей Медине, сокращенно от Медина ан-наби — город пророка), вел с ними переговоры, поскольку они пригласили Мухаммада в качестве наставника.

С конца 619 по 622-й год Мухаммад жил в Мекке под постоянной угрозой расправы со стороны ненавидевших его аристократов и даже предводителей своего рода, лишивших его покровительства.

Вместе с самым верным своим последователем Абу Бакром (впоследствии 1 халиф после его смерти) он скрытно переезжает в Медину, находящуюся севернее Мекки. Этот переезд случился в июле 622 года, и через несколько лет эта дата была принята началом мусульманского лунного летосчисления, которое называется «год хиджры» (хиджра — по-арабски — переселение). Напомним читателям, что с 4 августа 1989 года начался 1410 год хиджры, который закончится 23 июля 1990 года.

За Мухаммадом в Медину переезжают постепенно и его последователи, которые в истории получили название мухаджиров (переселенцы), а мединские последователи его названы в истории — ансарями (помощники).

В Медине Мухаммад постепенно стал религиозным и светским предводителем, образовалась совершенно новая общность, отличающаяся от кровно-родственной, — объединение последователей нового религиозного учения, то есть община верующих (умма). Она и стала зачатком будущего арабского государства.

За 10 лет жизни Мухаммада в Медине произошло много событий: были нападения мединцев на мекканские караваны, произошли три крупные битвы между войсками мекканских аристократов и мусульманами Медины (битва при Бадре, март 624 г.; битва на горе Ухуд, март 625 г.; битва в «окопах», вырытых вокруг Медины, 627 г.), общая победа оказалась на стороне мединцев. Было множество походов Мухаммада и его войск на окрестные арабские племена, чтобы подчинить их власти Медины. Словом, ко времени смерти Мухаммада большая часть запада Аравийского полуострова была подчинена власти Медины.

Мухаммад скончался в Медине в начале июня 632 года, не накопив богатства и не приняв никакого титула властелина. Верующие звали его «посланником Аллаха», и этот титул остался за ним во всей последующей истории ислама.

За двадцатидухлетнюю проповедническую деятельность Мухаммад произносил суры, а слушатели, по традиции того времени, когда почти не было грамотных людей, запоминали его проповедь наизусть. После смерти Мухаммада, особенно после гибели в боях многих его близких сподвижников, знавших наизусть суры Корана, возник вопрос о сборе текстов проповедей и письменной их фиксации.

Такое решение было принято в 633-м году первым халифом Абу Бакром (правил с 632-го по 634-й годы). По его повелению собирали знавших Коран сподвижников Мухаммада, те читали суры наизусть, а писарь Зайд ибн Сабит, служивший у Мухаммада в последние пять лет его жизни, записывал их на листы. Этот список известен под названием Сухуф (листы); и, по сведениям многих источников, некоторых сур в нем еще не хватало. Через восемнадцать лет выяснилось наличие кое у кого из приближенных Мухаммада частных списков, по составу отличающихся от Сухуфа.

Тогда третий халиф Усман (годы правления 644—656) повелел собрать все имеющиеся списки и поручил все тому же Зайд ибн Сабиту при участии четырех сподвижников Мухаммада — знатоков Корана — сопоставить варианты и составить единый список. Этот список был готов в 651 году,

¹ Тут следует иметь в виду, что главой рода хашимитов во времена детства Мухаммада был его дед Абд ал-Мутталиб. После его смерти главенство перешло к Абу Талибу. У Абд ал-Мутталиба было 6 сыновей (отец Мухаммада Абдаллах был самым младшим), и старшинство рода по возрасту и влиянию после смерти Абу Талиба перешло к Абд ал-Уззе, что серьезно осложнило положение Мухаммада.

и в источниках он назван Мусхаф Усмана (Мусхаф — по-арабски — свиток, в данном случае — рукопись). Мусхаф был объявлен каноном, а все прежние списки были уничтожены.

Современный текст Корана практически идентичен Мусхафу, различие лишь в том, что в период Усмана рукописи писались куфическим письмом, в котором отсутствуют знаки кратких гласных и диакритические точки. Для идентификации чтения такие знаки были проставлены в конце VII века, после этого, видимо, никакие исправления в текст Корана не вносились. В традиции ислама текст строго оберегается, ошибки даже в знаках не допускаются. Нынешний текст Корана разделен на 114 сур, которые содержат от 3-х до 286 аятов, всего насчитывается 6236 аятов, которые содержат 77639 слов.

По имеющимся сведениям, Мусхаф Усмана хранится в Медине в специально для того построенном куполообразном здании, рядом с мечтью Мухаммада. В том же 651 году с Мусхафа были переписаны три списка, один из которых хранится в Мекке в святилище Кааба. И Мусхаф и мекканский Коран недоступны для исследователей. Третий список хранится в Египетской национальной библиотеке в Каире. Интересна судьба четвертого. Этот список, сложными путями попавший в Узбекистан и хранившийся в Ташкенте в музее истории Узбекистана, передан в начале 1989 года на хранение Духовному управлению мусульман Средней Азии и Казахстана. Оба последних списка тщательно исследованы известным русским востоковедом А. Шебуниным в конце XIX — начале XX века.

Суры Корана размещены не в хронологическом порядке, а по принципу «убывания» — то есть длинные суры вынесены в начало, а короткие отнесены в конец. Подобный принцип был в традиции составления литературных произведений того времени. Отсутствие хронологии также серьезно затрудняет изучение этого памятника. В самом тексте Корана 86 сур отнесены к мекканскому, а 28 к мединскому периоду жизни Мухаммада. Над определением более точного хронологического порядка сур работали многие западные, русские и советские ученые. К настоящему времени хронология сур определена в общих чертах в следующем виде:

I Мекканский период — Поэтические суры — 48, прочитаны за первые 5—6 лет проповеди (610—616).

II Мекканский период — Рахманские суры — 21, прочитаны за последующие примерно 3 года (617—619).

III Мекканский период — Пророческие суры — 21, прочитаны до хиджры (619—622).

I Мединский период — 4 суры, прочитаны после хиджры до битвы при Бадре (622—623).

II Мединский период — 3 суры, прочитаны между битвами при Бадре и на горе Ухуд (624—625)

III Мединский период — 5 сур, прочитаны между Ухудом и битвой в «окопах» (625—627).

IV Мединский период — 8 сур, прочитаны после битвы в «окопах» до взятия Мекки (627—630).

V Мединский период — 4 суры, прочитаны после взятия Мекки до смерти Мухаммада (630—632).

Таким образом, по хронологии исламоведов к мекканскому периоду относятся 90 сур, а к мединскому — 24 суры.

Как видим, вопрос о хронологии сур, уточнение периода возникновения каждой суры пока еще далеки от окончательного завершения, хотя кропотливая работа в этом направлении ведется специалистами уже более ста лет. При этом используются самые авторитетные источники — биография Мухаммада, составленная ибн Хишамом, сочинения ал-Вакиди и ибн Саъда, ранние сборники хадисов и другие.

Тем не менее, то, что уже достигнуто в определении хронологии сур, все же дает возможность хотя бы в общих чертах представить этапы проповедей Мухаммада и выявить некоторую логическую эволюцию его идей.

Коран много раз переводился на русский язык — с начала XVIII века с европейских (французских и английских) переводов, а в XIX веке переводы были осуществлены с арабского оригинала. Эти переводы оказывали свое влияние на русскую интеллигенцию, знакомя ее с литературным памятником, возникшим в совершенно иной культурной среде.

Знакомство с одним из переводов XVIII века — переводом видного литератора М. И. Веревкина, изданном в 1790 году, — послужило для А. С. Пушкина источником вдохновения при создании знаменитого цикла стихов, известных как «Подражания Корану».

Земля неподвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

Творцу молитесь, он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо посылает тучи;
Дает земле древесну сень.

Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.

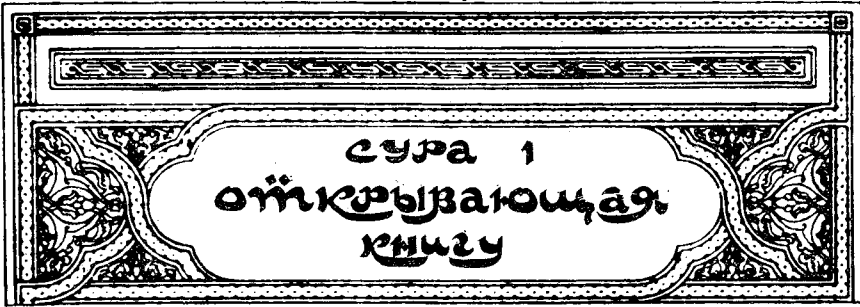
Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету.
И да падет с очей туман.

Читая эти строки, нельзя не поражаться глубине чувства, испытанного гениальным поэтом при чтении Корана — книги, созданной в глубине веков.

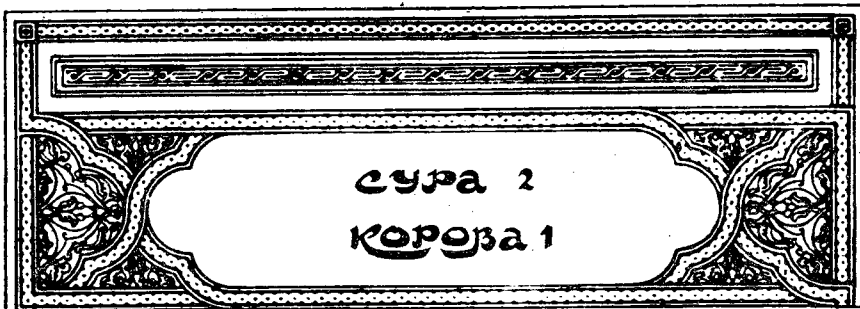
Это краткое изложение проблем Корана должно, нам кажется, настроить читателя на то, что этот памятник культуры совершенно отличен от современных книг, которые ему привычны, по всем характеристикам — и по содержанию, и по структуре и изложению; что он далеко не прост для чтения.

Тем не менее, дочитает Коран до конца только тот, кто будет стремиться понять его во всей сложности, тот, чья душа открыта для познания и приятия великих ценностей мировой цивилизации.

**М. А. Усманов,
доктор философских наук.**



- (1). Во имя Аллаха милостивого, милосердного!²
1 (2). Хвала — Аллаху, Господу миров³
2 (3). милостивому, милосердному,
3 (4). царю в день суда!
4 (5). Тебе мы поклоняемся и тебя просим помочь!
5 (6). Веди нас по дороге прямой,
6 (7). по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал,—
7. не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.⁴



- Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
1 (1). Алм. (2). Эта книга — нет сомнения в том — руководство для богобоязненных,³
2 (3). тех, которые веруют в тайное⁴ и выстаивают молитву и из того, чем Мы их наделили, расходуют,⁵
3 (4). и тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе⁶ и что ниспослано до тебя⁷, и в последней жизни они убеждены.
4 (5). Они на прямом пути от их Господа, и они — достигшие успеха.
5 (6). Поистине⁸, те, которые не уверовали,— все равно им, увещевал ты их или не увещевал,— они не веруют.
6 (7). Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их — завеса. Для них — великое наказание!
7 (8). И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и в последний день». Но они не веруют.
8 (9). Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают.
9 (10). В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! Для них — мучительное наказание за то, что они лгут.
10 (11). А когда им говорят: «Не распространяйте нечестия на земле!» — они говорят: «Мы — только творящие благое».
11 (12). Разве нет? Ведь они — распространяющие нечестие, но не знают они.
12 (13). А когда говорят им: «Уверуйте, как уверовали люди!» — они отвечают: «Разве мы станем веровать, как уверовали глупцы?» Разве нет? Поистине, они — глупцы, но они не знают!
13 (14). И когда они встречают тех, которые уверовали, они говорят: «Мы уверова-

ли!» А когда остаются со своими шайтанами, то говорят: «Мы ведь — с вами, мы ведь только издеваемся».

14 (15). Аллах поиздевается над ними и усилит их заблуждение, в котором они скитаются слепо!

15 (16). Это — те, которые купили заблуждение за правый путь. Не прибыльна была их торговля⁹, и не были они на верном пути!

16 (17). Подобны они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил все, что кругом него, Аллах унес их свет и оставил их во мраке, так что они не видят.

17 (18). Глухие, немые, слепые, — и они не возвращаются (к Аллаху).

18 (19). Или как дождевая туча с неба. В ней — мрак¹⁰, гром и молния, они вкладывают свои пальцы в уши от ударов грома, боясь смерти, а Аллах объемлет неверующих.

19 (20). Молния готова отнять их зрение; как только она им осветит, они идут при ней. А когда окажется над ними мрак, они стоят. А если бы Аллах пожелал, то унес бы их слух и зрение: ведь Аллах над всякой вещью мощен! (21). О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас; — может быть, вы будете богобоязненны! —

20 (22). который землю сделал для вас ковром, а небо — зданием, и низвел с неба воду, и вывел ею плоды пропитанием для вас. Не придавайте же Аллаху равных¹¹, в то время как вы знаете!

21 (23). А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали Нашему рабу, то принесите сурю¹², подобную этому, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы.

22 (24). Если же вы этого не сделаете, — а вы никогда этого не сделаете! — то бойтесь огня, топливом для которого люди и камни, уготованного неверным.

23 (25). И обрадуй тех¹³, которые уверовали и творили благое, что для них — сады, где внизу текут реки. Всякий раз, как им даются в удел оттуда какие-нибудь плоды, они говорят: «Это — то, что было даровано нам раньше», — тогда как им доставлено только сходное. Для них там — супруги чистые¹⁴, и они там будут пребывать вечно.

24 (26). Поистине, Аллах не смущается приводить некоей притчей комара и то, что больше этого. А те, которые уверовали, знают, что это — истина от их Господа. Те же, которые неверны, скажут: «Что желает Аллах этим, как притчей?» Он вводит этим в заблуждение многих и ведет прямым путем многих. Но сбивает Он этим только распутных,

25 (27). Тех, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления и разделяют то, что Аллах повелел соединять, и творят нечестие на земле. Это — те, которые окажутся в убытке.

26 (28). Как вы не веруете в Аллаха? Вы были мертвыми, и Он оживил вас, потом Он умертвит вас, потом оживит, потом к Нему вы будете возвращены.

27 (29). Он — тот, который сотворил вам все, что на земле, потом обратился к небу и устроил его из семи небес. Он о всякой вещи знает!

28 (30). И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле наместника»¹⁵. Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и святим Тебя?» Он сказал: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете!»

29 (31). И научил Он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы».

30 (32). Они сказали: «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты — знающий, мудрый!»

31 (33). Он сказал: «О Адам, сообщи им имена их!» И когда он сообщил им имена их, то Он сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и на земле и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете?»

32 (34). И вот, сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся и оказался неверующим.

33 (35). И мы сказали: «О Адам! Поселись ты и твоя жена¹⁶ в рай и питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из несправедных».

34 (36). И заставил их сатана споткнуться о него и вывел их оттуда, где они были. И Мы сказали: «Низвергнитесь, (будучи) врагами друг другу! Для вас на земле место пребывания и пользование до времени».

35 (37). И Адам принял от Господа своего слова, и обратился Он к нему: ведь Он — обращающийся, милосердный!

36 (38). Мы сказали: «Низвергнитесь оттуда вместе! А если придет к вам от Меня руководство, то над теми, кто последует за Моим руководством, не будет страха, и не будут они печальны».

37 (39). А те, которые не веровали и считали ложью наши знамения, они — обитатели огня, они в нем вечно пребывают.

38 (40). О сыны Исраиля! Вспомните милость Мою, которую Я оказал вам, и верно

соблюдайте Мой завет, тогда и Я буду соблюдать завет с вами. Меня страшитесь (41). и веруйте в то, что Я ниспослал в подтверждение истинности того, что с вами. Не будьте первыми неверующими в это. И не покупайте за Мои знамения ничтожную цену и Меня бойтесь.

39 (42). И не облекайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то время как вы знаете!

40 (43). И выстаивайте молитву, и давайте очищение, и кланяйтесь с поклоняющимися.

41 (44). Неужели вы будете повелевать людям милость и забывать самих себя, в то время как вы читаете писание? Неужели же вы не образумитесь?

42 (45). Обратитесь за помощью к терпению и молитве; ведь она — великая тягота, если только не для смиренных,

43 (46). которые думают, что они встретят своего Господа и что они к Нему вернуться.

44 (47). О сыны Исра'ила! Вспомните милость мою, которую Я оказал вам, и что Я превознес вас над мирами¹⁷.

45 (48). И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и не будет принято от нее заступничество, и не будет взят от нее равновес, и не будет им оказано помощи!

46 (49). И вот¹⁸, Мы спасли вас от людей Фир'ауна, которые возлагали на вас злое наказание, убивая ваших сынов и оставляя в живых ваших женщин. В этом для вас испытание от Господа вашего великое!

47 (50). И вот, Мы разделили при вас море и спасли вас и потопили род Фир'ауна, а вы смотрели.

48 (51). И вот, Мы давали Мусе завет сорок ночей, а потом вы после него взяли себе тельца¹⁹, и вы были нечестивы.

49 (52). Потом Мы простили вас после этого,— может быть, вы будете благодарны!

50 (53). И вот Мы даровали Мусе писание и различение²⁰,— может быть, вы пойдете прямым путем!

51 (54). И вот сказал Муса своему народу: «О народ мой! Вы самим себе причинили несправедливость, взяв себе тельца. Обратитесь же к вашему Творцу и убейте самих себя:²¹ это — лучше для вас пред вашим Творцом. И Он обратился к вам: ведь Он — обрабающийся, милосердный!»

52 (55). И вот вы сказали: «О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто». И вас поразила молния, пока вы смотрели.

53 (56). Потом Мы воздвигли вас после вашей смерти,— может быть, вы будете благодарны!

54 (57). И Мы осенили вас облаком и низвели для вас манну и перепелов²². Питайтесь благами, которыми Мы вас наделили! Не Нам они причинили несправедливость, а самих себя обидели.

55 (58). И вот Мы сказали: «Войдите в это селение²³ и питайтесь там, где пожелаете, на удовольствие. И входите во врата, поклоняясь, и говорите: «Прощение!» — Мы простим вам ваши прегрешения и умножим делающим добро».

56 (59). И заменили те, которые были несправедливы, словом другим, чем им было сказано. И низвели Мы на тех, которые были несправедливы, наказание с неба за то, что они были нечестивы.

57 (60). И вот попросил Муса питья для своего народа, и Мы сказали: «Ударь своей палкой о скалу!» И выбились из нее двенадцать источников, так что все люди знали место своего водопоя. «Ешьте и пейте из удела Аллаха! И не творите зла на земле, распространяя нечестие».

58 (61). И вот вы сказали: «О Муса! Мы не можем стерпеть одинаковой пищи. Воззови ради нас к твоему Господу, пусть Он изведет нам то, что произрастает земля из своих овощей, кабачков, чесноку, чечевицы и луку». Сказал он: «Неужели вы просите заменить тем, что ниже, то, что лучше? Спуститесь в Египет²⁴, и вот — для вас то, что вы просите». И воздвигнуто было над ними унижение и бедность. И оказались они под гневом Аллаха. Это — за то, что они не уверовали в знамения Аллаха и избивали пророков без справедливости! Это — за то, что они ослушались и были преступниками!

59 (62). Поистине, те, которые уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и христиане, и сабии²⁵, которые уверовали в Аллаха и в последний день и творили благое,— им их награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны.

60 (63). И вот, Мы взяли договор с вас и воздвигли над вами гору: «Возьмите то, что Мы даровали вам, с силой и помните то, что там,— может быть, вы будете богобоязненны!»

61 (64). Потом вы отвратились после этого и, если бы не благодать Аллаха к вам и не его милость, то вы бы оказались потерпевшими убыток. (65). Вы знаете тех из вас, которые нарушили субботу, и Мы сказали им: «Будьте обезьянами презренными!»

62 (66). И Мы сделали это предостережением для того, что было пред этим и после него, и увещанием для богобоязненных.

63 (67). И вот²⁶ сказал Муса своему народу: «Вот, Аллах приказывает вам заколоть корову». Они сказали: «Не обращаешь ли ты нас в насмешку?» Он сказал: «К Аллаху я прибегаю, чтобы не оказаться глупцом!». (68). Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил нам, какова она». Он сказал: «Вот, Он говорит: «Она — корова, не старая и не телка, средняя по возрасту между этим». Делайте же то, что вам приказано!»

64 (69). Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил нам, каков ее цвет». Он сказал: «Вот, Он говорит: «Она — корова желтая, светел цвет ее, радуется она смотрящих»».

65 (70). Они сказали: «Призови для нас твоего Господа, чтобы Он разъяснил нам, какова она: ведь коровы похожи для нас одна на другую, и мы будем, если пожелает Аллах, на верном пути».

66 (71). Он сказал: «Вот, Он говорит: «Она — корова не укрощенная, которая пашет землю, и не орошает пашню, она сохранена в целости, нет отметины на ней»». Они сказали: «Теперь ты доставил истину». И они закололи ее, хотя готовы были не сделать этого.

67 (72). И вот вы убили душу и препирались о ней, а Аллах изводит то, что вы скрывали.

68 (73). И Мы сказали: «Ударьте его чем-нибудь от нее». Так оживляет Аллах мертвых и показывает вам Его знамения,— может быть, вы уразумете!

69 (74). Потом ожесточились сердца ваши после этого: они точно камень или еще более жестоки. Да! И среди камней есть такие, откуда выбиваются источники, и среди них есть то, что рассекается, и оттуда исходит Вода, среди них есть то, что повергается от страха пред Аллахом. Аллах не небрежет тем, что вы делаете!

70 (75). Неужели вы хотите, чтобы они поверили вам, когда была партия среди них, которые слушали слово Аллаха, а потом исказили его, после того как уразумели, хотя сами и знали?

71 (76). И когда встречали они тех, которые уверовали, то говорили: «Мы уверовали!» А когда сходились друг с другом наедине, то говорили: «Не расскажете ли вы им то, что открыл вам Аллах, чтобы поспорили они с вами об этом пред вашим Господом?» Разве вы не уразумете?

72 (77). Разве они не знают, что Аллах знает и то, что они скрывают, и то, что они обнаруживают?

73 (78). Среди них есть простецы²⁷, которые не знают писания, а только мечты. Они только думают. (79). Горе же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят: «Это от Аллаха»,— чтобы купить за это небольшую цену! Горе же им за то, что написали их руки, и горе им за то, что они приобретают!

74 (80). Они говорят: «Нас не коснется огонь, разве только на немного дней». Скажи: «Разве вы взяли с Аллаха договор и Аллах никогда не изменит Своего договора? Или вы говорите на Аллаха то, чего не знаете?»

75 (81). Да! Тот, кто приобрел зло и кого окружил его грех, то они — обитатели огня, они в нем вечно пребывают.

76 (82). А те, которые уверовали и творили благое, те — обитатели рая, они в нем вечно пребывают.

77 (83). И вот взяли Мы договор с сынов Исра'ила: «Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; к родителям — благодеяние, и к родичам, и сиротам, и беднякам. Говорите людям хорошее, выстаивайте молитву, приносите очищение». Потом вы отвернулись, кроме немногих из вас, и вы отвратились.

78 (84). И вот взяли Мы договор с вас: «Вы не будете проливать вашей крови, и вы не будете изгонять друг друга из ваших жилищ»²⁸. Потом вы подтвердили, свидетельствуя.

79 (85). Потом вы оказались теми, что убивали друг друга и изгоняли одну часть из вас из их жилищ, помогая друг другу против них грехом и враждой. А если приходили к вам пленные, вы выкупали их, а вам запрещено выводить их. Разве вы станете верить в одну часть писания и не будете верить в другую? Нет воздаяния тому из вас, кто делает это, кроме позора в жизни ближайшей, а в день воскресения они будут преданы самому жестокому наказанию! Аллах не небрежет тем, что вы делаете!

80 (86). Они — те, которые купили ближайшую жизнь за будущую, и не будет облегчено им наказание, и не будет им оказана помощь.

81 (87). Мы дали Мусе писание и вслед за ним Мы отправили посланников; и Мы даровали Исе, сыну Марьям²⁹, ясные знамения и подкрепили его духом святым. Неужели же каждый раз, как к вам приходит посланник с тем, чего ваши души не желают, вы превозносите? Одних вы объявили лжецами, других вы убиваете.

82 (88). И сказали они: «Сердца наши не обрезаны»³⁰. Да! Пусть проклянет их Аллах за неверие, мало они веруют!

83 (89). А когда пришло к ним писание от Аллаха, подтверждающее истинность того, что с ними, — а еще прежде они просили победы против тех, которые были неверны, — так когда пришло к ним то, что они знали, они не уверовали в это. Проклятие же Аллаха над неверующими!

84 (90). Плохо то, что они купили за свои души, чтобы им не верить в то, что ниспослал Аллах, из зависти, что Аллах ниспосылает от Своей милости кому пожелает из Своих рабов! И навлекли они на себя гнев на гнев. Поистине, для неверных — наказание унижительное!

85 (91). А когда скажут им: «Уверуйте в то, что ниспослал Аллах!», они говорят: «Мы веруем в то, что ниспослано нам», а не веруют в то, что за этим, хотя это — истина, подтверждающая истинность того, что с ними. Скажи: «Почему же тогда вы раньше избивали пророков Аллаха, если вы верующие?»

86 (92). К вам пришел Муса с ясными знаменами, потом вы взяли тельца после него, будучи несправедливыми.

87 (93). И вот Мы взяли договор с вас и воздвигли над вами гору: «Возьмите то, что Мы вам даровали, с силой и слушайте!» Они сказали: «Мы услышали и не повинемся». Они напоены по своему неверию в сердцах своим тельцом. Скажи: «Скверно то, что приказывает вам ваша вера, если вы веруете!»

88 (94). Скажи: «Если будущее жилище у Аллаха для вас исключительно, помимо людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы!»³¹

89 (95). Но никогда они не пожелают ее из-за того, что уготовали их руки. Поистине, Аллах знает про несправедливых!

90 (96). И действительно, ты найдешь, что они — самые жадные из людей к жизни, даже среди тех, которые придали (Аллаху) сотоварищей; всякий из них захотел бы, чтобы ему дана была жизнь в тысячу лет. Но и то не отдаст его от наказания, что ему будет дарована долгая жизнь: ведь Аллах видит, что они делают!

91 (97). Скажи: «Кто был врагом Джибрилу...»³² — ведь он низвел его на твое сердце с соизволения Аллаха для подтверждения истинности того, что было ниспослано до него, как прямой путь и радостная весть верующим.

92 (98). Кто бывает врагом Аллаха, и Его ангелов, и Его посланников, и Джибрила, и Микала...³³ то ведь и Аллах — враг неверным!

93 (99). Мы уже ниспослали тебе ясные знамения, и не веруют в них только распутные.

94 (100). И ведь каждый раз, как они заключают договор, часть из них отбрасывает его. Да, большинство их не верует!

95 (101). И когда приходил к ним посланник от Аллаха, подтверждая истинность того, что с ними, часть тех, кому даровано было писание, отбрасывали писание Аллаха за свои спины, как будто бы они не знают,

96 (102). и они последовали за тем, что читали шайтаны, в царство Сулаймана.³⁴ Сулайман не был неверным, но шайтаны были неверными, обучая людей колдовству и тому, что было ниспослано обоим ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они оба не обучали никого, пока неговорили: «Мы — искушение, не будь же неверным!» И те научались от них, чем разлучать мужа от жены, — но они не вредили этим никому иначе, как с дозволения Аллаха. И обучались они тому, что им вредило и не приносило пользы, и они знали, что тот, кто приобретал это, — нет ему доли в будущей жизни. Плохо то, что они покупали за свои души, — если бы они это знали!

97 (103). А если бы они уверовали и были богобоязненны, то награда от Аллаха лучше, — если бы они знали!

98 (104). О те, которые уверовали! Не говорите: «Упаси нас!», а говорите: «Посмотри на нас!» — и слушайте. А для неверных — наказание мучительное!

99 (105). Не хотели бы те из обладателей писания и многобожников, которые не веруют, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа, а Аллах избирает Своим милосердием, кого пожелает: ведь Аллах — обладатель великой милости!

100 (106). Всякий раз, как мы отменяем стих или заставляем его забыть, мы приводим лучший³⁵, чем он, или похожий на него. Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен?

101 (107). Разве ты не знаешь, что у Аллаха власть над небесами и землей и нет у вас, помимо Аллаха, ни близкого, ни помощника?

102 (108). Может быть, вы желаете спросить вашего посланника, как спрашивали раньше Мусу? Но если кто заменит неверием веру, тот сбился с ровной дороги.

103 (109). Многие из обладателей писания хотели бы обратить вас после вашей веры в неверных по зависти в них самих, после того как ясна стала им истина. Извините и отвернитесь, пока придет Аллах со Своим повелением. Поистине, Аллах мощен над каждой вещью!

104 (110). И выстаивайте молитву и приносите очищение; что благого вы уготоваете для самих себя, найдете то у Аллаха: ведь Аллах видит, что вы делаете!

105 (111). И говорят они: «Никогда никто не войдет в рай, кроме иудеев или

христиан». Это — мечтания их. Скажи: «Представьте ваши доказательства, если вы правдивы!»

106 (112). Да! Кто предал свой лик Аллаху, причем творит добро, то ему — его награда у его Господа, и нет страха над ними и не будут они печальны.

107 (113). И говорят иудеи: «Христиане — ни на чем!» И говорят христиане: «Иудеи — ни на чем!» А они читают писание. Так говорят те, которые не знают, подобное их словам. Аллах рассудит между ними в день воскресения относительно того, в чем они расходились.

108 (114). Кто же нечестивее того, кто препятствует, чтобы в местах поклонения Аллаху поминалось Его имя, и стремится разрушить их? Этим следовало бы входить туда только со страхом. Для них в здешнем мире — позор, и для них в будущем — великое наказание!

109 (115). Аллаху принадлежит и восток и запад³⁶; и куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Поистине, Аллах объемлющ, ведущий!

110 (116). И сказали они: «Взял Аллах для Себя ребенка»³⁷. Хвала Ему! Да, Ему принадлежит все, что на небесах и на земле! Все Ему покоряются!

111 (117). Он — творец небес и земли, а когда Он решит какое-нибудь дело, то только говорит ему: «Будь!» — и оно бывает.

112 (118). Говорят те, которые не знают: «Если бы заговорил с нами Аллах или пришло бы к нам знамение!» Так говорили и те, которые были до них, подобное их словам: похожи сердца их. Мы уже разъяснили знамения для людей, которые убеждены.

113 (119). Вот Мы послали тебя добрым вестником об истине и увещавателем, и ты не будешь спрошен об обитателях огня.

114 (120). И никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, пока ты не последуешь за их учением. Скажи: «Поистине, путь Аллаха есть настоящий путь!», — а если ты последуешь за их страстями после пришедшего к тебе истинного знания, то не будет тебе от Аллаха ни близкого, ни помощника.

115 (121). Те, кому Мы даровали писание, читают его достойным чтением — те веруют в него. А если кто не верует в него — те будут в убытке.

116 (122)³⁸. О сыны Исра'ила! Вспомните милость Мою, которую Я оказал вам, и что Я почтил вас над мирами.

117 (123). И бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и не будет принят от нее равновес, и не поможет ей заступничество, и не будет им оказано помощи!

118 (124). И вот, Господь испытал Ибрахима³⁹ словесами и потом завершил их. Он сказал: «Поистине, Я сделаю тебя для людей имамом». Он сказал: «И из моего потомства?» Он сказал: «Не объемлет завет Мой неправедных».

119 (125). И вот, сделали Мы этот дом сборищем для людей и надежным местом: «И возьмите себе место Ибрахима местом моления». И Мы заповедали Ибрахиму и Исма'илу:⁴⁰ «Очистите Мой дом для совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падающих ниц!»

120 (126). И вот сказал Ибрахим: «Господи! Сделай это страной безопасной и надели обитателей ее плодами, — тех из них, кто уверовал в Аллаха и в последний день». Он сказал: «А тем, которые не уверовали, Я дам в пользование ненадолго, а потом силой приведу их к наказанию огнем». Скверно это возвращение!

121 (127). И вот, Ибрахим воздвигает основы дома, и Исма'ил: «Господи наш! Прими от нас, ведь Ты, поистине — слышащий, знающий!»

122 (128). Господи наш! И сделай нас предавшимися Тебе и из нашего потомства — общину, предавшуюся Тебе, и покажи нам места нашего поклонения, и обратись к нам, ведь Ты — обращающийся, милосердный!

123 (129). Господи наш! И воздвигни среди них посланника из них, который прочтет им Твои знамения, и научит их писанию и мудрости, и очистит их, ведь Ты, поистине — великий, мудрый!»

124 (130). А кто отвратится от толка Ибрахима, кроме того, кто оглупил свою душу? Мы избрали его уже в ближнем мире, а в будущем, он, конечно, среди праведников.

125 (131). Вот сказал ему его Господь: «Предайся!»⁴¹ Он сказал: «Я предался Господу миров!»

126 (132). И завещал это Ибрахим своим сынам и Йа'куб:⁴² «О сыны мои! Поистине, Аллах избрал для вас религию; не умирайте же без того, чтобы не быть вам предавшимися!»

127 (133). Разве вы были свидетелями, когда предстала к Йа'кубу смерть? Вот он сказал своим сынам: «Чему вы будете поклоняться после меня?» Они сказали: «Мы будем поклоняться твоему богу и богу твоих отцов, — Ибрахима, и Исма'ила, и Исхака,⁴³ — единому Богу, и Ему мы предаемся».

128 (134). Это — народ, который уже прошел: ему — то, что он приобрел, и вам — то, что вы приобрели, и вас не спросят о том, что делали они.

129 (135). Они говорят: «Будьте иудеями или христианами — найдете прямой путь». Скажи: «Нет,— общиной Ибрахима, ханифа,⁴⁴ ведь он не был из многобожников».

130 (136). Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся».

131 (137). А если они уверовали в подобное тому, во что вы уверовали, то они уже нашли прямой путь; если же они отвратились, то они ведь в расколе, и Аллах избавит тебя от них: Он ведь — слышащий, знающий.

132 (138). По религии Аллаха!⁴⁵ А кто лучше Аллаха религией? И мы Ему поклоняемся.

133 (139). Скажи: «Разве вы станете препираться с нами из-за Аллаха, когда Он — наш Господь и ваш Господь?»

Нам — наши дела, а вам — ваши дела, и мы пред Ним очищаем веру».

134 (140). Или вы скажете,⁴⁶ что Ибрахим, и Исма'ил, и Исхак и Йа'куб, и колена были иудеями или христианами? Скажи: «Вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете!»

135 (141). Это — народ, который уже прошел: ему — то, что он приобрел, и вам — то, что вы приобрели, и вас не спросят о том, что делали они.⁴⁷

136 (142).⁴⁸ Вот скажут глупцы из людей: «Что отвратило их от киблы, которой они держались?» Скажи: «Аллаху принадлежит и восток и запад, Он ведет, кого хочет, к прямому пути!»

137 (143). И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были свидетелями относительно людей и чтобы посланник был свидетелем относительно вас.⁴⁹

138⁵⁰ И Мы сделали киблу, которой ты держался, только для того, чтобы Нам узнать, кто следует за посланником среди обращающихся вспять. И это — трудно, за исключением тех, кого повел Аллах правым путем: ведь Аллах не таков, чтобы губить вашу веру! Поистине, Аллах с людьми кроток, милосерд!

139 (144). Мы видим поворачивание твоего лица по небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Поверни же свое лицо в сторону запретной мечети.⁵¹ И где бы вы ни были, обращайтесь ваши лица в ее сторону. Ведь те, кому даровано писание, знают, конечно, что это — истина от Господа их,— поистине, Аллах не небрежет тем, что они делают!

140 (145). И если ты доставишь тем, кому даровано писание, всякое знамение, они не последуют за твоей киблой, и ты не последуешь за их киблой. И некоторые из них не следуют кибле других. А если ты последуешь за их страстями после того, как пришло к тебе знание, ты, конечно, тогда — из нечестивых.

141 (146). Те, которым Мы даровали писание, знают его так, как знают своих сынов, но ведь часть из них скрывают истину, хотя и знают.

142 (147). Истина — от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся!

143 (148). У всякого есть направление, куда он обращается. Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах!

Где бы вы ни были, Аллах приведет вас всех,— поистине, Аллах над каждой вещью мощен!

144 (149). И откуда бы ни вышел ты, обращай свое лицо в сторону запретной мечети; ибо это — истина от твоего Господа,— поистине, Аллах не небрежет тем, что вы делаете!

145 (150). И откуда бы ни вышел ты, обращай свое лицо в сторону запретной мечети и, где бы вы ни были, обращайтесь ваши лица в ее сторону, чтобы ни было у людей довода против вас, кроме тех из них, которые несправедливы. Не бойтесь же их и бойтесь Меня, чтобы Я мог завершить милость Мою вам,— может быть, вы будете на прямом пути! —

146 (151). как Мы послали среди вас посланника из вашей среды; он читает вам Наши знамения, и очищает вас, и обучает вас писанию и мудрости, и обучает вас тому, чего вы не знали раньше.

147 (152). Вспомните же Меня, Я вспомню вас; будьте благодарны Мне и не будьте отрицающими Меня!

148 (153).⁵² О те, которые уверовали! Обращайтесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах — с терпеливыми!

149 (154). Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха: «Мертвые!» Нет, живые! Но вы не чувствуете.

150 (155). Мы испытываем вас кое-чем из страха, голода, недостатка в имуществе и душах и плодах,— и обрадуй терпеливых,—

151 (156). тех, которые, когда их постигнет бедствие, говорят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвращаемся!»

152 (157). Это — те, над которыми благословения от их Господа и милость, и они — идущие верным путем.

153 (158). Ас-Сафа и ал-Марва — из примет Аллаха;⁵³ и кто паломничает к дому или совершает посещение, — нет греха на нем, что он обойдет кругом обоих, и кто добровольно избрет благо... ведь Аллах благодарен, знающ!

154 (159). Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из ясных знамений прямого руководства, после того как Мы разъяснили это людям в писании, — этих проклянет Аллах и проклянут проклинаящие,

155 (160). кроме тех, которые обратились и сотворили благое и разъяснили. К этим и Я обращаюсь: ведь Я — обращающийся, милостивый!

156 (161). Поистине, те, которые не веровали и умерли, будучи неверными, — над ними проклятие Аллаха, и ангелов, и людей — всех!

157 (162). Вечно пребывающими в нем они будут, — не будет облегчено им наказание, и не будет дано им отсрочки.

158 (163). И бог ваш — Бог единый, нет божества, кроме Него, милостивого, милосердного!

159 (164). Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле, который плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде, что Аллах низвел с неба и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке подчиненном, между небом и землей, — знамения людям разумным!

160 (165). А среди людей есть такие, которые берут, помимо Аллаха, равных; они любят их, как любят Аллаха. А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха. И если бы увидели те, которые нечестивы, когда они увидят наказание, что сила принадлежит целиком Аллаху и что Аллах силен в наказании!..

161 (166). Вот те, за которыми следовали, будут отделяться от тех, которые следовали, и увидят наказание, и оборвутся у них связи.

162 (167). И скажут те, которые следовали: «Если бы нам был возможен возврат, чтобы мы отделились от них, как они отделились от нас!» Так покажет им Аллах деяния их на погибель им, и не выйдут они из огня!

163 (168).⁵⁴ О люди! Ешьте то, что на земле, дозволенным, благим, и не следуйте по стопам сатаны, — ведь он для вас враг явный!

164 (169). Он приказывает вам только зло и мерзость и чтобы вы говорили на Аллаха то, чего не знаете.

165 (170). И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!» — они говорят: «Нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов». А если бы их отцы ничего не понимали и не шли бы прямым путем?

166 (171). Те, которые не веруют, подобны тому, который кричит на тех, что не слышат ничего, кроме зова и призыва: глухи, немые, слепы, — они и не понимают!⁵⁵

167 (172). О вы, которые уверовали! Ешьте блага, которыми Мы вас наделили, и благодарите Аллаха, если Ему вы поклоняетесь.

168 (173). Он ведь запретил вам⁵⁶ только мертвечину, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото не для Аллаха. Кто же вынужден, не будучи нечестивцем и преступником, — нет греха на том: ведь Аллах прощающ, милосерд!

169 (174). Поистине, те, которые скрывают⁵⁷ то, что низвел Аллах из писания, и покупают за это малую цену, — они пожирают в свои животы только огонь; не заговорит с ними Аллах в день воскресения и не очистит их, и для них — мучительное наказание!

170 (175). Они — те, что купили заблуждение за прямой путь и наказание за прощение. И как они терпеливы к огню!

171 (176). Это — потому, что Аллах ниспослал писание во истину, а те, которые разногласят о писании, конечно, в далеком расколе.

172 (177). Не в том благочестие,⁵⁸ чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие — кто уверовал в Аллаха, и в последний день, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал очищение, — и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в неспасении и бедствии и во время беды, — это те, которые были правдивы, это они — богобоязненные.

173 (178).⁵⁹ О те, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный — за свободного, и раб — за раба, и женщина — за женщину. А кому будет прощено что-нибудь его братом, то — следование по обычаю и возмещение ему во благе.

174. Это — облегчение от Господа вашего и милость; а кто преступит после этого, для него — наказание болезненное!

175 (179). Для вас в возмездии — жизнь, о обладающие разумом! — может быть, вы будете богобоязненны!

176 (180). Предписано вам, когда предстанет к кому-нибудь из вас смерть, если он оставляет добро, завещание для родителей и близких по обычаю, как обязательство для верующих.

177 (181). А кто изменит это после того, как слышал, то грех будет только на тех, которые изменяют это. Поистине, Аллах — слышащий, знающий!

178 (182). Кто же опасается от завещателя уклонения или греха и исправит их, то нет греха на нем. Поистине, Аллах — прощающий, милосердный!

179 (183).⁶⁰ О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он предписан тем, кто был до вас,— может быть, вы будете богобоязненны! —

180 (184). на отсчитанные дни; а кто из вас болен или в пути,⁶¹ то — число других дней. А на тех, которые могут это,— выкуп накормлением бедняка. Кто же добровольно возьмется за благо, это — лучше для него. А чтобы вы постились, это — лучше для вас, если вы знаете.

181 (185). Месяц рамадан,⁶² в который ниспослан был Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различения,— и вот, кто из вас застаёт этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен или в пути, то — число других дней. Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас, и чтобы вы завершили число и возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас,— может быть, вы будете благодарны!

182 (186). А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я — близок, отвечаю призыву зовущего, когда он позовет Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть уверуют в Меня,— может быть, они пойдут прямо!

183 (187). Разрешается вам⁶³ в ночь поста приближение к вашим женам: они — одевание для вас, а вы — одевание для них. Узнал Аллах, что вы обманываете самих себя, и обратился к вам и простил вас. А теперь прикасайтесь к ним и ищите того, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока не станет различаться пред вами белая нитка и черная нитка на заре, потом выполняйте пост до ночи. И не прикасайтесь к ним, когда вы благочестиво пребываете в местах поклонения. Таковы границы Аллаха, не приближайтесь же к ним! Так разъясняет Аллах Свои знамения людям,— может быть, они будут богобоязненны!

184 (188)⁶⁴. И не поедайте ваших достояний меж собой попусту и не отдавайте его судьям, чтобы съесть часть достояния людей преступно, в то время как вы знаете.

185 (189).⁶⁵ Спрашивают они тебя о новолуниях. Скажи: «Они — определение времени для людей и для хаджа». Не в том благочестие, чтобы входить вам в дома с задней стороны, но благочестие — кто стал богобоязненным. Входите же в дома через двери и бойтесь Аллаха,— может быть, вы будете счастливы!

186 (190).⁶⁶ И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте,— поистине, Аллах не любит преступающих!

187 (191). И убивайте их,⁶⁷ где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас: ведь соблазн — хуже, чем убийство! И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться там с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их: таково воздаяние неверных!

188 (192). Если же они удержатся, то... ведь Аллах — прощающий, милосердный!

189 (193). И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся) религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к несправедным!

190 (194). Запретный месяц — за запретный месяц. И запреты — возмездие. Кто же преступает против вас,— то и вы преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас. И бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах — с богобоязненными!

191 (195). И расходуйте на пути Аллаха, но не бросайтесь со своими руками к гибели⁶⁸ и благодетельствуйте,— поистине, Аллах любит добродетельствующих!⁶⁹

192 (196). И завершайте хадж и посещение ради Аллаха. Если вы затруднены, то — то из жертвенных животных, что легко. И не брейте своих голов, пока не дойдет жертва до своего места. А если кто из вас болен или у него страдание в голове, то — выкуп постом, или милостынею, или жертвой. А когда вы в безопасности, то тому, кто пользуется посещением для хаджа, тому — то из жертвенных животных, что легко; а кто не найдет, то — пост три дня во время хаджа и семь, когда вернетесь; вот — десять полных. Это — для тех, у кого семья не находится при запретной мечети. И бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах силен в наказании!

193 (197). Хадж — известные месяцы, и кто обязался в них на хадж, то нет приближения (к женщине), и распутства, и препирательства во время хаджа, а что вы сделаете хорошего, то знает Аллах. И запасайтесь, ибо лучший из запасов — благочестие. И бойтесь Меня, обладатели рассудков!

194 (198). Нет на вас греха, если вы будете искать милости от вашего Господа. А когда вы двинетесь с Арафата,⁷⁰ то поминайте Аллаха при заповедном памятнике. И поминайте Его, как Он вывел вас на прямой путь, хотя до этого вы были из заблуждающихся.

195 (199). Потом двигайтесь там же, где двинулись люди, и просите у Аллаха прощения,— поистине, Аллах — прощающий, милосердный!

196 (200). А когда вы кончите ваши дела благочестия, то поминайте Аллаха, как

поминаете ваших отцов или еще сильнее. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам в ближней жизни», а в будущей — нет ему доли.

197 (201). И среди них есть такие, что говорят: «Господи наш!»⁷¹ Даруй нам в ближней жизни добро и в последней добро и защити нас от наказания огня.

198 (202). Этим — удел от того, что они приобрели, — поистине, Аллах быстр в расчете!

199 (203). И поминайте Аллаха в дни исчисленные.⁷² Кто поторопится в два дня, нет греха на том, а кто замедлит, то нет греха на том; это — для того, кто богобоязнен. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны!

200 (204).⁷³ Среди людей есть такой, речи которого восторгают тебя в ближайшей жизни, и он призывает Аллаха в свидетели тому, что у него в сердце, и он упорен в препирательстве.

201 (205). А когда он отвернется, то ходит по земле, чтобы распространить там нечестие и погубить и посевы и потомство, — а Аллах не любит нечестия!

202 (206). А когда ему скажут: «Побойся Аллаха!», то его схватывает величие во грехе. Довольно же с него геенны, и скверное она пристанище!

203 (207). А среди людей есть и такой, который покупает свою душу, стремясь к благоволению Аллаха, а Аллах — кроток к рабам.

204 (208). О вы, которые уверовали! Входите все в покорность и не следуйте по стопам сатаны! Ведь он для вас — явный враг!

205 (209). А если вы споткнетесь после того, как пришли к вам ясные знамения, то знайте, что Аллах — великий, мудрый.

206 (210). Неужели они⁷⁴ ждут только, чтобы пришел к ним Аллах в сени облаков и ангелы? И решено было дело, и к Аллаху возвращаются дела.

207 (211). Спроси сынов Исра'ила: сколько Мы ниспослали им ясных знамений? А если кто изменяет милость Аллаха после того как она пришла к нему, то ведь Аллах силен в наказании!

208 (212). Разукрашена пред теми, которые не веруют, ближайшая жизнь,⁷⁵ и издеваются они над теми, которые уверовали, но те, которые боятся, — выше их в день воскресения. Поистине, Аллах наделяет, кого желает, без счета!

209 (213). Люди были одной общиной,⁷⁶ и послал Аллах пророков вестниками и увещателями и ниспослал с ними писание с истиной, чтобы рассудить между людьми в том, в чем они разошлись. А разошлись только те, которым она была дарована, после того как пришли к ним ясные знамения, по злобе между собой. И Аллах вывел тех, которые уверовали, к той истине, относительно которой они разошлись по его дозволению. Аллах ведет, кого пожелает, к прямой дороге!

210 (214). Или вы думали, что войдете в рай, когда к вам еще не пришло подобное тому, что пришло к прошедшим до вас? Их коснулась беда и стеснение, и они подверглись землетрясению, так что посланник и те, которые уверовали с ним, говорили: «Когда же помощь Аллаха?» Да! Поистине, помощь Аллаха близка!

211 (215). Они спрашивают тебя: что им издерживать? Скажи: «Что вы издерживаете из блага, то — родителям, близким, сиротам, бедным, путникам. Ведь, что бы вы ни сделали из добра, — поистине, Аллах про это знает».

212 (216).⁷⁷ Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас.

213. И может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, — поистине, Аллах знает, а вы не знаете!

214 (217). Спрашивают они тебя о запретном месяце — сражении в нем.⁷⁸ Скажи: «Сражение в нем велико, а отвращение от пути Аллаха, неверие в него и запретную мечеть и изгнание оттуда ее обитателей — еще больше пред Аллахом: ведь соблазн — больше, чем убиение!» А они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если смогут. А если кто из вас отпадет от вашей религии и умрет неверным, у таких — тщетны их деяния в ближайшей и будущей жизни! Эти — обитатели огня, они в нем вечно пребывают!

215 (218). Поистине, те, которые уверовали и которые выселились и боролись на пути Аллаха, те надеются на милость Аллаха, — ведь Аллах прощающ, милосерд!

216 (219). Они спрашивают тебя о вине и майсире.⁷⁹ Скажи: «В них обоих — великий грех и некая польза для людей, но грех их — больше пользы». И спрашивают они тебя: что им расходовать?

217. Скажи: «Остаток».⁸⁰ Так разъясняет Аллах вам знамения, — может быть, вы подумаете

218 (220). о ближайшей и последней жизни! И спрашивают они тебя о сиротах.⁸¹ Скажи: «Совершение благого им — хорошо».

219. А если вы смешаетесь с ними, то они — ваши братья; Аллах распознает творящего нечестие от творящего благо. А если бы захотел Аллах, Он был вас утомил. Поистине, Аллах — великий, мудрый!

220 (221).⁸² Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют: конечно, верующая рабыня лучше многобожницы, хотя бы она и восторгала вас. И не выдавайте замуж

за многобожников, пока они не уверуют: конечно, верующий раб — лучше многобожника, хотя бы он и восторгал вас.

221. Эти зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению со Своего дозволения и разъясняет Свои знамения людям,— может быть, они опомнятся!

222 (222). Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Это — страдание». Отдаляйтесь же от женщин при менструациях и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как приказал вам Аллах. Поистине, Аллах любит обращающихся и любит очищающихся!

223 (223). Ваши жены — нива для вас,⁸³ ходите на вашу ниву, когда пожелаете, и уготовывайте для самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте, что вы Его встретите,— и обрадуй верующих!

224 (224). И не делайте Аллаха предметом ваших клятв,⁸⁴ что вы благочестивы и богобоязненны и упорядочиваете среди людей. Поистине, Аллах — слышащий, знающий!

225 (225). Аллах не взыскивает с вас за пустословие в ваших клятвах, но взыскивает с вас за то, что приобрели ваши сердца. Поистине, Аллах — прощающий, кроткий!

226 (226). Тем, которые поклянутся о своих женах,⁸⁵ — выжидание четырех месяцев. И если они возвратятся... то, поистине, Аллах прощающ, милосерд!

227 (227). А если они решатся на развод, то, поистине, Аллах — слышащий, знающий!

228 (228). А разведенные выжидают сами с собой три периода,⁸⁶ и не разрешается им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в последний день. А мужьям их — достойнее их вернуть при этом, если они желают умиротворения. И для них — то же самое, что и на них, согласно принятому. Мужьям над ними — степень. Поистине, Аллах — великий, мудрый!

229 (229). Развод — двукратен:⁸⁷ после него — либо удержать, согласно обычаю, либо отпустить с благодеянием. И не дозволяется вам брать из того, что вы им даровали, ничего. Разве только они оба боятся не выполнить ограничений Аллаха. А если вы боитесь, что они не выполнят ограничений Аллаха, то не будет греха над ними в том, чем она себя выкупит. Таковы границы Аллаха, не преступайте же их, а если кто преступает границы Аллаха, то — несправедные.

230 (230). Если же он дал развод ей (в третий раз),⁸⁸ то не разрешается она ему после, пока не выйдет она за другого мужа, а если тот дал ей развод, то нет греха над ними, что они вернуться, если думают выполнить ограничения Аллаха. И вот границы Аллаха; Он разъясняет их людям, которые обладают знанием.

231 (231). А когда вы дали развод женам, и они достигли своего предела, то удерживайте их согласно принятому или отпускайте их согласно принятому, но не удерживайте их насильно, преступая: если кто делает это, тот несправедлив к самому себе. И не обращайтесь знамений Аллаха в насмешку; поминайте милость Аллаха вам и то, что Он ниспослал вам из писания и мудрости, увещевая вас этим; и бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах о каждой вещи знает!

232 (232). А когда вы дали развод женам и они достигли своего предела, то не препятствуйте им вступать в брак с мужьями их, если они согласятся между собой согласно принятому. Этим увещают тех из вас, которые веруют в Аллаха и в последний день. Это — яснее для вас и чище. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете!

233 (233). А родительницы кормят своих детей два полных года;⁸⁹ Это — для того, кто захочет завершить кормление. А на том, у кого родился,— пропитание их и одежда согласно обычаю. Не возлагается на душу ничего, кроме возможного для нее. Да не причиняется обиды родительнице за ее ребенка и тому, у кого родился, за его ребенка. И на наследнике — то же самое. А если оба они пожелают отлучения с согласия между ними и совета, то нет греха над ними. А если вы пожелаете просить выкормить ваших детей, то нет греха над вами, если вы вручите то, что даете согласно обычаю⁹⁰. И бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах видит то, что вы делаете!

234 (234). А те из вас, которые упокоятся и оставят жен⁹¹, — они выжидают сами с собой четыре месяца и десять. А когда они достигнут своего предела, то нет греха над вами в том, что они будут делать сами с собой согласно обычаю. Поистине, Аллах — сведущ в том, что вы делаете!

235 (235). И нет греха над вами в том, что вы предложите из сватовства за женщин или скроете в своих душах. Аллах знает, что вы вспомните о них. Но не обещайте им втайне, разве только будете говорить им речь принятую.

236. И не решайтесь на брачный союз, пока писание не дойдет до своего предела, и знайте, что Аллах знает то, что в ваших душах, и берегитесь Его и знайте, что Аллах прощающ, кроток!

237 (236)⁹². Нет греха над вами, если вы дадите развод женам, пока не коснулись их и не обусловили им условия. Дайте им в пользование, — на состоятельном — его мера и на бедном — его мера, — в пользование согласно с обычаем, как должно добродетельным.

238 (237). А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но уже обусловив для них условие, то им — половина того, что вы обусловили, разве только они извинят и извинит тот, в руке которого брачный союз. А если вы извините, то это — ближе к богобоязненности. И не забывайте благости между собой, — ведь Аллах видит то, что вы делаете!

239 (238)⁹³. Охраняйте молитвы и молитву среднюю и стойте пред Аллахом благоговейно.

240 (239). А если вы боитесь, то (молитесь) пешими или конными, когда же вы в безопасности, то вспоминайте Аллаха, как Он вас научил тому, чего вы раньше не знали.

241 (240)⁹⁴. А те из вас, которые упокоятся и оставят жен, то завещание для их жен — пользование до года без понуждения уйти. А если они выйдут, то нет греха на вас в том, что они сделают сами с собой согласно принятому. Поистине, Аллах — великий, мудрый!

242 (241). И для разведенных — пользование по обычаю, как должно богобоязненным.

243 (242). Так разъясняет Аллах Свои знамения, — может быть, вы уразумеваете!

244 (243)⁹⁵. Разве ты не видел тех, которые вышли из своих жилищ, — а было их тысячи, — остерегаясь смерти?⁹⁶ И сказал им Аллах: «Умрите!» А потом Он оживил их. Поистине, Аллах — обладатель милости к людям, но большая часть людей — неблагодарны!

245 (244). И сражайтесь на пути Аллаха и знайте, что Аллах — слышащий, знающий!

246 (245). Кто даст Аллаху хороший заем⁹⁷, дабы Он увеличил ему во много раз? Аллах сжимает и щедро дает, и к Нему вы будете возвращены!

247 (246). Разве ты не видел знать сынов Исраиля после Мусы, как они сказали пророку⁹⁸ из них: «Пошли нам царя, тогда мы будем сражаться на пути Аллаха». Он сказал: «А может быть, если вам будет предписано сражение, вы не будете сражаться?» Они сказали: «А почему бы нам не сражаться на пути Аллаха, раз мы изгнаны из наших жилищ и от наших детей?» А когда предписано было им сражение, они отвратились, кроме немногих среди них. А Аллах знает неправедных!

248 (247). И сказал им их пророк: «Вот, Аллах послал вам Талута⁹⁹ царем». Они сказали: «Как может быть у него власть над нами, когда мы более достойны власти, чем он, и у него нет достатка в имуществе?» Он сказал: «Аллах его избрал над вами и увеличил ему широту в знании и теле. Поистине, Аллах дарует Свою власть, кому пожелает». Аллах — объемлющ, знающ!

249 (248). И сказал им их пророк: «Знамение его власти в том, что придет к вам ковчег¹⁰⁰, в котором сакина от вашего Господа и остаток того, кто оставил род Мусы и род Харуна. Несут его ангелы. Поистине, в этом — знамение для вас, если вы верующие!»

250 (249). И когда выступил Талут с войсками, он сказал: «Аллах испытывает вас рекой. И кто выпьет из нее, тот не мой; а кто не вкусит ее, тот мой, кроме тех, кто зачерпнет горсть рукой». И пили из нее, кроме немногих среди них. А когда перешел он и те, которые уверовали с ним, они сказали: «Нет мощи у нас с Джалутом и его войсками». Сказали те, которые думали, что они встретят Аллаха: «Сколько небольших отрядов победило отряд многочисленный с дозволения Аллаха!» Поистине, Аллах — с терпеливыми.

251 (250). И когда они показались перед Джалутом и его войсками, то сказали: «Господи наш! Пролей на нас терпение и укрепи наши стопы и помоги нам против людей неверных!»

252 (251). И обратили они их в бегство с дозволения Аллаха, и убил Дауд Джалута, и даровал ему Аллах власть и мудрость, и научил тому, что Ему было угодно. И если бы не удержание Аллахом людей друг от друга, то пришла бы в расстройство земля, но Аллах — обладатель благости для миров!

253 (252). Таковы знамения Аллаха; читаем Мы их тебе во истине. И действительно, ты — из посланников!

254 (253). Вот — посланники! Одним Мы дали преимущество перед другими. Из них были такие, с которыми говорил Аллах и вознес некоторых из них степенями. И Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и подкрепили его духом святым. И если бы Аллах захотел, то не сражались бы те, кто был после них, после того, как пришли к ним ясные знамения. Но они разошлись, и среди них были такие, что уверовали, и такие, что не верили. А если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает.

255 (254). О те, которые уверовали! Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, прежде чем придет день, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверные, они — обидчики.

256 (255)¹⁰¹. Аллах — нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, что будет.

после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю, и не тяготит Его охрана их, — поистине, Он — высокий, великий!

257 (256). Нет принуждения в религии¹⁰². Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения. Поистине, Аллах — слышащий, знающий!

258 (257). Аллах — друг тех, которые уверовали: Он выводит их из мрака к свету.

259. А те, которые неверны, друзья их — идолы; они выводят их от света к мраку. Это — обитатели огня, они в нем вечно пребывают!

260 (258). Разве ты не видел того¹⁰³, кто препирался с Ибрахимом о Господе его за то, что Аллах дал ему власть? Вот сказал Ибрахим: «Господь мой — тот, который оживляет и умерщвляет». Сказал он: «Я оживляю и умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Вот Аллах выводит солнце с востока, выведи же его с запада». И смущен был тот, который не верил: Аллах ведь не ведет прямо людей неправедных!

261 (259). Или как тот, кто проходил мимо селения, а оно было разрушено до основания¹⁰⁴. Он сказал: «Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?» И умертвил его Аллах на сто лет, потом воскресил. Он сказал: «Сколько ты пробыл?» Тот сказал: «Пробыл я день или часть дня». Он сказал: «Нет, ты пробыл сто лет! И посмотри на твою пищу и питье, оно не испортилось. И посмотри на своего осла — для того, чтобы Нам сделать тебя знамением для людей, — посмотри на кости, как Мы их поднимаем, а потом одеваем мясом». И когда стало ему ясно, он сказал: «Я знаю, что Аллах мощен над всякой вещью!»

262 (260). И вот сказал Ибрахим: «Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых». Он сказал: «А разве ты не уверовал?» Тот сказал: «Да! Но чтобы сердце мое успокоилось». Сказал Он: «Возьми же четырех птиц, собери их к себе, потом помести на каждой горе по части их, а потом позови их: они явятся к тебе стремительно, и знай, что Аллах велик и мудр!»

263 (261)¹⁰⁵. Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе — сто зерен. И Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине, Аллах объемлющ, знающ!

264 (262). Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им — их награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны.

265 (263). Речь добрая и прощение — лучше, чем милостыня, за которой следует обида. Поистине, Аллах богат, кроток!

266 (264). О вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши милостыни попреком и обидой, как тот, кто тратит свое имущество из лицемерия перед людьми и не верует в Аллаха и последний день. Подобен он скале, на которой земля: не постиг ее ливень и оставил голой. Они не владеют ничем из того, что приобрели: ведь Аллах не ведет прямым путем людей неверных!

267 (265). А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ, подобны саду на холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне. А если не постиг его ливень, то — роса. Поистине, Аллах видит то, что вы делаете!

268 (266). Разве хотел бы кто-нибудь из вас, чтобы был у него сад из пальм и виноградника, где внизу текут реки, где для него — всякие плоды, и постигла бы его старость, в то время как у него слабое потомство, и сад постиг бы ураган, в котором огонь, и сгорел бы он? Так разъясняет Аллах вам знамения, — может быть, вы обдумаете!

269 (267). О вы, которые уверовали! Расходуйте лучшее из того, что приобрели, и того, что извели Мы вам из земли. И не устремляйтесь к дурному из этого, чтобы расходовать, —

270. чего бы вы и сами не взяли, если бы не зажмурили на это глаза. И знайте, что Аллах богат и славен!

271 (268). Сатана обещает вам бедность и приказывает вам мерзость, а Аллах обещает вам Свое прощение и милость. Поистине, Аллах объемлющ, знающ!

272 (269). Он дарует мудрость, кому пожелает; а кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо. Но вспоминают только обладатели разума!

273 (270). Какую бы издержку вы ни издержали, какой бы обет ни обещали, поистине, Аллах знает это, и нет помощников у несправедливых! (271). Если вы открыто делаете милостыню, то хорошо это; а если скроете ее, подавая ее бедным, то это — лучше для вас и покрывает для вас ваши злые деяния: поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете!

274 (272). Не на тебе лежит руководство ими, но Аллах ведет прямым путем, кого хочет. Что бы вы ни потратили из добра, — то для самих себя, и вы тратите только из стремления к лику Аллаха. И что бы вы ни потратили из блага, будет полностью воздано вам, и вы не будете обижены. (273). Беднякам, которые удержаны на пути Аллаха, — не могут они двигаться по земле; глупец принимает их за богачей из-за скромно-

сти, ты узнаешь их по признакам их; они не просят у людей, приставая. Что бы вы ни издержали из добра, поистине, Аллах про это знает!

275 (274). Те, которые издерживают свое имущество ночью и днем, тайно и явно, — им их награда у Господа их; нет страха над ними, и не будут они печальны!

276 (275)¹⁰⁶. Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это — за то, что они говорили: «Ведь торговля — то же, что рост». А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. К кому приходит увещание от его Господа и он удержится, тому (прощено), что предшествовало: дело его принадлежит Аллаху; а кто повторит, те — обитатели огня, они в нем вечно пребывают!

277 (276). Уничтожает Аллах рост и выращивает милостыню. Поистине, Аллах не любит всякого неверного грешника! (277). Те же, которые уверовали, и творили благое, и выстаивали молитву, и давали очищение, — им их награда у Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны!

278 (278). О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста, если вы верующие.

279 (279). Если же вы этого не сделаете, то услышите про войну от Аллаха и Его посланника. А если обратитесь, то вам — ваш капитал. Не обижайте, и вы не будете обижены!

280 (280). А если кто в тягости, то — ожидание до облегчения, — ведь оказать милость — лучше для вас, если вы знаете!

281 (281). И берегитесь того дня, в который вы будете возвращены к Аллаху; затем всякой душе будет уплачено сполна за то, что она приобрела, и они не будут обижены!

282 (282)¹⁰⁷. О вы, которые уверовали! Если берете в долг между собой на определенный срок, то записывайте это. И пусть записывает между вами писец по справедливости. И пусть не отказывается писец написать так, как научил его Аллах, и пусть он пишет, и пусть диктует тот, на котором обязательство. И пусть он боится Аллаха, Господа своего, и пусть не убавляет там ничего. А если тот, на ком обязательство, малоумен или слаб, или не может сам диктовать, то пусть диктует его близкий по справедливости. И берите в свидетели двух из ваших мужчин. А если не будет двух мужчин, то — мужчину и двух женщин, на которых вы согласны, как свидетелей, чтобы если собьется одна, то напомнила бы ей другая. И пусть не отказываются свидетели, когда их зовут; и пусть не наскучивает вам записывать его — малым или большим — до его срока. Это — справедливее пред Аллахом, и прямее для свидетельства, и ближе, чтобы вам не сомневаться. Разве только, если это будет торговлей наличной, которую вы обращаете между собой, — тогда на вас не будет греха, что вы запишете этого. И ставьте свидетелей, когда уславливаетесь между собой, и не должно причинять неприятности писцу и свидетелю; а если сделаете, то это — распутство у вас. И бойтесь Аллаха; поистине, Аллах вас учит, и Аллах знает о всякой вещи!

283 (283). А если вы будете в пути и не найдете писца, то берутся залогом. А если кто-нибудь из вас доверяет другому, то пусть возвращает тот, которому доверено, свой залог и пусть боится Аллаха, Господа своего. И не скрывайте свидетельства, а если кто скроет, то он — тот, у кого сердце грешно, а Аллах знает то, что вы делаете!

284 (284)¹⁰⁸. Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле! Если вы обнаружите то, что в ваших душах, или скроете это, Аллах взыщет с вас за это расчет. И простит он, кому пожелает, и накажет, кого пожелает: поистине, Аллах над каждой вещью мощен!

285 (285). Уверовал посланник в то, что ниспослано ему от его Господа, и верующие. Все уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его посланников. «Не различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников». Они говорят: «Мы услышали и повинемся! Прощение Твое, Господи наш, и к Тебе — возвращение!»

286 (286). Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее. Ей — то, что она приобрела, и против нее — то, что она приобрела для себя. «Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили. Господи наш! Не возлагай на нас тяготу, как Ты возложил на тех, кто был раньше нас. Господи наш! Не возлагай также на нас то, что нам невмочь. Избавь нас, прости нам и помилуй нас! Ты — наш владыка, помоги же нам против народа неверного!»



Сура 1

1. Несмотря на то, что сура 1 является одной из самых коротких (содержит 7 аятов) и прочтена гораздо позднее — в конце 1 мекканского периода, она заняла место в начале книги, ибо носит характер вступительной молитвы, в коей раскрывается суть единобожия и поклонения ему. По сведениям историков, в Сухуфе ее не было, она оказалась в частных рукописях, привлеченных для сравнения при составлении Мусфаха Усмана. Среди верующих она популярна под названием «ал-Хамду» (Хвала) — по начальному слову первого аята, которое в традиции имеет значение не только восхваления, но и благодарения.

2. Популярная в исламе формула, произносимая перед молитвой, официальными выступлениями, перед началом еды, работы и т. д. Она предвещает все суры, за исключением одной — суры 9.

3. Двойная нумерация аятов связана с тем, что академик И. Ю. Крачковский осуществлял перевод по изданию текста Корана, подготовленного немецким арабистом Г. Флюгелем, опубликованного в 1858 году, где содержалась старая нумерация аятов. В двадцатых годах нашего века известный египетский богослов Мухаммад Али подготовил критический текст, основанный на древнейших и авторитетнейших рукописях Корана, текст этот был опубликован в Каире в качестве официального критического издания в 1928 году. По получении этого издания И. Ю. Крачковский снова сверил перевод, оправдавший ряд предложенных им ранее коньктур, принял более точное, чем в издании Г. Флюгеля, разделение аятов и эту нумерацию внес в свой текст в качестве второй нумерации (в скобках). Каирское издание признается официальным, по нему Коран издается во всех мусульманских странах.

4. «Те, которые находятся под гневом» обычно толкуются как многобожники, поклоняющиеся племенным идолам, вера которых в Коране называется «ширк» (предание богу сотоварищей, т. е. отрицание единобожия). Под «заблудшими» подразумеваются иудеи и христиане. В мекканском и в начале мединского периода в Коране существует еще различное отношение к этим верованиям. Лишь в последующие годы в Медине намечается одинаковое отношение ко всем, не принявшим ислам, их стали относить к «кафирам» (неверным). Это свидетельствует об эволюции отношения Мухаммада к «людям писания» (араб. Ахл ал-китаб), под которыми подразумевались иудеи и христиане.

Сура 2

1. Название суры связано с легендой, упомянутой в аятах 63—66. Первоначально, должно быть, название звучало более понятно и длиннее — «сура, где упоминается легенда о корове», или что-либо в этом роде. Но это можно лишь предполагать, точных же данных нет, поскольку Сухуф был уничтожен. Сура 2 — самая длинная, содержит 286 аятов. Хронологически — это первая сура, прочитанная в Медине в первый год хиджры (есть части, читанные во 2-й год хиджры, до начала 624 г.). Состоит из 10 больших и средних групп аятов, различающихся по тематике, нередко с неожиданными переходами от одной темы к другой. Очевидно, разные группы аятов были прочитаны в проповедях в разное время, но при составлении текста Корана объединены в одну суру.

2. Отдельные буквы в начале суры встречаются в 29 сурах Корана. Содержание их было неясно уже через несколько десятилетий после письменной фиксации текста. Во всяком случае, ни в древнейших списках Корана, ни в первоисточниках нет никаких сведений о происхождении этих букв. В последующих традиционных толкованиях они трактуются как буквы скрытого смысла, а также как первые буквы имен Аллаха. В науке выдвинуто предположение, что Зайд ибн Сабит при сборе текста Сухуфа в отдельных сурах отмечал буквами имена тех, кто ему читал суру наизусть во время записи.

3. Аяты 1—4 служат как бы вступлением, где дается характеристика Корана и сформулированы важнейшие требования к верующим.

4. «Вера в тайное» толкуется как вера в тайну откровения.

5. «Из того, чем наделен, расхотевать» — подношение верующего в пользу общины мусульман. Выражение появилось еще в Мекке и позже в истории ислама оно было названо закятом.

6. Ниспослано тебе — т. е. Мухаммаду Коран.

7. Ниспослано до тебя — т. е. писания, ниспосланные иудеям и христианам, известные автору Корана. В дальнейших сурах упоминаются 4 писания: Таурат (Тора), Инджил (Евангелие), Забур (Псалтырь) и «листы Ибрахима» — такие листы неизвестны, но в традиции ислама предполагается, что их содержание вошло в текст Корана.

8. Аяты 5—22 — о тех, кто не верует и отвергает откровение или лицемерит.

9. Термин «торговля» употребляется здесь в смысле договора, так представляются взаимоотношения человека с Аллахом.

10. Противопоставление дождевой тучи (мрака) и молнии (света) как образ для сравнения верования с отвержением откровения.

11. Выражение Корана, означающее многобожие доисламских арабов, поклонение каждого племени своему богу, идолу.
12. Здесь сура в смысле откровения.
13. Аяты 23—135 — наиболее длинное повествование: противопоставление верующих и неверующих, легенда об Адаме, пророках Мусе и Сулеймане и т. д.
14. Дается картина рая, «чистые супруги» — райские девы, гурии.
15. Сотворение Адама, а от него людей как наместников на земле.
16. В Коране Хаво (Ева) не названа, она упоминается только как «жена Адама».
17. Отголосок представления о богоизбранности иудеев.
18. Легенда о Моисее, Фараоне, об исходе евреев из Египта. В Коране встречается много легенд, представлений, традиций, восходящих в большинстве к Ветхому завету, меньше — к Новому Завету. Это дало повод многим европейским исследователям говорить о неоригинальности ислама как религии и о влиянии иудейско-христианской литературы на Коран. Однако такие утверждения нередко выражали всего лишь миссионерские настроения. Для объективной же научной оценки этого явления необходимо учесть два фактора: во-первых, то, что традиции и представления арабов и евреев восходят к одному семитскому корню. Следовательно, оба эти народа являются в равной степени наследниками всего семитского. Семитские легенды и традиции ранее были зафиксированы у евреев (с V в. до н. э.), у арабов же они сохранялись в представлениях и устной форме вплоть до появления первой письменной фиксации в Коране. Во-вторых, арабы не были чужды как иудаизма, так и христианства, значительная их часть исповедовала эти религии, и многобожники жили веками рядом с иудеями и христианами. Поэтому наличие параллелей в сюжетах, персонажах, легендах и традициях иудейско-христианской литературы и Корана является совершенно естественным и понятным.
19. Речь, видимо, о легенде, когда евреи стали поклоняться золотому тельцу в отсутствие Моисея, пока он сходил в Синай и получил откровение (Исход, гл. 32).
20. Термин «различение» употребляется в смысле, «писание», в котором дается различение веры и неверия. Сам Коран также часто называется «различением» (ал-Фуркан).
21. Убейте виновных среди вас, погребивших поклонением тельцу.
22. Манна и перепела, а далее (аят 57) легенда об источниках — по легендам Торы.
23. Имеется в виду Иерусалим.
24. Здесь слово «Миср» следует переводить как город, поскольку евреи уже давно вышли из Египта.
25. Иудейство означает религию евреев, а сами они как народ названы в коране сынами Израиля. Христиане названы назареями. Сабии — малоизученная секта — мандеи, жившие в Месопотамии.
26. В аятах 63—67 повеление Аллаха заколоть корову желтую, не побывавшую под ярмом, среднюю по возрасту. По легенде в Торе ее зарезал Елеазар (Книга чисел, глава 19).
27. Термин «простец» — безграмотный.
28. Обращение к мусульманам и намек на то, что мекканцы враждовали с последователями Мухаммада и изгнали их из их жилищ в Мекке.
29. Иса сын Марйам — Иисус Христос.
30. «Сердца наши не обрезаны» — арабский текст звучит как «сердца наши окутаны оболочкой». В традиционных арабских источниках толкуется это вовсе не как ритуальное обрезание, а как проявление жестокосердия, невосприимчивости сердца к проповеди. Такой перевод, видимо, выглядит более понятным, более соответствует контексту.
31. Аят сложной конструкции. Смысл по тексту: «Если будущее жилище у Аллаха принадлежит только вам, исключая других людей».
32. Джибрил — архангел Гавриил. «Низвел его» — подразумевается ниспослание Корана через Джибрила.
33. Микал — архангел Михаил.
34. Царство Сулеймана — древнееврейского царя Соломона, сына Давида. Харут и Марут — по легенде падшие ангелы.
35. Отмена раннего аята Корана более поздним аятом. В последующие века в традиции ислама на основе подобных аятов возникла «теория насха», она в дальнейшем была применена и в отношении хадисов — преданий о решениях, идеях, делах пророка Мухаммада, признанных после Корана вторым священным источником ислама.
36. В Коране упоминается только восток и запад, а север и юг не упоминаются. Тут речь о стороне, куда обращается лицо молящегося (кибла), но изменение направления киблы произойдет чуть позже.
37. Полемика о детях Аллаха здесь только намечена. В дальнейшем она усиливается с попыткой придать ему родственность с прежними божествами, а Мухаммад настаивает на его абсолютности и отсутствии у него любого родства и с богами, и с людьми.
38. Аяты 116—117 — точные повторения аятов 44—45 этой же суры.
39. Ибрахим — Авраам. В проповеди отчетливо бросается в глаза то, что Мухаммад призывал восстановить «веру Ибрахима», видимо, не предполагая, что создает новую религию.
40. Исмаил — Измаил — сын Ибрахима от его жены Агари (араб. Хаджар), признается предком арабов. Под домом Ибрахима подразумевается священный в исламе храм Кааба в Мекке, строительство которого связывается с его именем.
41. От слова «предаваться», в смысле «предать себя богу», происходит название религии «ислам» (религия предания себя), «предавшийся» — муслим. От этого происходит слово «мусульмане» (у иранцев и афганцев — «мусальмане», у узбеков — «мусульмане», у казахов и киргизов — «мусурмане», у русских и украинцев — «басурмане»).
42. Йа'куб — Иаков.
43. Исхак — Исаак.
44. В Коране Ибрахим признается истинноверующим (ханиф), учение которого исповедовали

его род и еврейские колена. Но это представляется другим верованием, чем иудаизм времени Мухаммада.

45. Перевод «По религии Аллаха» не вполне точен, ибо в тексте «сигбат» — буквально «путь исповедания, путь веры». У арабов-христиан это означает «крещение». Тогда понятна и вторая часть аята: «А кто лучше Аллаха по пути исповедания?»

46. Здесь отчетливо отличается вера Ибрахи́ма от современного Мухаммаду учения иудеев и христиан.

47. Аят 135 точно повторяет аят 128.

48. Аяты 136—162—об изменении направления киблы, здесь же — наставления мусульманам.

49. Характеристика общины верующих, которые являются свидетелями относительно людей, а пророк — свидетель относительно общины: свидетельство (шахада) — здесь в значении утверждения и подтверждения веры.

50. Аяты 138—145—об изменении направления киблы, т. е. о стороне, куда должно быть обращено лицо во время молитвы. До этого времени мусульмане совершали намаз, обращая лицо в сторону Иерусалима. С этого времени (2-й год хиджры, т. е. конец 623 — начало 624 г.) они признают киблой Каабу в Мекке. И сейчас во всех мусульманских странах верующие совершают намаз, обращая лицо в сторону Мекки. В любой мечети сторона киблы определена мехрабом — специальным аркообразным углублением — нишей в стене.

51. «Запретная мечеть» — храм Кааба в Мекке. В Коране слово «запретная» в значении «священная».

52. Аяты 148—152 признаются более поздними, относящимися ко времени после битвы при Бадре, скорее даже после битвы при Ухуде. В битве при Ухуде (23 марта 625 г.) мусульмане были разгромлены, из них погибло 70 или 74 человека, в то время как мекканцы потеряли только 24 человека, Мухаммад был ранен ударом меча в голову. Именно в этих условиях была бы уместнее проповедь о том, что погибших в битвах считать не мертвыми, а живыми (у Аллаха).

53. Аят 153 — должно быть, вставка более позднего происхождения, ибо первая попытка паломничества в Мекку имела место лишь в 6-м году хиджры (март 628 г.). Об этом же свидетельствует связь содержания аятов 146—152 и 154—162. Сафа и Марва — две небольшие возвышенности около Каабы. Между ними паломники совершают ритуальный пробег 7 раз. Это очень древний обычай, сохраняется и сейчас как один из элементов совершения обряда «хадж».

54. Аяты 163—219 представляют подробнейшие предписания мусульманам, касающиеся различных областей жизни и быта.

55. По мнению И. Ю. Крачковского, здесь имеются в виду животные, которые не понимают речи.

56. Запрещение мертвечины и крови понятно, но долго вызывало удивление то, откуда у арабов запрет на свинину, у которых она вообще не разводится. Сравнительно недавно это объяснено на основе источников: оказывается, у ряда народов Палестины свинья считалась священной, свинина была запрещена. Отголосок этого запрета сохранился как у иудеев, так и у арабов. Фраза «то, что заколото не для Аллаха» свидетельствует о наличии уже тогда определенных норм убоя скота по мусульманским правилам, нормы эти существуют и ныне у всех мусульман.

57. Обычное обвинение иудеев и христиан.

58. Аят прочтен, по мнению И. Ю. Крачковского, вскоре после изменения киблы, для ослабления возражений. Дается перечисление пяти основных догматов ислама.

59. В аятах 173—181 дается три предписания: кровная месть, завешание перед смертью и пост, который был проведен впервые в месяце рамазан 2-го года хиджры (февраль 624 г.).

60. Аяты 179—183 — основные предписания о посте.

61. Условие поста: кто пропустил — постится столько же дней в другое время. «А кто может — выкуп накормлением бедняка». Именно на основе этого предписания (оно повторяется и в других сурах) сложились «фитр-садака» и «ифтар».

62. Причина введения поста в месяце рамазан в том, что в этом месяце началось откровение — в ночь с 26 на 27 (лайлат ал-кадр). До этого арабы постились в мухарраме (что означает «священный») — 1 месяц лунного года и до ислама.

63. Во время поста запрещались не только еда и питье, но и другие удовольствия: курение, купание, близость с женой и т. д., и все это разрешалось ночью, после разговения с наступлением вечерних сумерек.

64. Вставка, не связанная ни с предыдущими, ни с последующими аятами. Слово «ал-хуккам» здесь переведено как судьи, но в более широком значении — представители власти, власть имущие. Очевидно, речь идет о запрете взятки, подкупа, коррупции.

65. Аяты 185—199 содержат различные предписания более позднего периода в Медине.

66. Аяты 186—191 — вставка — предписание о джихаде более позднего периода.

67. Речь идет о разрешении боя с мекканцами даже у храма Кааба, если те не остановятся. Дело в том, что столкновение и кровопролитие у Каабы было запрещено с древних времен.

68. В смысле, не лезьте на рожон, не рискуйте.

69. Аяты 191—196 — предписания о совершении обряда хадж.

70. Арафат — невысокая гора в пределах 20 км от Мекки, посещение которой паломниками является одним из элементов обряда хадж. «Заповедный памятник» традиционные толкования отождествляют со священной горой Муздалифа, находящейся на полдороге от Арафата до Мекки.

71. Популярная среди верующих молитва.

72. Речь идет о восхвалении Аллаха в течение нескольких дней после жертвоприношения во время хаджа, по традиции ислама в практику вошло три дня.

73. Аяты 200—203 — суть противопоставление нечестивца и правоверного. Есть легенды, указывающие на конкретные личности.

74. Речь идет о тех людях, которые не удовлетворяются знамениями Аллаха, а ожидают, чтобы он сам появился в сени облаков вместе с ангелами.

75. Известное представление о религиях — неверующим дана наилучшая жизнь в этом мире, а у верующих — доля в мире потустороннем, поэтому они терпят невзгоды земной жизни.

76. Довольно интересное представление о том, будто раньше все люди были одной религии, затем они разошлись в препирательстве друг с другом. По общему смыслу проповеди, Мухаммад представляет эту единую веру как религию Ибрахима, что связано, видимо, с общесемитскими корнями религиозных представлений не только евреев и арабов, но и других семитских народов Передней Азии.

77. Аяты 212—213 — вставка, — о сражении в джихаде.

78. Вопрос о сражении в запретном месяце был поднят в общине верующих в связи с тем, что Мухаммад повелел сражаться, несмотря на традиционный запрет стычек в месяце раджаб. Небольшой его отряд напал на караван между Меккой и Таифом, одного мекканца убили, двоих взяли в плен и захватили караван в самом начале 624 года. Затем мекканцы выкупили одного из пленных, а второй принял ислам и остался в Медине. Этим аятом давалось разрешение воевать с врагами даже в запретном месяце, и в дальнейшем войны в месяце раджаб имели место неоднократно, поскольку этот месяц считался запретным в доисламской традиции.

79. Запрет вина здесь имеет ограниченное значение, далее, в 4-й суре, аят 46, вино запрещается и перед молитвой; и, наконец, в 5-й суре, 92-м аяте, следует категорический его запрет. Хронологически эти предписания относятся последовательно к 623-му, 625-му и 629-му годам и показывают эволюцию в подходе к проблеме. Отсюда в последующей истории ислама сохранился строгий запрет на все виды спиртных напитков.

Майсир — распространенная форма азартной игры среди арабов.

80. «Остаток» — в смысле следует жертвовать то, что лишнее.

81. Здесь лишь упоминание об отношении к сиротам, а более подробно об этом — в 4-й суре.

82. Аяты 220—243 — предписания по семейно-брачному праву.

83. Арабский термин «харс» переведен как «нива», но по содержанию он шире — земля, пашня, посев. В данном случае «нива» употребляется в смысле собственного владения. Перевод «уготовывайте для самих себя» не вполне точен, по контексту — помимо плотского (любить свою жену и т. п.), делайте что-то в пользу души.

84. Неодобрение клятвы именем Аллаха.

85. Здесь случай, встречающийся иногда среди арабов: после семейного скандала или по другому случаю мужчина мог поклясться, что больше не войдет к жене. Поскольку это не считалось разводом, она продолжала жить в его доме иногда годы, не имея права уходить как разведенная и не будучи женой практически. Таким образом наказывали жестокие мужья своих жен. В аятах 226—227 устанавливается срок четыре месяца, по истечении которого муж или должен выйти к жене, или должен развестись и отпустить ее. Следует иметь в виду, что установления по семейно-брачным вопросам в этой и других сурах давались главным образом по жалобам женщин.

86. Установление 3-х периодов (менструации) для разведенных женщин было связано с окончательным выяснением, не беременна ли она, как условие установления отца ребенка. Поэтому этот срок соблюдался женщиной строго, только потом она могла выйти замуж за другого.

87. После двух разводов еще можно примирить мужа и жену. Если же развод состоялся, то муж не должен пытаться что-либо оставить себе из выданного ей при женитьбе махра — на современном языке — калыма.

88. Третий развод считается окончательным (три талака), после которого их нельзя примирить. Снова сойтись (совершить никах) им возможно лишь при условии, что она выйдет замуж за другого и после любого срока совместной жизни разойдется с ним.

89. О кормлении ребенка Коран содержит довольно четкие установления, так как родство, как и молочное родство, вызывает правовые установления, связанные с допустимостью или недопустимостью бракосочетания, с вопросами наследования и т. д., т. е. кормление было непосредственно связано с имущественными и брачными отношениями, установленными в последующем в мусульманском законодательстве (шариате). Молочное родство (в исламе) вызывает те же последствия, как кровное родство.

90. Коран оставляет в силе прежний обычай, согласно которому при разводе ребенок остается у отца. Но мать выкармливает ребенка в течение двух лет и за это получает содержание. У состоятельных арабов был распространен обычай отдавать ребенка кормилице. По источникам, и у Мухаммада была кормилица Халима из другого племени, у которой он жил около пяти лет.

91. Аят, которым отменен институт левирата (термин от слова «девер»). Обычай, распространенный у многих народов в период родоплеменного строя и позже. Согласно левирату, после смерти мужчины на его овдовевшей жене должен жениться кто-либо из его близких родственников (чаще всего брат). Она могла выйти замуж за другого при условии, если у мужа не было таких родственников или они отказывались от женитьбы. Этот обычай имел под собой экономическую и нравственную основу, соблюдался он довольно строго.

92. В аятах 237—238 — предписания о разводе с женщиной, которой еще не коснулся муж: в одном случае вено — дар, оплата — еще не обусловлено, а в другом случае вено уже обусловлено (т. е. дар уже определен и состоялся договор). В первом случае муж дает что-то по возможности, а во втором случае — половину обусловленного.

93. Аяты 239—240 — вставка о молитве. «Охранять» — в смысле соблюдать, «средняя молитва» — обычно понимается как молитва после полудня (салат ал-аср).

94. Аяты 241—243 — суть продолжение установлений о браке: речь об овдовевших и разведенных женщинах.

95. Группа аятов 244—283 — различные предписания.

96. Имеется несколько объяснений описанной здесь: исход евреев из Египта; отражение легенды по кн. Иезекииля; евреи, убежавшие от чумы или войны, и т. д. Идентификации с конкретным событием нет.

97. Здесь подношение верующего в пользу общины называется «хорошим заемом Аллаху».

98. Пророк после Мусы — подразумевается древнееврейский пророк Самуил — судья (правитель) Израиля.

99. Талут — подразумевается древнееврейский царь Саул.

100. Термин «табут» здесь переведен как «ковчег», имеется в виду «ковчег завета» бога Саваофа, с которым евреи шли на войну с филистимлянами. В традиционных толкованиях «табут» передается как сундук, в котором — «сакина», означающая эманацию божества. В арабской этимологии «сакина» означает «спокойствие», посланное богом, и те реликвии, которые оставил род Мусы и Харуна (в комментариях упоминаются как различные реликвии). Вообще в аятах 248—253 довольно далекое и смутное отражение легенд, связанных с войной Талута (Саула) с войсками Джалута (Голиафа).

101. Знаменитый среди верующих «Аят трона» (Аят ал-курси), который часто читается в религиозных обрядах и ритуалах. Речь идет о троне Аллаха.

102. Это отражение демократизма начального периода ислама, когда сторонники Мухаммада сами представляли небольшую общину и строго стояли за веротерпимость. В тексте слово «тагут» переводится как идолопоклонничество, со ссылкой на Талмуд, где оно означает заблуждение. В традиционных исламских толкованиях дается в значении поклонения шайтанам и идолам, отрицания единого бога. В аятах 258—259 по сути дается более широкое изложение этих двух представлений в противопоставлении их друг другу.

103. О том, кто преисполнился с Ибрахимом, неясно. Было много поисков параллелей с библейскими персонажами, но ни в науке, ни в традиционных толкованиях не было единого мнения. Авторитетные мусульманские толкователи считали, что любые рассуждения об этом бесплодны.

104. Описанная в этом аяте легенда, должно быть, вдохновила А. С. Пушкина на создание цикла стихотворений «Подражания Корану» (конкретно его 9-й части).

105. Аяты 263—275 подробно говорят о «расходовании на пути Аллаха», т. е. о подношении в пользу общины: предписывается отдавать лучшее, не сопровождать подношение попреками и обидой, расходовать, зная, что Аллах вернет с многократным увеличением, и т. д.

106: В аятах 276—279 различается рост (араб. риба) — ростовщичество и доход от торговли. Первый категорически запрещается, а второй разрешается. Такое установление повторяется и в последующих сурах (сура 3, аят 25; сура 4, аяты 158—159) и в традиции ислама становится одним из наиболее строгих предписаний. В современных условиях, когда роль банковского капитала заметно усиливается, в мусульманских странах среди богословов идет спор о том, как квалифицировать банковский процент с точки зрения ислама.

107. Аяты 282—284 — установление о долгах: срок возвращения, записывание долга, свидетели, залог и др. подробности. Все это позже получило обстоятельное оформление в шариате.

108. Заключительные аяты молитвенного характера.

Продолжение следует.



ДОНАЛД УЭСТЛЕЙК



Перевод с английского А. Зильберглейта

РОМАН

ФАЗА ПЕРВАЯ

1

Дортмундер высморкался.

— Начальник, — сказал он, — вы знаете, как я глубоко благодарен за то персональное внимание, которое вы мне оказываете.

Он не мог ничего поделаться с бумажным носовым платком Клинекс и просто скомкал его в кулаке.

Смотритель Аутс слегка улыбнулся в ответ, приподнялся из-за письменного стола, обошел его, встал рядом с Дортмундером, похлопал по плечу и сказал:

— Именно те, кого я спасаю, доставляют мне наибольшее удовольствие.

Аутс являл собой тип государственного служащего новейшего образца — образованного, атлетического, энергичного, полного духа реформ, своего в доску парня. Дортмундер ненавидел его.

Смотритель сказал:

— Я провожу вас до ворот, Дортмундер.

— Это вовсе не обязательно, начальник, — поспешно отозвался Дортмундер. Клинекс холодным слизняком лежал в его ладони.

— Но это доставит мне удовольствие, — сказал смотритель. — Удовольствие видеть вас выходящим из этих ворот и знать, что вы никогда более не поскользнетесь, никогда вновь не окажетесь в этих стенах, удовольствие знать, что в вашем нравственном и социальном выздоровлении есть и моя скромная лепта. Вы просто не представляете, какое наслаждение это мне доставляет.

Дортмундер, напротив, никакого наслаждения не испытывал. Он уже загнал свою камеру за три сотни — при наличии действующего крана с горячей водой и прямого хода в медпункт это было просто даром, — и деньги должны были передать ему по пути к воротам. Он не мог взять деньги раньше, иначе их обнаружили бы при послед-

нем обыске. Но кто же сможет доставить ему «капусту», если рядом будет торчать смотритель? Перекатывая в руке отвратительный шарик, Дортмундер сказал:

— Начальник, ведь именно в этой комнате я всегда видел вас, именно здесь слушал ваши...

— Пошли, Дортмундер, — сказал смотритель. — Мы можем поболтать по дороге к воротам.

И они отправились к воротам вдвоем.

На последней дорожке, пересекающей огромный двор, Дортмундер увидел, как Кризи, доверенное лицо с тремя сотнями долларов, двинулся в его направлении и вдруг остановился как вкопанный. Кризи сделал едва заметный жест, означавший «ничего не поделаешь». В ответ Дортмундер тоже сделал незаметный жест, говоривший «дьявол все побери, знаю, что ничего не поделаешь».

У ворот смотритель протянул ему руку:

— Счастливо, Дортмундер. Позвольте мне выразить надежду, что я никогда более вас не увижу.

Судя по тому, что он радостно хихикнул, это была шутка.

Дортмундер переложил прохудившийся Клинекс в левую руку. Клинекс был полнехонек, он измазал Дортмундеру всю правую ладонь. Дортмундер взял протянутую руку смотрителя в свою и сказал:

— Я тоже надеюсь никогда больше вас не видеть.

Это не было шуткой, но Дортмундер хмыкнул на всякий случай.

Лицо смотрителя неожиданно как бы остекленело.

— Да, — сказал он несколько сдавленным голосом, — да.

Дортмундер повернулся, и смотритель посмотрел на свою ладонь.

Большие ворота открылись. Дортмундер вышел наружу, ворота закрылись опять. Он был свободен, его долг обществу выплачен. Его также «выставили» на три сотни, будь они прокляты. Он всерьез рассчитывал на эту «капусту». Все, что у него было, — десять долларов и билет на поезд.

Дортмундер с отвращением швырнул Клинекс на панель, сразу же нарушив общественный порядок: замусоривание коммунальной территории.

2

Келп увидел, как Дортмундер вышел на солнечный свет и постоял просто так с минуту, оглядываясь по сторонам. Келп знал это чувство — первая минута свободы, воздух свободы, солнце свободно! Он ждал, не желая отравлять удовольствие Дортмундеру, но когда наконец Дортмундер двинулся по тротуару, Келп завел двигатель и медленно тронул длинный черный автомобиль по улице вслед за ним.

Это была прекрасная машина, «кадиллак» с боковыми шторками, с жалюзи на заднем окне, кондиционированным воздухом, с устройством вроде автопилота, которое позволяет ехать с любой желаемой скоростью, не нажимая на газ, с еще одной штукой, которая выключает дальний свет, когда навстречу идет машина, и разными другими облегчающими жизнь штуковинами. Келп увел это чудо прошлой ночью в Нью-Йорке. Он предпочел прибыть сюда на своих колесах, нежели ехать поездом, поэтому прошлой ночью отправился за машиной и нашел именно эту на Шестидесят седьмой Восточной улице. У него были номера с пометкой «доктор медицины», а Келп всегда выбирал именно медицинские тачки, потому что врачи имеют склонность оставлять ключи в машине, и еще потому, что профессия медика до сих пор не разочаровала его.

Теперь, конечно, номера на ней были другие. Государство не зря потратило четыре года, обучая его бесплатно делать номерные знаки.

Автомобиль тихо скользил вслед за Дортмундером — длинный черный «кадди» с мягко урчащим двигателем и покрышками, хрустящими по пыльной дороге; Келп думал, как удивится и обрадуется Дортмундер дружескому лицу в первый же момент после выхода. Он как раз собирался нажать на клаксон, когда Дортмундер внезапно обернулся, посмотрел на черную машину с боковыми занавесками, которая бесшумно его преследовала, панический страх отразился на его лице, и он как ошпаренный понесся по тротуару, прижимаясь к серой тюремной стене.

На дверной панели имелись четыре кнопки управления четырьмя боковыми окнами «кадиллака». Единственная неприятность заключалась в том, что Келп не мог упомянуть, какая кнопка относилась к какому окну. Он нажал наугад, и правое заднее стекло опустилось.

— Дортмундер! — крикнул он, давя на акселератор, из-за чего «кадди» рванулся по улице. Улица была совершенно пуста — только черная машина и бегущий человек. Грозно маячила тюремная стена, высокая и серая, а маленькие чумазные домики на

противоположной стороне были заперты и беззвучны, их слепые оконца закрыты шторами и портьерами.

Келп, отвлеченный путаницей с оконными кнопками, вел машину, вихляя по всей проезжей части. Опустилось левое заднее стекло, и он снова заорал, но Дортмундер все не мог его услышать. Пальцы Келпа отыскивали другую кнопку — правое заднее стекло поднялось снова.

«Кадди» вылетел за поребрик, и в следующее мгновение машина Келпа нацелилась точно на Дортмундера, который повернулся, прижался спиной к стене, широко раскинув руки и завопив что есть мочи.

В последнюю секунду Келп врезал по тормозам. Это были электротормоза, и Келп врезал по ним как следует, так что «кадди» застыл как приклеенный, а Келпа бросило на баранку.

Дортмундер опустил одну дрожащую руку и оперся ею о вибрирующий капот «кадиллака».

Келп попытался вылезти из машины, но в возбуждении опять нажал не на ту кнопку, и замки всех четырех дверей автоматически закрылись.

— Проклятые лекаришки! — рявкнул Келп, беспорядочно нажимая на попадающиеся под руку кнопки, и в конце концов выбросился из машины, как ныряльщик, спасающийся от осьминога.

Дортмундер все еще стоял, прислонившись к стене, слегка наклонясь вперед и опираясь одной рукой о капот автомобиля. Он выглядел абсолютно серым, и это не было целиком тюремной заслугой.

Келп подошел к нему.

— Чего ради ты несся, Дортмундер? Это я, твой старый друг Келп.

Он протянул ему руку.

И тут Дортмундер дал ему по физиономии.

3

— Все, что тебе надо было сделать, это погудеть, — сказал Дортмундер. Он ворчал, потому что костяшки пальцев, ободранных о скулу Келпа, неприятно саднило. Он засунул их в рот.

— Я пытался, — сказал Келп, — но тут как-то все перепуталось. Зато теперь все в порядке.

Они находились на скоростном шоссе в Нью-Йорк, «кадди» был взведен на шестьдесят миль в час. Келпу требовалось лишь держать одну руку на рулевом колесе и временами поглядывать вперед, чтобы убедиться, что они все еще на дороге, в остальном машина вела себя сама.

Дортмундер чувствовал себя обиженным. Три сотни долларов коту под хвост, напугался до полусмерти, почти раздавлен проклятым ослом в «кадиллаке», ободраны пальцы — и все это в один день.

— Так чего ты хочешь? — спросил Дортмундер. — Мне дали билет на поезд, и меня вовсе не надо подбрасывать.

— Но могу спорить, что тебе нужна работа, — сказал Келп. — Если, конечно, у тебя что-нибудь уже не заготовлено.

— Ничего у меня не заготовлено, — сказал Дортмундер. Напоминание об этом тоже вызвало раздражение.

— Ну вот, у меня есть одна игрушечка для тебя, просто лялечка! — сказал Келп, улыбаясь во всю физиономию.

Дортмундер решил перестать дуться.

— Ол райт, — пробормотал он. — Я могу послушать. Давай, что там?

Келп спросил:

— Ты когда-нибудь слышал о местечке, которое называется Талабво?

Дортмундер насупился.

— Один из тихоокеанских островков, да?

— Не-е, это страна. В Африке.

— Никогда не слышал о ней, — сказал Дортмундер. — Я слышал про Конго.

— Это где-то рядом, — сказал Келп. — Я так думаю.

— В этих странах для нас жарковато, в смысле температуры, то есть.

— Наверное, — сказал Келп. — А вообще-то не знаю, никогда там не был.

— А я не думаю, что хотел бы там побывать, — сказал Дортмундер. — У них там еще и эпидемии. Да кроме того, они убивают много белых людей.

— Только монахины, — сказал Келп. — Но дельце не там, оно здесь, в добрых штатах.

— О-ох, — Дортмундер пососал раненый палец, потом сказал: — Тогда чего ж трепаться об этом... как его...

— Талабво.

— Да-да, Талабво. Чего про него говорить?

— Я дойду до этого, — важно сказал Келп. — Ты когда-нибудь слышал про Акинзи?

— Это тот врач, который написал книгу о сексе, — сказал Дортмундер. — Я в тюрьме хотел получить ее из библиотеки, но у них была очередь лет на двадцать. Я тоже записался на тот случай, если не выпустят раньше под честное слово¹, но книгу так и не получил. Он уже умер, да?

— Это совсем другое, не про то я говорю, — сморщился Келп. Впереди на их полосе полз здоровенный трейлер, так что Келпу пришлось на минуту заняться рулем. Он перебрался в соседний ряд, обошел трейлер и вновь вернулся на свою полосу. Потом посмотрел на Дортмундера и сказал: — Я говорю о стране. О другой стране. Она называется Акинзи. — Он произнес название по слогам.

Дортмундер покачал головой.

— Она тоже в Африке?

— А-а, так ты слышал про нее.

— Нет, никогда, — сказал Дортмундер, — просто угадал.

— О-о! — Келп взглянул на шоссе. — Да-а, это еще одна страна в Африке. Там раньше была британская колония, а когда они стали независимыми, начались неприятности, потому что у них в стране было два больших племени и оба рвались к власти, так что была гражданская война, и в конце концов они решили разделиться на два государства. Так что теперь там две страны, Талабво и Акинзи.

— Ты просто бездну всего знаешь об этом, — сказал Дортмундер.

— Мне рассказывали, — сказал Келп.

— Но я так и не вижу в этом никакого дела, — заметил Дортмундер.

— Я как раз подхожу к нему, — сказал Келп. — Понимаешь, у одного из этих племен был этот изумруд, такой драгоценный камень, и они поклонялись ему, как божеству, а теперь это их национальный символ. Как талисман, что ли. Или как могила неизвестного солдата, что-то в таком роде.

— Изумруд?

— Говорят, что он стоит полмиллиона долларов, — сказал Келп.

— Это много, — протянул Дортмундер.

— Конечно, — согласился Келп, — но ты не можешь загнать барыгам такую вещь, он слишком хорошо известен. И это стоило бы слишком дорого.

Дортмундер кивнул.

— Я уже подумал об этом, — сказал он. — Когда подумал, что ты собираешься предложить увести этот изумруд...

— Вот именно, я как раз это и собираюсь предложить, — сказал Келп.

Дортмундер снова почувствовал прилив раздражения. Он вытащил из кармана рубашки пачку «Кэмел».

— Если мы не сможем его загнать, — проворчал он, — на кой черт он нам нужен?

— Дело в том... есть покупатель, — сказал Келп. — Он заплатит по тридцать тысяч каждому, кто поможет ему заполучить изумруд.

Дортмундер засунул сигарету в рот, а пачку в карман.

— Сколько человек надо для дела?

— Мы прикидывали... может, человек пять.

— Это выходит — сто пятьдесят кусков за полумиллионный камень? Для него это просто подарок.

— Но мы получаем по тридцать косых на нос, — заметил Келп.

Дортмундер воткнул зажигалку в гнездо на приборной панели.

— Кто этот тип? — спросил он. — Какой-нибудь коллекционер?

— Нет. Он — представитель в ООН от Талабво.

Дортмундер изумленно поглядел на Келпа.

— Кто, кто-о?

Зажигалка выпрыгнула из гнезда и свалилась на пол машины.

Келп повторил. Дортмундер подобрал зажигалку и раскурил сигарету.

— Объясни, — сказал он.

— Сию минуту, — оживился Келп. — Когда английская колония раскололась на две страны, Акинзи заполучила тот город, в котором хранился изумруд. Но как раз Талабво — это страна, где живет племя, которое всегда им владело. ООН послала своих спецов для оценки этой ситуации, и Акинзи выплатила за камень кое-какие деньги. Но не в деньгах дело. Талабво хочет изумруд.

¹ Процедура досрочного освобождения из заключения «под честное слово» широко практикуется в США.

Дортмундер потряс зажигалку и рассеянно выкинул ее в окно.

— Почему они не начнут воевать?

— Эти две страны абсолютно одинаковы. Они как пара боксеров-средневесов, и если бы заваруха началась, обе оказались бы в руинах и никто бы не победил. Дортмундер затаился сигаретой и выдохнул дым через нос.

— Если мы прихватим изумруд и отдадим его Талабво, — сказал он, — почему бы Акинзи не обратиться в ООН и не сказать: «Заставьте их вернуть нам наш изумруд?» — Он шмыгнул носом.

— Талабво не станет сообщать, что они его заполучили, — сказал Келп. — Они не собираются выставлять его напоказ и тому подобное, они просто хотят его иметь. Это их символ. Ну, как эти шотландцы, которые украли Скоунский камень несколько лет назад.

— Что они украли?

— Ну, эта штука приключилась там, в Англии, — сказал Келп. — Неважно, давай о краже изумруда. Ты заинтересован?

— Как сказать, — протянул Дортмундер. — А где хранится этот изумруд?

— Прямо сейчас он находится в Колизее, в Нью-Йорке. Там всеафриканская выставка, всякие штуковины из Африки, и изумруд является частью экспозиции Акинзи.

— Так что, предполагается, что мы должны увести изумруд из Колизея?

— Не обязательно, — сказал Келп. — Выставка отправляется в турне через пару недель. Ее будут показывать во множестве разных мест, перевозить поездами и на грузовиках. У нас будет масса возможностей приложить к ней руку.

Дортмундер кивнул.

— Ну ладно, мы уводим изумруд, мы сдаем его этому типу...

— Айко, — произнес Келп, делая ударение на первом слоге.

Дортмундер нахмурился.

— Разве это не японский фотоаппарат?

— Нет, это имя представителя Талабво в ООН. И если ты в деле, то как раз его нам и следует повидать.

Дортмундер спросил:

— Он знает, что я появлюсь?

— А как же, я объяснил ему, что нам больше всего нужен организатор, планировщик, и я сказал, что Дортмундер — лучший организатор в стране, и если нам повезет, мы привлечем тебя, чтобы ты организовал это дельце. Я не сказал ему, что ты как раз отсидел срок.

— Хорошо, — согласился Дортмундер.

4

Майор Пэтрик Айко, коренастый, черный, усатый, изучал принесенное ему досье на Джона Арчибальда Дортмундера и качал головой с удивлением и некоторым подозрением. Неужели Келп не понимал, что Майор автоматически изучит биографию каждого из возможных участников? Он, естественно, должен произвести тщательный отбор тех людей, которым можно доверить Изумруд Талабво. Он не имеет права нарваться на каких-нибудь бесчестных типов, которые, спасая изумруд из лап Акинзи, украли бы его для себя.

Большая дубовая дверь отворилась, и секретарь Майора, стройный немногословный молодой человек цвета эбенового дерева, чьи очки отражали падающий на них свет, вошел и сказал:

— Сэр, к вам два джентльмена. Мистер Келп и еще один.

— Проводите их ко мне.

— Слушаюсь, сэр.

Секретарь вышел, пятясь.

Майор закрыл досье и спрятал его в ящик стола. Затем встал и улыбнулся с вежливым радушием двум белым мужчинам, вошедшим в кабинет.

— Мистер Келп, как приятно видеть вас снова.

— И вас также, Майор Айко, — сказал Келп. — А вот это Джон Дортмундер, парень, о котором я вам говорил.

— Мистер Дортмундер, — Майор слегка поклонился, — не угодно ли присесть?

Все сели, и Майор начал изучать Дортмундера. Всегда бывает чрезвычайно увлекательно поглядеть на живого человека после того, как ты познакомился с его досье. Вот перед вами человек, которого досье пыталось описать. Насколько близко удалось подойти к оригиналу?

Что касается фактов, Майор Айко знал довольно-таки много о Джоне Арчибальде Дортмундере. Он знал, что Дортмундере тридцать семь лет, что он родился в маленьком городке в центральной Иллинойсе, вырос в сиротском приюте, служил в армии

США в Корее во время проводившихся там полицейских акций, но с тех пор все время был на другой стороне игры «полицейские — воры», дважды он был осужден за грабеж, причем второй срок закончился досрочным освобождением под честное слово лишь сегодня утром. Майор Айко знал, что Дортмундера арестовывали еще несколько раз при расследовании краж, но все эти аресты заканчивались ничем. На Дортмундера никогда не падало подозрений, касающихся убийств, поджогов, изнасилований или похищений. И еще Майор знал, что Дортмундер женился в 1952 году в Сан-Диего на девице из ночного клуба по имени Плюшечка Базум, от которой получил неопротестованный развод в 1954 году.

Что же представлял собой этот человек? В данный момент он сидел в прямом солнечном свете, любуясь сквозь выходящие в парк окна, и более всего напоминал выздоравливающего: чуть серый, немного усталый, со слегка морщинистым лицом и худым хилловатым с виду телом. Его костюм был очевидно новым и очевидно самым дешевым из всех, какие делают. Потрепанные туфли, судя по всему, стоили весьма недешево, когда были новыми. И это говорило о том, что перед вами человек, имевший привычку жить в достатке, но к которому в последнее время фортуна повернулась спиной. Глаза Дортмундера, когда они встречали взгляд Майора, были вялыми, невыразительными, но внимательными. Человек, думал Майор, который будет принимать решения неторопливо, но затем выполнять их неукоснительно. И держать свое слово? И Майор решил, что стоит рискнуть.

— Добро пожаловать обратно в мир, мистер Дортмундер. Я представляю, какой сладкой кажется вам сейчас свобода.

Дортмундер и Келп переглянулись.

Майор улыбнулся и сказал:

— Мистер Келп ничего не сообщал мне о вас.

— Но знаю, — сказал Дортмундер, — что вы навели обо мне справки.

— Естественно, — подтвердил Майор. — А разве вы не стали бы, на моем месте?

— Может, и мне стоило навести справки о вас, — протянул Дортмундер.

— Может быть, — согласился Майор. — В ООН были бы счастливы проинформировать вас обо мне. Или вы могли бы связаться с вашим собственным госдепартаментом, я уверен, что у них есть досье на меня.

Дортмундер пожал плечами.

— Не имеет значения. Что вам удалось про меня выяснить?

— Что я, вероятно, могу на вас положиться. Мистер Келп уверяет, что вы изобретаете хорошие планы.

— Я стараюсь.

— Что же случилось в последний раз?

— Что-то пошло не так, как надо, — скривился досадливо Дортмундер.

Келп, спеша защитить друга, сказал:

— Майор, это была совсем не его вина, просто жуткое невезение. Он рассчитывал...

— Я читал отчет, — ответил ему Майор. — Спасибо. — Дортмундеру он сказал: — Это был хороший план, и вам действительно очень не повезло, но мне приятно видеть, что вы не теряете времени на самооправдание.

— Я не могу переиграть это снова, — сказал Дортмундер. — Давайте поговорим о вашем изумруде.

— Давайте. Вы можете добыть его?

— Не знаю. Какую помощь вы можете нам оказать?

Майор нахмурил брови.

— Помощь? Какого рода помощь?

— Нам, вероятно, потребуется оружие. Может быть, машина, одна или две, может быть, грузовик, в зависимости от того, как будет развиваться дело. Может, понадобится и что-то другое.

— О да, — сказал Майор. — Такого рода помощь я смогу оказать без сомнения.

— Хорошо, — Дортмундер кивнул и вытащил из кармана смятую пачку «Кэмел». Он зажег сигарету и наклонился вперед, чтобы бросить спичку в пепельницу на столе Майора. — Насчет денег, — сказал он. — Келп говорит, что будет по тридцать косых на человека.

— Да-да... Тридцать тысяч долларов.

— Неважно, сколько нас будет?

— Ну, — сказал Майор, — это должно быть в разумных пределах. Мне бы не хотелось оплачивать целую армию.

— Какой же предел?

— Мистер Келп говорил о пяти членах группы.

— Ладно. Это сто пятьдесят кусков. Ну а если мы сделаем дело с меньшими штатами?

— По-прежнему тридцать тысяч долларов на человека.

Дортмундер возразил:

— Почему?

— Мне бы не хотелось, — сказал Майор, — толкать вас на серьезное дело в малом числе. Поэтому — тридцать тысяч на нос независимо от того, сколько человек будет привлечено.

Дортмундер кивнул:

— Хорошо, плюс накладные расходы.

— Прошу прощения... не понял...

— Предстоит месяц, может быть, шесть недель работы, причем с плотным рабочим днем, — уточнил Дортмундер. — Нам же нужно на что-то жить.

— Вы хотите сказать, что вам нужен аванс в счет тридцати тысяч?

— Нет. Нам необходимы деньги на расходы сверх тридцати тысяч.

Майор отрицательно покачал головой.

— Нет, нет. Простите, но мы так не договаривались. Тридцать тысяч долларов каждому, и это все.

Дортмундер поднялся и раздавил сигарету в пепельнице Майора. Сигарета продолжала дымиться. Дортмундер сказал: «До встречи. Пошли, Келп» — и направился к двери.

Майор не мог поверить своим глазам. Он окликнул его:

— Вы уходите?

Дортмундер повернулся к нему от двери:

— Ага, ухожу.

— Но почему?

— Потому, что вы дешева. И если я стану на вас работать, вы будете действовать мне на нервы. Скажем, я приду за пистолетом, а вы не дадите мне больше одной пули.

Дортмундер взялся за ручку двери.

— Подождите! — воскликнул Майор.

Дортмундер подождал, держа руку на дверной ручке.

Майор прокручивал в уме статьи бюджета.

— Даю вам сто долларов в неделю на человека, — наконец сказал он.

— Двести, — возразил Дортмундер. — Никто не в состоянии прожить в Нью-Йорке на сто долларов в неделю.

— Сто пятьдесят, — сказал Майор.

Дортмундер заколебался, и Майор понял, что он пытается решить, стоит ли бороться за полную сумму.

Келп, который молча просидел с ними все это время, сказал:

— Это нормальная цена, Дортмундер. Какого черта, в конце концов, всего на несколько недель.

Дортмундер пожал плечами и отпустил дверную ручку.

— Ну ладно, — согласился он, вернулся к столу и сел. — Что вы можете рассказать про этот изумруд? Где камушек, как охраняется?

Дрожащая ленточка дыма поднималась от тлеющей сигареты. Эта струйка располагалась точно между Дортмундером и Майором, вызывая у того ощущение косоглазия при попытке сфокусировать взгляд на лице Дортмундера. Но Майор был слишком горд как для того, чтобы окончательно заглушить сигарету, так и для того, чтобы без серьезных причин повернуть голову, и поэтому он полностью прищурил один глаз перед тем, как ответить на вопрос Дортмундера:

— Мне известно лишь, что Акинзи его очень хорошо охраняет. Я попытался выяснить детали, сколько охранников и так далее, но они содержатся в строгом секрете.

— Но камень сейчас в Колизее?

— Да. Как часть выставки Акинзи.

— Ол райт. Мы отправимся туда и поглядим на него. Где нам получить наши деньги?

Майор выглядел озадаченным.

— Ваши деньги?

— Полторы сотни за эту неделю.

— А-а. — Все это происходило как бы слишком быстро. — Я позвоню вниз, в наш финансовый отдел. Вы можете заглянуть туда по дороге.

— Хорошо. — Дортмундер встал, и Келп секундой позже последовал за ним. Дортмундер, уходя, заключил:

— Я свяжусь с вами, если мне что-нибудь понадобится.

Майор ничуть в этом не сомневался.

— По мне, не больно-то он смотрится на полмиллиона зелененьких, — сказал Дортмундер.

— Так ведь и получается всего по тридцать тысяч, — отозвался Келп.

Изумруд, сложно оgranенный камень глубокого зеленого цвета, размером чуть поменьше мяча для гольфа, покоился на маленькой белой подставке, лежавшей на куске алого атласа. Столик с редкостным камнем был заключен в стекло целиком, со всех четырех сторон и сверху. Стеклянная призма имела размеры шесть на шесть футов и семь футов в высоту. На расстоянии приблизительно пяти футов она была окружена красным бархатным шнуром на специальных стойках, образовывавшим большой квадрат — это должно было удерживать зрителей на безопасной дистанции. В каждом углу этого большого квадрата, сразу же за шнуром, стоял цветной охранник в темно-синей форме с пистолетом в кобуре. Маленькая табличка на одноногой подставке, напоминавшей музыкальный пюпитр, извещала: «ИЗУМРУД ТАЛАБВО», и далее следовала история камня, даты, имена, географические названия.

Дортмундер изучал охранников. Они выглядели скучающими, но не сонными. Он внимательно посмотрел на стекло, имевшее характерный оливковый цвет благодаря массе содержавшегося в нем металла. Пуленепробиваемое, небьющееся, гарантированное от взлома. Ребра стеклянной призмы крепились полосками хромированной стали, такой же полоской была обведена линия соприкосновения стекла с полом.

Они были на втором этаже Колизея, потолок возвышался примерно в тридцати футах над их головами, над этажом с трех сторон нависал балкон. Всеафриканская выставка культуры и искусства была разбросана по всем четырем выставочным этажам, но наиболее притягивающие публику вещи находились здесь, на втором этаже. Высокий потолок отражал шум общего движения людей, сновавших между экспонатами.

Не будучи очень большой или важной африканской державой. Акинзи не получила места в самой середине зала, но Изумруд Талабво, считавшийся весьма впечатляющим камнем, все же не был засунут в угол. Он занимал прекрасную позицию для обозрения, находясь довольно далеко от какого бы то ни было выхода.

— Я видел достаточно, — сказал Дортмундер.

— Я тоже, — кивнул Келп.

Они вышли из Колизея, пересекли Коламбус Серкл и углубились в Центральный парк.

— Это будет круто — вытащить его оттуда, — сказал Дортмундер.

— Еще бы, — согласился Келп.

— Я вот думаю, не стоит ли подождать, пока они его повезут, — размышлял Дортмундер.

— Это будет не так скоро, — сказал Келп. — Айко вряд ли понравится, что мы сидим и ничего не делаем за сто пятьдесят долларов в неделю.

— Забудь Айко, — сказал Дортмундер. — Если мы делаем это, то команду ю. Я как-нибудь справлюсь с Айко, не беспокойся об этом.

— Само собой, Дортмундер, — кивнул Келп. — Все будет, как ты скажешь.

Они подошли к озеру и сели на скамейку. Стоял июнь, и Келп смотрел на гуляющих девушек, Дортмундер устремил взгляд на озеро.

Он не мог пока решить ничего конкретного насчет этого дельца, а главное — не знал, нравится ли оно ему или нет. Ему импонировала идея гарантированной оплаты, нравился и миниатюрный, легко транспортируемый объект кражи, и он был абсолютно уверен, что сумеет поставить на место этого Айко, но, с другой стороны, он должен быть внимательным и осторожным. Он уже ошибался дважды, и было бы печально просчитаться еще раз. Ему не хотелось всю оставшуюся жизнь хлебать тюремную баланду.

Так что же ему не нравилось? Ну, прежде всего, они покушаются на предмет, стоивший полмиллиона, и вполне естественно, такая ценность более чем тщательно охраняется. Будет нелегко увести этот камушек у Акинзи. Четыре охранника, пуленепробиваемое стекло — это, наверное, только первые рубежи обороны.

Во-вторых, если им удастся смыться с камнем, они должны будут иметь в виду бешеную активность полиции. Легавые, скорее всего, куда с большим усердием займутся людьми, укравшими полумиллионный изумруд, чем поимкой субъекта, который спер портативный телевизор. Кроме того, все будет кишеть ищейками страховых компаний, а они временами бывают хуже полицейских.

И, наконец, как он, Дортмундер, может быть уверен в том, что Айко можно доверять? Было что-то слишком гладкое в этом человеческом экземпляре.

— Что ты думаешь об Айко?

Келп нехотя отвел взгляд от девицы в зеленых чулках и сказал:

— По-моему, с ним порядок. А что?

— Ты думаешь, он заплатит?

Келп рассмеялся.

— Конечно, заплатит. Он жаждет заполучить изумруд, значит, он должен заплатить.

— А что, если нет? Ведь тогда нам вряд ли найти другого покупателя.

— Страховая компания, — выпалил Келп. — Они заплатят сто пятьдесят кусков за полумиллионный камушек в любой момент!

Дортмундер кивнул.

— Может быть, это вообще-то было бы лучшим вариантом.

Келп не уловил его мысли.

— В каком смысле — лучшим?

— Пусть себе Айко финансирует дело, — сказал Дортмундер. — Но когда мы добываем изумруд, то продаем страховой компании.

— Мне это не нравится, — отрезал Келп.

— Почему нет?

— Потому, что он знает, кто мы, — сказал Келп, — и если этот изумруд такая важная символическая штука в его стране, то граждане ее наверняка здорово расстроются, если мы прихватим камушек. Нет, я не хочу, чтобы целая страна, пусть африканская, охотилась за мной, с деньгами или без денег.

— О'кэй, — сказал Дортмундер. — О'кэй. Мы посмотрим, как оно все повернется.

— Представляешь, целая страна охотится за тобой, — сказал Келп и вздрогнул. — Мне бы не хотелось этого.

— Ладно.

— Воздушные ружья и отравленные стрелы, — не унимался Келп, продолжая вздрагивать.

— Я думаю, они уже модернизировались, — сказал Дортмундер.

Келп посмотрел на него.

— По-твоему, от этого я должен почувствовать себя лучше? Пулеметы, самолеты?!

— Ну ладно, — примирительно проговорил Дортмундер. — Ладно.

И чтобы сменить предмет разговора, добавил:

— Как ты думаешь, кого следует взять с собой?

— Остальная команда? — Келп пожал плечами. — Я не знаю. В каких специалистах мы нуждаемся?

— Это трудно сказать, — Дортмундер насутился, глядя на озеро и игнорируя идущую мимо красотку в облегающем костюме тигровой расцветки. — Никаких специалистов, — сказал он, — кроме, может быть, специалиста по замкам. Но, не медвежатника, никаких сейфов.

— Сколько нам надо — пять или шесть?

— Пять, — сказал Дортмундер, а вслед за тем произнес одно из своих жизненных правил: — Если ты не можешь сделать дело впятером, ты не можешь сделать его вообще.

— О'кэй, — согласился Келп. — Значит, нам нужен водитель, специалист по замкам и снабженец.

— Точно, — подтвердил Дортмундер. — Что касается ключника, то был такой маленький мужичок из Демойна. Ты знаешь, кого я имею в виду?

— Кого-то вроде Уайза? Уайзман? Уэлш?

— Уистлер! — сказал Дортмундер.

— Именно, — сказал Келп и покачал головой. — Он в тюрьме. Они закатали его за то, что он выпустил на свободу льва.

Дортмундер оторвался от озера и пристально посмотрел на Келпа.

— Чего-чего?

Келп пожал плечами.

— Я тут ни при чем. Я просто слышал. Дескать, он повел своих малышей в зоопарк, ему стало скучно, он начал крутить замки, ну, знаешь, в рассеянности, как мы иногда рисуем, не думая, и на тебе пожалуйста — не успел оглянуться, лев оказался на свободе.

— Это мило, — сказал Дортмундер.

— Я тут ни при чем, — повторил Келп. Потом спросил: — А как насчет Чеввика? Ты его знаешь?

— Который помешался на железных дорогах? Он же совершенно чокнутый.

— Но он великий специалист по замкам, — настаивал Келп. — И он доступен.

— О'кэй, — кивнул Дортмундер. — Позвони ему.

— Обязательно. — Келп наблюдал за двумя девицами, одетыми в разные оттенки зеленого и золотого. — Далее... нам нужен водитель...

— Как насчет Лартуа? Помнишь его?

— Забудь о нем, — скривился Келп. — Он в больнице.

— Давно?
— Пару недель. Врезался в самолет.
Дортмундер вновь посмотрел на него пристальным взглядом.
— Что он сделал?
— Я в этом не виноват, — сказал Келп. — Якобы он был на свадьбе у двоюродной сестры на Манхэттене, возвращался домой, по ошибке поехал по Ван Вик Экспрессуэи не в ту сторону и не успел очухаться, как оказался в аэропорту Кеннеди. Я думаю, он был немного под мухой, ну и...
— Ну и? — Нетерпеливо спросил Дортмундер.
— Ну и перепутал знаки, свернул на семнадцатую рулежную дорожку и врезался в самолет компании Истерн Эйрлайнз, который только что прилетел из Майами.
— На семнадцатую рулежную дорожку? — удивился Дортмундер.
— Так мне сказали, — пожал плечами Келп.
Дортмундер вытащил свой «Кэмел» и задумчиво сунул сигарету в рот. Он протянул пачку и Келпу, но Келп покачал головой:
— Я бросил. Эти раковые ролики достали меня.
Дортмундер замер, держа пачку на весу.
— Раковые ролики?
— Ну да. По телеку.
— Я четыре года не видал ни одного телека, — вздохнул Дортмундер.
— Ты кое-что потерял, — сказал Келп.
— Ясное дело, — сказал Дортмундер. — Надо ж, раковые ролики!
— Вот именно. Пугают тебя просто вусмерть. Погоди, увидишь.
— Ага, — промычал Дортмундер. Он спрятал пачку и раскурил сигарету. — Так насчет водителя... Не слыхал ли ты, не случилось ли в последнее время чего-нибудь эдакого со Стэном Мэрчем?
— Со Стэном? Нет. А что с ним случилось?
Дортмундер хмыкнул.
— Я тебя спрашиваю.
Келп в недоумении пожал плечами.
— Последнее, что я слышал, — с ним все нормально.
— Тогда почему бы нам его не использовать?
— Если ты уверен, что он в порядке, — сказал Келп.
Дортмундер вздохнул.
— Я позвоню ему и спрошу, — сказал он.
— Ну вот, а теперь — снабженец.
— Я боюсь называть кого-либо, — протянул Дортмундер.
Келп с удивлением поглядел на него.
— Почему? Ты же их хорошо знаешь.
Дортмундер снова вздохнул и поинтересовался:
— Как насчет Эрни Дэнфорты?
Келп покачал головой.
— Он завязал.
— Кто, Эрни?
— Ну да. Он стал монахом. Понимаешь, как я слышал, он смотрел этот фильм с Пэтом О'Брайеном и...
— Ол райт. — Дортмундер вскочил и швырнул сигарету в озеро.
— Я хочу знать про Алана Гринвуда, — произнес он сдавленным голосом. — И все, что меня интересует, это «да» или «нет».
Келп пришел в замешательство. Глядя на Дортмундера и часто моргая, он спросил:
— «Да или нет» — в каком смысле?
— Можем ли мы его использовать!
Пожилая дама, сердито смотревшая на Дортмундера с того самого момента, как он бросил сигарету в озеро, не дождавшись извинений, внезапно побледнела и поспешила прочь.
Келп облегченно улыбнулся.
— Само собой, мы можем его использовать. Почему нет? Гринвуд хороший парень.
— Я позвоню ему! — проорал Дортмундер.
— Я слышу тебя, — удивился Келп. — Я тебя слышу.
Дортмундер огляделся по сторонам.
— Пошли, следует пропустить по стаканчику, — заявил он.
— Конечно, — оживился Келп, вскакивая. — Все как ты скажешь.

Они были теперь на прямом, как стрела, участке дороги.

— Вот оно. Ол райт, бэби — пробормотал Стэн Мэрч сквозь стиснутые зубы.

Он сгорбился над рулем, сжимая его пальцами в лайковых перчатках, его нога на акселераторе напряглась, взгляд мгновенно пробежал по приборной панели, считывая показания на шкалах, проверяя их: спидометр, одомер, тахометр, уровень горючего, температура, давление масла, время. Он грудью натянул ремни, которыми был пристегнут к сиденью, как бы посылая свою машину вперед, видя, как ее длинный лоснящийся нос подтягивается все ближе и ближе к типу, летевшему впереди. Стэн Мэрч хотел обойти его справа, вдоль ограждения, проскочить, а там — прости-прощай...

Но этот тип усек, что просвет сокращается, и Мэрч почувствовал, как другая машина стремится уйти вперед, подальше от беды.

Нет. Этого не будет. Мэрч бросил взгляд на зеркало заднего обзора — там, позади, все было в порядке. Он с силой нажал на газ, «мустанг» рванулся, пулей пролетел рядом с зеленым «понтаком», пересек две полосы, и Мэрч сбросил ногу с педали газа. «Понтиак» проревел слева от него, но Мэрчу это было безразлично. Он показал, кто есть кто, и нужный ему поворот приблизился. «Канарси» — было написано на указателе. Мэрч вырулил по кругу с Окружного шоссе и оказался на Рокауэй Паркуэй, длинной, прямой, скучной и тряской улице, с двух сторон окруженной новостройками, супермаркетами и стоящими в ряд домами.

Мэрч жил с матерью на Девяносто Девятой Восточной улице, чуть в стороне от Рокауэй Паркуэй. Он сделал правый поворот, затем левый, притормозил в середине квартала, увидел, что мамашино такси стоит у дома, и покатился парковаться к дальнему углу. Осторожно взял с заднего сиденья новый диск — Звуки Индианаполиса в Стерео и Хайфай — и пошел к дому. Это был дом на две семьи, в котором мать и он жили в трехполовинокомнатной квартире на первом этаже, а в четырехполовинокомнатной на втором сменялись разные жильцы. Первый этаж был трехполовинокомнатным потому, что на месте четвертой был устроен гараж.

Нынешний жилец, торговец рыбой по фамилии Фридкин, как всегда сидел на ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж. Жена Фридкина заставляла Фридкина сидеть на воздухе чуть не круглые сутки, если только не намечалось чего-нибудь вроде снежной бури или атомного взрыва. Фридкин, вокруг которого стоял крепкий морской аромат, помахал Мэрчу и крикнул:

— Как делишки, бойчик?

— Угм, — сказал Мэрч. Он не был мастером бесед. По большей части он разговаривал с машинами.

Пройдя на кухню, он позвал:

— Мам?

Она была внизу, в свободной комнате. Кроме трех с половиной, у них был еще полустроенный полусырой подвал, который большинство соседей считало семейной комнатой. Мэрч и его мать превратили это подбрюшье дома в спальню Стэна.

Мамочка Мэрча поднялась оттуда и радостно сказала:

— Ну вот ты и дома.

— Посмотри, что я достал, — Мэрч показал ей пластинку.

— Так поставь ее, — сказала она.

— О'кэй, — сказал он.

Они вместе пошли в гостиную, и пока Мэрч ставил диск на вертушку, он спросил:

— Как ты оказалась дома в такую рань?

— А-ах, — сказала она с отвращением. — Это один хитромудрый легавый там, в аэропорту...

— Ты опять сажала больше одного пассажира? — сказал Мэрч.

— А почему бы и нет, хотелось бы мне знать, — вспыхнула она. — В этом городе дефицит такси, не так ли? Ты бы посмотрел на всех этих людей в аэропорту, им приходится ждать полчаса, час, они могли бы слетать в Европу, прежде чем им удастся доехать до Манхэттена. Вот я и пытаюсь слегка облегчить ситуацию. Им все равно, клиентам, они так и так платят по счетчику. А мне это в жилу, я получаю в два раза больше. И это помогает городу, улучшает его репутацию, будь она проклята. Но попробуй объяснить это тупице в полицейской форме. Поставь пластинку.

— На сколько тебя отстранили от вождения?

— На два дня, — сказала она. — Поставь пластинку.

— Мам, — сказал он, держа тонарм над крутящимся диском, — мне бы не хотелось, чтобы ты так рисковала. У нас не так много денег.

— У тебя их достаточно, чтобы выбрасывать на пластинку, — сказала она. — Поставь ее.

— Если бы я знал, что ты вот так погоришь на два дня...

— Ты всегда можешь найти себе работу, — сказала она. — Поставь пластинку. Уязвленный, Мэрч вернул тонарм в держатель и упер руки в бока.

— Так вот чего ты хочешь, — сказал он, — ты хочешь, чтобы я пошел работать на почту?

— Не-ет. Да нет, не обращай на меня внимания, — вдруг сокрушенно сказала мать. Она подошла к нему и потрепала его по щеке. — Я знаю, скоро что-нибудь подвернется моему милому сыночку. И когда ты получишь свои денежки, Стэн, никто на всем белом свете не будет их так свободно тратить, как ты.

— Вот уж точно, — согласился Мэрч, умиротворенный, но все еще слегка раздраженный.

— Поставь, наконец, пластинку, — сказала ему мать. — Давай послушаем ее. Мэрч поставил тонарм на внешние бороздки пластинки. Комната наполнилась визгом покрышек, завыванием двигателей и скрежетом передач.

Они молча прослушали первую сторону, и когда она кончилась, Мэрч сказал:

— Да, вот это действительно хорошая пластинка.

— Я думаю, одна из лучших, Стэн, — сказала мать. — Я в самом деле так думаю. Давай послушаем вторую сторону.

Мэрч подошел к проигрывателю, поднял пластинку, и тут зазвонил телефон.

— Черт, — сказал он.

— Плюнь на него, — сказала мать. — Давай вторую сторону.

— О'кэй.

Мэрч поставил другую сторону, и звонок телефона был похоронен во внезапном реве двадцати одновременно заводимых автомобильных двигателей.

Но позвонивший не собирался сдаваться. Сквозь временные музыкальные затишья звонок все еще прорывался, и это раздражало. Гонщик, входящий в поворот на скорости сто двадцать миль в час, не должен отвечать на телефонный звонок.

В конце концов Мэрч с отвращением покачал головой и поднял трубку.

— Кто это? — попытался он перекричать шум от пластинки.

Отдаленный голос спросил:

— Стэн Мэрч?

— У телефона!

Голос произнес что-то еще.

— Что-что?!

Голос прокричал вдалеке:

— Это Дортмундер!

— О-о, да! Как дела?

— Нормально! Где вы живете, посреди автодрома?

— Подождите секунсточку, — прокричал Мэрч, положил трубку и пошел снимать пластинку. — Я прокручу ее через минуту, — сказал он матери. — Там один мой знакомый, может, насчет работы.

— Я знала, что-нибудь подвернется, — обрадовалась мать. — В каждом облачке спрятан дождичек.

Мэрч вернулся к телефону.

— Алло, Дортмундер?

— Вот теперь много лучше, — сказал Дортмундер. — Что ты сделал, закрыл окно?

— Нет, это была пластинка. Я ее выключил.

Наступила долгая тишина.

Мэрч сказал:

— Дортмундер?

— Я здесь, — сказал Дортмундер, но звучал он несколько глуше, чем раньше.

Потом, снова громче, он сказал: — Я интересуюсь, можно ли рассчитывать на тебя в качестве водителя?

— Да, конечно.

— Встретимся сегодня в «О.Дж. Бар и Гриль» на Амстердам Авеню, — сказал Дортмундер.

— Отлично. Время?

— Десять часов.

— Я там буду. До встречи, Дортмундер.

Мэрч повесил трубку и сказал матери:

— Ну вот, похоже, скоро нам обломятся кое-какие денежки.

— Это здорово, — сказала мать. — Поставь пластинку.

— Сию минуту.

Мэрч подошел к проигрывателю и поставил вторую сторону сначала.

— Ту-ту, — сказал Роджер Чевфик.

Три его поезда одновременно пронеслись по его выполненной в масштабе железной дороге. Контакты замыкались, электрические сигналы подавались, происходила масса всяких вещей. Стрелочники выскакивали из своих домиков и махали флажками. Специальные вагоны останавливались в нужных местах и наполнялись зерном, чтобы потом остановиться совсем в других местах и разгрузить его. Мешки с почтой подхватывались на ходу в почтовые вагоны. Звенели звонки на переездах, опускались шлагбаумы. Вагоны сцеплялись и расцеплялись. Чего только не происходило.

— Ту-ту, — радостно пропел Роджер Чевфик.

Чевфик, маленький и тощий пожилой человек, сидел на высоком стуле у главного пульта управления, его опытные руки легко передвигались по множеству кнопок и специальных переключателей. Крепкая платформа из клееной фанеры, шириной четыре фута и высотой по пояс, окружала три стены подвала, так что Чевфик посреди нее был как человек в циркореаме. Игрушечные дома, игрушечные деревья, даже игрушечные горы придавали полную достоверность его модели. Его поезда пронеслись по мостам, проскакивали сквозь тоннели, минуя многоколейные хитросплетения рельсов.

— Ту-ту!

— Роджер, — позвала его жена.

Чевфик обернулся и увидел, что Мод стоит на лестнице, ведущей в подвал. Незаметная, хлопотливая, приятная женщина, Мод была его идеальным товарищем, и он знал, как ему с ней повезло.

— Да, дорогая.

— К телефону.

— Вот досада, — вздохнул Чевфик. — Один момент...

— Я скажу им, — сказала она и стала подниматься по лестнице.

Чевфик вновь повернулся к своему пульту. Поезд номер один находился вблизи Сортировочной Чевфика, поэтому Чевфик перевел его с пути, ведущего к станции назначения Сентер-Сити, и послал вместо этого через тоннель в Горах Мод на сортировочную. Поскольку поезд номер два как раз подходил к станции Роджервилль, он просто загнал его на запасной путь, чтобы оставить главный свободным. Нужно было еще что-то предпринять с поездом номер три, который в данный момент проходил по Туманному Перевалу. Это потребовало достаточно хитрого планирования, но в конце концов Чевфик вывел его из Южных Гор и поставил на боковую ветку, идущую к старой Приморской Горнорудной Корпорации. Затем, довольный своей работой, он отключил питание и пошел наверх.

Их кухня, маленькая, белая и теплая, была наполнена ароматом стряпни. Мод стояла у мойки и мыла посуду. Чевфик сказал:

— М-мм, хорошо пахнет.

— Пусть остынет немножко, — сказала Мод.

— Невозможно ждать, — сказал он, зная, что это будет ей приятно, и пошел в гостиную, где был телефон. Он сел на диван, накрытый цветастым покрывалом, взял телефонную трубку и мягко сказал в нее:

— Алло?

Грубоватый голос произнес:

— Чевфик?

— У телефона.

— Это Келп. Помнишь?

— Келп? — Имя что-то напоминало ему, но что в точности, Чевфик не мог припомнить. — Прошу прощения, но я ...

— Ну, в булочной... — произнес голос.

И в этот момент он вспомнил. Конечно, конечно — ограбление булочной.

— Келп! — сказал он, радуясь воспоминанию. — Как приятно снова слышать вас. Как там у вас дела?

— То так, то сяк, сам знаешь, как оно. Что я хочу...

— Как приятно снова слышать ваш голос! Давно ли это было?

— Пару лет назад. Что я хочу...

— Как летит время! — изумился Чевфик.

— Да, еще бы. Что я...

— О, я ни в коем случае не должен был забыть ваше имя. Видно, просто я думал о чем-то другом.

— Ничего. Что я хочу...

— Но я мешаю вам объяснить, почему вы мне звоните, — сказал, наконец, Чевфик. — Слушаю вас.

Тишина.

Чефвик сказал:

— Алло?

— Да-а, — сказал Келп.

— О, вы тут.

— Да-а, — сказал Келп.

— Вы что-то хотели? — спросил его Чефвик.

Ему показалось, что Келп вздохнул перед тем как сказать:

— Да. Я действительно что-то хотел. Я хотел знать, можно ли на вас рассчитывать?

— Одну минуточку, пожалуйста, — прервал его Чефвик. Он положил трубку на стол, встал и прошел в кухню, где сказал жене: — Душенька, не знаешь ли ты случаем, в каком состоянии пребывают наши финансы?

Мод с задумчивым видом вытерла руки о передник:

— Я думаю, на нашем счете осталось что-нибудь около семи тысяч долларов.

— А в подвале ничего нет?

— Нет. Я взяла оттуда последние три тысячи в конце апреля.

— Спасибо, — сказал Чефвик. Он вернулся в гостиную, сел на диван и поднял трубку: — Алло?

— Да-а, — сказал Келп. Его голос звучал устало.

— Я весьма заинтересован, — сказал Чефвик.

— Отлично, — заключил Келп, по-прежнему устало. — Мы встречаемся сегодня в десять часов в «О.Дж. Бар и Гриль» на Амстердам авеню.

— Прекрасно, — сказал Чефвик. — Там и встретимся.

— Да-а, — сказал Келп.

Чефвик повесил трубку, поднялся, вернулся на кухню и сказал:

— Я отлучусь ненадолго сегодня вечером.

— Не допоздна, я надеюсь?

— Нет, сегодня нет, я думаю. Сегодня мы просто будем обсуждать ситуацию. —

На лице Чефвика появилось лукавое выражение, на его губах заиграла улыбка эльфа. — Эта твоя штукавина еще не готова?

Мод снисходительно улыбнулась ему в ответ:

— Я думаю, ты можешь попробовать кусочек.

8

— Так, значит, это твоя квартира! — сказала девица.

— М-да, — промычал в ответ Алан Гринвуд, улыбаясь. Он закрыл дверь и сунул ключи в карман.

— Устраивайся поудобнее, — сказал он.

Девушка вышла на середину комнаты и в восхищении описала по ней большой круг.

— Ну, я тебе скажу, — проговорила она. — Такая красота в холостяцкой квартире!

Гринвуд, направлявшийся к бару, заметил:

— Я делаю, что могу. Но ...постоянно ощущаю недостаток женской руки.

— Ну, это совершенно незаметно, — промурлыкала она.

Гринвуд включил камин.

— Чего бы ты хотела? — спросил он.

— О, — сказала она, передергивая плечиками и слегка кокетничая. — Просто что-нибудь легонькое.

— Сей момент! — Он открыл бар, встроенный в книжный шкаф, и приготовил для нее «Роб-Рой», достаточно сладкий для того, чтобы закамуфлировать убийственную крепость влитого в него виски.

Когда он повернулся, она любовалась картиной, висевшей между окнами, задрапированными бархатными портьерами каштанового цвета.

— Ах, как интересно! — воскликнула она.

— Это «Похищение сабинянок», — объяснил Гринвуд. — В символической форме, конечно. Пожалуйста, твой бокал.

— О, спасибо.

Он поднял свой бокал — немного виски, много воды — и предложил:

— За тебя, — потом, почти без всякой паузы, прибавил: — Миранда.

Миранда улыбнулась и склонила голову от смущения и удовольствия.

— За нас, — прошептала она.

Он улыбнулся ей в ответ.

— За нас.

Они выпили.

— Идем присядем, — сказал он и повел ее к кушетке, обтянутой белоснежной овчиной.

— О, неужели это овчина?
 — Она много теплее, чем кожа, — объяснил он мягко.
 Сидя рядышком, они замороженно глядели некоторое время на огонь в камине, а потом она сказала:
 — Боже! Ведь он совсем как настоящий!
 — И никакого пепла, — улыбнулся он. — Я люблю, чтобы все вещи были... чистые.
 — О, я понимаю, что ты имеешь в виду, — сказала она, ослепительно улыбаясь ему.
 Он обнял ее за плечи, но тут зазвонил телефон.
 Гринвуд закрыл глаза, потом открыл их снова.
 — Не обращай на него внимания.
 Но телефон продолжал настойчиво звонить.
 — Может быть, это что-нибудь важное, — нерешительно сказала она.
 — У меня есть служба ответчика. Они это зафиксируют.
 Телефон звонил.
 — Я как раз подумываю насчет службы ответчика, — она освободилась из его рук и повернулась к нему. — Это дорого?
 Телефон звонил.
 — Что-то около четвертного в месяц, — ответил он, улыбаясь теперь немного напряженно. — Но удобство стоит того.
 — О, конечно, — сказала она. — И не пропустишь ни одного важного звонка.
 Гринвуд бросил взгляд на дребезжащий аппарат и пробормотал:
 — Само собой.
 Телефон намеревался трещать, видимо, весь вечер.
 Она подвинулась ближе к нему.
 — Что у тебя с глазом? С правым глазом? Тик?
 Он непроизвольно поднес руку к лицу.
 — Тик? Бывает иногда, когда я устаю. И когда...
 — А, так ты устал?
 — Нет, — сказал он быстро. — В общем, нет, может быть, в ресторане было темновато, и я мог перенапрячь...
 Трели телефона начинали давить на психику.
 Гринвуд рванулся к телефону, схватил трубку и прокричал в нее:
 — В чем дело?
 — Алло?
 — Сам алло! Что вам надо?
 — Гринвуд? Алан Гринвуд?
 — Кто это?
 — Это Алан Гринвуд?
 — Да, черт побери, да! Что вам нужно? — уголком глаза он видел, что девица поднялась с кушетки и стояла, глядя на него.
 — Это Дортмундер.
 — Дорт... — Гринвуд закашлялся, не окончив. — О, — сказал он много спокойнее. — Как дела?
 — Нормально. На тебя можно рассчитывать в плане небольшой работы?
 Гринвуд посмотрел на физиономию девушки, думая в то же время о своем банковском счете.
 — Да, конечно, — сказал он и попытался улыбнуться девушке, но не получил улыбки в ответ. Она наблюдала за ним с некоторой осторожностью.
 — Мы встречаемся сегодня вечером, сказал Дортмундер. — В десять? Ты свободен?
 — Да, я думаю, что да, — сказал Гринвуд без энтузиазма.

9

Дортмундер вошел в «О. Дж. Бар и Гриль» на Амстердам авеню без пяти минут десять. Два постоянных клиента играли на автоматическом кегельбане, трое других болтали у стойки, вспоминая Айриш Мак-кела и Бетти Пейдж. За стойкой стоял Ролло, высокий, мясистый, лысеющий, выбритый до синевы, в грязной белой рубашке и таком же переднике...

Дортмундер уже договорился с Ролло обо всем днем по телефону, но он уважительно остановился на секунду у стойки и спросил:

— Кто-нибудь уже здесь?

— Один парень, — сказал Ролло. — Солодовое пиво. Мне не кажется, что я его знаю. Он в задней комнате.

— Спасибо.

Ролло сказал:

— Вам двойной «бурбон», не так ли? Чистый.

— Я приятно удивлен тем, что вы помните, — сказал Дортмундер.

— Я не забываю своих клиентов, — сказал Ролло. — Приятно видеть вас снова. Если хотите, я принесу целую бутылку.

— Спасибо еще раз, — сказал Дортмундер и прошел дальше, мимо двух дверей с силуэтами собак, на одной из которых было написано «ПОИНТЕРЫ», на другой — «СЕТТЕРЫ», мимо телефонной будки, через зеленую заднюю дверь в маленькую квадратную комнату с цементным полом. Практически вся она была забита от пола до потолка пивными и винными ящиками, оставлявшими свободным лишь небольшое пространство посередине, где умещался старый обшарпанный стол с зеленым фетровым верхом да полдюжины стульев. Голая лампочка с круглым жестяным отражателем низко висела над столом на длинном черном шнуре.

Стэн Мэрч сидел за столом, полстакана солодового пива перед ним. Дортмундер закрыл дверь и сказал:

— Ты здесь раненько.

— Я показал хорошее время, — сказал Мэрч. — Вместо того, чтобы тащиться всю дорогу по Окружной, двинул по Рокауэй Паркуэй и через Истерн Паркуэй на Грэнд Арми Плаза и с нее на Флэтбуш Авеню до Моста Манхэттен. Потом по Третьей авеню и через парк на Семьдесят девятую стрит. Вечером значительно быстрее ехать именно так, чем если ты рванешь по Окружной и через Туннель Бэттери по Вест-Сайд Хайуэй.

Дортмундер удивился:

— Да ну!

— Днем-то этот путь лучше, — сказал Мэрч. — Но вечером и ночью городские улицы тоже хороши. Даже лучше.

— Очень интересно, — Дортмундер сел.

Дверь отворилась, и вошел Ролло со стаканом и бутылкой чего-то, именовавшегося «Амстердамский Специальный Бурбон» — «Наша Собственная Марка». Ролло поставил стакан и бутылку перед Дортмундером.

— Там один парень... может, к вам? Шерри. Пропустить?

Дортмундер поинтересовался:

— Он спросил меня?

— Спросил парня по имени Келп. Это тот Келп, которого я знаю?

— Он самый, — кивнул Дортмундер. — А это один из наших, шлите его сюда.

— Есть, — Ролло посмотрел на стакан Мэрча. — Готовы повторить?

— Покамест понянчусь с этим, — сказал Мэрч.

Ролло выразительно посмотрел в сторону Дортмундера и вышел, а минутой позже вошел Чеввик со стаканом шерри.

— Дортмундер! — сказал он с удивлением. — Ведь я разговаривал по телефону с Келпом, не так ли?

— Он будет здесь с минуты на минуту, — сказал Дортмундер. — Вы знакомы со Стэном Мэрчем?

— Не имел удовольствия.

— Стэн наш водитель. Стэн, это Роджер Чеввик, он специалист по замкам. Лучший из всех в этом деле.

Мэрч и Чеввик кивнули друг другу, бормоча подходящие слова, и Чеввик присел к столу.

— Много ли еще народу здесь соберется?

— Еще двое, — сказал Дортмундер, и тут вошел Келп с пустым стаканом в руках. Он посмотрел на Дортмундера:

— Он сказал, что бутылка у тебя.

— Садись, — пригласил Дортмундер. — Вы все знаете друг друга, верно?

Они знали. Каждый сказал «хелло», и Келп налил «бурбон» в свой стакан. Мэрч сделал крохотный глоток пива.

Дверь открылась, и Ролло просунул в нее голову.

— Там виски с водой спрашивает вас, — сказал он Дортмундеру. — Но я в нем не уверен.

— Почему? — спросил Дортмундер.

— Он не кажется мне трезвым.

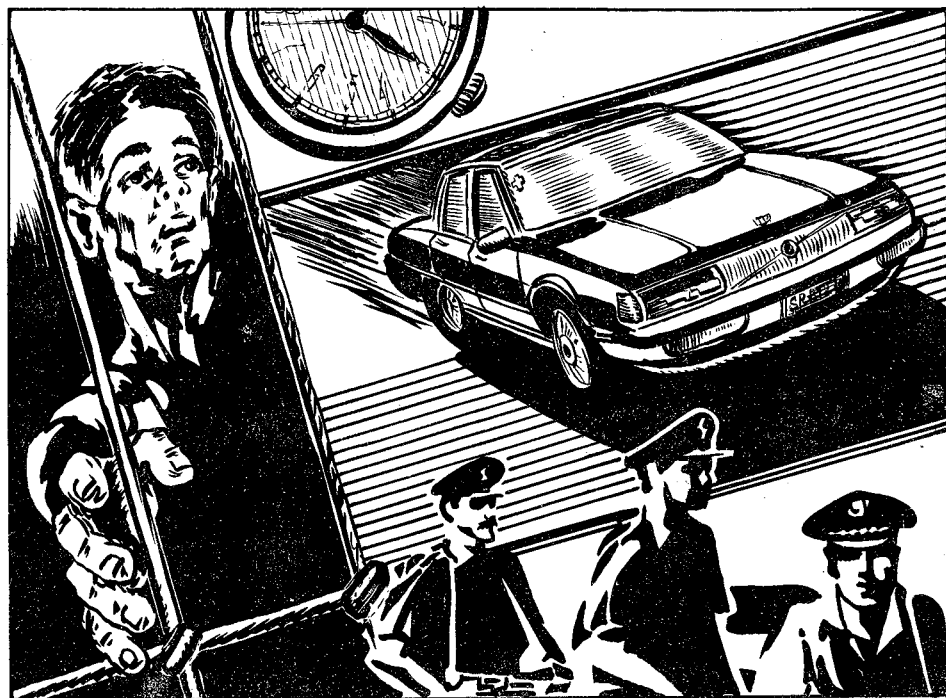
Дортмундер скорчил гримасу.

— Спросите, зовут ли его Гринвудом, и если да, то шлите сюда.

— Хорошо. — Ролло поглядел на пиво перед Мэрчем. — У вас порядок? — спросил он.

— Все нормально, — ответил ему Мэрч. Его стакан все еще был наполнен на одну четверть, но пена поверх пива исчезла. Разве только бы немножко соли, — сказал он.

Ролло снова поглядел на Дортмундера.



Рисунки В. Дачкина

— Само собой, — сказал он и вышел.

Минутой позже вошел Гринвуд с бокалом в одной руке и солонкой в другой.

— Бармен сказал, что солодовое пиво хочет это. — Он выглядел навеселе, но не пьяным.

— Это мне, — сказал Мэрч и протянул руку к солонке.

Мэрч и Гринвуд были представлены друг другу, потом Гринвуд сел, а Мэрч насыпал немного соли в свое пиво, благодаря чему на нем снова появилась пена. Мэрч потянул из стакана.

— Теперь мы все здесь, — Дортмундер посмотрел на Келпа. — Ты хочешь рассказать?

— Нет, — покачал головой Келп. — Расскажи ты.

— Ладно, — кивнул Дортмундер. Он рассказал им всю историю и спросил: — Вопросы?

— Мы получаем сто пятьдесят в неделю, пока не сделаем дело? — уточнил Мэрч.

— Да, это так.

— Тогда зачем его делать вообще?

— Три или четыре недели — это все, что мы можем выжать из Майора Айко, — сказал Дортмундер. — Что-нибудь в районе шести сотен на душу. По мне лучше бы получить тридцать тысяч.

— Вы хотите добыть изумруд из Колизея или подождать, когда его начнут везти? — спросил Чеввик.

— Мы должны сейчас это решить, — сказал Дортмундер. — Келп и я были там сегодня и видели, что его хорошо охраняют, но не исключено, что на дороге они попытаются обеспечить еще большую безопасность. Почему бы вам не прогуляться туда завтра и не посмотреть самим, как и что.

— Очень хорошо, — кивнул Чеввик.

— Когда мы заполучим изумруд, зачем вообще отдавать его нашему доброму Майору? — удивился Гринвуд.

— Он — единственный покупатель, — сказал Дортмундер. — Келп и я уже продумали все варианты, в которых его можно было бы наколоть.

— Важно, чтобы наше мышление оставалось гибким, — сказал Гринвуд.

Дортмундер огляделся.

— Еще вопросы? Нет? Кто-нибудь выходит из игры? Нет? Хорошо. Завтра вы все отдрейфуете к Колизею и поглядите на наш приз, затем встретимся снова здесь же. К тому времени я получу от Майора деньги за первую неделю.

Гринвуд сказал:

— Нельзя ли завтра пораньше? Десять часов ломает мне весь вечер.
— Слишком рано не стоит, — возразил Мэрч. — Я не хочу попасть в пробку в час пик.
— Как насчет восьми? — спросил Дортмундер.
— Нормально, — кивнул Гринвуд.
— Нормально, — согласился Мэрч.
— Для меня это просто идеально, — заявил Чеввик.
— Тогда решено, — заключил Дортмундер. Он отодвинул стул и поднялся. — Встречаемся здесь же завтра вечером.
Все встали. Мэрч прикончил свое пиво, облизал губы и произнес: «А-а-ах!» Потом он спросил:
— Кого-нибудь куда-нибудь подвезти?

10

Было без десяти час ночи с пятницы на субботу, и Пятая авеню напротив парка была пустынной. Временами мелькнет случайное такси с сигналом об окончании работы — и все. Весенняя морось сочилась из черного неба, и парк на той стороне улицы выглядел дикими джунглями.

Келп свернул за угол и направился к посольству. Он оставил такси на Мэдисон авеню, но теперь, чувствуя, как моросящий дождь медленно затекает за воротник пальто, начал думать, что поступил свехосторожно. Надо было выскочить из такси прямо у посольства, и гори огнем вся эта «крыша». Он обеспечил себя не той крышей, что нужна в такую ночь, как эта.

Он дотрусил до ступенек посольства и позвонил. Ему были видны огни в окнах первого этажа, но кому-то потребовалось много времени, чтобы подойти и открыть дверь, и этим кем-то оказался молчаливый черный человек, жестом длинных худых пальцев пригласивший Келпа войти. Затем человек закрыл за ним дверь и провел его через несколько богато убранных комнат, прежде чем оставить одного в окруженной книжными шкафами берлоге с бильярдом посередине.

Келп прождал минуты три, стоя то в одном месте, то в другом и ничего не делая, а потом решил послать все к чертям. Он вытащил рамку из-под стола, расставил с ее помощью шары, выбрал кий и начал потихоньку играть сам с собой.

Он как раз собрался положить шар номер восемь, когда дверь открылась и вошел Майор Айко.

— Вы пришли позже, чем я ожидал, — сказал он.

— Не мог найти такси, — объяснил Келп. Он положил кий, похлопал себя по карманам и вытащил смятый листок желтой линованной бумаги. — Это то, что нам нужно, — сказал он и вручил листок Майору. — Вы позвоните мне, когда все будет готово?

— Подождите минутку, — сказал Майор. — Разрешите, я просмотрю это.

— Ради бога, — сказал Келп. Он вернулся к бильярду, подобрал кий и закатил шар номер восемь. Потом он обошел стол наполовину и положил девятый шар и — рикошетом — тринадцатый. Десятого уже не было, поэтому он попробовал одиннадцатый, но тот скользнул по пятнадцатому и остановился на плохой позиции. Келп наклонился, прищурил один глаз и стал изучать различные направления прицела.

Майор сказал:

— Насчет этих униформ...

— Один момент, — сказал Келп. Он пригляделся еще немного, выпрямился, тщательно прицелился и ударил. Свой шар отскочил от одного борта, затем от второго, зацепил одиннадцатый и скатился в лузу.

— Черт, — сказал Келп. Он положил кий и повернулся к Айко. — Что-нибудь не так?

— Форма, — сказал Майор. — Здесь сказано четыре комплекта формы, но не сказано, какой именно.

— Ах да, я забыл. — Келп вытащил несколько мгновенных снимков из другого кармана. Они демонстрировали охранников из Колизея под разными углами зрения. — Вот несколько снимков, — сказал Келп, отдавая их. — Чтобы вы знали, как они выглядят.

Майор взял фотографии.

— Хорошо. А что за цифры проставлены в этой бумаге?

— Размеры одежды для всех участников, — ответил Келп.

— Разумеется. Я должен был догадаться, — Майор засунул список и снимки в свой карман и лукаво поглядел на Келпа. — Так что, в действительности есть еще три других человека, — сказал он.

— Точно, — сказал Келп. — Мы не собирались делать это вдвоем.

— Я понимаю. Дортмундер забыл сообщить мне имена трех других.

Келп покачал головой.

— Нет, не забыл. Он сказал мне, что вы пытались расколоть его на этот счет, и он сказал, что то же самое вы скорее всего попробуете и со мной.

С видимым раздражением Майор выпалил:

— Черт побери, но я должен знать, кого нанимаю. Это же абсурд!

— Нет, не абсурд, — возразил Келп. — Вы наняли Дортмундера и меня. Дортмундер и я наняли трех остальных.

— Но я должен их проверить, — сказал Майор.

— Вы уже обсуждали это с Дортмундером, — сказал Келп. — Вы знаете, как он к этому относится.

— Да, знаю.

На всякий случай Келп разъяснил:

— Вы начали составлять досье на каждого. Если вы составите достаточно много досье, то привлечете внимание и можете выдать всю затею.

Майор покачал головой.

— Это против моих правил, — сказал он, — против всего, к чему я привык. Как можно иметь дело с человеком, не имея на него досье? Так не делают.

Келп пожал плечами.

— Я не знаю. Дортмундер говорит, что я должен забрать деньги за эту неделю.

— Это вторая неделя, — сказал Майор.

— Верно.

— Когда вы собираетесь закончить работу?

— Как только вы достанете то, что требуется, — Келп развел руками. — Мы, знаете, не сидели сложа руки целую неделю. Мы заработали свои деньги. Мотаться в Колизей каждый день, сидеть и разрабатывать план каждый вечер, и так целую неделю, знаете ли, это не шутки шутить...

— Я не жалею денег, — сказал Майор, хотя было ясно, что он жалеет. — Я просто не хочу тянуть резину.

— Достаньте нам указанное снаряжение, — сказал Келп, — и мы добудем вам изумруд.

— Хорошо, — проворчал Майор. — Я провожу вас.

Келп бросил быстрый взгляд в сторону бильярда.

— Вы не возражаете? Я вроде как настроился на двенадцатый, а тогда останется всего два шара.

Майор, казалось, был одновременно удивлен и раздражен, но произнес вежливо:

— О, пожалуйста. Прошу вас!

Келп улыбнулся:

— Спасибо, Майор.

Он взял кий, уложил в лузу шар номер двенадцать, уложил четырнадцатый, сделал два удара по пятнадцатому и закончил тем, что загнал свой шар после тройного отскока от бортов.

— Годится, — сказал он и поставил кий.

Майор выпустил его на улицу, и он простоял десять минут под дождем, пока поймал такси.

11

Нью-Йоркский Колизей стоит между Пятьдесят восьмой Западной улицей и Шестидесятой Западной улицей фасадом к Колумбус Серкл на юго-западном углу Центрального парка на Манхэттене. Колизей обращен к парку, к Мэйн Монумент, и к статуе Колумба, и к Галерее Современного Искусства.

Со стороны Шестидесятой улицы, посреди бежевой кирпичной стены, имеется вход, украшенный большой хромированной цифрой 20, и адрес служебного входа в Колизей — Западная Шестидесятая улица, дом 20. Частный охранник в синей униформе всегда на посту за стеклянными дверцами этого входа, днем и ночью.

Однажды поздней ночью, в среду, в конце июня, около двадцати минут четвертого утра, Келп, одетый в плащ, двигался на восток по Западной Шестидесятой улице, и когда он находился как раз напротив входа в Колизей, с ним внезапно случился припадок. Он сначала как бы окаменел, потом упал и начал биться в судорогах на панели. Он несколько раз вскрикнул «О! О-о!» сипловатым голосом, который не разносился слишком далеко. Кругом не было никого, не было пешеходов и движущихся автомобилей.

Охранник видел Келпа через стеклянные двери до того, как начался припадок, Келп двигался, будто выпивший. Собственно говоря, шел-то он очень спокойно до

своего припадка. Охранник некоторое время колебался в нерешительности, обеспокоенно хмурясь, но корчи Келпа, казалось, все нарастали, так что в конце концов охранник открыл дверь и выскочил наружу, чтобы посмотреть, чем можно человеку помочь. Он присел на корточки рядом с Келпом, положил ладонь на его дергающееся плечо и спросил:

— Могу ли я что-нибудь сделать, браток?

— Да, — сказал Келп. Он перестал биться и приставил кольт Кобра Спешизл 38-го калибра прямо к виску охранника. — Вы можете встать очень медленно, — сказал Келп, — а руки надо держать так, чтобы я их видел.

Охранник медленно поднялся, и тогда из машины, стоявшей на другой стороне улицы, вышли Дортмундер, Гринвуд и Чевфик, одетые в точно такую же форму, какая была на охраннике.

Келп тоже поднялся, и все четверо отконвоировали охранника внутрь здания. Там его отвели за угол, связали и заткнули рот кляпом. Келп снял свой плащ, обнаружив еще одну форму того же вида, и вернулся, чтобы занять место охранника у входа. Тем временем Дортмундер и двое других стояли вокруг и каждый смотрел на часы.

— Он опаздывает, — сказал Дортмундер.

— Он доберется туда, — сказал Гринвуд.

У главного входа на дежурстве были два охранника, и в данный момент они оба смотрели на автомобиль, который внезапно возник из ниоткуда и пер прямо на двери.

— Не-ет! — прокричал один из охранников, размахивая руками.

За рулем авто, темно-зеленого «седана» выпуска позапрошлого года, украденного Келпом только сегодняшним утром, сидел Стэн Мэрч. У машины были теперь новые номера, имелись и некоторые другие переделки.

В последнее мгновение перед ударом Мэрч выдернул чеку бомбы, распахнул дверцу и вывалился наружу. Он успел откатиться, прежде чем произошло столкновение и взрыв.

Время было рассчитано ювелирно точно. Ни один свидетель — никого не было, кроме двух охранников, — не смог бы с уверенностью сказать, выбросился ли Мэрч до катастрофы или был выброшен наружу силой удара. И ни один человек ни за что бы не предположил, что язык пламени, который вырвался из машины, когда она с грохотом протаранила стеклянные двери, появился не в результате столкновения, а был создан небольшой зажигательной бомбой с пятисекундным взрывателем, чеку которого и рванул Мэрч как раз перед своим броском.

Точно так же никто не допустил бы и мысли о том, что пятна и подтеки на лице и одежде Мэрча были аккуратно наложены на свои места почти час назад в маленькой квартирке в Верхнем Вест-Сайде.

Так или иначе, столкновение было великолепным. Машина перепрыгнула поребрик, дважды чуть-чуть не перевернулась, пересекая широкий тротуар, протаранила стеклянные двери, разламывая все в порошок, а затем мгновенно потонула в пламени. В считанные секунды огонь достиг бензобака — как и было задумано и обеспечено кое-какими переделками, произведенными Мэрчем в течение дня, — и взрыв вдребезги разбил те стекла, которые еще оставались целыми.

Никто из находившихся в здании не смог бы не услышать прибытия Мэрча. Дортмундер и его приятели услышали его, улыбнулись друг другу и двинулись вглубь, оставив Келпа охранять дверь.

Их маршрут к выставке был круговым и включал несколько коридоров и два лестничных марша, но когда они наконец открыли одну из тяжелых металлических дверей, ведущих к экспозиции второго этажа, то убедились, что их временной график оказался идеальным. Никого из охраны видно не было.

Охрана вся сбежалась к главному входу, на пожар. Несколько охранников столпились вокруг Мэрча, который был, очевидно, в шоке, он вздрагивал, бормотал: «Оно не поворачивалось... не поворачивалось...» — и слабо двигал руками, как человек, пытающийся повернуть рулевое колесо. Часть других охранников стояла возле пылающей машины, они объясняли друг другу, каким счастливым оказался этот везучий парень. И не менее чем четверо из них были у четырех различных телефонов, звоня в больницы, в полицейские участки и в пожарные части.

А на выставке Дортмундер, Чевфик и Гринвуд быстро и бесшумно прошли между экспонатами к витринам Акинзи. Горело лишь несколько ламп, и в полутьме кое-какие из экспонатов, среди которых они двигались, выглядели ужасающе. Дьявольские маски, воины в боевых костюмах с копьями и даже куски домотканых материй дикой расцветки — все это действовало куда сильнее, чем в часы нормального посещения, когда горели все светильники и кругом была масса народу.

Осторожно, не спеша, они приступили к работе. Этому предшествовала неделя тренировки, так что им было детально известно, что и как делать.

Сначала следовало открыть четыре замка. Как только эти замки окажутся открытыми, стеклянный куб можно будет приподнять.

Чевфик прихватил с собой маленький черный портфель того типа, который раньше предпочитало большинство сельских врачей, и теперь он открыл его, обнаружив множество продолговатых металлических инструментов, которых большинство сельских врачей никогда в жизни не видело. Пока Гринвуд и Дортмундер, стоя по обе стороны от него, наблюдали за выходными дверьми, за перилами нависшего над их площадкой балкона третьего этажа, за лестницей, за эскалатором, ведущим к фасаду здания, откуда до них доходил красный отсвет пожара внизу в холле, пока они старательно вели наблюдение за всем этим, Чевфик неторопливо работал с замками.

Первый отнял у него три минуты, но после этого он уже знал систему и справился с остальными тремя менее чем за четыре минуты. Однако семь минут составляли большое время. Красный отблеск начал угасать, и шум внизу ослабел, скоро охрана начнет возвращаться к своим обязанностям. Дортмундер с трудом удерживался от того, чтобы поторопить Чевфика. Конечно, он знал, что Чевфик делает все, что может. И все-таки...

Наконец Чевфик прошептал: «Готово!» Все еще стоя на коленях возле последнего замка, он в спешке запикивал свои инструменты обратно в портфель.

Дортмундер и Гринвуд встали у противоположных сторон стеклянного куба. Он весил многовато, да к тому же не было возможности как следует ухватиться за него. Они могли только прижать ладони к ребрам куба и так поднимать его. Напрягаясь, потев, они сделали это, глядя сквозь стекло на вытянутые физиономии друг друга, и когда они подняли куб фута на два, Чевфик проскользнул внутрь и схватил изумруд.

— Быстрее, — прохрипел Гринвуд. — Он выскальзывает!

— Не оставьте меня тут! — Чевфик быстро выкатился из-под края стеклянной грани.

— У меня руки мокрые, — сказал Гринвуд, и голос его был полон напряжения. — Опускай! Опускай его!

— Не отпускай его! — испуганно крикнул Дортмундер. — Бога ради, не отпускай!

— Я не... Он не... Он...

Стекло выскользнуло из рук Гринвуда. Потеряв опору с другой стороны, Дортмундер также не смог удержать его. Стеклянный куб пролетел восемнадцать дюймов и ударился об пол.

Он не разбился, но издал протяжный громopodobный звон, густо повисший в воздухе.

Внизу раздались крики.

— Вперед! — завопил Дортмундер.

Чевфик в суматохе сунул изумруд в руки Гринвуда:

— Вот. Возьмите его. — Сам он схватил свой черный портфель.

Охранники показались наверху лестницы, очень далеко.

— Эй, вы! — прокричал один из них. — Стойте там, оставайтесь на своих местах!

— Врассыпную! — крикнул Дортмундер и побежал направо.

Чевфик побежал налево, Гринвуд прямо. Тем временем прибыла «скорая помощь». Полиция. Прибыли пожарники. Полицейский в форме пытался задать Мэрчу несколько вопросов, а врач «скорой помощи», во всем белом, требовал у полицейского оставить пациента в покое. Пожарные гасили огонь. Кто-то вытащил из карманов Мэрча полный фальшивых документов бумажник, который он засунул туда полчаса назад. Мэрч, все еще, очевидно, в полусознательном состоянии, повторял:

— Оно не поворачивалось. Я крутил его, но оно не поворачивалось.

— Мне кажется, — сказал полицейский, — что вы впали в панику. Что-то случилось с рулем управления, и вместо того, чтобы нажать на тормоза, вы надавили на акселератор. Такое происходит сплошь и рядом.

— Оставьте в покое пациента, — возмущался врач.

В конце концов Мэрча положили на носилки, погрузили в «скорую» и повезли под завывание sireны.

Чевфик, мчась во весь опор к ближайшему выходу, услышал звуки sireны и удвоил скорость. Меньше всего на свете ему хотелось бы провести свои преклонные годы в тюрьме. Без поездов. Без Мод. Без ее стряпни.

Он попытался свернуть на бегу, уронил свой портфель, споткнулся о него и упал, и охранник подскочил и помог ему подняться. Это был Келп, говоривший:

— Что случилось? Что-то не то случилось?

— Где остальные?

— Я не знаю. Надо сматываться.

Чевфик поднялся на ноги. Они прислушались. Звуков погони не было.

— Подождем минуты две, — решил Чевфик.

— Придется, — сказал Келп. — Ключи от машины у Дортмундера.

В это время Дортмундер, оббежав вокруг хижины, покрытой пальмовыми листьями, присоединился к погоне. «Стойте!» — крикнул он, несясь в толпе охранников. Впереди он увидел Гринвуда, который проскочил в какую-то дверь и захлопнул ее за собой.

«Стой!» — снова прокричал Дортмундер, и все охранники вокруг него закричали: «Стой!»

Дортмундер первым добрался до двери. Он распахнул ее, придержал, пока вся охрана пронеслась, потом закрыл за ними дверь и направился к ближайшему лифту. Спустился на первый этаж, прошел по коридору и оказался у бокового выхода, где топтались в ожидании Келп и Чеввик.

— Где Гринвуд? — спросил Дортмундер.

— Не здесь, — сказал Келп.

Дортмундер огляделся.

— Нам лучше подождать в машине, — сказал он.

А Гринвуд думал на бегу, что он уже на первом этаже, но на самом деле он там не был. В дополнение к первому, второму, третьему и четвертому этажам, в Колизее имеется два промежуточных, первый и второй. Первый промежуточный этаж находится между первым и вторым этажами, но идет только по внешнему периметру здания, минуя его центральную, выставочную, часть. Подобно этому, вторые антресоли находятся между вторым и третьим этажами.

Гринвуд ничего не знал об антресолях. Он был сначала на втором этаже и пробежал вниз один лестничный марш. Некоторые лестницы в Колизее пропускают промежуточный этаж и идут прямо со второго на первый, но часть других среди своих площадок имеют антресольные, и как раз одну из таких лестниц нечаянно выбрал Гринвуд. И вот теперь он полагал, что находится на первом промежуточном этаже.

Первый промежуточный этаж состоит из коридора, идущего вокруг всего здания. Там имеются кабинеты сотрудников, кафетерий, помещение частного детективного агентства, доставляющего охранников, вспомогательные помещения различных стран — участниц выставок, есть складские помещения, комнаты для совещаний и разные другие комнаты. Именно вдоль этого коридора и бежал теперь Гринвуд, сжимая в кулаке Изумруд Талабво и тщетно ища выход на улицу.

В этот же момент в своей «скорой помощи» Мэрч ударил врача прямо в челюсть. Тот отключился, и Мэрч устроил его на соседних носилках. Как только «скорая» замедлила ход перед поворотом, Мэрч открыл заднюю дверцу и спрыгнул на проезжую часть. «Скорая» умчалась прочь под вой сирены, а Мэрч проголосовал проезжавшему мимо такси.

— «О. Дж. Бар и Гриль», — сказал он. — На Амстердам.

В их второй краденой машине, предназначенной для побега с места преступления, Дортмундер, Келп и Чеввик продолжали обеспокоенно изучать выход из Колизея, Западная Шестидесятая улица, дом 20. Мотор был заведен, и нога Дортмундера нервно постукивала по педали газа.

— Мы не можем ждать дольше, — сказал Дортмундер.

— Вот он! — крикнул Чеввик, когда дверь на другой стороне улицы отворилась и из нее вышел человек в форме охранника. Но следом полдюжины людей в униформе тоже высыпали на улицу.

— Это не он, — прохрипел Дортмундер. — Ни один из них не он.

Он выжал сцепление, и машина тронулась.

Наверху, на первом промежуточном этаже, Гринвуд все еще мчался, как гончая за механическим зайцем. Ему был слышен топот погони, доносившийся сзади, но теперь он стал слышать такой же топот за поворотом коридора впереди его.

Он остановился. Он был пойман, и он это знал.

Он посмотрел на изумруд, лежавший у него на ладони. Кругловатый, со множеством граней, глубокого зеленого цвета, чуть поменьше мяча для гольфа.

— Пропади ты пропадом, — сказал Гринвуд и проглотил изумруд.

12

Ролло одолжил им портативный приемник, маленький, транзисторный, японский, и они слушали про похищение по местной станции, передающей новости. Им рассказывали о дерзком грабеже, побеге Мэрча из «скорой», об истории Изумруда Талабво, о том, что Алан Гринвуд арестован и ему предъявлено обвинение в соучастии в ограблении, и о том, что банда успешно скрылась вместе с драгоценным камнем. Потом они прослушали прогноз погоды, потом женщина рассказала им о ценах на бараньи и свиные отбивные в городских супермаркетах, и, наконец, они выключили радио.

Некоторое время сидели молча. Воздух в задней комнате был сизым от дыма, и их лица в ярком свете голы лампочки выглядели бледными и усталыми. Наконец Мэрч сказал:

— Я не был жестоким.

Он произнес это угрюмо. Диктор радиостанции описал его нападение на врача «скорой помощи» как «жестокое».

— Я просто двинул ему в челюсть, — уточнил Мэрч. Он сжал кулак и описал им короткую аккуратную дугу. — Вот так. Это вовсе не жестоко.

Дортмундер повернулся к Чевфику.

— Вы отдали камень Гринвуду?

— Определенно, — сказал Чевфик.

— Вы не уронили его на пол?

— Я не уронил, — замотал головой Чевфик. Он был раздражен, но все они были «на нервах». — Я совершенно отчетливо помню, как отдал камень ему.

— Зачем? — спросил Дортмундер.

Чевфик развел руками.

— По правде сказать, я не знаю. В тот момент, в возбуждении, ...нет, не знаю, зачем я это сделал. Мне надо было нести портфель, а у него ничего не было, и я засуетился, ну и сунул ему изумруд.

— Но легавые не нашли у него камня, — сказал Дортмундер.

— Может, он его потерял, — сказал Келп.

— Может быть, — Дортмундер посмотрел на Чевфика снова. — Вы ведь не станете водить нас за нос, не так ли?

Чевфик, оскорбленный, вскопчил.

— Обыщите меня, — предложил он. — Я настаиваю. Немедленно обыщите меня. За все годы, что я работаю, не знаю, в скольких делах я был, никто никогда не подвергал сомнению мою честность. Никогда. Я категорически настаиваю на том, чтобы меня обыскали.

— Ладно, — сказал Дортмундер. — Садитесь. Я знаю, что вы не брали его. Я просто немного на взводе, вот и все.

— Я настаиваю, чтобы меня обыскали.

— Обыщите себя сами, — отрезал Дортмундер.

Дверь открылась, и вошел Ролло со свежим стаканом шерри для Чевфика и новым льдом для Дортмундера и Келпа, которые распивали бутылку «бурбона».

— Большой удачи в другой раз, ребята, — сказал Ролло.

Чевфик, забыв о ссоре, сел и принялся за шерри.

— Спасибо, Ролло, — пробормотал Дортмундер.

Мэрч сказал:

— Я бы попробовал еще одно пиво.

Ролло удивленно посмотрел на него.

— Чудеса не переведутся никогда, — произнес он и вышел.

Мэрч посмотрел на остальных.

— Что это он имел в виду?

Никто не ответил ему. Келп спросил Дортмундера:

— Что я должен сказать Айко?

— Что его не достали.

— Он не поверит.

— Это трудно пережить, — сказал Дортмундер. — Ты скажешь ему то, что сочтешь нужным. — Он допил свой бокал и встал. — Я собираюсь домой.

— Пойдем к Айко вместе, — предложил Келп.

— Ни за что в жизни, — отрезал Дортмундер.

ФАЗА ВТОРАЯ

1

Дортмундер с буханкой белого хлеба и большим пакетом молока подошел к кассе. Поскольку дело было в пятницу, во второй половине дня, супермаркет был прилично набит, но впереди него, в очереди на скорый досмотр, народу оказалось не так уж и много, и он прошел довольно быстро. Кассирша положила хлеб и молоко в большой пакет, который он вынес наружу, крепко прижимая локти к бокам, что выглядело страшновато, но не слишком.

Дата была пятое июля, девять дней спустя после фиаско в Колизее, там, в Нью-Йорке, а место называлось Трентон, Нью-Джерси. Солнце сияло, и воздух был приятно жарок и влажен, но на Дортмундере поверх белой рубашки была еще легкая баскет-

больная куртка, застегнутая на молнию почти до самого верха. Вероятно, поэтому он выглядел таким раздраженным и кислым.

Он прошел квартал от супермаркета, все еще неся пакет так, что локти оставались прижатыми к бокам, а потом остановился и положил пакет на капот удобной припаркованной машины. Он полез в правый карман куртки, вытащил оттуда банку рыбных консервов и бросил ее в пакет. Из левого кармана брюк достал упаковку бульонных кубиков и бросил ее туда же. Затем расстегнул куртку и слева под мышкой обнаружил упаковку нарезанного американского сыра, которую тоже бросил в пакет. Наконец из-под руки справа была извлечена упаковка с ломтиками копченой колбасы и брошена в тот же пакет, который теперь оказался значительно более полным, чем раньше. Дортмундер его и понес домой.

Домом служил задрипанный отелишко на окраине города. Он платил лишних два доллара в неделю за комнату с раковиной и электрической плиткой, многократно экономя при этом за счет еды дома.

Дома Дортмундер вошел в свою комнату, с презрением и отвращением оглядел ее и убрал принесенные продукты.

Комната была, тем не менее, опрятной. Дортмундер приучился к аккуратности за время своего первого срока и с тех пор никогда не отвыкал от нее. Жить в опрятном было легче, и если вещи содержались чистыми и в порядке, даже это серое зачуханное стойло было легче переносить.

По крайней мере временно, временно.

Дортмундер поставил воду для растворимого кофе и сел просмотреть газету, которую утащил утром из туалета. Ничего в ней интересного, совсем ничего. Гринвуд не всплывал в газетах уже почти неделю, а все остальное на свете не привлекало его внимания.

Дортмундер искал возможности отыгаться. Три сотни, которые он получил у Майора Айко, давно уже кончились, и с тех пор ему действительно приходилось урезать расходы. Он явился в полицию, как только попал в этот город — нет смысла нарываться на неприятности, — и они добыли для него какую-то смехотворную работенку при муниципальной площадке для гольфа. Он поработал там один день, подстригая края зелени, цвет которой напоминал ему о вонючем Изумруде Талабво, и дело кончилось тем, что у него сильно сторела тыльная сторона шеи. Этого хватило вполне. С того времени он перебивался за счет мелких краж.

Как прошлой ночью. Прогуливаясь и ища, чем бы поживиться, он наткнулся на одну из круглосуточных прачечных-автоматов, где дежурная, пожилая круглолицая женщина в сером выцветшем платье, сидела на голубом пластиковом стуле и крепко спала. Он вошел, спокойно взломал автоматы один за другим и вышел с двадцатью тремя долларами семьюдесятью пятью центами в кармане, все двадцатипятицентовыми монетами, так что штаны едва держались на нем. Если бы в этот момент ему пришлось удирать от легавого, он бы наверняка проиграл забег.

Дортмундер потягивал растворимый кофе и читал страничку юмора в газете, когда в дверь постучали. Он вздрогнул, инстинктивно глядя в окно и пытаясь вспомнить, есть ли там снаружи пожарная лестница или нет, но потом сообразил, что в данный момент он не в розыске, и покачал головой в раздражении на себя. Затем встал и подошел к двери. Это был Келп.

— Тебя чертовски трудно найти, — сказал Келп.

— Недостаточно трудно, — сказал Дортмундер. Он показал большим пальцем себе за плечо и сказал: — Заходи.

Келп вошел, Дортмундер закрыл за ним дверь и спросил:

— Что теперь? Еще одно тепленькое дельце?

— Не совсем, — ответил Келп. Он оглядел комнату. — Роскошно живешь!

— Что ты имеешь в виду этим своим «не совсем»?

— Не совсем д р у г о е дельце, — пояснил Келп.

— В каком смысле не совсем «другое»?

— Ну, в смысле — то же самое, — сказал Келп.

Дортмундер удивленно посмотрел на него.

— Снова изумруд?

— Гринвуд припрятал его, — объявил Келп.

— Дьявольщина! — заорал Дортмундер.

— Я только говорю то, что сказал мне Айко. Гринвуд сообщил своему адвокату, что он спрятал камень, и послал адвоката к Айко. Айко сказал мне, а я говорю тебе.

— Зачем? — спросил его Дортмундер.

— У нас все еще есть шанс на тридцать кусков, — сказал Келп. — И снова по сто пятьдесят в неделю, пока мы готовимся.

— Готовимся к чему?

— Вытащить из тюрьмы Гринвуда, — уточнил Келп.

Дортмундер скривился.

— Здесь кто-то видит привидения, — сказал он. Подошел к столу, взял свой кофе и выпил.

Келп не унимался:

— Гринвуд сгорел, и он знает это. Его адвокат говорит то же самое, у него нет шансов на оправдание. И они отмотают ему на всю катушку, потому что они сильно огорчены, что камушек испарился. Так что — либо он вернет им камень, чтобы облегчить приговор, либо отдаст камень нам, чтобы мы вытащили его из тюрьмы. Все, что нужно сделать, — вломиться туда и достать его, Гринвуда, и камень — наш. А там... каждому по тридцать кусков, вот так-то вот.

Дортмундер нахмурился.

— Где он?

— В тюрьме.

— Я знаю это, — сказал Дортмундер. — В смысле — в какой? В обычной?

— Не-е. Там были какие-то неприятности, ну они и перевели его с Манхэттена.

— Неприятности? Какие неприятности?

— Ну, мы были белые люди, которые украли изумруд у черных людей, поэтому целая толпа заводных типов из Гарлема села в подземку, приехала в тюрьгу и устроила тарарам. Они хотели линчевать его.

— Линчевать Гринвуда?

— Я не знаю, где они этому научились, — Келп пожал плечами.

— Мы «брали» эту штуку для Айко, — сказал Дортмундер. — Он-то черный.

— Ну да, только об этом никто не знает.

— Да стоит только взглянуть на него, — возмутился Дортмундер.

Келп покачал головой.

— Я говорю, никто не знает, что он стоит... за этой кражей.

— Ох, — Дортмундер обошел комнату, грызя костяшку большого пальца правой руки, как всегда в момент раздумья. — Так где же он? В какой тюрьме?

— Ты имеешь в виду Гринвуда?

Дортмундер перестал ходить и тяжело поглядел на Келпа.

— Нет, я имею в виду короля Фарука.

Келп был сбит с толку.

— Короля Фарука? Я не слышал о нем сто лет. Он что, тоже где-то сидит?

Дортмундер вздохнул.

— Я имел в виду Гринвуда.

— Что же общего...

— Это был сарказм, — проворчал Дортмундер. — Я больше так не буду. Так в какой тюрьге сидит Гринвуд?

— А-а, в какой-то симпатичной, на Лонг-Айленде.

Дортмундер подозрительно посмотрел на Келпа. Тот сказал это слишком легко, как бы совсем невзначай.

— В какой-то симпатичной тюрьге?

— Это тюрьма какого-то графства или что-то в таком духе, — сказал Келп. — Они держат его там до суда.

— Очень плохо, что он не смог выйти под залог, — огорчился Дортмундер.

— Может быть, судья сумел прочесть его мысли, — предположил Келп.

— Или его досье со всеми его историями, — сказал Дортмундер. Он снова стал ходить по комнате, грызть палец, думать.

Келп сказал:

— Мы просто делаем второй дубль, вот и все. Чего волноваться?

— Я не знаю, — сказал Дортмундер. — Но когда оказывается, что дело дрянь, я люблю оставлять его в покое. К чему ломать плохую карту на хорошую?

— У тебя есть что-нибудь другое за пазухой? — поинтересовался Келп.

— Нет.

Келп обвел жестом конуру Дортмундера.

— Глядя на все это, не скажешь, что у тебя полный блеск. В самом худшем варианте мы просто снова получаем зарплату от Айко.

— Я понимаю, — сказал Дортмундер. Сомнения все еще мучили его, но он пожал плечами и сказал: — Чего мне терять? Ты на машине?

— Естественно.

— Ты можешь ею управлять?

Келп почувствовал себя оскорбленным.

— Если мог управлять тем «кадди», — сказал он с негодованием. — Хотя проклятая штуковина хотела сама управлять собой...

— Конечно, конечно, — согласился Дортмундер. — Помоги мне упаковаться.

Майор Айко сидел за своим письменным столом, перед ним лежали досье на Эндрю Филипа Келпа, самое первое, которое он завел в начале этого дела, и досье на Джона Арчибальда Дортмундера, появившееся, когда Келп впервые предложил, чтобы Дортмундер возглавил операцию. Было еще и досье на Алана Джорджа Гринвуда, которое Майор затребовал сразу же, как только услышал его имя в ходе телерепортажей об ограблении. И теперь предстояло добавить к этой распухающей подшивке досье на Юджина Эндрю Проскера, адвоката.

Адвоката Гринвуда. Досье живописало пятидесятирехлетнего юриста, обладателя офиса в просевшем здании ближе к окраине и судам, а также обширного дома, расположенного на нескольких поросших лесом краях земли в исключительно дорогой и элитной части Коннектикута. Ю. Эндрю Проскер, как он сам себя называл, имел все атрибуты богатого человека, включая конюшню на двух скаковых лошадях на Лонг-Айленде, совладельцем которых он являлся, и блондинку-любовницу в квартире на Восточной Шестьдесят Третьей улице, которой, как он думал, владел только он один. В здании Криминального суда он имел репутацию сомнительной честности, и его клиенты обычно относились к числу пользующихся наиболее дурной славой, но ни одна официальная жалоба на него ни разу не была подана, так что в пределах неких специфических границ он мог казаться заслуживающим доверия. Как якобы сказал о Проскере один из его бывших клиентов: «Я спокойно оставлю Энди на целую ночь один на один с собственной сестрой, если у нее при себе будет не больше шестнадцати центов».

Три имевшиеся в досье фотографии изображали мордастенького человечка с брюшком и неопределенной бодренькой улыбкой, которая как бы предполагала некоторую вялость ума и тела. Глаза на всех фотографиях были слишком затенены для того, чтобы ясно разглядеть их выражение. Было трудно совместить эту радостно-счастливую улыбку оказавшегося на воле школьника с фактами, изложенными в досье.

Досье Майору доставляли удовольствие. Он любил прикасаться к ним, перекладывая их с места на место, перечитывать находящиеся в них документы, изучать фотографии. Это давало ему ощущение прочности, солидности, ощущение того, что он занимается знакомым и понятным ему делом.

Секретарь, от очков которого отражался свет, открыл дверь и доложил:

— К вам два джентльмена, сэр. Мистер Дортмундер и мистер Келп.

Майор спрятал досье в ящик стола:

— Проводите их сюда.

Келп не показываясь изменившимся, когда он немного развязно вошел в кабинет, но Дортмундер выглядел еще более худым и усталым, чем раньше.

— Вот, я привел его.

— Я вижу, — Майор поднялся из-за стола. — Приятно видеть вас снова. — Ему хотелось бы знать, должен ли он протянуть им руку.

— Надеюсь, что приятно, — пробормотал Дортмундер. Он ничем не показал, что ждет пожатия руки.

— Клеп говорит, что у нас еще есть шансы.

— Более, нежели мы предвидели, — сказал Майор.

Келп и Дортмундер устроились на стульях, так что и Майор снова смог сесть за письменный стол.

— Честно говоря, я подозревал, что вы взяли изумруд себе.

— Изумруд мне не нужен, — сказал Дортмундер. — Но я бы принял немного «бурбона».

Майор был обескуражен.

— Разумеется, — засуетился он. — Келп, а вы?

— Не люблю смотреть, как человек пьет в одиночку, — сказал Келп. — И оба мы любим, чтобы было немножко льда.

Майор собрался позвонить своему секретарю, но тут дверь открылась, вошел секретарь и произнес:

— Сэр, там мистер Проскер.

— Спросите, что он будет пить, — сказал Майор.

— Простите, сэр?...

— «Бурбон» со льдом для этих двух джентльменов, — сказал Майор, — крепкий «скок» с водой для меня.

— Да, сэр.

— И просите мистера Проскера сюда.

— Да, сэр.

Секретарь исчез, и Майор услышал за дверью его голос:

— Джек Дэниэлс!

Майор хотел было заглянуть в свое досье, но вспомнил, что «Джек Дэниэлс» — это сорт американского виски.

Мгновением позже, широко шагая, вошел Проскер с атташе-кейсом в руке.

— Джентльмены, я задержался. Надеюсь, это не займет много времени. Я так понимаю, что вы — Майор Айко.

— Мистер Проскер, — Майор поднялся и пожал протянутую юристом руку. Он узнал Проскера по фотографиям из досье, но сейчас он увидел то, что фотографии так и не смогли отразить, тот мост, который был перекинут через пропасть между легкомысленной внешностью Проскера и его полным риска послужным списком. Этим мостом были глаза Проскера. Его рот смеялся, и произносил слова, и убаюкивал всех, но глаза сидели в глубине и наблюдали, и никак не комментировали происходящее.

Майор представил всех присутствующих, и Проскер вручил Дортмундеру и Келпу свои визитные карточки, приговаривая: «На случай, если я когда-нибудь понадобится, хотя, конечно, все мы надеемся, что до этого не дойдет». И хихикнул, и подмигнул. Потом они все снова уселись и как раз собрались приступить к делу, когда вернулся секретарь с напитками на подносе. В конце концов справились и с этим, секретарь удалился, дверь была закрыта, и Проскер сказал:

— Джентльмены, я редко даю своим клиентам совет, который нельзя найти в книгах по юриспруденции, но в случае с вашим другом Гринвудом сделал исключение. «Алан, — сказал я, — мой вам совет — связать веревку из простыней и что есть сил уносить отсюда ноги». Джентльмены, Гринвуда поймали с поличным, что называется, взяли тепленьким. Они не нашли у него этого вашего изумруда, но им ничего такого и не нужно. Он бегал по Колизею в форме охранника и был опознан полудюжиной настоящих охранников как человек, находившийся с Изумрудом Талабво в момент ограбления. Они прихватили Гринвуда готовеньким, и я ничего не смогу сделать для него, что я ему и сказал. Его единственная надежда — покинуть его теперешнее помещение.

— Что слышно об изумруде? — спросил Дортмундер.

Проскер развел руками:

— Он говорит, что в этом смысле ему удалось выйти из положения. Он говорит, что ваш коллега Чеввик отдал камень ему и что он спрятал его прежде, чем его схватили, и еще он говорит, что теперь камушек спрятан в надежном месте, о котором никто, кроме него, не знает.

Дортмундер сказал:

— Уговор такой — мы вытаскиваем его из тюрьмы, и он вручает нам изумруд, чтобы все получили то, что было положено.

— Абсолютно верно.

— И вы будете посредником.

Проскер улыбнулся.

— В определенных пределах, — сказал он. — Я ведь должен оградить себя.

— Зачем?

— Зачем? Затем, что я не хочу, чтобы меня арестовали, я не хочу, чтобы меня лишили звания адвоката, я не хочу занимать камеру рядом с Гринвудом.

Дортмундер покачал головой.

— Нет, я имею в виду, зачем бы вам вообще быть этим посредником? Зачем хотя бы на дюйм высовывать голову?

— О да! — улыбка Проскера сделалась скромной. — Каждый делает то, что может для своего клиента. И конечно, если вы в самом деле спасете юного Гринвуда, он сумеет значительно больше заплатить по законному счету, не так ли?

— В некотором роде по незаконному счету на этот раз, — сказал Келп и хохотнул.

Дортмундер повернулся к Майору.

— И мы снова начинаем получать зарплату, верно?

Майор неохотно кивнул.

— Это становится более дорогостоящим, чем я рассчитывал, — сказал он, — но, по-видимому, я должен продолжать начатое.

— Не напрягайтесь так, Майор, — посоветовал Дортмундер.

Майор с натянутой улыбкой заметил:

— Вы, Дортмундер, вероятно, не в курсе того, что Талабво не слишком богатая страна. Наш валовой национальный продукт только недавно перевалил за двенадцать миллионов долларов. Мы не можем поддерживать иностранных преступников так, как это делают некоторые другие державы.

Дортмундер ощерился:

— Какие это державы, Майор?

— Я не уточняю...

— И все-таки, на что вы намекаете, Майор?

— Ну, ну, — сказал Проскер снисходительным тоном, — давайте обойдемся без демонстрации национализма. Я убежден, что каждый из нас по-своему патриот, но

в данный момент важны Алан Гринвуд и Изумруд Талабво. У меня тут есть кое-что... — Он взял свой атташе-кейс, положил к себе на колени, щелкнул замками и поднял крышку. — Кому это передать, вам, Дортмундер?

— А что там у вас?

— Несколько внутренних планов тюрьмы, выполненных Гринвудом. Несколько фотографий, которые сделал я сам. Листок с предложениями Гринвуда, касающимися передвижений охраны, и тому подобное, — Проскер вытащил из атташе-кейса три пухлых конверта и подал их Дортмундеру.

После этого еще немного поболтали, большей частью, чтобы убить время, пока не кончатся напитки, а потом все встали и пожали друг другу руки. Майор Айко остался, наконец, один в своем кабинете и стал пожевывать щеку, что он частенько делал, когда был зол на себя или обеспокоен.

Сейчас он был и зол на себя, и обеспокоен. Как мог он допустить такую промашку — сказать при Дортмундере, насколько бедна Талабво. В тот момент Дортмундера отвлек шовинизм, но не припомнит ли он это заявление после и не начнет ли складывать два и два?

Майор подошел к окну и взглянул на Пятую авеню и парк. Обычно этот вид доставлял ему удовольствие, хотя бы знанием того, насколько дорогим этот вид был и как много людей в мире, вероятно, не могут себе позволить созерцать подобные картины, но в данный момент Майор был слишком обеспокоен, чтобы эгоистически наслаждаться удовольствиями. Он видел, как Келп, Проскер и Дортмундер вышли из здания, как рассмеялся Проскер, как все они пожали друг другу руки, видел, как Проскер поймал такси, сел в него и уехал, видел, как Дортмундер и Келп пересекли улицу и вошли в парк. Они медленно удалялись по утрамбованной дорожке, Дортмундер нес три больших конверта в левой руке. Майор Айко смотрел им вслед, пока они не скрылись из вида.

3

— Симпатичное местечко, — сказал Келп.

— Неплохое, — признал Дортмундер. Он закрыл дверь и сунул ключ в карман.

Оно действительно было неплохим. Оно было много лучше, чем в Трентоне. Эта квартирка на Западной Семьдесят Четвертой улице в полуквартале от парка была большим шагом вперед по сравнению с комнатой в Трентоне.

Начать с того, что здесь не было никакой кровати. Комната в Трентоне была вдвое меньше этой, и в имевшемся там пространстве доминировала тяжелая старая медная кровать с выцветшим синим покрывалом. Здесь же вовсе никакой кровати не было, только диван в хорошем вкусе, который на ночь превращался в удобную двуспальную постель.

Но это было не все. Если в Трентоне у Дортмундера была электроплитка, то здесь он имел самую что ни на есть настоящую кухню, с плитой и холодильником, шкафчиками и посудой, и с сушилкой для нее. Если в Трентоне его единственное окно выходило в узкую вентиляционную шахту, то здесь целых два окна смотрели на заднюю сторону здания, так что он мог высунуться, если хотел, и увидеть два небольших деревца чуть справа внизу, несколько кустов и траву в прилежащих двориках, каменную жаровню слева и легкие стулья с сидящими на них случайными людьми, словом, массу интересных вещей. И пожарную лестницу, на случай, если когда-нибудь по какой-нибудь причине ему не захочется уходить через парадную дверь.

Главным же преимуществом данной квартиры перед тем местечком в Трентоне был кондиционер, встроенный прямо в стенку под левым окном. Дортмундер держал его включенным круглые сутки. Снаружи Нью-Йорк мучительно переживал июль, а здесь внутри стоял вечный май, если на то пошло.

Келп отозвался на все это сразу же, сказав:

— Как здесь прохладно и славно! — Он отер пот со лба тыльной стороной руки.

— Вот это-то мне тут и нравится, — сказал Дортмундер. — Выпьешь?

— Спрашиваешь!

Келп проследовал за хозяином на кухню и стоял в дверях, пока Дортмундер доставал кубики льда, стаканы и «бурбон».

— Что ты думаешь по поводу Проскера? — спросил он.

Дортмундер выдвинул ящик, достал штопор, повертел перед Келпом и сунул штопор обратно.

Келп кивнул.

— Точно. Эта пташка, как геометрическая фигура, у которой обязательно найдется угол.

— Хорошо еще, если он собирается загнать в этот угол Гринвуда, — сказал Дортмундер.

— Ты думаешь... Мы достаем камень, получаем «капусту», он стучит на Гринвуда и прикарманивает его деньги?

— Не знаю, к чему он клонит, — проворчал Дортмундер. — Лишь бы он не пытался проверить что-нибудь лично со мной. — Они вернулись в комнату и уселись на диван.

— Нам понадобятся оба, я думаю, — сказал Келп.

Дортмундер кивнул.

— Один за рулем, другой открывает замки.

— Ты хочешь позвонить им, или это сделаю я?

— На этот раз, — сказал Дортмундер, — я позвоню Чевфику, а ты Мэрчу.

— Хорошо. Я первый?

— Валяй.

Телефон достался вместе с квартирой и стоял на столике рядом с Келпом. Он нашел номер Мэрча в своей маленькой записной книжке, набрал его, и Дортмундер услышал два отдаленных гудка, а затем нечто, рычащее, как Лонг-Айленд Экспрессуэй.

— Мэрч?! — сбитый с толку, Келп глянул на Дортмундера, а потом сказал громче: — Мэрч! — Он затряс головой и завопил в телефон: — Это я! Келп! — Он продолжал трясти головой. — Да, — сказал он. — Я сказал: «да-да!» Давай! — Потом он прижал трубку рукой и спросил у Дортмундера: — Его телефон, что, в машине?

— Это пластинка, — ответил Дортмундер.

— Что, что?!

Дортмундер услышал, как в трубке вдруг все стихло.

— Он ее выключил, — сказал он.

Келп отодвинул трубку от себя и посмотрел на нее так, как будто эта вещь только что укусила его за ухо. Тонкий голосок раздался из нее:

— Келп? Алло!

Келп, как бы нехотя, снова придвинул трубку к уху.

— Да-а, — сказал он с сомнением в голосе. — Это ты, Стэн?

Дортмундер поднялся, прошел в кухню и стал намазывать сыр на крекеры. Он приготовил их около дюжины, положил на тарелку и принес в комнату, где Келп как раз заканчивал разговор. Дортмундер поставил тарелку с крекерами на кофейный столик, Келп повесил трубку, Дортмундер сел, и Келп сказал:

— Мы встречаемся с ним в «О. Дж.» в десять.

— Хорошо.

— Что это за пластинка?

— Автошумы, — сказал Дортмундер. — Бери крекеры с сыром.

— Откуда взялись эти автошумы?

— Откуда я знаю. Дай мне телефон, я позвоню Чевфику.

Келп передал ему телефон.

— По крайней мере, Чеввик не издает автошумы, — сказал он.

Дортмундер набрал номер Чеввика, и к телефону подошла жена. Дортмундер мягко поинтересовался:

— Роджер дома? Это Дортмундер.

— Одну минутку, пожалуйста.

Дортмундер ждал, поедая крекеры с сыром и запивая их «бурбоном» с кубиками льда. Через некоторое время он услышал вдалеке словно бы пение: «Ту-ту». Он посмотрел на Келпа, но не сказал ничего.

«Ту-ту» приближалось, затем прекратилось. Раздался звук поднимаемой со стола телефонной трубки, и наконец голос Чеввика произнес:

— Алло?

Дортмундер спросил:

— Вы помните эту нашу идею, которая не сработала?

— О да, — сказал Чеввик. — Я ее помню прекрасно.

— Ну так есть шанс, что мы все-таки заставим ее сработать, — сказал Дортмундер. — Если вы все еще заинтересованы...

— Что ж, я, естественно, заинтересован, — сказал Чеввик. — Думается, все это слишком сложно для того, чтобы входить в детали по телефону.

— Так оно и есть, — сказал Дортмундер. — В десять часов в «О. Дж.»

— Это было бы мило, — согласился Чеввик.

— До встречи.

Дортмундер повесил трубку и вернул телефон Келпу, который поставил его на столик и сказал:

— Видишь? Никаких автошумов.

— Бери крекеры с сыром, — сказал Дортмундер.

Дортмундер и Келп вошли в «О. Дж. Бар и Гриль» в одну минуту одиннадцатого. Все те же постоянные клиенты застыли в своих обычных позах у бара, уставившись на телеэкран и выглядя не более реально, чем персонажи из Музея восковых фигур. Ролло протирал стаканы полотенцем, которое когда-то было белым.

Дортмундер сказал: «Хай» — и Ролло кивнул. Дортмундер спросил:

— Кто-нибудь уже здесь?

— Пиво с солью там, сзади, — сказал Ролло. — Вы ждете шерри?

— Ага.

— Я пошлю его к вам, когда он придет. Вы, ребята, хотите бутылку и стаканы и немного льда, верно?

— Верно.

— Сейчас принесу.

Они прошли в заднюю комнату и обнаружили в ней Мэрча, который читал «Руководство для владельцев «Мустангов». Дортмундер сказал:

— Ты опять рановато.

— Я попробовал другой маршрут, — сказал Мэрч. Он положил руководство на зеленое сукно стола. — Рванул через Пенсильвания авеню и дальше по Бушвику и Грэд, через Вильямсбургский мост прямо по Третьей авеню. Оказалось очень не-слабо. — Он поднял свое пиво и отпил три капли.

— Это хорошо, — сказал Дортмундер. Он и Келп сели, и Ролло внес «бурбон» и стаканы. Пока хозяин расставлял их, появился Чэфвик. Ролло сказал ему:

— Вы шерри, верно?

— Да, благодарю вас.

Ролло вышел, не утруждая себя обращением к Мэрчу насчет повторить. Чэфвик сел и сказал:

— Я определенно заинтригован. Представить себе не могу, как можно вернуть к жизни это дело с изумрудом. Он ведь потерян, не так ли?

— Нет, — сказал Дортмундер. — Гринвуд спрятал его.

— В Колизее?

— Мы не знаем, где. Но он засунул его куда-то, и это означает, что мы можем снова выйти на старт.

Мэрч сказал:

— Здесь есть какой-то подвох, я просто нюхом чую.

— Не то чтобы подвох, — сказал Дортмундер. — Просто еще одна кража. Две кражи за одну цену.

— Что мы крадем?

— Гринвуда.

— Э-э... — протянул Мэрч.

— Гринвуда, — повторил Дортмундер, и появился Ролло с шерри для Чэфвика. Он вышел, и Дортмундер объяснил: — Гринвуд требует, чтобы мы обеспечили ему побег. Его адвокат сказал ему, что нет ни малейшей возможности избежать приговора, ну и он должен рвать когти.

— Означает ли это, что мы должны вломиться в тюрьму? — поинтересовался Чэфвик.

— Туда и обратно, — уточнил Келп.

— Мы надеемся, — сказал Дортмундер.

Чэфвик несколько озадаченно улыбнулся и пригубил свой шерри.

— Я никогда не думал, что мне придется проникать в тюрьму, — сказал он. — Это поднимает ряд интересных вопросов.

— И вы хотите, чтобы я вел машину, а? — подал голос Мэрч.

— Точно, — подтвердил Дортмундер.

Мэрч насупился и отпил целый глоток пива.

— Что-то не так? — спросил Дортмундер.

— Я сижу в машине поздно ночью около тюрьмы, двигатель на холостом ходу. Я как-то не могу вжиться в ситуацию. Для меня она не поднимает никаких интересных вопросов вообще.

— Если мы не сумеем это, — сказал Дортмундер, — мы не будем этого делать.

— Мэрч, никто из нас не хочет попадать в эту тюрьму больше чем на минуту-другую. Если дельце потянет на годы, не беспокойся, мы тут же выкинем его за борт, — попытался втолковать ему Келп.

— Просто я должен быть осторожным, вот и все. Я — единственная поддержка для матери, — возразил Мэрч.

— Разве она не водит такси? — удивился Дортмундер.

— На это не проживешь, — сказал Мэрч. — Она занимается этим, чтобы выбраться из дома, пообщаться с людьми.

— Что же это за тюрьма? — спросил Чеввик.

— Мы все отправимся туда, рано или поздно, — сказал Дортмундер. — Тем временем, вот что у меня есть.

Он начал расстилать на столе содержимое трех конвертов.

5

На этот раз Келпа провели в другую комнату, но он сказал:

— Эй! Подождите минутку!

Человек цвета эбенового дерева с длинными тонкими пальцами обернулся, стоя в дверях, его лицо ничего не выражало.

— Сэр?

— А где же бильярд?

По-прежнему никакого выражения.

— Сэр?

Келп сделал несколько движений, как человек, оперирующий кием.

— Стол для бильярда, — сказал он. — Бильярд. Зеленый стол с дырками по краям.

— Да, сэр. Он в другой комнате.

— Именно, — сказал Келп. — Как раз та комната, которая мне нужна. Ведите меня туда.

Эбеновый человек, казалось, не знал, как к этому отнестись. Его лицо было все так же лишено выражения, и он просто стоял на пороге, не предпринимая ничего.

Келп подошел к нему и произвел несколько подталкивающих жестов.

— Пошли, — сказал он. — Мне охота позакатывать шарик.

— Я не уверен...

— Я уверен, — прервал его Келп. — Не стоит беспокоиться об этом, я вам точно говорю. Просто ведите меня туда.

— Да, сэр, — сказал эбеновый человек с сомнением в голосе. Он прошел в комнату с бильярдом, закрыл за Келпом дверь и удалился.

Келп решил сыграть обычную игру. Он уже уложил двенадцать шаров всего при четырех промахах и прицеливался к следующему, когда вошел Майор.

Келп положил кий на стол.

— Хай, Майор. Принес новый список для вас.

— Давно пора, — сказал Майор. Он хмуро глядел на бильярд и, казалось, был чем-то раздражен.

Келп сказал:

— Что вы имеете в виду под этим «давно пора»? Мы потратили меньше трех недель.

— В прошлый раз это заняло меньше двух недель, — напомнил Майор.

— Майор, они не охраняют Колизей так, как охраняют тюрьмы.

— Мне известно лишь, — сказал Майор, — что к настоящему моменту я выплатил три тысячи триста долларов зарплаты, не считая стоимости материалов и оборудования, и у меня до сих пор нет ничего взамен.

— Так много? — Келп покачал головой. — Растет, как гора, верно? Ну, вот ваш листок.

— Благодарю вас.

Майор с кислой миной стал изучать список, в то время как Келп вернулся к бильярду и загнал один шар, оставив девятку и тринадцатый. Он промахнулся, пытаясь уложить девятку, но в итоге она заняла идеальную позицию для удара по тринадцатому. Он закатил тринадцатый с таким огромным вращением своего шара, что тот мог бы попасть прямо в кармашек его рубашки, и тут Майор воскликнул:

— Что, грузовик с фургоном?!

— Нам понадобится один, — сказал Келп. Он примеривался к девятке. — И при том не тепленький, иначе бы я пошел и угнал его сам.

— Но грузовик, — возразил Майор, — это дорогая вещь.

— Да, сэр. Но если все пойдет хорошо, вы сможете снова продать его, когда все будет кончено.

— Это займет время, — сказал Майор. Он пробежал глазами список. — Все остальное не должно составить проблем. Вы собираетесь влезать на стену, да?

— Что ж, раз она там у них есть, — сказал Келп. Он ударил по своему шару, который стукнул по девятому, и оба закатились в лузу. Келп покачал головой и положил кий.

Майор разглядывал список все еще насупившись.

— Этот грузовик, он не обязан быть скоростным?

— Мы не собираемся стартовать на нем в гонках, нет.
— Значит, он не обязан быть новым. Итак, подержанный грузовик...
— С чистыми документами, которые мы сможем предъявить, — напомнил Келп.
— А что, если я возьму его напрокат?
— Если вы сможете нанять грузовик так, что они не доберутся до вас, сложись все неудачно, то... вперед. Только помните, для чего мы его используем...
— Я не забуду, — натянуто улыбнулся Майор. Он бросил взгляд на бильярдный стол. — Если вы уже закончили свою игру...
— Разве что вы сыграете вместе со мной...
— Прошу извинить меня, — сказал Майор с убийственной улыбкой, — но я не играю.

6

Из своей камеры Алан Гринвуд мог видеть заасфальтированный прогулочный двор и побеленную стену тюрьмы Утопия Парк.

Тюрьма Утопия Парк принадлежала графству, но большинство заключенных в ней принадлежали штату, ибо графство располагало тремя собственными более новыми тюрьмами, и в этой не нуждалось. Здесь находилась накупь разных тюрем штата, плюс принимаемые из штата, которым удалось заработать смену судебного округа до суда, плюс излишки из пяти районов Нью-Йорка, плюс несколько специальных случаев, вроде Гринвуда. Никто не был здесь подолгу, поэтому в заведении отсутствовало обычное сложное по структуре общество заключенных, которое при нормальных обстоятельствах складывается внутри тюремных стен, чтобы люди не отвыкали от цивилизации. Никакой иерархии птичьего двора, другими словами.

Гринвуд проводил большую часть своего времени у окна, потому что ему не нравились ни его камера, ни сосед по ней. И та и другой были серыми, похабными, грязными и старыми. Камера просто существовала, но сосед тратил много часов, ковыряясь между пальцами ног и нюхая кончики пальцев рук. Гринвуд предпочитал наблюдать прогулочный двор, стену и небо. Он был здесь уже около месяца, и его терпение подходило к концу.

Загрохотала дверь. Гринвуд повернулся, увидел, как сосед, сидя на верхних нарах, нюхает свои пальцы, затем взор его упал на охранника в дверях. Охранник был похож на старшего брата соседа по камере, но по крайней мере на нем были ботинки. Он изрек:

— Гринвуд. Посетитель.
— Нормально.

Гринвуд вышел, дверь грохнула снова, Гринвуд и охранник прошли по металлическому коридору, через две двери, которые отпирали снаружи и запирали у них за спиной. Затем следовал коридор, обклеенный пластиком, покрашенным в зеленый цвет, а потом — светло-коричневая комната, в которой восседал Юджин Эндрю Проскер. Он улыбался. Гринвуд сел напротив него.

— Ну, как там снаружи земля?
— Она вертится, — заверил его Проскер. — Она вертится.
— А как продвигается моя кассация? — Гринвуд имел в виду не кассацию по какому-либо судебному делу, но свою просьбу к бывшим подельщикам об избавлении.
— Продвигается славно, — сказал Проскер. — Я не удивлюсь, если на этот счет будет что-нибудь слышно до завтрашнего утра.

— Это хорошие новости, — улыбнулся Гринвуд. — И поверьте, я созрел для хороших новостей.

— Все, о чем ваши друзья просят вас, — сказал Проскер, — чтобы вы их встретили на полпути. Я знаю, что вы захотите сделать это, не правда ли?

— Конечно захочу, — сказал Гринвуд, — и я действительно постараюсь.

— Вы должны постараться не один раз, — сказал Проскер. — Все, что стоит стараний, стоит их по крайней мере три раза.

— Я запомню это, — сказал Гринвуд. — Вы не сообщили моим друзьям остальные подробности, я надеюсь.

— Нет, — сказал Проскер. — Как мы и решили, лучше всего, наверное, будет подождать, пока вы окажетесь на свободе...

— Я тоже так считаю, — кивнул Гринвуд. — Вы вывезли мои вещи из квартиры?

— Обо всем позаботились, — ответил Проскер. — Все благополучно хранится под именем вашего друга.

— Хорошо, — Гринвуд покачал головой. — Мне чертовски жаль отказываться от этой квартиры. У меня там было как раз так, как я хотел.

— Вам придется переменить массу вещей, как только мы вытащим вас отсюда, — напомнил ему Проскер.

— Это верно. В некотором роде, почти начать новую жизнь. Перевернуть страницу. Стать другим человеком.

— Да, — сказал Проскер без энтузиазма. Он не любил ненужной игры в небезопасные двусмысленности. — Ну-с, это определенно обнадеживает, когда вы так говорите, — сказал он, поднимаясь и собирая свой атташе-кейс.

7

В два двадцать пять ночи, после посещения Гринвуда Проскером, отрезок шоссе Нозерн Стэйт Паркуэй в окрестностях поворота на Утопия Парк был практически совсем пустым. Лишь одно транспортное средство находилось в этом районе, большой грязный грузовик с синей кабиной и серым фургоном, и с надписью на обеих дверцах «Прокат Грузовиков Паркера». Майор Айко нанял его через подставных лиц только накануне днем, и за рулем в данный момент был Келп, направлявший машину на восток от Нью-Йорка. Когда он притормозил перед поворотом, Дортмундер, сидевший рядом, наклонился вперед, чтобы взглянуть на часы в свете приборной панели.

— Мы на пять минут раньше.

— Я поеду медленнее по этим разбитым улицам, — сказал Келп, — учитывая, что у нас сзади.

— Нам ни к чему попадать туда слишком рано, — сказал Дортмундер.

Келп вывернул тяжелый в управлении грузовик с шоссе на кривую поворота.

— Я знаю, — сказал он. — Я знаю.

В тюрьме в это самое время Гринвуд тоже смотрел на свои часы, зеленые стрелки в темноте показывали, что ждать осталось еще полчаса. Проскер сообщил ему, что Дортмундер и компания не начнут операцию до трех часов. Он не должен делать раньше времени ничего, что могло бы обнаружить их.

Двадцатью пятью минутами позже арендованный грузовик с выключенными фарами тихо остановился на стоянке компании АП в трех кварталах от тюрьмы. Уличные фонари на перекрестках были единственной иллюминацией в этой части Утопия Парк, а облачное небо делало ночь еще более темной. С трудом можно было разглядеть свою руку, поднеся ее к лицу.

Келп и Дортмундер вылезли из кабины и осторожно двинулись к задним дверям фургона, чтобы открыть их. Внутри фургона стояла крошечная тьма. Пока Дортмундер помогал Чевфику соскочить на асфальт, Мэрч передал десятифутовую лестницу Келпу. Келп и Дортмундер приставили ее к боковой стене фургона, а тем временем Мэрч подал Чевфику моток серой веревки и его черный портфель. Они все были одеты в темное и переговаривались шепотом.

Дортмундер взял моток веревки и первым поднялся вверх по лестнице, следом Чевфик. Келп внизу придерживал лестницу, пока оба они не оказались на крыше фургона, а потом подал лестницу наверх.

Дортмундер уложил ее посреди крыши по длине грузовика, затем он и Чевфик улеглись по обеим сторонам от нее, как персонажи Бокаччо, разделенные мечом. Келп, как только лестница оказалась наверху, снова обошел грузовик и закрыл задние двери, потом вернулся в кабину, завел мотор и медленно повел машину через стоянку АП на улицу.

В тюрьме Гринвуд, поглядев на часы и обнаружив уже без пяти минут три, решил, что время пришло. Он сел, сбросив с себя одеяло и продемонстрировав, что уже полностью одет, за исключением туфель. Он обул их, несколько секунд смотрел на чело- века, спавшего на верхних нарах, — старик слегка похрапывал, его рот был открыт, — и ударил его в нос.

Глаза старика внезапно открылись, белые и круглые, и в течение двух-трех секунд он и Гринвуд смотрели, уставившись друг на друга, лицом к лицу на расстоянии не более фута. Потом старик моргнул, его рука соскользнула с одеяла, чтобы пощупать нос, и от удивления и боли он ойкнул.

Гринвуд на пределе возможностей проревел:

— П р е к р а т и к о в ы р я т ь с я в с в о и х м е р з к и х н о г а х !

Старик сел, его глаза становились все круглее и круглее. Кровь потекла из разбитого носа. Он пролепетал:

— Чего-чего?

Все еще на максимальной громкости Гринвуд прорычал:

— И п е р е с т а н ь н ю х а т ь с в о и в о н ю ч и е п а л ь ц ы !

Руки старика все еще ощупывали нос, но теперь он убрал их оттуда и посмотрел на пальцы. — на кончиках их была кровь.

— Помогите, — сказал старик очень спокойно, как бы пытаюсь убедиться, что это было именно то слово, которое он искал. Потом, очевидно, уверившись, что слово

правильное, он выдал серию хриплых криков, закидывая назад голову и прикрывая глаза.

— Помогите помогите помогите помогите, — и так далее.

— Я больше не могу этого выносить, — бесновался Гринвуд, выводя партию баритона. — Я сломаю тебе шею!

Зажегся свет. Охранники перекрикивались. Гринвуд начал ругаться, метаться туда-сюда, размахивать кулаками. Он сдернул со старика одеяло, скомкал его и швырнул обратно. Затем схватил старика за щиколотку и начал сдавливать так, словно воображал, что это его шея.

Раздался большой грохот, который означал, что длинный стальной брус, закрывавший двери всех камер по одну сторону коридора, был поднят. Гринвуд сдернул старика за ногу с лежанки, стараясь быть осторожным и не сделать тому больно, схватил одной рукой за горло, высоко поднял кулак и застыл в такой позе, по-прежнему рыча, пока не открылась дверь камеры и в нее не влетело трое охранников.

Гринвуд не стал так легко им сдаваться. Он не ударил никого из них, дабы не получить в ответ удар дубинкой, от которого вполне возможно потерять сознание, но он все время пихал их стариком, затрудняя в узкой камере их попытку окружить и схватить его.

Потом, совершенно внезапно, он утих. Отпустил старика, который тут же сел на пол и сам стал хвататься за свою шею, а Гринвуд стоял рядом с обвисшими плечами и мутными глазами.

— Я не знаю, — говорил он как в тумане, — я не знаю...

Охранники взяли его за руки.

— Мы знаем, — сказал один из них. А второй тихо заметил:

— Сорвался. Вот уж на него-то никогда бы не подумал.

Арендванный грузовик между тем бесшумно и незаметно подкатил и встал около внешней тюремной стены. По обеим ее углам имелись вышки, и другие части стены, такие, как площадка вокруг главного входа и участок, ограждающий прогулочный двор, были мощно освещены, но здесь царили темнота и тишина, которые лишь периодически нарушались лучом прожектора, облизывавшим стену изнутри на всем ее протяжении. На другой стороне этой стены, согласно планам, изготовленным Гринвудом, имелись строения, приютившие тюремную котельную, прачечную, кухни и столовые, часовню, различные складские помещения и тому подобное. Ни один участок стены не оставался полностью неохраняемым, но охрана этого ее куска была в целом поверхностной. Кроме того, при таком транзитном населении, как в тюрьме Утопия Парк, попытки побега случались крайне редко.

Как только грузовик остановился, Дортмундер поднялся на ноги и прислонил лестницу к стене. Она доставала почти до верха. Он поспешно взобрался по ней — Чевфик в это время крепко держал ее, не давал ей съехать — и заглянул через край, следя за лучом прожектора. Тот приблизился, показав Дортмундеру расположение крыш, которое совпадало с гринвудовскими картами. Дортмундер нырнул за гребень стены и скрылся из виду как раз перед тем, как прожектор высветил точку, в которой только что находилась его голова. Он спустился по лестнице обратно и прошептал:

— Все нормально.

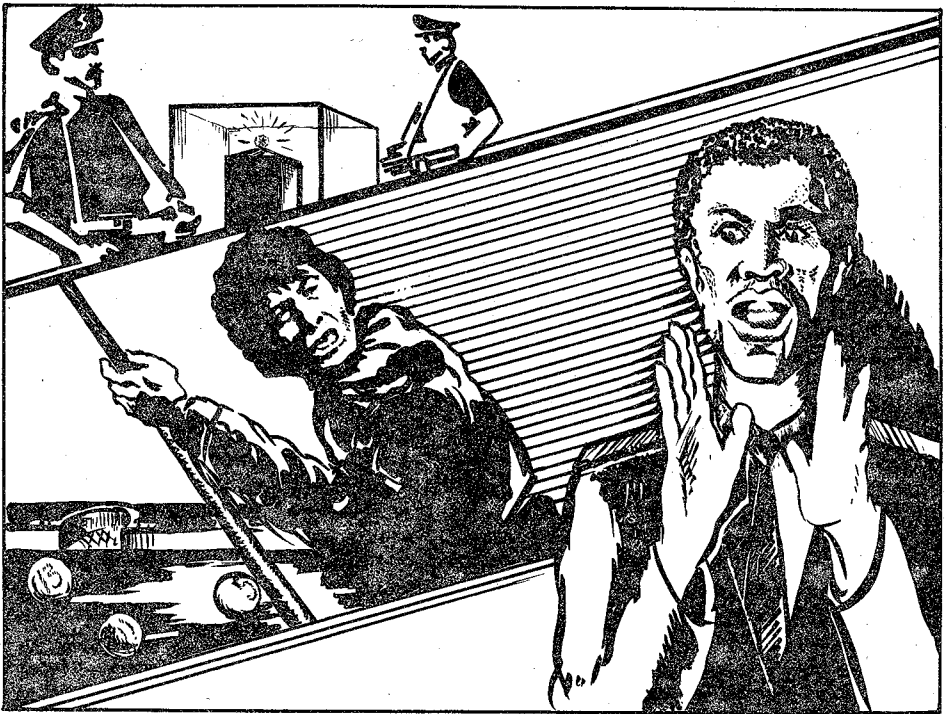
— Хорошо, — прошептал в ответ Чевфик. Дортмундер потряс лестницу, чтобы убедиться, что она будет стоять прочно без всякой поддержки снизу, и потом снова полез вверх, Чевфик на этот раз вплотную следовал за ним.

Дортмундер нес на плече моток веревки, Чевфик — свой черный портфель. Чевфик двигался с ловкостью, удивительной для человека его вида.

Около верхушки стены Дортмундер распустил моток веревки, держа ее за конец, привязанный к металлическому крюку. Каждые несколько футов на веревке был завязан узел, хвост болтался футах в восьми от земли. Дортмундер прикрепил ее крюком к краю стены и крепко потянул, проверяя, все ли надежно. Все было надежно.

Как только луч проскользнул мимо них в очередной раз, Дортмундер молнией проскочил остаток лестницы и оседлал стену справа от нее. Чевфик поспешил за ним, слегка стесняемый портфелем, и оседлал стену слева от лестницы, лицом к Дортмундеру. Они нагнулись, схватили лестницу за верхнюю ступеньку и стали втаскивать, пока она не перевалилась через стену и не соскользнула на противоположную сторону. Футах в девяти ниже них была залитая гудроном плоская крыша тюремной прачечной. Лестница коснулась крыши, и Дортмундер немедленно взгромоздился на нее. Он взял у Чевфика портфель и поспешил вниз. Чевфик тут же начал карабкаться за ним. Спустившись, они положили лестницу параллельно низкой стене, окружавшей крышу по краю, и легли сами поверх лестницы так, чтобы оказаться в тени этой стенки, когда подойдет луч.

Келп стоял возле грузовика и пытался разглядеть Дортмундера, Чевфика и лестницу. Один раз, когда луч как раз проходил по другой стороне стены, он смутно разли-



чил их, прилепившихся к лестнице, но при следующем заходе прожектора их уже не было. Он удовлетворенно кивнул, сел в кабину и уехал, по-прежнему не включая фар.

Дортмундер и Чеввик с помощью лестницы спустились тем временем с крыши прачечной на землю. Они положили лестницу вдоль одной стены и заспешили к главному зданию тюрьмы, которое неясно вырисовывалось в темноте перед ними. Раз им пришлось спрятаться за стеной, чтобы пропустить луч, но потом они затрусили снова, добрались до здания, нашли дверь там, где ей и полагалось быть, и Чеввик вынул из кармана два инструмента, которые, как он знал, нужно будет использовать для этой двери. Он приступил к работе, а Дортмундер встал на стреме.

Дортмундер видел, что луч приближается снова, двигаясь по фасаду здания. «По-быстрее», — прошептал он и услышал щелчок, а затем увидел, что дверь открывается.

Они заскочили внутрь, закрыли дверь, и луч тут же прошел по ней.

— На пределе, — прошептал Дортмундер.

— Теперь я возьму свой портфель, — прошептал Чеввик. Он был совершенно спокоен.

В комнате, в которой они находились, стояла абсолютная темнота, но Чеввик настолько хорошо знал содержимое своего портфеля, что свет не был ему нужен. Он присел на корточки, спрятал два инструмента в надлежащие карманчики, вытащил два других, закрыл портфель, встал и сказал:

— Все в порядке.

А за несколькими закрытыми дверями Гринвуд все говорил:

— Я пойду спокойно. Не волнуйтесь, я пойду спокойно.

— Мы не волнуемся, — сказал один из охранников.

Чтобы разобраться, что к чему, всем им понадобилось изрядное время. После того, как Гринвуд внезапно утих, охрана попробовала выяснить, что же все-таки произошло, но старик мог только бессвязно лопотать и тыкать пальцем, а Гринвуд все стоял, как в тумане, трясая головой и приговаривая: «Я просто больше ничего не знаю». Потом старик произнес магическое слово «ноги», и Гринвуд взорвался снова.

Правда, проделал это очень осторожно. Он не предпринял никаких физических действий, а только орал и вопил и немного дергался. Охранники схватили его за руки, но когда он увидел, что они собрались сделать ему укол, тут же успокоился и стал вполне рассудительным. Исключительно ясно Гринвуд рассказал про стариковские ноги.

Охранники задумались. И когда один из них сказал: «Смотри-ка, парень, почему бы нам просто не подыскать тебе другое место для сна?» — Гринвуд заулыбался от самого искреннего удовольствия. Это было то, что нужно, он знал, куда они отведут

его, — в одну из камер над госпитальным отсеком. Он сможет поостыть там, а поутру окажется под рукой у врача.

Во всяком случае, так они думали.

Гринвуд с улыбкой попросился со стариком, который прижимал носок к кровившемуся носу, и между охранниками промаршировал вон из камеры. Он заверил их, что будет идти спокойно, а они заверили его, что они и не волнуются насчет этого.

Начальная часть их маршрута была той же, как и при свидании с Проскером. По металлическому коридору, вниз по спиральной железной лестнице, снова по железному коридору, и через две двери, открывавшиеся людьми снаружи и запиравшимися после того, как они миновали их. Затем маршрут изменился, пройдя по длинному коридору, они свернули за угол к симпатичному безлюдному местечку, где два человека, одетые во все черное, с черными капюшонами на головах и с черными пистолетами в руках, вышли из дверного проема и сказали:

— Ни звука!

Охранники посмотрели на Дортмундера и Чеввика, ибо то были действительно они, и заморгали в изумлении. Один из них сказал:

— Вы сошли с ума!

— Не обязательно, — сказал Чеввик. Он сделал шаг в сторону от двери и предложил: — Пожалуйста, сюда, джентльмены.

— Вы не станете стрелять, — сказал другой охранник. — Шум привлечет массу внимания.

— Именно поэтому у нас глушители, — пояснил Дортмундер. — Это вон та штука, похожая на ручную гранату, на конце ствола. Хотите послушать?

— Нет, нет, — возразил охранник.

Все зашли в комнату, и Гринвуд закрыл дверь. С помощью ремней, снятых с охранников, они связали им ноги, с помощью их галстуков — руки, а полы рубашек были использованы в качестве кляпов. Комната, в которой все происходило, была маленькая и квадратная и представляла собой чей-то офис. В ней был металлический письменный стол, на столе стоял телефон, но Дортмундер вырвал шнур из гнезда.

Когда они покинули офис, Чеввик аккуратно замкнул за собой дверь. Дортмундер сказал Гринвуду: «Сюда», — и все трое побежали по коридору и мимо только что открытой металлической двери, которая была заперта в течение многих лет, пока за нее не взялся Чеввик.

Они повторили в обратном порядке маршрут. Еще четыре двери попались по дороге, все они были открыты Чеввиком на пути туда, и все были вновь заперты на пути обратно. Наконец они подошли к выходу из здания и стали ждать там, столпившись у дверного проема, глядя на черный куб прачечной, что была через дорогу. Дортмундер сверился с часами, было три двадцать.

— Пять минут, — прошептал он.

В четырех кварталах оттуда Келп тоже поглядел на часы, увидел, что было три двадцать, и снова вылез из кабины грузовика. Он в конце концов начал привыкать к тому факту, что внутренний свет не включался автоматически, когда он открывал дверцу, поскольку он лично выкрутил лампочку перед тем, как выехали из города. Он тихо закрыл дверцу, обошел грузовик и открыл задние двери. «Готово», — прошептал он Мэрчу.

— Отлично, — ответил шепотом Мэрч и начал выталкивать из фургона длинную доску сечением два с половиной на двенадцать дюймов. Келп ухватился за край доски и опустил его на землю так, что доска, опираясь на задний конец кузова, образовала пологий уклон. Мэрч вытолкнул вторую доску, и Келп уложил ее рядом с первой на расстоянии примерно пяти футов одна от другой.

Для этой части плана они выбрали самую индустриальную зону городка Утопия Парк. Улицы, непосредственно примыкавшие к тюрьме, были заполнены обшарпанными жилыми домами, но в двух-трех кварталах от нее окрестности начинали меняться. К северу и востоку шли сплошь жилые районы, постепенно улучшавшиеся по мере удаления от тюрьмы, а к западу простиралась жилая зона победнее, которая становилась все более трущобной, пока полностью не захлебывалась в волнах автомобильных свалок, но к югу располагалась существовавшая в Утопия Парк промышленность. Квартал за кварталом там не было ничего, кроме низких кирпичных строений, где делали солнцезащитные очки, разливали прохладительные напитки, вулканизировали покрышки, печатали газеты, шили платья, рисовали дорожные знаки, где пористая резина одевалась в матерчатую обивку. Ночью здесь не было транспорта, не было пешеходов, патрульная полицейская машина прокрадывалась только один раз в час. Здесь не было ничего, кроме всех этих фабрик и припаркованных перед ними грузовиков. На лево по этой улице и направо по той — только грузовики с помятыми крыльями, здоревенными капотами, неуклюжие, темные, пустые, бесшумные грузовики.

Келп припарковал свой грузовик вместе со всеми другими грузовиками, так что он стал неразличимым. Он поставил его сразу же за пожарным гидрантом, чтобы за ним

оставалось место; помимо этого свободного пространства, остальная часть квартала была заполнена целиком. Келпу пришлось объехать с полдюжины кварталов, прежде чем он подыскал это местечко, и оно удовлетворило его.

Теперь, когда две доски полого спускались из грузовика на улицу, Келп поднялся на поребрик и стал ждать. Мэрч снова исчез в темноте внутри фургона, и через минуту оттуда донеслось стрекотанье заводимого двигателя. Он взревел на короткое мгновение, потом стих до спокойного урчания, и из грузовика показался нос почти нового темно-зеленого «мерседес-бенца» — 250 SE с откидным верхом. Келп наткнулся на него раньше тем же вечером на Парк Авеню в районе Шестидесятых улиц. Поскольку его не собирались использовать слишком много, он все еще носил свои собственные номера с пометкой «Доктор медицины».

Доски прогнулись под тяжестью автомобиля. Мэрч выглядел за рулем как Гарри Купер, подруливающий свой «грумман» к нужной позиции на борту транспортного самолета. Кивнув Келпу так же, как Купер всегда кивал казенной команде, Мэрч нажал на акселератор, и «мерседес-бенц» с выключенными фарами рванулся прочь.

Мэрч провел часть своего ничем не заполненного времени в задней части фургона, читая руководство для владельцев, которое он нашел в «бардачке» машины, и теряясь в догадках относительно того, действительно ли максимальная скорость «мерседеса» равняется ста восьмидесяти милям в час или изготовители загибают. Он не станет проверять это сейчас, но, может, на обратном пути найдется достаточный кусок прямой дороги, чтобы выяснить это.

Там, в тюрьме, Дортмундер вновь взглянул на часы, установил, что пять минут истекло, и сказал: «О'кэй». И все трое затрусили через открытое место по направлению к прачечной, луч прожектора сверкнул перед ними за мгновение до старта.

Дортмундер и Чевфик приставили лестницу, и Гринвуд первым взобрался по ней. Троица очутилась на крыше, втянула лестницу за собой и залегла под прикрытием низкой стены, окружавшей крышу по периметру, сдерживая дыхание, пока луч не проскользнул мимо, и тогда они вскочили и поднесли лестницу к внешней стене. На этот раз первым пошел Чевфик со своим черным портфелем в руках, перелез через стену и спустился по веревке, перебирая ее руками и сжимая ручку черного портфеля в зубах. Гринвуд последовал за ним, Дортмундер шел последним. Он оседлал стену начал втаскивать лестницу. Луч прожектора возвращался.

Чевфик приземлился как раз в тот момент, когда Мэрч прибыл на машине. Чевфик выпустил ручку портфеля из зубов, которые болели от напряжения, и через борт забрался в «мерседес». Внутренний свет в этом транспортном средстве не был выведен из строя, так что они не могли открывать дверцы.

Гринвуд спускался по веревке. Дортмундер все еще втягивал лестницу. Луч достиг его, облил, словно волшебной водой, прошел, остановился как вкопанный, дрогнул и рванулся назад. Дортмундер исчез, но лестница все еще находилась в состоянии падения на крышу прачечной. Она издала квакающий звук, когда ударилась об нее.

Тем временем Гринвуд добрался до земли и вспрыгнул на переднее сиденье автомобиля, Чевфик уже был на заднем. Дортмундер поспешно спускался по веревке.

Сирена произнесла пробное «р-ррр», и звук ее начал подниматься до невыслышимых высот.

Дортмундер оттолкнулся от стены, опустил веревку, упал на заднее сиденье «мерседеса» и завопил:

— Жарь!

Мэрч двинул по акселератору.

Сирены начинали взывать в нескольких местах тюрьмы. Келп, стоя около грузовика с незажженным фонариком в руках, начал жевать свою нижнюю губу.

Мэрч врубил фары, ибо сейчас он несся слишком быстро для того, чтобы полагаться на случайные уличные фонари. Позади него тюрьма просыпалась к жизни, подобно желтому вулкану. Сейчас она начнет извергать полицейские машины.

Келп бросил взгляд на угол — «мерседес» боком вплыл в поле зрения и затем устремился вперед, как бегун на финишную ленточку.

Келп включил фонарик и стал бешено размахивать им. Неужели Мэрч не видит его? Машина стремительно росла.

Мэрч знал, что делает. Пока его пассажиры цеплялись за обивку и друг за друга, он пролетел квартал, нажал на тормоза как раз когда было нужно и в нужную долю секунды, точно довернул баранку, вкатился по доскам в грузовик, снова тормознул, и машина застыла, подрагивая, в двух дюймах от дальней стены. Он выключил мотор и свет.

Келп в то же время спрятал свой фонарик и быстро запикивал доски обратно в кузов. Он захлопнул одну из дверей, сверху к нему протянулись руки, чтобы помочь забраться в грузовик, и затем вторая дверь была закрыта.

С полминуты ни звука не раздавалось в темноте фургона, кроме тяжелого дыхания пятерых человек. Потом Гринвуд сказал:

— Мне бы надо вернуться. Я забыл свою зубную щетку.

Все рассмеялись этой шутке, но несколько нервным смехом. Тем не менее, он помог всем сбросить напряжение. Мэрч снова включил фары «мерседеса», ибо они заранее убедились, что никакой свет в фургоне нельзя увидеть снаружи, и тут каждый каждому пожал руку, поздравляя с хорошо сделанным делом.

Они притихли, прислушиваясь к вою полицейской машины, и Келп сказал: «По нашему горячему следу». И все опять ухмыльнулись.

Они сделали это. Теперь это казалось простым. Они подождут в грузовике часиков до шести, а потом Келп выскользнет наружу, сядет в кабину и увезет их всех подальше отсюда. Вряд ли его остановят, но если даже это произойдет, у него все будет в идеальном порядке. У него есть законные документы на арендованный грузовик, «законные» водительские права и другие документы, удовлетворяющие личность, есть и вполне сносно звучащая причина находиться за пределами города. В спокойном месте в Бруклине «мерседес» будет убран из грузовика и оставлен вместе с ключами зажигания в призывной близости от ремесленного училища. Грузовик будет отправлен на Манхэттен и оставлен в гараже, откуда его заберет посланный Майором Айко человек и вернет прокатной фирме.

Все чувствовали себя радостно, счастливо и облегченно. Они сидели в открытой машине и травили анекдоты, а через некоторое время Келп достал колоду карт, и они начали играть в покер на крупные ставки, сделанные из бумаги.

Около четырех часов утра Келп сказал:

— Ну, завтра мы идем забираем изумруд и получаем наши денежки?

Гринвуд кивнул:

— Конечно, завтра мы можем начать работать над этим. Три карты, — сказал он Чеввику, который сдавал одних валетов или того похлеще.

Все вдруг разом стихли, а Дортмундер поинтересовался:

— Что значит «мы можем начать работать над этим?»

Гринвуд нервно передернул плечами.

— Ну, это будет не так уж легко сделать.

Дортмундер удивился:

— Почему?

Гринвуд прочистил горло. Он огляделся вокруг с растерянной улыбкой.

— Потому, — сказал он, — что я спрятал его в полицейском участке.

ФАЗА ТРЕТЬЯ

1

Майор Айко спросил:

— В полицейском участке? — он с открытым недоверием обвел всех взглядом.

Они все были здесь, все пятеро. Дортмундер и Келп — на своих обычных местах перед его письменным столом. Гринвуд, которого они вытащили из тюрьмы прошлой ночью, сидел между ними. И двое новеньких, представленных как Роджер Чеввик и Стэн Мэрч. Часть мозга Майора все время нежно поигрывала этими двумя новыми для него именами, он с нетерпением дожидался, когда кончится это совещание, чтобы сразу же распорядиться о подготовке двух новых досье.

Но основная часть его мозга, главная часть, была отдана недоверию. Он напряженно вглядывался во всех, и особенно в Гринвуда.

— В полицейском участке? — повторил он, и его голос дал трещину.

— Это там, где я был, — пояснил Гринвуд.

— Но ведь в Колизее вы могли бы где-нибудь...

— Он проглотил его, — объявил Дортмундер.

Майор посмотрел на Дортмундера, пытаясь понять, что именно только что сказал этот человек.

— Прошу прощения?

Отвечать пришлось Гринвуду.

— Когда я увидел, что они вот-вот меня схватят, я был в холле. Ни единого местечка, где бы можно было спрятать. Даже выкинуть его было некуда. Я не хотел, чтобы у меня обнаружили этот камень, и поэтому проглотил...

— Ясно, — произнес Майор с легкой дрожью, а потом улыбнулся улыбкой тонкой, как лезвие ножа. — Как это удачно для вас, что я атеист, мистер Гринвуд.

В вежливом замешательстве Гринвуд сказал:

— Да?

— Первоначальное значение Изумруда Талабво в моей стране было религиозным, — объяснил майор. — Продолжайте свой рассказ. Когда вам пришлось в следующий раз увидеть изумруд?

— Только на другой день. Я в некотором роде опушу эту пикантную часть, если не возражаете.

— Буду весьма признателен.

— Ну, вот... Когда изумруд появился у меня снова, я сидел в камере. Видно, они опасались, что подельники попытаются вытащить меня сразу же, потому и держали меня первые два дня в некоем участке, там, в Верхнем Вест-Сайде. Я находился в одной из камер предварительного заключения верхнего этажа.

— Там вы его и спрятали? — еле слышно спросил Майор.

— Ничего другого мне не оставалось, Майор. Я не решился держать его при себе.

— А вы не могли продолжать проглатывать его?

Гринвуд улыбнулся какой-то зеленоватой улыбкой.

— Только не после того, как один раз я уже получил его обратно.

— Э-э-мм-мм, — с неохотой признал Майор. Он посмотрел на Дортмундера.

— Ну? Что теперь?

— Мнения разделились. Два за, два против, один в нерешительности, — сказал Дортмундер.

— Вы имеете в виду — продолжать ли операцию?

— Вот именно.

— Но... — Майор развел руками, — почему бы вам не отправиться за ним? Если вы успешно вломитесь в тюрьму, то уж заурядный полицейский участок...

— То-то и оно, — вздохнул Дортмундер. — Сколько можно испытывать свое счастье. Мы и так сделали для вас два дела по цене одного. Но нельзя же без конца безнаказанно вламываться в разные места. Рано или поздно везение изменит нам...

Майор проскрипел:

— Везение! Счастье! Но ведь не везение и не счастье помогали вам, мистер Дортмундер, а умение, искусное планирование и опыт. И все эти блестящие качества остались при вас... Не говоря уж о том, что опыта у вас только прибавилось.

— Просто у меня предчувствие... — сказал Дортмундер. — Дело превращается в один из тех снов, где ты все бежишь, бежишь по одному и тому же коридору и не можешь никуда добежать.

— Но ведь если мистер Гринвуд спрятал изумруд и знает, где он его спрятал, — Майор бросил взгляд на Гринвуда, — он спрятал надежно, не так ли?

— О, да! Спрятан он хорошо, — заверил его Гринвуд.

Майор опять развел руками.

— Тогда не вижу проблем. Мистер Дортмундер, я так понимаю, что вы один из тех, кто против?

— Да, это так, — подтвердил Дортмундер. — Со мною Чеввик. Гринвуд готов пуститься за камнем, Келп на его стороне. Мэрч пока не знает...

— Я как большинство, — сказал Мэрч. — У меня нет своего мнения.

Чеввик сказал:

— Мои возражения основаны на том же, что и у Дортмундера. Я думаю, каждый достигает той черты, где за хорошим начинается плохое, и я боюсь, что мы подошли к этой черте.

— Но это верняк! Всего лишь полицейский участок! — возбужденно воскликнул Гринвуд. — Вы знаете, что это значит? Контора полна парней, печатающих на машинках. Самое последнее, чего они могут ждать, так это того, что кто-то вломится к ним в участок. Там будет куда легче, чем в тюрьме.

— И потом, — сказал Келп, обращаясь в основном к Чеввику, — мы слишком долго занимались этой проклятой штуковиной. Мне нетерпима мысль, что мы плюнем и бросим.

— Я понимаю вас, — сказал Чеввик. — Я и сам... Но в то же время я чувствую математическое давление шансов, которые против нас. Мы провели уже две операции, и никто из нас не сидит в тюрьме, все живы, и ни один даже не ранен. Только Гринвуд стал известен полиции и понес кое-какой урон, но, будучи одиноким человеком, без иждивенцев, он, как говорится, быстро восстановит форму. Нам повезло, и не стоит это везенье больше испытывать. Лучше присмотреть какое-нибудь другое дело...

— Вот-вот, — словно бы обрадовался Келп, — в этом-то весь трюк. Мы все еще сидим на бобах! Нам снова надо искать дело, чтобы поправить свое положение. Так какая же разница — этим делом заняться или другим!!

Дортмундер возразил:

— Три дела по цене одного!!

— Вы правы, мистер Дортмундер, — поспешно согласился Майор. — Вы выполняете куда большую работу, чем подряжались сделать, вы заслужили дополнительную оплату. Вместо тридцати тысяч... — Майор помолчал, задумавшись, — скажем, по

тридцать две тысячи на брата. Даю еще десять тысяч, которые вы поделите между собой.

Дортмундер фыркнул.

— Две тысячи долларов за то, чтобы напасть на полицию? За такие деньги я не стал бы взламывать и телефонную будку.

Келп посмотрел на Майора с видом человека, разочарованного в своем старом друге и протееже.

— Это кошмарно мало, Майор, — сказал он. — Лучше уж не предлагать совсем ничего...

Майор с хмурым видом переводил взгляд с одного лица на другое.

— Не знаю, что и сказать, — признался, наконец, он.

— Скажите — десять тысяч, — подсказал ему Келп.

— На человека?!

— Конечно. И еженедельная плата поднимается до двухсот.

Майор задумался. Слишком скорое согласие могло бы вызвать у них подозрения, поэтому он сказал:

— Дать так много я не могу. Моя страна не может себе этого позволить, национальный бюджет и без того напряжен.

— Сколько же тогда? — спросил Келп дружелюбно, как бы идя на вырубку.

Майор задумчиво барабанил пальцами по столу. Он сощурился, он закрыл один глаз, он почесал за левым ухом. Наконец он сказал:

— Пять тысяч.

— И две сотни в неделю.

Майор кивнул.

Келп поглядел на Дортмундера.

— Вполне съедобно, а?

Дортмундер пожевал костяшку пальца, и Майору подумалось — не играет ли и Дортмундер свою игру? Но тут Дортмундер сказал:

— Я посмотрю, как и что. Если это придется по вкусу и мне, и Чеввику, то ладно.

— Плата, естественно, будет продолжаться, пока вы все взвешиваете, — сказал Майор.

— Естественно, — сказал Дортмундер.

Все встали. Майор сказал Гринвуду:

— Разрешите мне, кстати, принести вам поздравления с вашим освобождением.

— Благодарю, — откликнулся Гринвуд. — Вы не знаете, случаем, где бы я мог найти квартиру, а? Две или три комнаты по умеренной цене в хорошем районе?

— Извините, — сказал Майор.

— Если вы услышите что-нибудь, — настаивал Гринвуд, — дайте мне знать.

— Обязательно, — четко произнес Майор.

2

Мэрч, явно очень пьяный, держа в одной руке почти пустую пинту Старого Абрикосового брэнди, шагнул с поребрика на проезжую часть перед полицейской машиной, нелепо помахал другой рукой и крикнул:

— Так-шии!

Полицейская машина остановилась — либо это, либо она на него наедет. Мэрч оперся о крыло и громко объявил: «Я хочу домой. Бруклин. Вези меня в Бруклин, мастер, и побыстрее!» Было уже далеко за полночь и за исключением Мэрча все в этом жилом квартале Манхэттенского Верхнего Уэст-Сайда тихо и мирно спали.

Полисмен выбрался из машины и поманил его к себе:

— Подь-ка сюда.

Мэрч, шатаясь, придвинулся ближе. Старательно подмигивая, он сказал:

— Плюй на счетчик, друг. Мы договоримся меж собой. Легавые никогда не узнают.

— Да неужто? — удивился легавый.

— Это только одна из миллиона вещей, которых не знают легавые, — разъяснил ему Мэрч.

— Да ну? — легавый открыл заднюю дверцу. — Лезь на борт, приятель.

— Годится, — сказал Мэрч. С третьей попытки он влез в полицейскую машину и мгновенно уснул на заднем сиденье.

Легавые не повезли Мэрча в Бруклин. Они подвезли его к участку, где растолкали без всяких нежностей, вытащили из машины, рысцой прогнали вверх по крутым ступенькам между зелеными огнями — стеклянный шар слева был разбит — и передали другим легавым. «Пусть проспится в каталажке», — прокомментировал один из них.

Засим последовал короткий ритуал у стола дежурного, а затем новые легавые прогнали Мэрча по длинному зеленому коридору и впихнули в «пьяную» камеру, оказавшуюся большой квадратной комнатой, полную решеток и пьяниц. «Это не то», — сказал себе Мэрч и начал кричать: «О-го-го! Эй! Какого хрена! Сукин сын!» Все остальные пьяницы мирно спали, как им и полагалось, а Мэрч своими криками мешал этому предписанию.

— Заткнись, олух, — сказал один из них.

— Чего-чего?! — поинтересовался Мэрч и дал ему в зубы, и очень скоро в «пьяной» камере шла хорошая драка. Большинство с похмелья не знали, куда бить, но по крайней мере они махали кулаками.

Дверь камеры открылась, и ворвались несколько легавых.

— Прекратите это! — заорали они дружно.

Это прекратилось, и вскоре стало ясно, что причиной неприятностей был Мэрч. «Я не останусь здесь, с этими задницами», — сказал Мэрч, и легавые сказали: «В самом деле не останешься, браток».

Они вывели Мэрча из «пьяной» камеры, обращаясь с ним без всякой любезности, и очень быстро, бегом, отконвоировали по четырем маршрутам лестницы на пятый, и последний, этаж участка, где находились камеры предварительного заключения.

Мэрч жаждал оказаться во второй камере справа, потому что, попади он во вторую камеру справа, все проблемы их кончались бы. Но, к несчастью, кто-то другой уже занимал ее, и Мэрча втолкнули в четвертую камеру слева.

Сюда едва доходил свет из конца коридора. Мэрч сел на покрытую одеялом металлическую койку и расстегнул рубашку. Под ней, приклеенные пластырем к груди, были листки машинописной бумаги и шариковая ручка. Мэрч, морщась, отлепил их и нарисовал несколько чертежей с пометками, пока все было свежо в памяти. Затем он снова приклеил это имущество себе на грудь, улегся на железную койку и крепко уснул.

Утром с ним как следует поговорили, но так как он не имел приводов и судимостей, и так как он извинялся и был очень раздосадован и растерян, и вообще вел себя прилично, его не стали задерживать.

Выйдя из участка, Мэрч бросил взгляд на другую сторону улицы и увидел двухлетней давности «крайслер» с номерными знаками с пометкой «доктор медицины». Сидевший за рулем Келп фотографировал фасад полицейского участка, а Чэфвик, расположившийся на заднем сиденье, считал по головам всех входящих и выходящих, а также машины, подъезжающие к зданию и отъезжающие от него.

Мэрч подошел к «крайслеру», сел рядом с Келпом и услышал:

— Хай.

— Хай, — сказал Мэрч. — Мальчики, не напивайтесь никогда. Легавые для пьяных — чистая смерть!

Немного позднее, когда они закончили свои дела, Келп и Чэфвик отвезли Мэрча через город к тому месту, где был запаркован его «мустанг».

— Кто-то спел твои колпаки, — сказал Келп.

— Я снимаю их сам, когда попадаю на Манхэттен, — сказал Мэрч. — Манхэттен нашинкован ворами.

Он расстегнул рубашку, снял с груди бумаги и отдал их Келпу. Затем сел в свою машину и отправился домой. Он доехал до Сто Двадцать Пятой улицы и по ней через Триборо-Бридж вокруг Грэнд Сентрал Паркуэй на Ван Вик Экспрессуэй до Белт Паркуэй и таким путем домой. Стоял жаркий день, наполненный солнцем и влажностью, поэтому дома он принял душ, затем пошел вниз в свою спальню и лег на кровать в плавках и футболке и прочел все, что только мог сказать Кэхилл о Швероле Камаро.

3

На этот раз эбеновый человек с длинными тонкими пальцами проводил Келпа прямо в комнату с бильярдом, без всяких крюков и уклонений от маршрута. Он слегка склонил перед Келпом голову и убыл, закрыв за собой дверь.

Стояла жаркая ночь последней недели июля, влажность подскочила до ста процентов. Келп был в легких облегающих брюках и белой рубашке с короткими рукавами, и от централизованного кондиционирования воздуха здесь, в здании, ему стало зябко. Он вытер со лба оставшуюся испарину, поднял руки, чтобы проветрить подмышки, подошел к бильярдному столу и встроил шары.

Сегодня у него не было желания делать что-то особенное, поэтому он просто стал тренироваться в разбивании пирамиды. С помощью рамки он выстраивал шары пирамидой, ставил свой шар в той или другой точке, наносил удар в одно или другое место, с той или иной подкруткой или без нее, целясь то в одну, то в другую точку

своего шара, и смотрел, что из этого получается. Потом он опять расставлял шары, клал свой шар на новое место и проделывал все заново.

Майор вошел, бросил взгляд на бильярдный стол и обронил:

— Сегодня у вас нет особого прогресса.

— Просто валяю дурака на этот раз, — ответил Келп. Он положил кий и вынул из заднего кармана брюк влажный и смятый листок бумаги. Развернув его, вручил Айко. Тот взял листок с очевидной неохотой, ему явно не хотелось прикасаться к бумажке руками.

Келп вновь занялся бильярдом.

Он как раз положил в лузы три штуки, когда Айко возопил:

— Вертолет!!

Келп положил кий и повернулся к нему, чтобы сказать:

— Мы не были уверены, что вам удастся его достать, но... видите ли... не будет вертолета, не будет никакого дела. Дортмундер сказал, чтобы я просто отнес вам список. Как обычно. А уж решайте вы сами.

Во взгляде Айко появилась какая-то странность.

— Вертолет, — сказал он. — Каким образом, по-вашему, я могу достать вертолет?

Келп пожал плечами.

— Не зна-а. Но нам казалось, что за вами — целая страна.

— Это правда, — сказал Айко. — Но страна, которая стоит за мной, — Талабво. И это, увы, не Соединенные Штаты.

Келп удивился:

— Что, у Талабво нет вертолетов?

— Конечно же, у Талабво есть вертолеты, — сказал Айко раздраженно. Казалось, уязвили его национальную гордость. — У нас есть семь вертолетов. Но они, естественно, находятся в Талабво, а Талабво в Африке. И американские власти начнут задавать разного рода вопросы, если мы попытаемся импортировать сюда американский вертолет из Талабво.

— Ага, — сказал Келп. — Дайте мне подумать.

— Все остальное в этом списке не вызывает никаких осложнений. Но вы уверены, что непременно нужен вертолет?

— Камеры предварительного заключения, — терпеливо разъяснил Келп, — находятся на верхнем этаже, который в здании участка является пятым. Если вы войдете с улицы, вам придется пробиваться к этим камерам сквозь пять этажей вооруженных легавых, а потом перед вами снова окажутся те же пять этажей легавых, чтобы пробраться обратно на улицу. И знаете, что будет там, на улице?

Айко покачал головой.

— Легавые, — ласково объяснил ему Келп. — Три или четыре патрульных машины плюс легавые, что спуют туда-сюда из здания.

— Понимаю, — тихо согласился Айко.

— Так что наш единственный шанс, — продолжал терпеливо Келп, — попасть туда с верхотуры. Высадиться на крышу и уже оттуда спуститься в здание. Тогда камеры окажутся под рукой и мы избежим встречи с большинством легавых. Берем изумруд и... Тем же ходом обратно.

— Понимаю, — кивал Айко.

Келп подобрал кий, закатил шар номер семь и обошел вокруг стола.

— Но вертолет страшно шумит. Они услышат, что вы прилетели, — сказал ему в спину Айко.

— Нет, не услышат, — возразил Келп. Он облокотился о стол, загнал в лузу четверку и, выпрямившись, сказал: — Над этим районом целый день летают самолеты. Большие реактивные лайнеры, совершающие посадку в аэропорту Ла Гардиа, проходят над этими местами много ниже, чем вы бы подумали. Знаете, они начинают заход на посадку уже где-то от Аллентауна. Ну... некоторые из них.

— И вы используете их шум для прикрытия?

— Мы составили расписание, — сказал Келп. — Нас интересуют те, что прибывают регулярно. Мы подлетим, пока один из них будет проходить рядом. — Он уложил двенадцатый.

Айко сказал:

— А что, если вас увидят с другого дома? Ведь кругом есть и более высокие здания, не так ли?

— Увидят, как вертолет сел на крышку полицейского участка? — небрежно спросил Келп. — Ну и что? — Он закатил шестерку.

— Ол райт, — сказал Айко. — Я убеждаюсь, что это может сработать.

— И ничто другое сработать не может, — ответил Келп и уложил пятнадцатый. И тут Айко обеспокоенно насупил.

— Может быть, вы и правы. Но вопрос в том, где я возьму вертолет?

— Ну, не знаю, — сказал Келп, загоняя в лузы еще два шара. — А где вы брали ваши вертолеты до этого?

— Мы их, естественно, покупали, у... — Айко замер, и его глаза широко раскрылись. Белое облачко сформировалось над его головой, и в этом облачке появилась электрическая лампа. Лампа ярко вспыхнула. — Я могу сделать это! — закричал он.

Келп загнал одиннадцатый и, рикошетом, восьмой. После этого остались еще тройка и четырнадцатый.

— Хорошо, — сказал он и положил кий. — Как вы собираетесь это сделать?

— Мы просто закажем вертолет, — сказал Айко. — По обычным каналам. Я это могу организовать. Когда вертолет прибудет в Нью-Йорк для погрузки и транспортировки морем в Талабво, его поместят на те несколько дней, что будут оформляться бумаги, в помещение нашего пакгауза. Я смогу устроить так, чтобы вы воспользовались им, но только не в нормальные рабочие часы.

— А зачем он нам в нормальные рабочие часы, — сказал Келп. — Мы рассчитываем попасть труда где-то в половине восьмого вечера.

— Тогда все будет прекрасно! — воскликнул Майор. Теперь он был явно в восторге от идеи. — Я распоряджусь, чтобы вертолет был запрошен и готов.

— Очень хорошо.

— Вот только, — проговорил Майор, и восторг его слегка подтускнел, — это займет некоторое время, ну, пока заказ будет оформлен. Недели три, может быть, больше.

— Нормально, — сказал Келп. — Изумруд подождет. Лишь бы мы каждую неделю получали нашу зарплату.

— Я постараюсь раздобыть его так быстро, как только смогу, — заверил Айко.

Келп сделал жест в сторону бильярда:

— Не возражаете?

— Нет-нет, конечно, — снисходительно улыбнулся Айко. Он спокойно наблюдал, пока Келп не закати два последних шара, а затем задумчиво произнес: — Может, мне стоит брать уроки этой игры. Она, по-видимому, действительно снимает напряжение.

— Зачем вам уроки? — возразил Келп. — Берите кий и начинайте. Умение придет. Хотите, я покажу вам, как надо?

Майор бросил взгляд на часы, явно колеблясь.

— Ну, — сказал он, — разве что несколько минут.

4

Дортмундер сортировал деньги на своем кофейном столике — кучка потертых однодолларовых бумажек, меньшая кучка смятых трешек и тоненькая пачка десятков. Он успел снять туфли и носки и все время шевелил пальцами ног, как если бы их только что выпустили из тюрьмы. Был поздний вечер, длинный августовский день завершился наконец-то за окном, и распушенный галстук Дортмундера, его жеваная рубашка и всклокоченные волосы говорили о том, что он лишь небольшую часть дня провел здесь, в своей кондиционированной квартире.

В дверь позвонили.

Дортмундер тяжело поднялся, подошел к двери и посмотрел в глазок. Бодрое лицо Келпа красовалось в его обрамлении, как на камее. Дортмундер открыл дверь, и Келп вошел со словами:

— Ну, как дела?

Дортмундер закрыл дверь и проворчал:

— У тебя вид человека, довольного жизнью.

— Так оно и есть, — сказал Келп. — Почему бы нет? — Он взглянул на деньги, разложенные на кофейном столике. — Но и твои дела, кажется, идут неплохо.

Дортмундер похромал обратно к дивану.

— Ты так думаешь? Весь день на улице, таскаешься от дверей к дверям, за тобой гоняются собаки, над тобой издеваются дети, тебя оскорбляют домохозяйки, и что ты получаешь за это? — он презрительно махнул в сторону мятых бумажек на кофейном столике. — Семьдесят долларов, — сказал он.

— Эта жара портит все дело, — сказал ему Келп. — Выпить хочешь?

— Это не жара, — возразил Дортмундер, — это влажность. Да-а, я хочу выпить.

Келп прошел на кухню, но не перестал говорить.

— Что за динамо ты проворачиваешь? — крикнул он оттуда.

— Энциклопедии, — нехотя ответил Дортмундер. — И проблема в том, что, если ты просишь аванс больше десяти долларов, они либо упираются, либо хотят выписать чек. Сегодня я получил один десятидолларовый чек, и спрашивается, какого черта я должен с ним делать?

— Можешь в него высморкаться, — предложил Келп. Он выплыл из кухоньки с двумя стаканами «бурбона» со льдом. — Почему ты работаешь с энциклопедиями? — спросил он.

Дортмундер кивнул в сторону стройного чемоданчика, стоявшего у двери.

— Потому что у меня есть рекламные проспекты именно на них. Невозможно продать никакую вещь без массы ярких кусков бумаги.

Келп подал ему стакан и уселся в кресло.

— Сдается мне, я поудачливее, — сказал он. — Большая часть моей работы делается в барах.

— Что ты затеял?

— Мы с Гринвудом работаем чет-нечет в районе вокзала Пенн Стэйшн, — сказал Келп. — Сегодня мы поделили почти три сотни.

Дортмундер посмотрел на него с недоверием.

— Чет-нечет? Это все еще срабатывает?

— Они налетают, как мухи на сладкое, — сказал Келп. — И мы выигрываем. Да и почему бы и нет? Ведь это я и клиент — против Гринвуда. Так что один из нас должен выигрывать.

— Я знаю, — сказал Дортмундер. — Я знаю об этом все, я сам пробовал этот трюк раз или два, но у меня для него лицо неподходящее. Для этого нужны такие бодрые типы, как ты и Гринвуд. — Он сделал глоток «бурбона» и откинулся на спинку дивана, закрыв глаза.

— Черт возьми, — сказал Келп, — чего так переживать? Ты можешь свести концы с концами на те две сотни, которые дает Айко.

— Я хочу сделать заначку, — сказал Дортмундер, по-прежнему не открывая глаза. — Я терпеть не могу проживать все до цента, как сейчас.

— Могучая выйдет заначка, — заметил Келп, — по семьдесят долларов в день.

— Вчера шестьдесят, — сказал Дортмундер. Он открыл глаза. — Мы доим Айко уже четыре недели, с тех пор как Гринвуд на воле. Как ты думаешь, сколько он еще протянет?

— Пока не достанет вертолет, — сказал Келп.

— Если достанет. Он не очень-то радостно выглядел, когда платил мне на прошлой неделе. — Дортмундер отпил из стакана. — И вот что я тебе еще скажу, у меня нет веры в это дело, в отличие от других. Если бы что-нибудь подвернулось... стоящее, этот гнусный изумруд мог бы катиться ко всем чертям.

— И у меня то же ощущение, — вздохнул Келп. — Вот почему Гринвуд и я сравниваем номера на купюрах по всей Седьмой авеню. Но я верю, что Айко прорежется.

— Я нет, — повторил Дортмундер.

Келп ухмыльнулся.

— Хочешь маленькое пари насчет этого?

Дортмундер устало поглядел на него.

— Почему бы тебе не позвать еще и Гринвуда, чтобы я спорил сразу с обоими? Вид у Келпа был совершенно невинным.

— Слушай, не лезь в бутылку, — сказал он. — Я просто шучу с тобой.

Дортмундер опорожнил свой стакан.

— Я знаю, — сказал он. — Сделаешь мне еще один?

— А как же, — Келп взял из рук Дортмундера стакан, и тут зазвонил телефон.

— А вот и Айко, — сказал Келп, ухмыляясь, и вышел в кухоньку.

Дортмундер взял трубку, и голос Айко произнес:

— Он у меня есть.

— Ну, будь я проклят! — воскликнул Дортмундер.

Окончание следует

О НАШИХ АВТОРАХ

САНАЕВ Исмат — автор нескольких поэтических сборников, изданных на узбекском языке. Он живет и работает в сельской местности, в Пахтачийском районе Самаркандской области.

АБДУЛЛАЕВА Венера живет в Ташкенте. Пишет стихи на русском языке. Она обладает особым поэтическим даром. Ее стихи лаконичны и откровенны. В них много света и добра. Это четвертая подборка стихов в нашем журнале.

КОГТЕВ Юрий Сергеевич — автор поэтического сборника «Високосное лето». Его стихи публикуются в газетах и журналах республики — «Звезда Востока» и «Гражданская авиация», в поэтических альманахах и песенных сборниках.

ПЕТРОВА Альбина Михайловна родилась в Актюбинске. Учительница. Ей присвоено звание «Отличник народного образования». Печаталась в периодических изданиях. Автор книг «Ешьте мороженое, дети!», «Фокусница» и «Морские истории».

ФАЙНБЕРГ Александр Аркадьевич родился в г. Ташкенте в 1939 году. После службы в армии окончил заочное отделение журналистики Ташкентского государственного университета.

Александр Файнберг выпустил книги стихов «Велотреки», «Этюд», «Мгновение», «Стихи», «Далекie мосты», «Печать небосклона», «Короткая волна».

Его перу принадлежат сценарии художественных и мультипликационных фильмов, поставленных на киностудии «Узбекфильм», — «Мой старший брат», «Дом под жарким солнцем», «Волшебный смычок», «Заколдованный корабль» и другие.

ЮСУПОВА Любовь Викторовна родилась в городе Канске Красноярского края. Закончила Московский педагогический институт иностранных языков. Работала в Главном управлении по иностранному туризму при Совете Министров СССР. Сейчас живет в Ташкенте. Печаталась в республиканских газетах, в журнале «Звезда Востока» и «Молодая смена».

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства по адресу: 700000, ГСП, ул. газеты «Правда», 41.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются отделения «Союзпечати» на местах.

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректор З. Г. Байбазарова.

Сдано в набор 1.11.89 г. Подписано к печати 15.12.89 г. Р-00012. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага
Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43;
отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

Сдано в набор 1.11.89 г. Подписано к печати 15.12.89 г. Р-00012. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага
тип. № 2. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Усл. кр.-отт. 19,95.
Уч.-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 206528. Заказ № 1905. Цена 1 рубль.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.
Ташкент, ГСП, ул. газеты «Правда», 41.